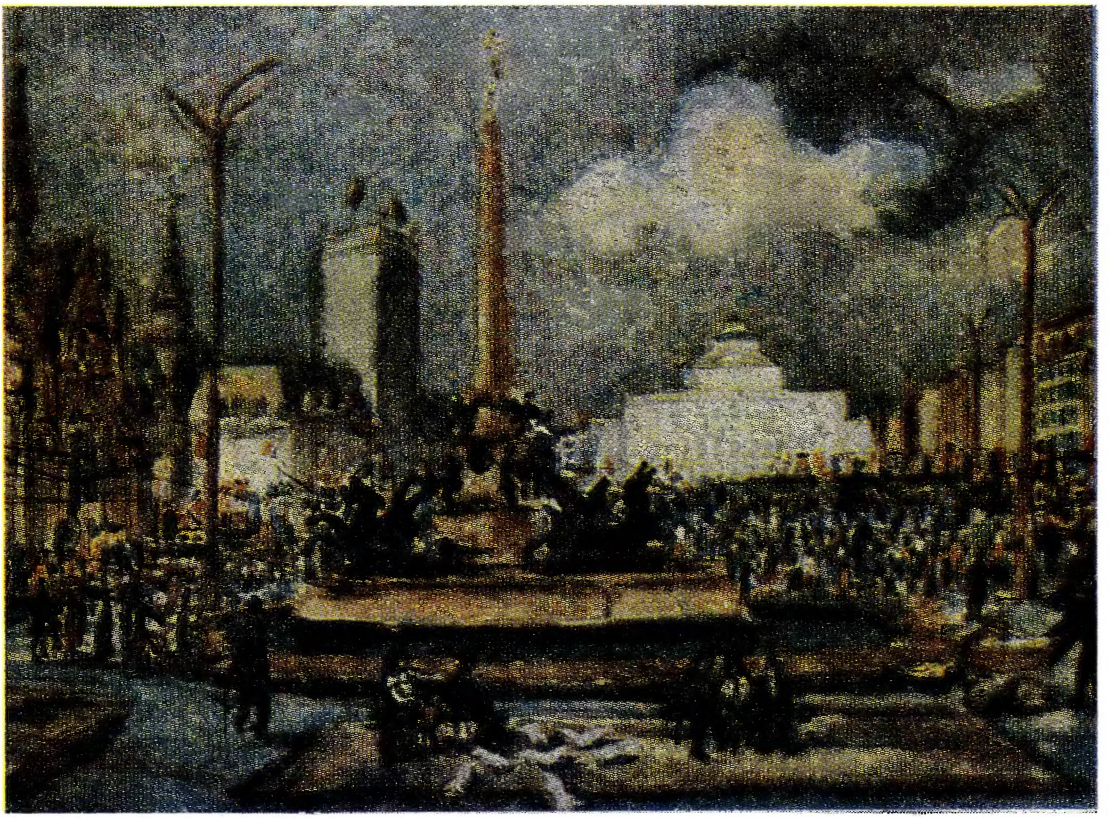
ISSN 0130 – 6545

4.1979

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



Площадь Карла Маркса в Лейпциге

Цветные иллюстрации номера — работы художника Герхарда Штенгеля (ГДР)

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

4 апрель 1979

Содержание

ЯРОСЛАВ ИВАШКЕВИЧ — Горсть ивовых листьев *(Стихи. Перевод с польского Натальи Астафьевой)* 3

ВИНЦЕНТ ШИКУЛА — Мастера *(Роман. Перевод со словацкого Нины Шульгиной)* 6

АТ-ТАХИР ВАТТАР — И содрогнется земля... *(Роман. Перевод с арабского В. Шагаля. Послесловие Р. Г. Ланды)* 71

КАРЛО БЕРНАРИ — Горькая любовь *(Повесть. Перевод с итальянского Л. Вершинина)* 158

ВАН МИН — Стихи *(К 75-летию со дня рождения. Переводы с китайского Г. Ярославцева, С. Торопцева, А. Голембы, В. Швыряева. Предисловие В. Сорокина)* 191

Критика

Е. КНИПОВИЧ — «Малая» и «большая» родина Юрия Брезана 199

ГЕОРГИЙ АНДЖАПАРИДЗЕ — Утрата и обретение истоков (Дэвид Стори и некоторые явления в английском романе о рабочем классе) 205

Трибуна переводчика

Творчество — трудное, ответственное, необходимое 211

Культура и современность

Заметки на полях

Ю. Гусев — Художественное творчество и мировоззрение 221

Публицистика

Проблемы культуры, проблемы жизни

По страницам зарубежных изданий

ПЬЕР ГАМАРРА — Писатель, София, культура, мир *(Перевод Л. Лихачевой)* 226

ХУЛИО КОРТАСАР — Ответственность писателя *(Перевод с испанского Н. Матяш)* 228

ЭРВЕ БАЗЕН — Во что я верю *(Перевод с французского и вступление Льва Токарева)* 233

Антирубрика

ВУДИ АЛЛЕН — Воспоминания о двадцатых *(Перевод с английского Юрия Зараховича)* 245

Быль в глаза *(Публикация и перевод с польского А. Эппеля)* 247

ГАНС ВЕРНЕР РИХТЕР — Сражение у Кошачьего ручья *(Рассказ. Перевод с немецкого Е. Маркович)* 251

ФРЭНК САЛЛИВЕН — Признание *(Рассказ. Перевод с английского Виктории Костылевой)* 254

Наши гости

Л. Долгошева — Думитру Раду Попеску (Румыния) 257

В. Перехватов — Ассефа Гебре Мариам. Асфау Тефферра (Эфиопия) 260

Среди книг

Издано в СССР

А. Бочаров — Катастрофа по имени Успех ✦ Михаил Андраша — Когда говорит смех 262

Издано за рубежом

Путь к переводу. Олег Малевич — Максимальная точность или вольное подражание? Элисео Диего — Методом сотрудничества. Макс Эльброн — Как я стал переводчиком 266

Из месяца в месяц 272

Авторы этого номера 286

В номере публикуются цветные и черно-белые рисунки немецкого (ГДР) художника ГЕРХАРДА ШТЕНГЕЛЯ.

© «Иностранная литература», 1979 г.

ЯРОСЛАВ ИВАШКЕВИЧ

Горсть ивовых листьев

■

O, willow, willow, willow... *(Shakespeare)*[1]

1

О сосны как вы прекрасны в лунном сиянии
О сосны как вы прекрасны в инее

О как ты по-человечески грустно склонилась
ива

в снегу погребенная
потеребленная
зубами волков

как ты по-человечески печальна
плакучая ива
в снегу

2

Под этими стволами все мои могилы
Здесь сны мои мне снились осенни дождливы

Здесь луна калачами на камнях лежала
Здесь роса ночами боль мою остужала

Здесь листьями-словами застелю я ложе
под этими корнями сном забудусь тоже

Здесь в твоих медвежьих я укроюсь лапах
здесь втяну я в ноздри ивы горький запах

3

На гранитах Гарца пихтовый лес
на горах Оденвальда каштановый лес

на светлых песках еловый лес
по-над водой калиновый лес

в темных долинах пихты и ели
бодают борец[2] молодые олени

в лунных холстинах снежный лес
стоит сутулясь ивовый лес

[1] О, ива, ива, ива... (Шекспир)
[2] Цветковое растение семейства лютиковых.

© Jarosław Iwaszkiewicz, 1977.

4

Какой же может быть
ивовый лес?

Ведь ивы поодиночке
идут чередою

кортежем
или процессией

Тень ивового леса
чуть мглится серым

одиночные же деревья
движутся
черные

кортежем

5

Птицы на ветвях столпились
отряхают с листьев дождь
сели рядышком нахохлясь
союшка кукушка дрозд

Прелый дух листвы опавшей
пруд гниет и тлеет сад
но лежать мне здесь не страшно
я ведь этим листьям брат

Я цветам и птицам братец
ивам сын и вербам сват
рядышком сидят на ветке
бабка мать сестра и брат

6

Боль сердца гаснет
в глухом логу
одна ты ива
ждешь на лугу

Кружит желна
черным-черна
а ветка ивы
вокруг чела

рвет ветер листья
вновь ствол твой гол
ты одинока

а в сердце боль

7

Лозы голые без листьев
ветер в ветлах воет глухо

Страх берет всех кто не верит
в дремлющего в ивах духа

Ведь дух ивы дух свирели
в голых ветках ждет с надеждой
что он высвобожден будет
Мильдой или же Агнешкой

И тогда утихнет ветер
тишина обнимет иву
вербной тишине поверит
перезимовавший зиму

Губы голые приложит
чтобы дерево дудело
оба наги бог и дева
ивы девственное тело

8

Ивы
как клавиатуры

листья будто клавиши
колотятся
влажные
друг о друга

ива здесь в Стависко
ива Дездемоны

опустила руки
в воду

как я

9

(Из Джеймса Джойса)

Струны на земле
и в голубизне
сладко звучат

Струны над рекой
в зарослях ив

воздух звенит
над водой

ибо любовь везде
любовь в любом цветке
в густой и бледной
листве

В звуках такая сладость
что голова заплуталась
в ивовом сне

а рука блуждает по струнам
гитары

10

Три бабы ноябрьским серењким денечком
Шли себе куда-то ивовым лесочком

Три старые бабы их серые губы
Будто заклеены ивовым листочком

Бредут друг за дружкой стучат костылями
Рвут на опушке цветы под кустами

Рвут зверобой
Рвут мяту шалфей

Окликни старух сивухи налей

Оклей их стаканы листочком крапленым

Наполни им головы шумом зеленым

Пусть долгой дорогой ноги не трудят
Пусть лягут под ивами и пусть их не будят

11

(Из китайской поэзии)

Как эта ива
за городскими стенами

каждый кто уходил
веточку отломил
на память

Не возвратились друзья
не отрастают ветки

как мало осталось
людей вокруг
и ветвей на иве

которую безжалостный ветер
так треплет

Перевод с польского НАТАЛЬИ АСТАФЬЕВОЙ

■

ВИНЦЕНТ ШИКУЛА

Мастера

РОМАН

Перевод со словацкого НИНЫ ШУЛЬГИНОЙ

Плотники

1

Было их четверо: мастер и трое его сыновей. Люди их любили и охотно толковали о них. И начинались эти разговоры чаще всего так: «Как-то раз, когда Гульданы стелили кровлю...» Или: «Как-то раз, когда мастер и его сыновья ставили амбар...» Всегда почему-то называли амбар, сарай, кровлю, хотя поставили они уйму хлевов, курятников, оград, ворот и калиток, а то и собачью конуру им доводилось сколачивать, да стоит ли о том вспоминать — ведь хлев либо конуру смастерить может каждый.

Так вот: как-то раз, когда кончили Гульданы работу,— было уже пополудни, день стоял голубой, хозяин, подрядивший плотников, довольно обглядывал новый амбар и мял в кармане деньги, чтоб расплатиться,— у мастера осталось еще три толстых гвоздя; он показал их сыновьям, потом пощупал доски (все, однако, прочно держались) и под конец всадил гвозди в ту, что держалась прочнее других. И с громким смехом сказал: «Н-да! Посмотрим, кто теперь его разберет!»

Много с того дня поставили они амбаров и сараев; некоторые стоят и поныне, пожалуйста, можете прийти поглядеть на них, а при желании и доску отодрать. От одной доски никому убытка не будет.

Но с доски все начинается. Придет тот, кто любит в чужой амбар заглянуть, оторвет доску, потом другую, и, глядишь, амбару каюк.

А в оные времена амбар был в особом почете; ни один справный крестьянин не мог без него обойтись. Оттого люди и уважали Гульданов. Гульданы были знаменитые плотники.

Молва о них неслась повсюду; слово слово родит, из уст в уста само бежит, у иного в зубах застревает, никак он его не вытянет, потому и ковыряет в зубах, мозги напрягает, губы кривит, языком ворочает, разглагольствует, умничает; а кое-где, к примеру, за спиной либо в сторонке, но всегда чуть поодаль, умничанье обернется зубоскальством, а то, пожалуй, и завистью; некоторые люди, известно, горазды зубоскалить да завидовать. Уж очень завидовали рвению Гульданов в работе, а вот ловкости — поменьше, ибо ловких людей

© Vincent Šikula, 1976

на свете пруд пруди, и почти все они знают о себе, что ловкие, да вот только не хотят эту ловкость испробовать, делают все кое-как, шаляй-валяй, а потом злятся, что о них не говорят; или говорят, да не так, как им хочется; все-то им кажется: то да се, пятое-десятое следовало бы еще добавить о них, уточнить, зарубить в памяти, но ведь прежде, чем зарубить, пришлось бы кое-что из памяти и выкинуть.

Да, так о чем это мы?

Тут в авторе заговорил кибиц[1]. Вы себе и представить не можете, сколько во мне этих подсказчиков, и у каждого из них за спиной по меньшей мере дюжина таких же шептунов; их во мне тьма, они теребят, подстрекают, донимают меня, без устали кричат: «Конкретнее, давай конкретнее!»

Ну, скажите, друзья, чего там конкретнее? Разве мы плохо знаем друг друга? Коль известно, что на поле родится,— значит ясно, что в кладовке хранится.

Вот так — слово за слово, глядишь, и роман получится, потом, может, рецензия, а там и детишкам на молочишко...

Ну и копеечник! Это кто же, я? Да ведь от этой конкретности человеку иной раз тошно делается.

Знаешь ли ты, дорогой читатель, что такое кукуруза? Это то, что можно есть, а можно и жрать.

Боже правый, вот мы уже и поле, и кладовую помянули! Тьфу ты, у нас же еще и фундамента нет! Какого фундамента?! Да вы, пожалуйста, не прикидывайтесь простачками! Гопля! Вот и готово!

Песку!

Чего?

Ну песку! Ты что, балда, не знаешь, что такое песок?

А, ясно! Песок для дома можно накопать за деревней в карьере, а если надо поменьше, натаскать из ручья и — живо за дело, биксардские известники! [2]

Известки, известки, изве-ее-стки!

Известки, раствору, кирпичей и прочего.

А нет ни денег, ни времени, ни мотыги, вспомним, у кого они есть, ведь и первое, и второе, и, конечно же, третье (под мотыгой кибиц подразумевал песок, точнее — песок из ручья) можно украсть, лучше бы без свидетелей, а то и при них — одинаковые интересы или сходные взгляды на вещи сближают людей...

Эй, кровельщики, пошевеливайтесь!

2

Село, где жили Гульданы, прозывалось Околичное. Деревню с подобным названием можно найти и на карте, да стоит ли утруждаться! Ведь кроме названия у этих двух деревень нет ничего общего.

Мастер был по всем статьям мастер — мы же знаем, как порядочный мастер должен выглядеть. Ходил он чуть сгорбившись, но чему удивляться! Попробуйте-ка свяжите два топора: один, к примеру, обыкновенный плотничий, а другой — тесло, перекиньте через плечо, потом свяжите еще два, перекиньте через другое — вот и увидите,

[1] Болельщик, советчик при игре в карты, шахматы и т. п. *(Здесь и далее — примечания переводчика.)*

[2] Деревня Биксард в Западной Словакии в прошлом славилась производством извести.

что с вами станется! Да еще и годочки! У старшего сына, Якуба, за плечами уже было три десятка. Средний, Ондрей, был четырьмя годами моложе. Младший, Имрих, тоже уже отсолдатствовал. Словом, это были уже здоровенные лбы, или, если угодно, парни в самом соку. Они умели чертить и считать, довольно сносно разбирались в статике. Ондрей — чуточку меньше, но зато был сильнее братьев, лучше их умел наточить пилу или топор. Мастер обычно так хвалил его работу: «Это дело терпения требует».

Пока мастер был молод и не женат, стало быть, еще до того, как стал мастером, он немало побродил по свету и порядком всего нагляделся: сперва был учеником, потом подмастерьем, потом солдатом, а как из солдатчины домой воротился, нашел девку на выданье, и свет сразу же для него сузился, хотя ему-то казалось, что свет расширился и дальше будет все шире и краше. Родился у него сын, потом другой, третий, и мастер каждый раз свою жену обнимал, целовал и с радости напивался, смеялся, песни распевал, прыгал по дому и вокруг дома, а в теле ощущал силу и легкость необыкновенную, словно у него выросло множество ног и он может сразу разбежаться во все стороны, словно со всех сторон к нему спешит счастье. Выскочив на улицу, он кричал всем прохожим: «Мастер родился! Мастер родился!»

А когда четвертый сын собирался появиться на свет, жена вдруг занемогла, помучилась недолго да и померла. И унесла с собой нерожденного сына.

Мастер был очень несчастен. Долго не мог опомниться — все бродил по дому, разговаривал сам с собой, заговаривал и с вещами, которых жена часто касалась; разглядывал пяльцы с недошитой скатертью, гладил шаль, взял потом со стола календарь, дважды раскрыл и закрыл его, не зная, куда положить. Он с интересом брал в руки и другие вещи, до которых ему раньше не было дела, поди, думал, что можно и без них обойтись: всякие тряпочки и лоскутки, портняжьи ножницы, магнит, облепленный булавками — какие с обыкновенными, какие с разноцветными головками,— забавные подушечки с нашитыми пуговицами, различные нитки, пеньковые и шелковые, клубки и моточки мулине, иголки, крючки, сантиметр... Вдруг он огляделся и очень удивился! Вокруг него ходили люди, он не заметил, когда они вошли, и ему показалось, что ведут они себя как-то смешно — друг перед другом опускают глаза, переговариваются шепотом, будто бы открывают что-то таинственное, чего он не знает, но ужасно хотел бы узнать. То и дело кто-то к нему подходил, протягивал руку, что-то бормотал, но от этих слов мастеру было мало проку. Казалось ему, что все говорят только затем, чтобы его обмануть. Он вглядывался в лица, хотел по ним что-либо понять, но люди были так осторожны, еще ниже опускали глаза, словно чувствовали какую-то вину за собой. Он перестал слушать, замечать их. Глаза его блуждали, он искал сыновей, поняв, что только с ними получится разговор. Нашел их во дворе. Сыновья стояли рядом и молчали. Он подошел к ним, хотел что-то сказать, но слова никак не шли с уст. Старшему он положил руку на плечо и с трудом выдавил: «Кубко!» Потом обратился к среднему: «Ондришко!» Нагнувшись к младшему, долго гладил его по голове. И дважды сказал: «Имришко... Имришко..!» А на большее сил не хватило. Он отложил разговор. Продолжил его лишь на следующий день; чтобы утешить сыновей — а может, и себя утешить хотел,— наобещал им с три короба, понастроил всяких планов; что ни день их улучшал, беспрестанно толковал о них и расписывал радостное будущее.

А потом мастер запил. Каждый день приходил домой пьяным. Да, дела у них теперь пошатнулись. Еда никудышная, а то и вовсе никакой: сготовить некому, случалось, и не из чего. Смерть жены выбила мастера из колеи. Иной раз, правда, он немного опомнится, придет домой, стукнет кулаком по столу и весело крикнет: — Ребятки, я клад нашел! Да вот не знаю, куда его спрятать. В кладовку, что ли? Или в горницу? Ондришко, Кубко, ну-ка выройте яму. И уж пожалуйста, ребятки, выройте яму на совесть.

А потом, когда, бывало, есть нечего, когда в доме были одни пустые горшки — из щеп похлебки не сваришь,— сыновья переглядывались меж собой и поддевали отца: — Тата, а где ж этот клад? Принес бы оттуда хоть малость. Либо скажи, где искать его.

— Я-то знаю, где он,— ухмылялся Ондрей. Хоть тяжелодум был и ворочал мозгами всегда бережно, потихоньку, но когда заговаривали о кладе, тотчас находился: — В шинке. Тата отнес клад в шинок.

— Ну хватит! — злился мастер.— Не желаю больше и слышать о кладе!

Но о кладе еще долго говорили. Иной раз и ночью, даже чаще всего ночью, когда каждое слово можно было растягивать...

Мой клад золотой
Зарыт далеко,
То конь вороной
Зарыл копытцем его
Глубоко, глубоко...

На край света пойду,
Яму вырою,
На край света пойду,
Клад заветный найду.
Домой ворочу, домой ворочу.

Когда-никогда приходил навестить мастера жестянщик Карчимарчик. Старый холостяк и большой охотник поговорить. Но мастер любил его. Если в Околичном кто-нибудь слишком умничал и людям хотелось поднять его на смех, достаточно было сказать: «Умен, как Карчимарчик». Или: «Речист, как Карчимарчик». А хотели высмеять двух или трех говорунов, заявляли: «Мудруете, словно Гульдан с Карчимарчиком».

Некоторые пересмешники утверждали даже, что Гульдан с Карчимарчиком ведут разговор с продолжением, язвили, будто каждая их встреча начинается так: «Я вот еще что хотел сказать...» Или: «Ты вчера вот что сказал...» Или: «Напоследок ты сказал то-то, а мне бы надо тебе сказать то-то и то-то».

— Слышь,—упрекал мастера Карчимарчик.—Сдается мне, ты здорово перехватываешь. Говорю тебе откровенно. Горе твое прошло, пьянство тебя одолело.

— Что ты этим хочешь сказать?

— А то, что сказал.

— Ты чего меня оскорбляешь?

— Кто тебя оскорбляет? Сам ты себя оскорбляешь. Если не бросишь пить, ноги моей у тебя больше не будет. Твои сыновья и те на тебя злобятся.

— Не мели вздор!

— А не так, что ли?

— Нет. Я только с Якубом поругался. Лучше и не говори о нем!

— Ан буду говорить. Я держу его сторону.

— Знаешь, что он мне сказал?

— Правду сказал. Ума-то тебе не занимать стать, а волю всю растерял.

Оно так и было. Мастер на самом деле вздорил с Якубом. Чуть не каждый день они перебранивались. Но и это прошло. Ребята выросли, выучились ремеслу и скоро наладили знаменитую плотничью артель. Мастер ею очень гордился.

— Теперь бояться нам нечего,— говорил он, когда бывал в добром настроении.— Положитесь на меня, увидите, ежели так дело пойдет, работы у нас будет невпроворот, ей-богу, столько, что хоть разорвись. И когда-нибудь взойдем мы с Ондро на этакую высоченную стройку, семь-восемь лебедок возле нас будут поскрипывать. Бог ты мой, ох и перевязки мы там отрохаем!

3

Мир (ну что такой жалкий писака, как я, может знать о мире, что он может миру подсказывать?) хмурился. Надвигалась война. Войны на свете были испокон веку и поныне бывают. Но тогда людей и впрямь охватило истинное безумие. Весь мир осатанел и взъярился.

— Худо, ребята! — сказал мастер.— Когда генералы начинают интересоваться архитектурой, людям всегда худо!

Время от времени заглядывал мастер в газеты, и впечатление от прочитанного жило в нем несколько дней. Когда сыновей не было дома, а на него нападала охота поговорить, он заходил к соседу или кричал ему через забор: — Сосед, загляни, потолкуем малость!

Обычно приходили двое соседей и устраивали вместе с ним триумвират, в котором никогда не было единства. Каждый защищал свою точку зрения и предпочитал играть первую скрипку. Оба гостя слыли людьми просвещенными. Один доказывал свою просвещенность тем, что постоянно ругал венгров; он до бесконечности твердил, как венгры тысячу лет нас притесняли. Человек с нервами послабее, пожалуй, не выдержал бы. Но мастер к разговорам соседа привык. Только иногда и в нем просыпалась охота маленько попритеснять жалобщика.

Другой гость был мягкого нрава. На венгров не злобился. Тысячелетие им простил. Однако слегка обижался на чехов.— Конечно, не на всех,— говорил он.— Даже на чехов я не могу обижаться, я же социал-демократ. Пусть всем людям будет хорошо. Пусть во всем мире будет демократия. Только вот некоторые чехи, заядлые материалисты, думают лишь о мамоне. Они за социализм но только лишь для себя.— Под словом «материализм» сосед разумел имущество и деньги. Демократию и социализм тоже понимал на свой особый манер, отчего мастер — хотя и ненадолго — приходил в радостное удивление, а то и в восторг.

— Сосед, любо-мило послушать тебя,— смеялся мастер и добродушно хлопал приятеля по плечу.— Жаль только, в твоих речах — ни складу ни ладу. Не смыслишь ты в этих делах,— вертел головой мастер.— Чепуху мелешь.

— Я мелю чепуху? — обижался гость.— Венгры тысячу лет шпыняли меня, чтоб не сказать хуже! Целых тысячу лет!

Мастер с улыбкой: — Да что ты? Тысячу лет тебя мытарили?

— Конечно. И отца моего. Что тут смешного? Мой тата всю жизнь отдувался за свои взгляды.

— А мне Батя задал жару,— роптал социал-демократ.

Первый же молол все свое: — Прежде не было столько словаков, как нынче. Нынче любой выдает себя за словака. Прежде их была только горстка. А остальные где были? Скажите!

Мастер, повернувшись к социал-демократу: — Сосед! Мы где были?

— Где были? В Вене. Там я учился на башмачника.

А как-то старословак заявил, что один субчик переписал всех правоверных, допереворотных[1] словаков, и получилась отличная книжица...

[1] То есть до образования в 1918 году буржуазной Чехословацкой республики.

Вот это ловко! Возьмете книжицу и, пожалуйста,— в ней целый народ. Можете народ засунуть в карман.

А нашлись и такие, что целый народ уместили на одной-двух книжных страницах.

Выходит — как говорится в том анекдоте,— всего-навсего было двое словаков: «Токмо я да Флориш».

4

Карчимарчик сказал мастеру: — Слышь, Гульдан, жениться бы твоим сыновьям.

— Вот и женись, и ты ведь холостой.

— Я не о том. Не обо мне речь. Им надо жениться, иначе упекут их на фронт.

— Пускай женятся. Я им не помеха.

Конечно, всем троим его сыновьям было в самую пору жениться. Мастер понимал это и сам не раз о том говорил. Одного лишь боялся: чтобы, женившись, не разбрелись они в разные стороны и не очутились далеко от дому — тогда конец их совместной работе. Он был убежден: распадись их плотничья артель и возьми он других подмастерьев, они вряд ли заменят ему сыновей.

Все открылось мастеру случайно. Однажды, когда они плотничали, Гульдану понадобилось укрепить на кровле какой-то столбик, а для этого нужна была стальная полоска. Он хотел было послать за ней кого-нибудь из ребят, но потом сам подошел к лестнице, спустился вниз и с минуту рылся среди всяких болтов, хомутиков, полосок и тяг. К лестнице подошел и Якуб, но не спустился по ней, а направился по мауэрлату к угловому выступу — там Ондро прибивал затяжки. Якуб огляделся и, нагнувшись к брату, что-то шепнул ему на ухо.

Дул слабый ветер, и мастеру вдруг почудилось, будто ветерок что-то донес до него. Ничего такого определенного, но мастер озадачился. О чем они могут шептаться? Он метнул на них взгляд и снова нагнулся к деревянному ящику, хотя оттуда достал уже все, что требовалось. Навострил ухо. Ветерок все еще доносил что-то, но теперь уже совсем ничего нельзя было разобрать.

Чуть погодя мастер снова поднялся на кровлю, думал спросить сыновей, о чем это они толковали, но по тому, как Якуб отскочил от Ондро и как тот углубился в работу, понял, что правды ему не узнать.

Случилось самое худшее. И кругом виноват был инженер Лацика. Однажды пришел он к мастеру и сказал: — Гульдан, у меня для тебя работа.

— А где? Близко?

— Близко. За Трнавой.

— Где за Трнавой? Может, в Нитре? В Нитру или во Фраштак я не пойду.

— Не бойся. Работа что надо. Школу будем строить.

Деревня — карту снова в сторону! — называлась Плавеч. Ехали туда сперва поездом, потом еще изрядный кус топали пешочком.

Имро уже дорогой скис.— Тата,— говорил он отцу,— зачем туда тащиться? Неужто дома работы мало?

— Ладно, Имришко, коль подрядились, как-нибудь выдюжим.

5

Хорошее было село. Хорошие дворы и дома, в садах много цветов и зелени. Перед каждым домом — липа или орех. Других деревьев, пожалуй, и не было. От двора можно было сбегать к гумну, где у каж-

дого вдосталь росло овощей и бобовых, особенно если учесть, что кое-кто захаживал и на соседское. В загуменье водилась слива, кое-где абрикос или яблоня, но какое нам дело сейчас до деревьев?!

Посреди села корчма, чисто хоромина, такой, поди, ни в Братиславе, ни в Трнаве не постыдишься.

А школа — что и говорить, обхохочешься, держите меня, не то упаду! Детишки, правда, были понятливые, уж так рвались к знанию, как только дети и могут к знаниям тянуться и рваться.

Да, о чем это я? Так вот, как-то раз, думается, незадолго до четырнадцатого марта[1], учитель разучивал в классе хоровую декламацию, и вдруг школу начало распирать. Черт возьми, что происходит? Откуда-то сюда дует! «Боже милостивый,— учитель в панике,— школа-то уже и трещит! Дети, живо отсюда!»

Так ничего и не разучили. Четырнадцатое марта пошло псу под хвост. Деревенские попрекали учителя. Учитель обозлился, ну совсем остервенел и под конец поднял на ноги всю деревню. Жители пошептались да и послали в район депутацию с заявлением, что им-де нужна новая школа. В районе все завздыхали, заохали. Какое-то время — неделю, а то и месяц — звонили куда только можно, даже и до министерства дошли, но там телефон оказался испорченным. Кто-то сходил туда, устроил скандал. «Не валите на телефон! Вам что, для такого важного дела телефон требуется?! Такие дела решаются без телефона». Началась волокита. Тянулась долго. Наконец одна умная голова решила: «Дадим им денег, не то они с ума нас сведут. Пускай себе строят новую школу. По крайней мере будет спокойно!»

Начали строить. Работа шла как по маслу. Каменщиков и плотников только что на руках не носили. Якуб сказал братьям: — Мне бы тут какую деваху найти.

И нашел. Целых двух. Одну уступил Ондрею. Девчата были стыдливые, а может, чуть притворялись.

Погуляли-погуляли, а смерклось, Якуб и спросил:

— Девчата! Как вам нравится новая школа?

— Какая там новая? Ведь она еще не готова.

Ондро почти что обиделся.— Ну и что? Разве мало там понастроено?

Якуб предложил: — Давайте сходим посмотрим, по крайней мере увидите, что там да как.

Направились к новой школе.

— Темно уже,— сказала та, что была постыдливей.— Зачем нам туда? Все равно ничего уже не увидим.

— Юлка, никак ты боишься? — спросила ее подружка, Марта.

— Чего ей бояться? Тут у меня спички.— Якуб загремел спичечным коробком и потянул свою девчонку дальше, объясняя: — Вот кирпичи, там песок, а это цемент, а вон там белое — известка. Осторожно, леса! — Он сжал ее локоть.— Ондро, спички есть?

— Угу.

Якуб не переставая молол: — Ну и вечер нынче, слышите, какой воздух? Ох и потеха была вчера: кто-то вылил раствор, наш Ондро поскользнулся да чуть было не свалился с лесов. Ондро, так оно?

— Угу.

— Только бы мне не упасть,— испугалась Юлка, хотя Ондро ее и поддерживал.

---

[1] 14 марта 1939 года сепаратисты — «людаки» при поддержке Гитлера провозгласили «самостоятельное» Словацкое государство». В тот же день войска фашистской Германии пересекли чехословацкую границу и оккупировали Чехию и Моравию.

— Скажи: «Не дай, господи, нам упасть!» — посоветовал Ондро.— И отчего это все женщины боятся лесов?

— Как здесь хорошо! — раздалось над ними.

— Марта, ты где? — В Юлке рос страх.— Зачем вы поднялись так высоко?

— Не кричи, Юлка! Чего боишься? Гляди, Кубко, вон там, за Трнавой, что-то блестит.

— Ага. Вижу. Ондро, ступай в учительскую! А мы пока в кабинет заглянем.

— Не дай, господи, нам упасть! — раздалось внизу.

Якуб с Мартой вошли в помещение, заваленное досками и бревнами, может, там и правда в будущем предполагался географический или природоведческий кабинет, но пока над головами белели только балки недостроенной крыши. К запаху известки примешивался запах смолы. Якуб... Но лучше оставим их в покое! Они для того и пошли в кабинет, чтобы им никто не мешал.

Ондрею не повезло. Он завел Юлку в один из классов, потом в директорскую, где они споткнулись о какое-то ведро. Он то и дело пытался обнять ее, но всякий раз она вырывалась. В учительскую Юлка не хотела даже и заглянуть, хотя это было уже вполне приличное помещение.

Они ушли со стройки. У Юлки улучшилось настроение. Каждую минуту она повторяла фразу, которую подхватила от Ондрея и которую обычно произносят жестянщики, плотники, кровельщики, а то и другие ремесленники, когда им приходится восходить на какое-нибудь высокое здание:

— Не дай, господи, нам упасть!

6

Когда на другой день братья вышли из дощатой сторожки, где ночевали, на небе уже светило солнышко, и они улыбались друг другу, смеялись, зевали, обменивались впечатлениями. У Якуба они были чуть побогаче.

Неподалеку оказался и Имрих. Он стоял у бочки с водой и умывался.

Якуб спросил его: — Как дела, бука? Как спалось? Ну, было что-нибудь, было?

Имро повернул к ним мокрое лицо и весело засмеялся: — А чего должно было быть? Было, конечно. Мы с татой маленько выпили.

Когда он потом прошел мимо братьев, пахнуло от него свежим холодком и водяные капли заблестели в утреннем солнце. Он пошел в дом обтереться.

Имро был знаком с одной девушкой. Старое было знакомство. Девушка жила в Околичном. Звали ее Вильма. Было ей всего восемнадцать. Имро, надо признать, до сих пор по отношению к ней не позволял себе лишнего. Рад был, что может с ней хотя бы кой-когда повидаться. Вильма была стройная, черноволосая, на лице веснушки, но веснушки так щедро усеивали ее, что сливались в один сплошной слой, трудно отличимый от смуглой кожи, и, пожалуй, даже красили Вильму. Она и зимой казалась всем загорелой. Голос был звонкий, но мягкий, словно бы смуглость лица перешла и на голос и, чуть окрасив его, приглушила. Одним голосом она могла легко покорить человека, покорила и Имро, но особо сблизиться с ним не хотела. Имро из-за этого немножко досадовал, но ни с кем о том не делился. Вильму любил, так зачем же говорить братьям? Тем более братьям она, может, и не понравилась бы. Он и словом никогда о ней не обмолвился;

ему доставляло радость, что он может молчать о том, о чем охотней кричал бы.

— Кажется мне, что он чересчур порядочный,— сказал о нем Якуб.— Надо бы нам его образумить маленько.

— А плевать на него,— сказал Ондро.— Больно на тату надеется. И вообще-то... Сегодня никуда не пойдем. С вечеру сразу и ляжем.

Но вечером они снова вышли на улицу. Имро тоже с ними пошел, но предупредил их заранее, что хочет лишь немного пройтись. Знал, что братья должны встретиться с девушками, вот и не хотел быть пятым колесом в телеге.

— Хочешь,— сказал Ондро,— я тебе свою малявку уступлю.

— Оставь ее себе! Я лучше пойду пива выпью.

Вскоре он от них оторвался.

Якуб крикнул ему вдогонку:

— Боишься в пекло угодить!

Девушки явились в хорошем настроении. Особенно Юлка была весела. Развеселила и угрюмого Ондрея. По любому поводу давились от смеха. Их, наверно, за версту было слышно. На другой день даже Имро сказал братьям: — Ну и гоготали вы там вчера.

А чтобы уж вволю насмеяться, иногда и Марта вставляла словечко, и это тоже было впопад.

Но прошло четверть часика, и Ондро показалось, что с разговорами пора закругляться. Если тратишь время на разговоры, так хоть имей что-нибудь с этого. А какой толк от такой бабы, как Юлка? Все хихоньки да хаханьки, а как до дела дойдет, сразу ни-ни, не дает даже и дотронуться до себя. Право, это не товар для подмастерья.

Марта была посмелее. Ондро казалось, что и ни к чему ей быть такой смелой. Она прямо вешалась на Якуба и лезла к нему после вчерашнего со всякими докуками. А Якуб — малый не промах! — будто и не замечал ее, все внимание уделял Юлке.

«Бери их обеих,— злился Ондрей.— Бери их, и проваливайте хоть к черту на рога!»

Так или эдак, а Якуб и в самом деле выкинул такое, чего Ондрей не ожидал. Взял да и отошел с Юлкой в сторонку — будто что-то шепнуть, а увидев, что она послушно идет за ним, потянул ее дальше.

Что тут скажешь? Ну не бесстыдник ли этот Якуб? Да и Юлка могла б постыдиться. Неужто они хотят улизнуть?

Ондро с Мартой глядели им вслед, потом обменялись взглядами-гримасами.

Завечерело. Небо затянулось тучами. Вдали время от времени что-то поблескивало.

Ондро с Мартой прогуливались по деревне, оба были не в духе, даже разговор не клеился. Злились на Якуба.

— Слышь, Марта,— ворчал Ондро,— ну и околпачила нынче нас эта парочка! Мне-то ладно, а все равно не дело. Якубу я не спущу.

— Я знала, что так будет.

— Думаешь, я нет? Но твоя подружка тоже показала себя! Я еще вчера вечером по ней это видел. Еще вчера у обоих на лице все было написано.

Марта пыталась защитить подругу: — Ондро, это не Юлкины выдумки. Юлку я хорошо знаю. Это Якуб виноват, очень он легкомысленный. Только не говори ему.

— Думаешь, я Кубо не знаю? Но и подружка твоя хороша.

— Ондро! — сказала Марта чуть погодя.— Чего ради мы тут остановились?

— И впрямь, чего нам тут стоять? Можем еще немного пройтись. Если хочешь, провожу тебя домой.

Они сделали несколько шагов. Вдруг Ондро остановился: — Куда мы идем? Чего нам спешить? Тебе хочется домой?

Марта немного поразмыслила.— Да вроде не очень.

— И мне пока не хочется спать. Знаешь что? — Он коснулся плеча Марты.— Пойдем заглянем в учительскую!

Они подошли к новой школе. Под ногами у них заскрипели комки сухого раствора.

— Обожди, Ондро! — Марта остановилась.— Давай лучше вернемся! Я передумала.

— Чего передумала?

— Вернемся! Я что-то боюсь.

— Не дури, Марта! — Он тянул ее дальше.— Вчера вечером небось не боялась.

— И вчера боялась. Не сердись, Ондрей! Я знаю, что виновата. Не хотела бы, так... Сама не знаю, зачем сюда шла.

Ондро обнял ее, но она оттолкнула его, пытаясь высвободиться.— Ондришко, прошу, отстань от меня!

— Марта, не дури! — Он тяжело дышал ей в ухо, потом в лицо, хотел поцеловать ее.

— Ондро, нет! Опомнись, Ондро!

В нем все загудело.— Ну хватит! Разозлюсь, тогда узнаешь. Зачем сюда лезла?

— Ондришко, отстань от меня! Прошу тебя, не сердись! Ондришко, ведь я вчера... с Якубом...

Он стал грубо ее раздевать.

— Отстань от меня! Уйди! — Она оттолкнула его, но и это не помогло.— Закричу, вот увидишь.

— Ты и так кричишь! Не зли меня! — Он срывал с нее одежду.— Не дури! А чтоб тебя! — Он вдруг влепил ей затрещину.

Она грохнулась наземь. Ондро с минуту постоял над ней, а когда она шевельнулась, пнул ее в бедро, нагнулся к ней: — Все равно заполучу тебя!

И тогда Марта отчаянно закричала: — Убей меня, гад! Убей меня! Все равно, пусть подохну... Курва я, а насильничать над собой не дам... Скотина!.. Скотина!.. Все равно, пусть подохну!..

А мимо как раз шел один человек, остановился, прислушался.— Опять кто-то подыхает! — Он засмеялся злорадно и в веселом настроении побрел дальше.

7

Новую школу они ставили почти всю весну и половину лета. В июльские сумерки, когда повсюду кипела жатва, возвращались домой; до Церовой доехали поездом, а оттуда до Околичного шли пешком. Все четверо были под хмельком и еще тянули из бутылки, смеясь и покрикивая друг на дружку.

— Ладно гоготать вам, молодцы, не шумите,— мастер шутливо одергивал сыновей.— В мире война, люди гибнут, а вы гогочете как полоумные! Могут и осерчать на нас.

— Брр! — передернулся Имро.— Видел ли кто когда, чтобы в такое пекло хлестать сливовицу?!

— Дай сюда! — Ондро выхватил бутылку.— Я выпью.

— Еще бы не выпил! — Имро отобрал бутылку и отдал ее Якубу.

Якуб отхлебнул, протянул отцу, и тот прикончил ее.

Еще минуту-другую они дурачились, потом Якуб сказал отцу, что надумал жениться.

Мастер решил обратить все в шутку.— А мне-то что? — сказал он.— Женись, Кубко, ведь ты уже много раз женился! — потом нарочно повысил голос и закричал громче, чем требовалось: — Эй, подручные, сюда! Свадьба!

Дорогу перебежали куропатки. Имро бросился было за ними, но куропатки взмыли ввысь и большим полукругом отлетели к сосновому бору.

— Тата, я не шучу, я ведь и впрямь хочу жениться. Есть такая девушка Юлка. Я недавно с ней познакомился.

— Как знаешь, Кубко. Ты, чай, не маленький, разума тебе не занимать. Приспичило — женись, по крайней мере в доме будет сноха.

Но Якуб поправил отца, сказал, что не собирается привозить невесту домой, в Околичное, а что после свадьбы он, Якуб, решил из дома уйти.

Мастера даже подбросило.— Да ты что, Кубко, спятил? Будь это правда, я бы и на свадьбу к тебе не пришел.

— Тата, я бы очень расстроился, кабы ты на свадьбу мою не пришел. И все же заверяю тебя, я серьезно. Так мы с Юлкой договорились...

— Ну и дела,— мастер махнул рукой.— С Юлкой договорился, а мне и слова не сказал. Только сейчас взял да брякнул, ошарашить решил. Я эту Юлку не знаю, но думаю, девка молодая, само собой замуж охота. Все в порядке вещей. А отчего бы ей не приехать сюда? Коли замуж загорелось, пускай приедет к тебе. Пускай перебирается в Околичное.

— Да не захочет она.

— Отчего же? А ты спрашивал? Не болтай, Кубо, не болтай пустое! Поглядел бы я, как бы мне жена еще до свадьбы стала приказывать. Ты уже старый осел, а разума ни на грош. Ну женишься, а потом что? Скажи, потом-то что будешь делать? Мне что так, что эдак, все одно, уезжай хоть сегодня, как-нибудь без тебя обойдемся.

— Зачем же тогда серчать? Ничего ты не понял. Я не хотел тебя злить. Ей-богу, чудной ты. Ты меня все ребенком считаешь, а я уже не ребенок. Знаю, что делаю.

— Дурнем тебя считаю, а не ребенком. И слышать не желаю о той деревне. Плевать мне на ту деревню. Дома живи. Да с женой. Одумайся, Кубо, иначе мы с тобой не столкуемся!

Но Якуб не одумался. А скоро открылся и Ондрей. Объявил отцу, что и он хочет жениться и после свадьбы тоже намерен уехать из Околичного.

Ондро решил жениться на Марте. Любезного читателя, конечно, это удивит. И Марту удивило.— Не утруждай себя, Ондро,— говорила она ему.— Знаешь небось, что ты у меня в печенках сидишь. Как бы ты меня не морочил, все равно уже никогда тебе не поверю.

— Ясно, Марта, сердишься на меня,— каялся Ондро.— Сердишься, мне и не дивно. Конечно, знаешь меня только с дурной стороны. Верно, думаешь, что я хам, я и есть хам, да не всегда! Ей-богу, Марта, не всегда! Во мне есть и хорошее. Может, я и не такой плохой, как ты думаешь. Если пойдешь за меня — поверь мне, Марта, правда, поверь,— не пожалеешь! Вот увидишь!

— Да ты что! Как только в голову тебе пришла такая чушь? Ондро, я даже слышать о тебе не могу.

— Думаешь, я удивляюсь? Ей-богу, Марта, я ни чуточки не удивляюсь. Но все же поверь мне. Иной раз я грубый, а так редко кого обижу. Не знаю, что тогда на меня накатило. Лучше бы по морде сам себе съездил. До смерти буду мучиться, что так плохо с тобой обошелся. Не серчай, Марта! Одно скажу тебе: не пойдешь за меня, промашка получится! Еще жалеть станешь, а я из-за этого буду казниться. Ужас как буду казниться! Ты, может, не согласна со мной, но думаю, мы очень подходим друг другу. Ей-богу, Марта, очень подходим!

Он раздражал Марту. Но при этом она дивилась его настырности. Долго не могла решиться: «Что с ним делать? Если не пойду за него, он так и будет все время таскаться за мной и докучать мне».

А немного погодя она рассуждала уже по-другому: «Вроде бы он и впрямь неплохой. Да и я не без греха. Может, не так он и провинился передо мной, а если и провинился, то это и моя вина. Почему бы не простить ему? Пожалуй, я не очень-то и сержусь на него».

Ондрей приходил к ней каждую неделю, и Марта привыкла к нему. Чудные эти женщины! Чего только не простят нам, не спустят. Иной раз и признать не хотят, что мы их обидели. Чего только не доводится им от нас вынести, а они немного всплакнут, и опять все в порядке; с плачем своим особо не носятся, так как надеются на будущее: вдруг и им выпадет какая-нибудь радость, и они утешатся ею, потому как умеют и маленькой радостью утешаться. А и рассердятся, то ненадолго, часто собственные слезы их только и сердят. Даже в горе они находят смешное, бывает, что и посмеются над своими слезами.

Вот оно как! И Марта такая. В один прекрасный день она говорит Ондро:

— Ладно, Ондришко, пойду за тебя. Только из дому не уйду. Знаешь, если бы я из дому ушла, я бы тебя, наверно, и забоялась.

— А чего тебе из дому уходить? Я дал промашку, я ее и исправлю. Теперь тебя буду слушаться, Марта, одну тебя. Я тут с Якубом толковал, он тоже хочет из дому уйти, вот и уйдем вдвоем...

Мастеру от этого мало радости. С виду все вроде по-старому. Хаживают вместе каждый день на работу, а случится речь о женитьбе, мастер старается сыновей урезонить, да где там! Разговоры раз от разу чуднее, даже как бы язвительней.

— Как думаешь, Имришко,— выпытывает мастер у младшего,— это они серьезно говорят? Или хотят меня только позлить?

— Не знаю, тата, но скорей всего, что серьезно.

— Коли так, то оно гораздо серьезней, чем ты думаешь. Догадал же нас черт связаться с этой школой, Имришко!

8

Как-то раз они снова ставили амбар; на нем уже высилась крыша, связанная лежнем, стойками и подкосами и оседланная длинными стропилами; Имрих сидел на прогоне, стало быть, на гребне крыши, которую надо было еще обрешетить, обшить досками и покрыть черепицей, и невзначай заметил, что между отцом и Якубом закипает ссора. Он знал: чем дольше она разгорается, тем злее будет.

День стоял жаркий, но с приближением вечера похолодало. Голубое небо еще не померкло. Только с запада занялось желтым, а потом и розовым отсветом. Над садами, богатыми урожаем дозревающих слив и яблок, сновали ласточки; поминутно какая-нибудь прошныривала между стропилами недостроенного амбара, где под водостоком уже ближайшей весной найдется место для глиняного гнезда, выстланного травинками и мягким пушком.

Мастер, весь в поту, тревожно озирался, приготовившись к наско-

кам Якуба. Их, конечно, и отвести было бы можно — все равно в такое время обычно кончали работу, но нынче, когда Якуб уже битый час бездельничал, это могло бы показаться уступкой. Мастер решил, что они не уйдут, покуда не объяснятся. Уставившись на старшего сына, он пробуравил его глазами и сказал: — Якуб! Тут только один из нас должен распоряжаться!

Якуб чуть было не взорвался, но под взглядом отца овладел собой.

— Вот ты и распоряжаешься.

Ондрей, словно только сейчас поняв, что происходит, прекратил работу.

— Взялись бы как следует,— сказал мастер,— могли бы и сегодня управиться.

Якуб понурил голову, потом поглядел на среднего брата — у того почему-то плохо прикуривалось.

Имро улыбнулся.— На, держи! — И бросил Ондро спички. Ондро поблагодарил его взглядом, закурил.

— Завтра докончим,— сказал Якуб, и прозвучало это так неприязненно, что мастер осмотрелся — нет ли кого случайно поблизости, не слышит ли кто. Хорошего мало, если люди прознают, что между мастером и его подмастерьями нету согласия,— каждый самоуправничает, как ему вздумается.

— Якуб, не о том речь.— Лицо мастера немного нахмурилось. Разговор был для него крайне важен, он хотел обдумать его, а тут вдруг почувствовал небывалую усталость.— Ты старший, должен понять. Ума не приложу, почему именно ты ополчился против меня. Все время наскакиваешь. Не потому говорю, что боюсь тебя. Будь вы все трое против меня, я и то не сробел бы. Кому-то же надо мозгами шевелить. Раз согласного ума нет...

— Ты чего, нас и в грош не ставишь? Все считаешь нас маленькими, а мы уже давно выросли. Сам без нас как без рук, хочешь, чтобы мы горбатили с тобой, а вечно нас оскорбляешь. Четверо нас, стало быть, и четыре ума. А ты требуешь послушания даже в таких делах, в которых тебя бы никто не послушался. Или ты думаешь, что отец либо мастер только затем, чтобы помыкать всеми? То, что тебе кажется главным, нам может казаться неважным, но ты и этого не поймешь, потому что всех нас дураками считаешь.

Мастер сглотнул слюну. Минуту удивленно смотрел на Якуба. Потом перевел взгляд на Ондро и Имриха и спросил:

— А что может быть важнее работы?

Ондро подумал, что вопрос относится к нему. Но ответить побоялся. Только затянулся сигаретой и выдохнул дым.

— Если кто решил поставить амбар или дом,— сказал мастер,— так загодя готовится к этому. А когда все подготовит, спросит скорой работы. Пока нас четверо, нам работы хватает, и мы с ней быстрее справляемся, чем любая иная четверка, в которой один другому чужой. Чужак с чужаком редко столкуются...

— Ты это к чему? Ведь мы говорили совсем о другом. Ты никогда не скажешь прямо, все вокруг да около. Любишь разводить антимонии, сам себя смущаешь словами, но я-то знаю, что делаешь это нарочно, хочешь и нас задурить благими речами. Да я уже не мальчишка. Знаю, что мне надо. И Ондро знает. Дойдет до дела — без тебя обойдемся. Красивые речи отложи на воскресенье! Не то уедем отсюда раньше, чем думаешь.

Ондро удобно привалился к одной из стоек. Имро, ухватившись за угловое стропило, спустился к нему.

— Что это значит, Якуб? — спросил мастер. Вытащив из брюк но-

совой платок, он нервно утирал лицо, хотя пот уже высох.— Ну ясно, хочешь жениться. А почему ты со мной разговариваешь так резко и грубо? Я не потерплю этого.

— Потерпишь. Ведь сам же говоришь, что нас четверо, только и твердишь это, стало быть, и твои уши иной раз могут послушать.

Мастер затрясся от злобы.— Один из нас — мастер, запомни это! Шуметь тут никому не позволю.

— Сам шумишь громче всех,— вмешался средний.

— На то я и мастер.

«Ага, пошло-поехало!» — подумал Имрих.

— Коли тебе важно одно — до самой смерти оставаться мастером, найди себе других подмастерьев! — сказал Якуб.— Кому-нибудь другому дури голову, а я больше не позволю над собой потешаться. Мне и на работу плевать, на все уже плевать. Ведь все равно: что заработаем, то и пропьем.

— Чего же пьешь столько? — процедил отец злобно.

— Ты еще больше,— не сдавался Якуб.— Всегда лакал, аж за ушами трещало. Только вспомни, каким ты мастером был лет десять — пятнадцать назад! Небось и вспоминать неохота! А приказывать ты горазд! Откуда у тебя взялось это право — так помыкать нами? Прямо скажу тебе: меня это уже не забавляет. А разобраться, так у тебя даже и права такого нет. Не стоять же тебе век у нас поперек дороги. Уж раз это отцовское право, то оно связано еще и с обязанностями. И тебе хватит ума понять это. Или, может, ты воображаешь, что мы без тебя ни черта не стоим? Но и тут половина правды. Не только ты нас, но и мы тебя поставили на ноги. А что сейчас боишься, так это страх не за нас, ты за себя боишься. Уйдем, и ты опять будешь такой же слабак, как и прежде.

Мастер не выдержал. Подошел к Якубу и влепил ему затрещину.

Якуб вымученно улыбнулся: — Оплеух твоих никогда не считал. Даже в детстве. Тогда терпел и нынче стерплю. Эта оплеуха последняя. Если хочешь,— он дерзко поглядел отцу в глаза,— приму ее как благословение. С нынешнего дня остаетесь втроем,— сказал он и соскочил с трехметровой высоты.

Перепуганный мастер затряс руками. Хотел что-то крикнуть.

— Вдвоем остаетесь,— крикнул Ондрей и съехал вниз по бревну.

— Якуб, обожди! Ондро, воротись! — закричал мастер вдогонку, когда они были уже на значительном расстоянии. Потом огляделся, заприметил топор враз схватил его и, не зная, что с ним делать, злобно размахнулся, изо всей мочи швырнул. Топор проблестел среди порхающих ласточек и упал в траву.

У младшего засверкали глаза. Он уж прикинул, как ему улизнуть, но тут мастер повернулся к нему: — Ступай и ты!

Имрих смутился. В глазах мастера он прочел злость, но это была особая злость, которую младшие сыновья воспринимают несколько иначе, чем их старшие братья. Младшим не приходится объяснять себе многие вещи, они повинуются им без объяснений. Младший не очень-то вдумывается, он скорее угадывает необходимое, а если и не угадает, то его не привлекут за это к ответственности по крайней мере до тех пор, покуда он младший. Если старшим надоело подчиняться отцу, младшему приходится отдуваться вдвойне; так и в природе: все, что моложе, что только всходит, растет, развивается, легче приноравливается, гибче увертывается, однако, и увертываясь и отступая, все равно продирается вперед; вот потому-то и не надо это молодое, или младшее, а стало быть, и младшего недооценивать, не надо обманывать, ибо со временем он поумнеет и начнет размышлять, когда, кому и в чем уступал. Рано или поздно, даже и не стремясь к этому, он

созреет для собственной правды, и она будет мудрее, лучше и прекрасней других или по крайней мере такой же мудрой и прекрасной, как те, что становились у него на пути. А между тем у кого-то родится другой сын — не важно, кем будет его отец и что он начнет ему вдалбливать в голову, но однажды и ему откроется правда, и она будет еще прекрасней, еще мудрее и справедливей.

Но вернемся к тем, кто остался на крыше. Они уже успели спуститься вниз, мастер нашел в траве топор и, хотя был вконец обессилен, высоко взмахивал им и грозился: — Это вам боком выйдет! Погодите, еще допрыгаетесь! Вот посмотришь, Имришко, как они за это поплатятся!

Небо на западе стало еще розовее. Ласточки скликались в гнезда ко сну. С дальних болот доносились крики чирков.

Они собрали инструмент, побросали его в амбар и наладились было пойти попрощаться с хозяином, да раздумали, хотя, кто знает, может, он и поднес бы им по шкалику горячительного.

По дороге мастер разговорился. Злость его поостыла, но к той, что осталась, примешивалась горечь; мастеру было до того лихо, что он поминутно останавливался, тяжело вздыхал, бранился и сокрушался над сыновним непослушанием и неблагодарностью: — Ты-то слышал, Имришко! Теперь они умные! Я к ним с советом, а они накинулись на меня, грехами стали попрекать. Вот уж грехи! Скажи, Имришко, ну какие такие грехи? Глупости, слабинки, что и грехами не назовешь, потому как они у каждого есть. И силой еще похваляются. Хотят меня подрубить, свалить. Меня свалить, ну скажи, Имришко! И за что? За то, что я их вышколил, доброе имя дал? Еще и от армии избавил. Ведь были бы там, на фронте! Скольких парней призвали, погнали на Украину, в Россию, те-то в окопах крючатся, а эти дома в постелях вылеживаются, потому как я вам всем троим у писаря освобождение выхлопотал. Хожу к нему, подмазываюсь, выслуживаюсь, лакаю с ним. А они накинулись на меня, бучу затеяли, и все потому, что не позволяю им удрать, не даю дурью мучиться. Они, поди, думают, что за Трнавой или в каком ином пекле по-другому? Что они там не видели? Ну женятся, ладно, женятся, а потом что? Догадал же нас черт связаться с этой школой! Дерьмовая школа, дерьмовая деревня, только и годна для дураков, что там народились! Но пусть идут, пускай туда отправляются, еще увидят, убедятся, будет время одуматься, за жизнь свою успеют понять, что чужой — он и есть чужой, а среди чужих людей, чужих дуроломов, трудно найти себе место, трудно правду сыскать, до сути дойти, чтоб зря-то не суетиться, не надсаживаться, да чтоб и работу не клянчить, не искать всю жизнь дом на чужой стороне. Легко ли найти или создать новый дом там, где ты не родился!.. Имришко, да за Трнавой и куска дерева не сыщешь! За деревом оттуда ходят в Карпаты либо в другую сторону, а то и до Нитры доходят, где святой Сворад, будь он жив, наверняка плюнул бы на них, на дураков. Ты младший, а ума-то у тебя побольше, понимаешь, почему вас всех дома хочу удержать, дом он и есть дом, девки тут такие же, как везде, и все же особые — с ними легче столкуешься. Легче столкуешься с девкой из Околичного либо из Церовой, нежели с какой-нибудь дурехой-вышивальщицей из-под Трнавы. Да что там говорить! А эти-то двое... пусть их! Свадьбы сыграют без нас с тобой!

Розовый свет закатного солнца залил весь небосвод. С другого дальнего склона уже начало лиловеть. На болотах еще выразительнее кричали чирки.

Имро повернул голову, поглядел на отца. Вблизи лицо его казалось отлитым из латуни.

Мастер провел скверную ночь. Он долго не мог уснуть, а как уснул, привиделся ему черт. Сначала это вроде был Якуб, он пялился на отца и закатывал глаза, точно пьяный. Мастер, и во сне сердитый на сына, хотел было его жахнуть как следует, да почувствовал небывалую слабость; руки повисли, колени задрожали, потому как у Якуба — если можно его и дальше так называть — выросли вдруг рога, он мотал ими, топал ногами, того и гляди, накинется на отца.

— Если ты — Якуб,— мастер вступил в переговоры,— умерь свой норов! Лучше давай договоримся — это будет и в твоем и в моем интересе.

Черт злобно заворчал. И наговорил мастеру такого, что, пожалуй, я и не решусь передать. Ну что ждать от сатаны и бесстыдника! Знай он, что я буду об этом писать, он наверняка поосторожничал бы, ведь черт писаного слова боится, чересчур к нему чувствителен. Черт — он и есть черт! К каждому у него свой подход. Любит являться женщинам, особливо учительницам; с ними он и впрямь весьма изворотлив; вот оттого-то многие учительницы и путают ангела с чертом, а черта с ангелом. Но сейчас, дамы, не дремлите, это действительно черт!

— Te öreg szivar [1],— завопил он по-венгерски, хотя Якуб венгерского не знал.— A te megegyezésedre fütyüllök. Úgy **meg rúglek**, hogy a fal is fölröhög [2].

— Якуб! Разве так с отцом разговаривают?

Черт схватил со стола луковицу и запустил в мастера, тот еле успел увернуться.

— Ну, ну, Якуб! Не дури, богом прошу!

— Öreg töpörtyü! Fallak szörostül szarostül[3].

Тут он хотел и в самом деле кинуться на мастера, но мастер пнул его в живот. И вмиг проснулся. Пощупал пальцы на правой ноге, завздыхал.

Вздохи отца разбудили и Имриха, спавшего в этой же комнате: — Что с тобой, тата? Чего не спишь?

— Да кто знает, Имришко! Только прилег, сразу же жуткая тяжесть меня придавила! Якуб донимает меня.— Он прокашлялся, пошелестел периной и загромыхал стулом, куда еще с вечера положил сигареты.

Закурил. Имро глядел на его лицо, освещенное огоньком спички. Надо же, ну никак не придумать ему, чем бы утешить отца.— Не принимай близко к сердцу! Главное, тебе как следует выспаться. Завтра потолкуешь с Ондро и Якубом, вот все и образуется.

Мастер вновь завздыхал: — И чего ты меня от этой школы не отговорил! Слыхал небось, что Якуб мне вчера выдавал? Ужас грубил как. Я разве против, чтоб они поженились? Смешно ведь и глупо стоять у них поперек дороги только потому, что я отец им и хочу свое навязать. Ондрей с неба звезд не хватает, дело известное. Не сказать чтоб плох был, да голова у него чисто колода дубовая, а на Якуба я дивлюсь, Имришко, сильно даже дивлюсь.— Он затянулся сигаретой и захмыкал.— Спишь, Имришко?

— Не сплю. Думаю.

— Что делать, Имришко, скажи?! Я уж и правда не знаю. Совсем отупел. Или это кара за грех? Только скажи, за какой? Я же добра вам всем желал, думал, чем дальше, тем лучше будет. Были у меня

---

[1] Ты старый хрыч! *(венг.)*.

[2] Плевал я на твой уговор. Так копытом тебя лягну — стены аж задрожат *(венг.)*.

[3] Старая кочерыжка! Сожру тебя со всеми потрохами *(венг.)*.

свои планы, а сейчас все вдруг наперекос пошло. Я бы и рад с ними поладить, да уж очень по-разному мы смотрим на вещи, каждый разговор кончается ссорой, даже когда я готов пойти на уступку.

— Ты в самом деле все усложняешь,— перебил его Имрих.— Они уже в возрасте, им жениться пора. Да и потом, Якуб уже тринадцать лет в подмастерьях, ему тоже, поди, надоело. Хочет самостоятельность проявить, доказать, что и он может быть мастером.

— Выходит, прав я.— Мастер снова нашаривал сигареты.— Выходит, дело не только в женитьбе, а и в том, что они на меня ополчились. Могли бы и жен сюда привести, так нет же — им бы подальше от родного дома, тут им, видишь ли, я помехой. Вся жизнь колесом пошла. Давно уже так. Было нас четверо, работа ладилась, мне-то все одно, кто из нас мастером,— все четверо умели взяться за дело. А нынче, видать, и говорить о четверых глупо, раз каждый в свою сторону тянет, и вас даже коробит, если я себя к вам причисляю. Имришко, ведь я вам всем только добра хочу, хотите верьте, хотите нет. После материных похорон дошло до меня: четверо нас, а четверым мужикам многое под силу! Якубу еще и шестнадцати не было, а я вас всех уже считал за мужчин. Бывало, и повздорим, да разве это раздоры! С голодухи человек дуреет, вот и нападает на него охота ругаться. Нынче нам бы только и ладить, а как видишь, не ладим, каждый настороже, нет между нами ни согласия, ни понимания. Я советую, растолковываю, а никто и слушать не хочет. Эти двое вздумали податься из дома, все начать сызнова, хотя и они понимают, как трудно одному либо двоим все сызнова начинать. Знаю их, Имришко, плохого о них не скажу, но другой раз в них что-то вскипает, и рубят они сплеча, безоглядно. Я и за них, и за себя боюсь. И за работу боюсь. Ума не приложу, Имришко, как тут быть. Пророчить вперед не могу. Пойдем с тобой потихоньку да помаленьку, тише прежнего. У двоих работа не может, как у четверых, спориться, особливо если один уже в летах и ему нет-нет да и отдохнуть хочется.

10

Утро было прекрасное. Небо — ярко-голубого цвета. Мастер и Имро отправились обшить досками, доделать амбар, возле которого вчера заварилась ссора. Оба были невыспавшиеся, угрюмые, но делали вид, будто ничего не случилось. Мастера разбирала зевота, и, зевая, он всякий раз взглядывал на Имро и улыбался. И Имро изображал веселость. Болтал о разном, только о братьях и словом не обмолвился, хотя оно-то все время вертелось на языке. Думал: Ондро с Якубом уже на работе и ссора между отцом и ними скоро уладится. Уж он-то приложит все силы, чтобы уладилась, да и хорошо бы без драки или по крайней мере без злобы и ненависти.

Подошли они к месту, а братьев нет и в помине. Только хозяин возле амбара околачивается. Мастер перепугался: «Никак пожаловал за нами приглядывать. Верно, думает, что мы слишком с его амбаром канителимся».

Но хозяин и не думал их торопить. Просто хотел поглядеть на амбар. Ведь амбар, пусть еще и недостроенный,— дело серьезное, и настоящий хозяин всегда рад в амбар заглянуть. Только плотники уберутся, он тут же подрядит черепичника, а после, примерно через недельку, привезет сюда воз пахучего клевера и тут же испробует, каково спится в новом строении. Уж он-то тут славно выспится. Приведет сюда женку, вместе и надышатся клеверной пахучести.

— Вы что, вдвоем? — спросил он.— Вдвоем работать будете?

Вопрос мастер расслышал, а вот обходительности в словах не приметил. Он взглянул на Имро, но на лице сына ничего не прочел и потому коротко ответил: — Сегодня нас двое.

Хозяин, тот и не почуял, с каким трудом мастер это выговорил. Он, должно быть, и не очень-то слушал его. Глаза шныряли по доскам и балкам. Дело ясное: амбар почти готов, одному мужику и то под силу управиться к вечеру. Уплатит он мастеру сколько положено, а будут ли двое меж собой делить деньги или четверо — это уж его не касается.

«Сердится! — говорил в мастере внутренний голос.— Наверняка сердится. Должно быть, видел, как вчера эти двое озлились и ушли. Сейчас злоба и на него перекинулась. Напоследок еще и меня начнет распекать, что мы его амбар сработали кое-как!»

А хозяин радовался: «И женка будет довольна! Затащу ее сюда и уж всласть с ней в клевере поваляюсь. Какое же, к лешему, супружество, когда у тебя нету амбара! Изволь лежать с женой только в постели».

— Стало быть, сегодня закончим? — спросил он с добродушной улыбкой.

Мастер заверил: — Помаленьку закончим. Нас, конечно, всего двое,— добавил он чуть погодя,— но никакую другую пару с нами не равняй. Что ж, Имришко,— он метнул взгляд на сына,— за дело!

Крестьянин заглянул в ворота амбара, облизнулся и ушел.

Мастер поднялся по лестнице на крышу. Обернулся вдруг к сыну и сказал: — Имро, а мне так лучше бы под поезд где кинуться.

11

Они поднажали и пополудни работу закончили. Подобрали инструмент и собрались было уйти. К ним опять подошел хозяин и, весело насвистывая, стал осматривать амбар. Имро подсвистел ему, вторя в лад, хозяин еще больше развеселился. Потерев руки, заметил: — Теперь, выходит, дело за черепичником!

Мастер поднял с земли заплечный мешок с плотничьим инструментом и сказал:

— Готово! Еще одна знатная работа за нами!

Хозяин вытащил кошелек.— Теперь можно и рассчитаться.

— Это дело простое,— сказал мастер, а сам подумал: «Чего о том толковать? Сам небось знаешь, сколько положено. Договорились еще неделю назад. Выкладывай деньги, мы и пойдем с богом!» А вслух произнес: — Коли охота, можно и набавить.

Хозяин, кивнув головой, лукаво улыбнулся. «Отчего же не набавить? А убавь я, что бы ты тогда сказал? Ведь и в моем кошельке деньгам не тесно».

И начал отсчитывать. Последнюю сотню держал в руке подольше, будто не мог с нею расстаться. А потом накинул еще одну.— Была не была! По крайности не станете меня оговаривать.— Он весело втянул в себя воздух, пропахший соломой, и тут вдруг почувствовал, что ему стало жалко той сотни, что надбавил мастеру.

Мастер взял деньги и не считая сунул в карман.

«Хамло! Хоть сосчитал бы!» — досадовал хозяин, но мастер гнева его не приметил.

— Пошли! — сказал хозяин.— Жена на стол собрала.— «Еще и нажрутся вдобавок!»

Он провел их в переднюю горницу, а это уж кое-что значит, когда хозяин в будни ведет гостей в переднюю горницу. Должно быть, похвалиться хотел — да и было чем: стол прямо-таки ломился от

блюд, а хозяйка все подносила и подносила, весело тараторя, что, мол, в ее доме и на хворого и на сытого найдет аппетит.

— Мы думали, вас четверо будет,— говорила хозяйка.— На четверых и приготовили.

Мастер слегка оробел. Как бы не пришлось объяснять, почему не пришли Ондро с Якубом.

— Ну, Янко, угощай! — подбадривала хозяйка мужа, а сама нет-нет да и взглядывала на него: «И что ты, олух, так наливаешься?»

— Видать, хорошо живете, хозяйка, всего у вас вдосталь,— мастер указал рукой на стол.— Собрали на четверых, а хватило бы и на десятерых.

— Не жалуемся,— откликнулся хозяин. Он ждал, что похвалы его хозяйству так и посыплются, и заранее тому радовался.

— Угощайтесь, пожалуйста,— улыбалась и хозяйка.— А я схожу посмотрю на амбар, ведь я толком его еще не видала.

Хозяин, казалось, хотел пойти за ней.— Ступай, Милка! — Он провожал ее взглядом, а под столом даже сделал шажок вперед и назад.— После и я приду.

В дверях она обернулась и вновь что-то незаметно дрогнуло в уголках ее глаз: «Не вздумай надраться!»

А он и бровью не повел. Когда она была уже во дворе, разлил по новой.— Ну как, мастер? Хоть и живем-поживаем, и с работой управились, а поднять настроение требуется, без хорошего настроения человеку и жизнь не в жизнь. Я так с удовольствием выпью.— И выпил.

Мастер отнесся к этому с пониманием, но к рюмке своей не притронулся. Снова нашло на него беспокойство. Где они? Где Ондро и Якуб? Ну, не лучше ли, если бы они сидели тут вчетвером? Сколько раз сидели вот так, а нынче им на все наплевать, все-то побоку, лишь бы от родного дома подальше, лишь бы жить без указки.

У хозяина развязался язык, но мастер уже не слушал его. Только кивал. Кивал и тогда, когда не было надобности.

Имрих это приметил. Намекнул отцу, что, мол, пора и честь знать.

— И настроение поднять надо, и отдохнуть нелишне,— рассуждал хозяин.— Словом, я вот к чему веду: больше трудись да меньше раздумывай.

«Неужто на что намекает? Человек-то, он все время раздумывает. И когда трудится, а бывает, и когда спит. Да что может знать такой дурень?»

— Умная мысль иной раз и дурака осеняет,— продолжал хозяин, не предполагая, что мастер только что и его обозвал дураком.— Да вот для чего она, эта мысль? Тут важно знать, когда ею пользоваться. Мне так достаточно знать, когда нужно вспахать да посеять, а все прочее — дело десятое: от лишних мыслей один вред. Как есть говорю. Можете мне поверить.

— Так, так. Продолжайте!

— Посеял я тут ранний ячмень, а он выдался редкий, плохо взялся, я и поторопился с косьбой, чтоб жнивье успеть засеять клевером. Трижды дождик покропил, и теперь клевер чисто шелковый. На будущей неделе свезу его.

«Ну и пентюх. В клевере только и смыслит. Да и то ладно. Хоть доволен собой».— Сколько вам лет? — спросил мастер.

— Через четыре года пятьдесят стукнет. Да не обычные пятьдесят, а серебряные. К пяти десяткам у меня аккурат серебряная свадьба выходит.

«Пентюх и есть! Всем выхваляется. Толкует, что думать не надобно, а сам уж двадцать пять лет назад, поди, о пятидесятилетии думал. Может, и женился затем, чтобы пять десятков посеребрить. Думает больше, чем надо, только одной, от силы двумя извилинами. Да стоит ли серчать на него? Пускай себе радуется, пускай благоденствует».— Прекрасно. Толково вы все это устроили.— Мастер огляделся вокруг: — Теперь-то и сказать можно: красивая да ловкая жена у вас. Не жена, а загляденье.— («Блаженствуй, идиот!») — Глаз не оторвешь.

— Ой, не перехвалите! — улыбался хозяин.— Жену вслух хвалить — только портить.

«Сдалась мне твоя жена! Будто у меня своих забот нету! Господи, ребятки мои! Паршивцы негодные! Где-то вы теперь, ребятки, шатаетесь?»

12

Домой опять шли пешком, хотя могли бы доехать до имения и сократить путь. А уж от имения до Околичного рукой подать. Батраки из имения привезли зерно на железнодорожную станцию в Церовую и вот-вот должны были отправиться с дрезиной назад, да мастеру с Имрихом не хотелось их дожидаться.

Оба были слегка под хмельком. Имро охотно развеселил бы отца, не знал только как. Словами тут разве поможешь? Имро был человеком сговорчивым. Ладил с отцом, но и братьев сердить не хотел. Казалось бы, что может быть хуже, чем вражда между молодостью и старостью, однако куда сильнее старость ненавидит старость, а молодость — молодость. Спор между родителями и детьми — это чаще всего и не спор вовсе, а просто беда или боль, похожая на зубную. Чем души чувствительней, тем боль нестерпимей. А перестанешь ощущать боль — значит жизни конец. И если и живешь, то как губительная опухоль. Здоровый организм противится недугу, выбрасывая из себя все ненужное, вредное. И старость — ведь и у старости есть что выбрасывать из себя, и, делая это, она, пожалуй, иной раз и вредит,— однако здоровая, мудрая старость часто мусорит только затем, чтобы отделить плевелы от пшеницы и, очистив зерно, показать и другим, какое оно, каким должно быть, иными словами, чтобы и самой раздавать из своего чистого или даже чуть засоренного сорняком урожая; и она раздает — а то зачем, зачем бы ей было столько зерна? Жизнь взвалила на нее целый воз, и жизни нужно это вернуть: на, храни его, жизнь, и раздавай дальше!

Думал ли Имро об этом? Вряд ли. А может, и думал, только чуть по-другому, не обязательно же ему рассуждать, как автору этой книги. Да и почему он должен думать так, как я? У автора хватает духу признаться любезному читателю, что он питает некоторую слабость к Имро и нашептывает ему всякую всячину, а то и просто навязывает свое и, возможно, будет заниматься этим и впредь, а там, глядишь, шепнет кое-что на ушко и другим героям и шалопаям, с которыми мы уже в этой книге встречались и еще не раз встретимся. Может, надо об этом молчать, может, это и в самом деле дерзкая затея, дерзкая прежде всего по отношению к нашим героям? Впрочем, что тут особенного? Разве автору не доводится выслушивать всякую дребедень и помалкивать, хотя это ему вовсе не по нутру. Но в книге-то автор волен поступать так, как ему вздумается, волен даже приказывать, да-да, иногда даже приказывать, хотя, конечно, это только игра: тут можно и посмеяться, а захочется — и обозвать друг друга дураками, можно в эту занятную игру — с великим удо-

вольствием! — втянуть и любезного читателя: «Сделай милость, дружище! Поди сюда!» Он либо придет, либо пошлет нас подальше с нашей игрой.

До вечера оставалась уйма времени, и Имро, конечно, нашел бы ему применение. Мог наведаться к Вильме, и он охотно наведался бы, да отец был хмельной и до вечера, это уж точно, не протрезвеет. Как дойдут они до деревни, мастер тут же поплетется в корчму; а не поплетется, так наверняка дома добавит, и Имро волей-неволей останется с ним и будет в какой уж раз выслушивать его опасенья и жалобы. Верней всего, сегодня не видать ему Вильмы. Хотя отцу-то какой прок от него? Разве может он, Имро, навязать что-нибудь Якубу или Ондро? Что им Имрих может сказать? Каждый решает сам за себя, так уж заведено. Пусть тот, кому охота, ищет новых дорог, а найдет, пусть укажет другим, коли те, другие, захотят за ним следовать. Не заставлять же их! Зачем заставлять? Пусть идут, если хочется, пусть сами узнают, хороша ли, дурна ли их дорога. А поймут, что ошиблись, будут вправе сказать: плохо! И двинуться по иному пути.

— Имришко, где же они? — спросил мастер.

— Не знаю. Может, где надираются.— Но он тут же осекся. Сообразил, что и он с отцом в сильном подпитии. И опять разговор застопорился. О чем толковать? Почему братья свалили все на самого младшего? В конце-то концов и он мог бы в один прекрасный день взбунтоваться, тоже мог бы повздорить с отцом или братьями. Только чего ради? Какой толк? В иных семьях все по-иному, все живут в полном согласии, держатся друг за дружку. Придет кому охота жениться — женятся и не откалывают таких номеров. А тут и отец чудной, и братья с заскоками! А как бы могло все быть славно, как бы могло все ладиться! В иных семьях так и бывает. Все помогают друг другу, всем весело, старший — это старший, второй, помоложе, спешит с ним сравняться, потому как и третий и четвертый начинают уже хорохориться, а там, глядишь, и следующие продираются к жизни. Старший женится, младший еще ползунок, а тут уже опять новый отпрыск на очереди, своя кровинушка, сынок, внучек, сыночек старшего сына, сынишка старшего брата, он кричит, ерепенится, потому как и он родня, стало быть, и он должен злить и радовать отца, деда и всех своих дядек, словно бы уже с колыбели знает, что у него есть на то право,— он дома и пришел кому-то на смену. И он торопится, о господи, как он торопится, словно сам себя спешит обогнать или боится, что вдруг где-то что-то застопорится и он на всю жизнь останется младшим.

13

Они пришли в деревню, и мастер тут же подался к корчме.

Имрих молча шел следом. У самого входа он невольно подумал, что в корчме могут быть и братья. И прежде чем он эту мысль додумал, они столкнулись нос к носу. В самом деле! И перепугались. Перепугались все четверо. Двое испугались двух других. Мастер перемог страх, сказал себе: «А мне-то чего бояться?» Та же мысль осенила и остальных. И все четверо улыбнулись друг другу.

Мастер спросил: — Ну что, Якуб? Будем драться?

— Зачем же драться? — ухмыльнулся Якуб.

Ондрею сказать было нечего, он благодарно поглядел на брата, скрестил на груди руки и чуть ссутулился. Может, слегка и засове-

стился. Да только ни один из Гульданов не умел долго совеститься. Мастер знал это. Знал и то, что и ему надо бы что-то сказать, да вот с чего начать?

Имро, желая помочь отцу, предложил: — Надо нам чего-нибудь выпить.

Братья согласились, а отец возразил: — Хватит пить. А хотите, так без меня! Я уже свое выпил сегодня, в голове ералаш.— Он еще толком не знал, надо ли выложить все начистоту или до поры обождать, может, лучше поговорить с сыновьями дома — без посторонних глаз и ушей. Он оглядел мужиков, что сидели за длинными зелеными столами, сглотнул слюну и продолжал: — Что-то мне не по себе. Не выспался, должно быть, как следует. Да и потом с Имришко мы уже тяпнули нынче. Теперь нас уже не четверо. Столковаться-то можно, но это будет уговор двоих с двумя. Нонешний магарыч мы уже и за вас выпили.— Он скорчил гримасу, будто хотел подавить зевок, но похоже было — мутило его. Он перемог себя. Перемог зевок. Поскреб подбородок, пальцами осушил губы, потом влез пятерней в волосы и чуть выпрямился: — Так что выпили мы. Дело сделано. Выпил-то я меньше обычного, а туману в голове больше. Устал, верно. Чему удивляться! Вы, Якуб и Ондро, хотели меня обскакать, вот и обскакали. Должно быть, вы еще раньше подметили, что устал я, и знали, что со временем еще больше устану. Верно, так и подумали. Мне-то толковали о свадьбе, дескать, хотите жениться, а суть-то в другом — я ведь тоже не такой дурак, чтобы не смекнуть, что к чему. Обскакали меня. Что ж, сдаюсь. Нас теперь по двое, с этим надо смириться. Сразу станет все по-другому, вы вздохнете, вздохну и я. Все вздохнем. Только каждый по-своему. Один нынче, другой, может, еще и завтра, так оно чего зря толковать. А впрочем, и потолковать можно — я же сдался, с завтрашнего дня все пойдет по-новому, свое решение менять я не стану. А может, и стану, кто знает, может, мне захочется вздохнуть и послезавтра, один-то вздох не поможет, но вас это пусть не заботит. Ежели мне и будет обидно, так ведь это моя обида.

Он опять огляделся, то ли подыскивал слова, то ли взвешивал их, а может, нашел их и взвесил, да решил, что не скажет. Такие слова можно и дома сказать.

И это было разумно. Он и так сказал предостаточно. Сидевшие за столами стали оглядываться, с интересом прислушиваясь, о чем это Гульданы толкуют, о чем так долго перешептываются.

— Надо бы выпить! — предложил Имрих, на сей раз настойчивее. Легким кивком головы и глазами указал на ротозеев.— А то они подумают, что нам не за что.

Мастер снова запротестовал: — Ни к чему это. Или как хотите... Что до меня, я решил.

Но Якуб уже двинулся к стойке и мигом принес четыре рюмки.

Выпили не сразу. Чуть погодя и мастер поднял рюмку и, глянув на сыновей, что были и его подмастерьями, сказал: — Будем здоровы!

Все четверо выпили и ушли.

14

Дома разговор продолжался. Собственно, и не разговор вовсе, поскольку все время говорил один мастер. Порой и противоречил себе. Лови его сыновья на слове, снова могло дойти бы до свары. Но они были рады-радехоньки, что отец уступает,— можно, стало быть, кое-что и проглотить. Как-никак мастеру не легко сдаваться. Сперва ему нужно изрядно оскорбить подмастерьев. Отец, похоже и оскорб-

лял их: Якуб с большим трудом себя сдерживал. То и дело громко вздыхал, раза два сказал:

— Ну ладно! Продолжай!

Ондрей старался следовать примеру Якуба. Сидел на стуле спокойно, будто и не дышал.

А мастер, право слово, не щадил его. Нарочно утишал голос, чтобы ясно было, что он говорит не со зла, а от сердца: — Тебя, Ондрей, я и вовсе понять не могу. Не то чтобы ты казался больно мудреным. Голова у тебя, верно, большая, самая большая, а вот толку в ней никакого. Есть там ворох всего, а из вороха трудно что выбрать. Приспичило жениться, женись! Я и не думаю тебя отговаривать. Но уйти из дому только затем, чтобы очутиться в чужой деревне да в чужом дому под каблуком,— по мне так это смешно! Из тебя-то мастер никогда не получится. Тебе только и держаться за Якуба и, ежели не повздорите, до смерти быть у него в подмастерьях.

Имриху речь отца не понравилась. Особенно тон. Он хотел было что-то сказать, но Гульдан заметил, поднял палец.

— Я покамест еще мастер! И для них тоже.— Он ткнул пальцем в сторону старших. Потом вытянул руку и прочертил в воздухе горизонтальную линию.— С завтрашнего дня пусть делают все, что им вздумается. Я сказал им, что требовалось. Теперь о себе скажу. Запомните: коль строг к другим, так и себе спуску не давай. А я не всегда бывал строг к себе. Уж такие мы, Гульданы, с норовом, таким был и отец мой, такие и вы. Вот и строгость моя такая: по пустякам лютую, а в серьезном деле порой одно верхоглядство. Рано ли, поздно замечу промашку, а то бывает, и сначала знаю о ней, да в том-то и дело, что ты мастер, а мастер только в душе строг к себе — он боится других мастеров и немастеров,— ведь каждый в мастера лезет. Я-то думал — обойдемся без свар: не хотите мастера слушать, так отца родного послушаете — оно не так унизительно. Да вот одного я не учел: что мастер с подручными, что родитель с детьми — отношения у них одинаковые. Сын уважает отца, но приходит день, и он решает: обставить его или хотя бы стать ему ровней — это в порядке вещей. И мы снова там, где были вначале. Я хоть и знал это, а пальцем не двинул: редкий мастер стерпит, чтобы подмастерье стал ему ровней, а то и обставил его. И уступил я только тогда, когда вы меня приневолили. Это, конечно, урок, да что в нем проку! Вы подрядились на стороне,— он указал на Ондро и Якуба,— а я уже стар сколачивать другую артель. Но это урок и для вас, он и вам пригодится, если не в ремесле — тут вы еще недоучки,— так в семье, когда дети появятся. Прямо скажу — нелегкая дорожка у вас впереди. Со мной не столковались, а с чужими и подавно не столкуетесь, особенно если этот урок вам не впрок. А урок вот в чем: неважно, мастер ли ты или нет, указываешь или повинуешься, важно, кому или чему служишь, важен смысл вещей. Где нет смысла, там нет глубины, нет серьезности и дело мастера — одна суета. А мне до того понравилось в мастерах, что я и дорогу видеть впереди перестал, и тем только держался, что все время приказывал: «Конечная остановка, но никому не выходить!» Мастер должен смотреть вперед и понимать, что не сегодня-завтра другой обгонит его: таков человек, с каждым поколением он становится лучше, мудрее. Кто дольше живет, больше знает, если жиром у него не заплыли мозги, если он умеет смотреть вперед и помнить о тех, кто наступает ему на пятки. Беги, покуда силы есть и остер твой глаз. А иссякли силы, ослабло зрение — уступай дорогу. Только слепой может долго кричать: «Конечная!» Для зрячего конечной остановки не существует. А иной видит и слышит, во всяком случае, захоти он, так увидел бы и услышал, да вот не хо-

чет; спокойно стоит или только переваливается с боку на бок и знай кричит, покрикивает, или бубнит, или тянет, что он-де всюду дома, и как ему славно, и до чего мила дорога, по которой он так тихомирно плетется, там-сям постоит, а если очень огрузнет, то и присесть может и сидеть сколько влезет. Вот его-то и нужно потеснить, а при надобности и шугануть: «Ну-ка, посторонись, братец! Силушки твои уже не исходе, ты свое сделал, спасибо!» Не может посторониться — надо помочь. Не хочет, можно и турнуть. И твердолобый должен когда-нибудь поумнеть хотя бы настолько, чтобы понять: лишь скотинка не умеет да и не должна уметь уступать людям дорогу.

Вот, пожалуй, и все, что сказал тогда мастер. Кое-что, возможно, у него получилось короче, кое-что подлинней. А кое-что ему пришлось и самому себе объяснить и высказать вслух — ведь сказанное слово весомей, на него и другие потом могут сослаться, а при случае чуть изменить, подправить. Так оно и случилось, наверное, только поздней: прошли годы, прежде чем Имриху, младшему сыну, удалось слова отца собрать воедино, при этом он не заметил, что переврал их немного и переплел собственными мыслями. Но что тут такого в конце-то концов? Почему бы ему и не приспособить отцовские мысли, коли у него была в том нужда? Почему бы не переиначить их, не заменить? Да так ли уж важно, кто первый высказал мысль? Куда важнее, кто усвоит ее и как применит. Коли мысль далека от действительности, надо изменить мысль или хотя бы ее уточнить. Или изменить действительность. На то и человек, чтобы знать, что нужно делать. Ибо мысли можно служить лишь до тех пор, пока она служит человеку.

Двое

1

Однажды, примерно через год, месяцем больше или меньше, мастер и Имрих — они уже были только вдвоем — опять ладили кровлю, а может, как раз отдыхали: мастер — на мауэрлате, Имро — на одной из горизонтальных распорок. Или было наоборот? Ах да, они уже спускались вниз, хотя вполне возможно, что только собирались взобраться на кровлю, ага, вспомнил, они перепрыгивали через нее, вот видите, я почти об этом забыл. Ну конечно, перепрыгивали, поскольку она была на земле, они еще не успели ее ни связать, ни сложить. Мастер какое-то время перешагивал через брусья, потом остановился, поскреб подбородок, загляделся на что-то и ненадолго задумался; и вдруг перед его глазами балка стала подскакивать к балке, и было бы даже нелепо сейчас говорить о каждом брусе в отдельности — все задвигалось, замелькало, перекладина к перекладине, подкос к подкосу, оба мигом к стойке. а та своим чередом к распорке и тут же связывалась с ней — ну диво дивное; в одно мгновенье, можно сказать, родилась готовая схема, конструкция в форме виселиц, правда, виселиц без повешенных, поскольку мастер на них никого не повесил, но черт знает, когда, кому и зачем такие виселицы могут понадобиться? Мастер их основательно укрепил; каждую стойку с обеих сторон подпирали подкосы, образуя разнобедренные треугольники, каждая пара треугольников составляла больший треугольник, на сей раз равнобедренный, напоминающий щипец избы или собачьей конуры; в целом — а мастер любил смотреть на вещи в целом, потому и сейчас отступил на шаг, верней на шажок, и вытянул шею —

перед ним была точно вымеренная, геометрически построенная собачья деревня, где над каждой парой избушек или конур торчала крепко связанная виселица. Мастер нахмурился. Хотя, возможно, только автору он таким видится, да, я таким его вижу, мне хотелось бы, чтобы он нахмурился. Но в действительности на лице мастера никакой хмары не было. Право, не было, да и я ее уже там не вижу. Автор уже не видит ее. Мастер только пристальней вперился в дело рук своих и подумал: «А чего тут канителиться? В момент оседлаю, и баста». Рраз, рраз, вот уже там и стропила. Скоро закраснела и стреха, на коньке засверкало железо, и над красной железной стрехой засинело небо. Мастер в удивлении завертел головой и воскликнул: «Ну и славный нынче денек!»

А Имро? В самом деле, что в это время поделывал Имро? Надо бы и для него что-нибудь придумать. Ага, вспомнил. Он сидел на оструганной балке и размышлял о Вильме. Он уже сблизился с ней. И с семьей ее сблизился. Решил стать ее заступником, постараться заменить ей отца. Вильмин отец много лет назад махнул искать работу в Америку. Сперва заботился о семье, посылал деньги, а потом перестал посылать, перестал и писать. Имро на него малость злобится, и если вдуматься, то, пожалуй, это справедливая злоба. Ведь на то и отец, чтобы заботиться о семье. Так вот, стало быть, Имро решил помочь Вильме: подправить хотя бы то, что еще можно было подправить, порадовать ее да и — почему б не признать этого? — самому порадоваться. Кое-что он уже успел сделать, правда, немного, да и времени прошло немного — починил клетку для кроликов и садовую калитку. Но если вдуматься, так и это не плохо. Вильма это ценила. Мать же приняла все как должное. А могла бы, конечно, оценить Имрову работу и больше. Но не оценила. Ну и что из этого? Главное, Имро теперь может захаживать к ним, когда ему вздумается. И Вильму может из дому вытащить, даже на гулянье позвать! И она не ломается. Он очень с ней сблизился, просто очень. Правда, еще не совсем, «совсем» еще не было, но куда только он ее не водил, какие только углы-закоулки не показывал — она везде все похвалит, даст себя всю затискать, зацеловать, но чтоб раздеть — ни за что. Надо же, обида какая! Имро казалось, что она еще малость ребячлива. Но и это ему по душе, по крайней мере он знает, с кем ходит. И все же нечего ей так упираться. Имро не раз уже злился и давал ей это понять, хотя на самом-то деле он скорей напускал на себя гневный вид. Вильма особой истории из этого не делала, и случалось, сама гневалась — гнев-то ведь иной раз будто маслом по сердцу. Иногда он до того сладостен, что нам его все мало и мы нарочно раздуваем огонь, чтобы в нас запылало как следует,— огонь, так огонь! Но если и в самом деле он разгорится вовсю, тут уж мы сразу несчастные, сразу в слезы, господи боже, зачем мне все это нужно было? И с Вильмой так. Сперва захочется ей Имриха переупрямить, а потом, как он набычится, она только и спрашивает:— Ты что, Имришко, еще сердишься?

— Отстань. Сержусь.

— Имро. Ну пойми меня!

А Имро вроде понимает и не понимает. Малость посердятся вместе. Тут Вильма решает, что посерчали — и хватит, и говорит:

— Имришко, не перестанешь сердиться — уйду домой.

— Ну и иди. Кто тебя держит.

Вильма встает, идет медленно, очень медленно, так как уверена, что Имро окликнет ее — тогда придется издалека возвращаться. Да только Имро упорствует и не окликает ее! И она идет дальше, красивая, стройная, боже ты мой, как она далеко отошла (сделала уже тридцать шагов)! Ну и пусть! Имро как-нибудь выдержит! Пусть идет!

Гульдан есть Гульдан, он выдержит и не такое (еще тридцать шагов). Нет, это уж слишком! Имро впадает в отчаяние, начинает дергаться, задыхаться. Он медленно подымается, надо бы еще отдышаться, но что-то воздуха не хватает. Он идет за ней, ускоряет шаги, еще как ускоряет, вот-вот с ней поравняется, интересно, сердится, нет ли? Он проходит мимо нее, обгоняет ее, боже, и как обгоняет! И без единого взгляда, без единого слова. И как он торопится! Тут и Вильма ускоряет шаги, но ей все равно за ним не поспеть. Да хоть и поспеет, проку не будет, он прогонит ее, конечно прогонит. Ноги отказывают ей, она вся дрожит, она не может и рук протянуть, и голос ей уже не повинуется. Она уже не живет. Все в ней увядает и никнет. Но тут Имро вдруг замечает, что у него развязался шнурок. Он сходит на обочину и невообразимо долго завязывает его; у Вильмы меж тем крепнет шаг, жизнь наполовину возвращается к ней, а когда она видит, что Имро возится и со вторым ботинком, бросается к нему — тут уж жизнь возвращается к ней целиком, даже бьет через край! Они смотрят друг на дружку, смеются, и опять все в порядке. Имро сказал, что возьмет ее в жены. Она не ломалась, не отговаривалась, да и к чему отговариваться? Плохо ей с Имро не будет. Но вот как он об этом мастеру скажет? Может, сейчас-то и сказать?

У мастера перед глазами все еще была собачья деревня, а может, и город, собачий город, местечко с победно торчащими виселицами. А из таких вот деревень и местечек складывается мир, и мастер знал его, умел строить, ведь достаточно было бы покрыть этот мир крышей, потом добавить к ней еще одну и еще, и когда было бы уже много крыш, сразу бы получилась всамделишная деревня, всамделишный мир, в котором живут люди, а над их жилищами кружат птахи небесные, кружат и поют, не скупясь на помет, и он падает на траву, на дорогу, на тротуар, на двор и на кровлю, да, да — и на кровлю, чтобы она могла собрать пыль и потом, окропленная дождями и прогретая солнцем, утучниться, зазеленеть мшистыми подушечками, расцвесть диатомеями, ожить микробами и насекомыми, а человек мог бы смотреть на нее, и улыбаться, и ругаться, и тревожиться, что вот ему уже сызнова придется рубить амбар, сарай, дом, еще какой-нибудь дом, новый, прочный, добротно связанный, добротно поставленный с более толстыми стенами, покрытый широкой вальмовой кровлей о четырех водостоках.

Мастер опять заудивлялся и даже улыбнулся: — Н-да, денек-то славный какой!

Тут Имро ему и сказал. Старый схватился за голову:

— Иисусе Христе, и ты вздумал жениться? Сколько свадеб зараз! Да видано ли такое? Будто меня оглоушили. В голове гудит. Денно и нощно я на венчанье. Тяну пилу, а сам думаю о контрабасисте, что на Якубовой и Ондровой свадьбе два дня кряду наяривал. До сих пор слышу его. Свадьба, свадьба, свадьба. Да я от них захвораю, ей-ей! Хоть бы озлиться на кого-нибудь! Оттого я на цыгана и злюсь, контрабасист из головы не идет. Ежели встречу — перережу все струны... Говорил, что с Трнавы, и смеялся, смеялся, придурок, будто знал, что я стану ему подражать. Ей-же-ей, чудной мужик, все преследует меня. Возьму пилу, а он тут как тут. Пилю, пилю, даже в поту весь, точно нанятый. Вытащу метр, возьму эккер, да и хожу, хожу обмериваю... А контрабасист в сторонке стоит. Спрячу метр, примусь за работу, а он, искуситель, опять тут как тут. Дьявол меня возьми! Все играю да играю. Унеси, леший, бревно и работу такую да и грохни этого придурка блажного стропилом по черепу!

— Тата, будь добр, не шуткуй! — Имро настороженно глядел на отца.— Разговаривай серьезно! Мне с тобой о деле надо потолковать.

Мастер посерьезнел. Хотя и до сих нор, казалось, не шутит, а тут и впрямь посерьезнел и даже вроде чуть насупился.

— Все только серьезно да серьезно! Все вы серьезные, а обо мне всякий час думаете, что говорю в шутку. Может, я и смешон, ладно. Я уж не молод, потихоньку старею. Только с летошнего года я как-то иначе старею, как бы быстрее, подчас даже кажется, что я вроде чего-то боюсь, вроде сам от себя отступаю. Сам себя боюсь. Всякая малость по меньшей мере раза четыре берет меня за живое. Смирюсь с чем-нибудь, а неделю, месяц спустя, гляжу, нет, мол, опять не смирился, да и, поди, не смирюсь. Должно быть, с этой хвори и начинается старость. Должно быть, это уже и есть старость. После, может, одолеет человека и равнодушие, ничто его не смутит, ничто не напугает, даже смерти он не напугается, не сойдет перед ней со своей колеи. А вот пока можно, увертывается, старается увернуться, петляет туда-сюда, хотя от себя-то самого как увернешься! Даром корчишь из себя умного, даром прикидываешься дураком, от самого себя не очень-то увернешься. Нынче слегка увильнул, завтра опять увильнешь, думаешь, может, что и других обхитрил, так и идешь дальше, снова и снова петляешь и увертываешься, да вот однажды заметишь, что оно уже перед тобой и что от него-то не увернешься, нашел свое, непременно найдешь однажды свое, каждый когда-нибудь придет к тому, что его ждет... И уж тогда не умничай, не болтай! Эх, было бы кому меня послушать! Да, Имришко, прости, стало быть, свадьба! Что скажешь, позовем того контрабасиста?

— А мне что? Можно и позвать.

— Ну и ловкий был малый. Даже слишком, поди. Я глаз с него не спускал и все-все углядел. И сказал ему об этом. Сказал, да так, чтоб кроме нас никто не слыхал. Шельмец ты, мол, этакий, свадьба, оно конечно, чтоб только людей заморочить, а потом и с глаз долой! Мастер-то все же должен помнить, что поутру придется ему из бревна из соснового, а лучше бы из елового тесать верхний венец. Сперва-то он ничего не мог понять. Знай пиликал да пиликал, так и гудело у него в контрабасе. Пришлось все ему высказать. И денежку ему дал, а он — подавай, мол, больше. Добавил я еще пятикронную, этим его и купил — запиликал он на контрабасе, в мою честь песню сыграл, не долго думая продал бы мне теперь и самого капельмейстера. Вот тебе и дурак! А контрабас знай себе стонет. Вот уж целый год, как мы вместе играем. Цыган-то, правда, не играет. Я один. Я и моя пятикронка. А когда денег нету, он тает как дым. А я играю и играю, будто что-то меня приневоливает. Ведь это всего-навсего шутка была, сам знаю. А вот моя ли шутка или его? Мастер должен уметь шутить. Капельмейстер, думается, с мастером схож, и контрабасист — с подмастерьем, что все под себя гребет. Ковырну дерево и снова все слышу. Может, оно в самом дереве? Ей-богу, не знаю. Раньше-то я такого не слышал... Кто ж он был, этот блажной? Мне даже жалко его. Нагнусь к бревну и вроде голос свой слышу: «У нас поют только за деньги!»

Минуту сидели молча. Потом Имро сказал:— Понимаю.

— Я знал, что ты поймешь,— улыбнулся мастер.— А на свадьбу твою, Имришко, позовем и блажного этого. Раз свадьбе быть, пусть будет, пусть контрабасист покажет, что за контрабас у него, пусть все вокруг зазвенит, загремит, завизжит и разлетится во все стороны...

2

Еще тем же днем заглянул Имро к Вильме и объявил, что разговаривал с отцом и все утряслось. Вильма обрадовалась, правда, не так, как ожидал Имро. Сказала, что до весны свадьбе не быть,

потому что в этом году у нее умер дедушка и хотя бы год надо по нему соблюсти траур — не важно, что дедка был по отцу и что они никогда с ним особо не ладили.

Имро слегка расстроился. Он охотно женился бы тотчас, да Вильмин дедушка все напортил. Чудной был старикан. Всю жизнь делал семье пакости. Да и нынче похоже было на то, будто он вздумал осложнить Вильме жизнь лишь потому, что не хотел плясать на ее свадьбе. Что ж, ничего не поделаешь. Свадьбу сыграют только весной. По крайней мере у Вильмы будет красивый букет. И дедушка, бедняга дедка, не будет больше уже ни злобствовать, ни ворчать, ни свадебного пирога не отведает, ни Вильмину фату не похвалит, не отчитает и даже не пожурит ее за то, что так рано выходит замуж. Ты что, дедка! Вовсе не рано — Вильме-то скоро девятнадцать стукнет.

Бедняга дедка! Может, он и не был таким злюкой. Завтра же Вильма сходит к нему, навестит. Подравняет бугорчатую его могилку, нанесет на нее рыхлой земли, повтыкает в нее несколько клубней и луковиц, чтобы было чему расцвести по весне. Разве Вильма забудет про деда? Скоро Душеньки [1], вот уж правда замечательные Душеньки. Вильма дедкину могилку разуберет, нарядит — а иначе-то он бы плакался, может, даже на том свете не выдержал бы, хмурился бы на каждую душеньку, роптал бы и на господа бога: ну мне и воздали, ну и отплатили! Нет, с дедом лучше не связываться. В саду всегда чего хочешь найдешь. А покажется дедушке мало, Вильма еще и по погосту пройдется, и кой-чего отщипнет — не в каждой же могилке прячется злыдень, душеньки ей простят, а может, и вовсе не заметят. Потом затеплит она дедке свечку или лампадку. Придут и дети, дети любят ходить на погост — ведь у ограды не только липа и каштан, там и груша случайно выросла, а мертвые, дело известное, мертвые жадными не бывают. А хотя бы и были, что они сделают? Неужто за детьми побегут? Дети днем не боятся, а ночью — ночью им лучше всего под периной. Только бы у дедки свечку не свистнули — дети любят красть свечки, особенно если некому их одернуть, пожурить. Промелькнет год за годом, придут на погост и Вильмины дети, заглядятся на пестрый холмик, но деду и в голову не придет, что на него глядят его правнуки и правнучки. Долгие годы спустя отзовется отец, хотя Америка отсюда на краю света, спросит о дальних внуках, через моря и горы пошлет им привет. От привета перепадет и Вильме, и Вильма, верно, не вынесет этого, от радости возьмет да расплачется. Выбежит из дому и станет махать Америке, но что толку, если из Америки никто ее не увидит? Когда-нибудь, может, оттуда придет и посылка, может, отец захочет внуков и дочку порадовать, да только зачем Вильме посылка. А однажды — ведь не оставаться ему там навек — нагрянет и сам отец и по-чужому, по-американски будет озираться вокруг, но дочку и этим не смутишь — отец есть отец, наглядись он хоть на тысячу всяких Америк. Внуки спросят, что дед привез, и он даст им по пятаку, по американскому пятаку, дети-то, они глупые, и конфетами даже утешатся. Разве кто знает, что у настоящего американца в карманах! Будут в них и блошки — у каждого, кто из Америки приезжает, есть свои блошки, свои вошки-чудинки,— наверняка и отец их наловил. Да только сейчас тишина, Америка молчит, отец не пишет. Возможно, после войны, может даже сразу после нее, опять повсюду будет полно американцев, столько, что им, пожалуй, и океана не хватит. Приедет отец и долго будет хмыкать, все, кто приезжает из Америки, хмыкают. Иные просят встретить их хлебом-солью, хотя порой бывает просто смешно, что и прохвосты, продавшие родину, держатся за обычай,

[1] День поминовения усопших.

просят его соблюсти. Но Вильма обычая не нарушит, пусть знает отец, да, да, пусть знает, что дочь его умеет испечь хорошего хлеба, да и соль — наша, конечно, соль — соль тоже дома найдется. Отец, может, и застыдится, может, и пустит слезу: простите, мол, я такой уже старый и у меня такой чудной голос! Вильма запричитает: господи, да что же это он говорит?! Внуки подивятся, животы выставят: что за полоумный такой? Три дня пекли для него пироги, а он все хлеба да хлеба, хотя даже воды испить не умеет! Под окном шум, гвалт! Стайка сорванцов: шилды-булды, пачики-чикалды! Тут и колокола затрезвонят: добро пожаловать! Ну хватит! Не спятим же мы из-за одного американца! Все-то дело в том, что он не приедет. Хотел бы, так давно прикатил бы. Отец, забывший о дочери, да и о второй дочери — у Вильмы еще сестра есть,— навряд ли заинтересуется внуками. Навряд ли спросит о зяте. Ну и бог с ним, пусть себе там, в Америке, живет-поживает! А попадет в беду — пусть напишет, да, господин тесть, напишите, пожалуйста! Если вы и впрямь попадете в беду или Америка в беду попадет, достаточно вам написать! А лучше возвращайтесь, возвращайтесь домой, отец, приезжайте на свою дочь поглядеть или хотя бы спросить об отце, о вашем отце, жив ли он еще или помер, а если и помер, то, думается, не мешало бы вам по крайней мере узнать, есть ли кому у него на могиле хоть помочиться...

У нее, у этой Америки, очень подчас чудной нрав! Или это просто дурные манеры? Человек может ей как безумный махать, а из Америки ему в ответ помахать некому.

3

В ту пору в Околичном жил-поживал один мальчишка — зубатый такой и ужасно на меня похожий. Можно даже сказать, что это был я. Мальчишка вечно смеялся, смеялся даже тогда, когда ему не хотелось. И иные люди на него злобились. Вы себе и представить не можете, как некоторым бывает смех ненавистен. Мальчишка это скоро заметил, да что мог поделать? Случалось, он и сам своего смеха немного стыдился. И вот однажды сказал себе: «Господь бог, наверно, забылся и наградил меня такими большими зубами — хочешь не хочешь, а смейся». И чтобы смехом никого не обидеть, он обычно прикрывал рот рукой и так ходил, похаживал по деревне, по улице, заглядывал во дворы, в двери и окна, все-то видеть хотел, но следил постоянно за тем, чтобы люди его смех не приметили. Только люди — сами знаете, какие они — иной раз шлепали его по руке: «Зачем вечно рот пятерней прикрываешь?» И тогда они замечали его смех и еще пуще сердились. «Гляньте-ка, ведь он смеется!» А когда выросла у него под стать зубам и голова и разума в ней поприбавилось, мальчишка уже стал кое-как с этим смехом справляться: вытянет губы, округлит их, а заметит, что на него смотрят, тут же начинает насвистывать! Был он, выходит, смышленым мальчишкой, даже веселым, но умел и владеть собой, старался эту свою веселость удерживать в горле — выпустишь, так и зубы сразу увидят. Веселый был мальчишка.

У детей в ту пору жизнь была довольно суровая: если взрослые не заставляли их работать в осенние дожди, например, и туманы, когда и работы особой не сыщешь, то дети шатались по дворам, разносили из дома в дом грязь на подошвах. Родители сердились на детей. Утром их отсылали в школу, а после уроков опять была с ними сплошная морока — поэтому их выгоняли из дому:— Ступайте играть к соседям! И не вздумайте сюда дружков приводить! Не то достанется! Ни минуты от вас покоя!

Но и у соседей были дети. И они тоже их гнали:— Ступайте! Проваливайте отсюда! Проваливайте, елки-моталки, а то еще чужие недоноски сюда завалятся! А ежели кого приведете — получите ремня, вот увидите, уши оторвем!

Вот оттого дети из дому в дом и ходили и повсюду дергали и бухали дверями. А чтобы не дергать и не бухать втуне, всюду про кого-нибудь или что-нибудь спрашивали, а уж тому, кто не умел спрашивать, негде было и обогреться.

— Яно дома?

— Нету.

— А Мариша?

— И Мариши нету.

— А наша Анча не заходила?

— Не заходила. Мы ее и в глаза не видели.

— Чуток обогреюсь и пойду.

Чуток — всего лишь чуток. Взрослые-то хорошо знают, что такое чуток. Знают и то, что, если кому из детей позволят в избе побыть дольше, за ним скоро притащатся и другие. Поэтому с детьми особо не цацкаются.— Ну ты уже обогрелся и будет. Топай давай!

Вот и наш мальчишка ходил по домам — выгонят из одного, шел пытать счастья в другой. Иной раз — сказано ведь, что это был толковый мальчишка,— иной раз очень уж ему не хотелось, чтобы его выгоняли. Он входил в дом, улыбался, поблескивая глазами, улыбался, будто его всюду только и ждали.

— Дома ваш Мишо? — спрашивал.

— Зачем тебе Мишо? Он еще на работе.

— А дядю Имро вы не видели?

— Дома, должно быть. Не заходил. Кому охота шататься по такой непогоде?

— Схожу к нему. Послушайте, тетушка, ваша серая еще не обгулялась?

— Обгулялась. Когда у нее будут детеныши, приходи на них посмотреть. Позову тебя. А теперь ступай! Иди, тебя, верно, уже дожидаются.

— Не-е, не-е. А то, если хотите, тетушка, у меня есть такой черный самец, ваш Йожко мне его подарил, когда отправлялся в Россию.

— Ладно, ладно. Потом мне его дашь.

— Тетушка, я хотел сказать еще одну вещь...

— Как-нибудь в другой раз. Сейчас времени нету. Тороплюсь. Надо корове постлать.

На улице мальчишку поджидают дружки — хотят прибиться к нему. Только прямо не говорят, а начинают исподволь:

— Хочешь с нами?

— Хочу. А куда?

— Куда? К вам.

— Нет уж. Я лучше погуляю еще немножко на улице.

— Боишься, да?

— Чего мне бояться? Захочу, так пойду.

У них ушки на макушке. Кто шмыгает носом. А кто и рукавом смело проходится под ним, хотя учителю — слава те господи, его сейчас нету!— такой естественный жест не по нутру. А рукава-то как хороши!

— Чего зря тут торчать! Пошли! Сегодня мы идем к вам.

— Почему к нам? Ведь и к вам можно.

И другим рукавом, прямо под носом — рраз, а потом — шмыг!

— Пошли куда-нибудь. Мне все равно.

— А все равно, так пойдем к вам! У вас мы еще никогда не были.

— Всыплют мне!

— Всыплют мне, всыплют мне! А к другим можешь грязь таскать?! А как мне тата въедет, думаешь, не больно?

— Ладно. Помалкивай.

— Меня метла дожидается. И вчера меня отхлестали.

А бывает, заглядывают в лавку. Сперва один туда сунется, за ним потащатся и остальные. Спрашивают у лавочника, можно ли купить сладких рожков[1] и будут ли к рождеству апельсины? Можно бы спросить еще и почем пятьдесят граммов халвы. Да это им известно. Лавочник не любит, когда его о чем-нибудь по нескольку раз спрашивают. А иные пробуют говорить с лавочником серьезно:

— Наш тата интересуется, есть ли у вас в такой махонькой коробочке колесная мазь.

— Есть,— говорит лавочник.

— Скажу ему.

— Дяденька, а нету у вас цепи для велосипеда? — спрашивает другой.

— Как не быть? И цепь есть. Цепь у нас всегда есть.

— Хорошо, теперь знать буду. Как будет у меня велосипед, куплю и цепь.

— А ну-ка марш по домам! — выдворяет их лавочник.— Раз не покупаете — убирайтесь отсюда!

Так проходит день за днем. В деревне растет эпидемия гриппа, но деревенские грипп не принимают всерьез, многие его и за болезнь-то не считают. «От гриппа еще никто не умирал,— рассуждают они.— От легких — дело другое. А чтоб от гриппа? Не смешите!» Вечером во всех домах пахнет липовым чаем. Дети у печки клюют носом или, стукаясь головой об стол, дремлют над хрестоматией. «Вот тебе, хрипун, вылакай!» И они чуть улыбаются, потому что уже видят сон. «Если опять будешь кашлять либо ночью обсикаешься, отдеру как сидорову козу». А поутру дети вдруг снова спрашивают о вчерашнем чае, не ведая даже, что вечером уже его выпили.

Зато некоторые дети любят отговариваться гриппом, особенно в школе, когда им не хочется петь: «Пан учитель, я не могу петь, потому что у меня грипп».

Учитель, случается, такую отговорку и признает, но если он в дурном настроении, разорется на весь класс или заиграет на скрипке до того яростно, что ученики и дыхнуть боятся.

Правда, дышать можно осторожно, чтобы учитель даже и не заметил, что ученики дышат, а вот куда хуже, если им хочется кашлять, учитель кашля просто не выносит, из-за кашля приходит в невообразимую ярость. Тут же прекращает играть, вперяется в одного, второго, третьего, грозится смычком.— Только попробуй кто из вас кашлянуть, я такую ему музыку устрою, сроду такой не слыхивали. Хотя зачем зря смычок портить? Возьму-ка лучше суковатую палку, что в прошлом году срубил на прогулке, да и такую картинку нарисую ему на ж..., простите, на попе,— учитель мигом поправляет себя,— что вы ахнете — станут не ягодицы, а сплошь ягодки.

Самый умный — хотя учитель и считает его самым глупым — ученик в классе, видя, что дело принимает дурной оборот, подымает руку: уж лучше отпроситься в уборную.

— Ступай! Проваливай! Проваливай, пока я не разозлился вконец, и до перемены сюда не являйся, глаза б мои на тебя не смотрели!

Ученик уходит, понурив голову. Во дворе, довольный, откашливается, потом шмыг в сарай — там и закурить можно.

[1] Плоды рожкового дерева.

Остальные сидят на партах недвижно, но мы-то знаем, что это за недвижность и как долго она может длиться; вдруг и те, что до сих пор не кашляли, начинают чувствовать, как в них что-то подымается, подступает к горлу, господи, только бы не выскочило, а это стоит немалых усилий — вот-вот кашель подступит к горлу; они таращат глаза и изо всей мочи тужатся. Да ведь откуда-то оно должно выскочить. Вдруг под одним учеником — ррр! Точно сиденье под ним подпрыгнуло. Остальные оглядываются — кого это так прорвало?

Учитель, начавший было играть, подымает голову, глаза его мечут молнии:— Кто воздух испортил? — Будь у него глаза включенными в электросеть, наверняка бы вышибло пробки.

Раздается плач:— Пан учитель, ведь же не пахнет.

— Я те дам не пахнет! — фыркает учитель. Остальные ученики теперь могут преспокойно откашляться.

Грипп, конечно, чепуха, но если напустится на человека, неизвестно еще, чем может кончиться, особенно когда его не принимают всерьез. Кой кому все трын-трава. Обмолвишься иной раз о какой-нибудь болезни, и тут же тебя начнут упрекать, что говоришь о ней несерьезно, нехорошо. А что может быть в болезнях хорошего, скажите на милость? Назовите мне какую-нибудь хорошую болезнь, тогда и я напишу о ней хорошо! Писать надо правду! Только какую правду? Кабы о правде можно было писать, как о кукурузе, какую бы прекрасную книжку я написал! Оно конечно, писать можно и правду, только не каждый умеет. Дружки мои, временем поистрепанные, как же быстро растеряли вы свои годы, и я напрасно пытаюсь вам их вернуть. Дайте кину два коротеньких взгляда на наших отцов-матерей, а потом опять вас позову.

Мужчины — ага, слышите, дедка, речь пошла уже о мужчинах. Мужчины считают, что при гриппе прежде всего надо как следует выпить. И вот под вечер кто-то плетется по улице и бормочет в густеющие сумерки: «Ну и знобит меня, аж кидает всего!» У корчмаря — работы невпроворот, только поспевай наливать да время от времени дров подкидывать в печь, чтобы мужикам должным образом пропотеть. А вот женкам такое лечение не по нутру. «Грипп? — морщатся они.— Это нешто болезнь? Куда хуже немочь. Вот ежели когда немочь, тогда человек и ходить даже не может. Голова кружится, насморк, все время мутит. Немочь — хуже хвори и не придумаешь, а от нее самолучшее лечение — можжевеловка».

Дети — ну вот я и опять среди вас, зря вы, ребята, отгоняли меня в те давние годы; коль захочу, поведу вас теперь по дорожкам, по бездорожью и покажу те места, что вы старались от меня утаить; я ловко тогда за вами следил и уже тогда учился держать язык за зубами,— ну так как?! А не хотите, можем и распрощаться. Ведь о детях почти все уже сказано: они умирают только от легких, а от легких уже давно никто не умирал! Или, может, желаете еще поиграть со мной в Микулаша? [1]

Допустим, что сегодня Микулаш. Ходит святой с чертом из дома в дом. У Микулаша одни орехи, а то и тех нет, а у черта, и это главное, у черта при себе всегда увесистая дубинка. «Будешь молиться?» Черта особенно занимала молитва. Кто не умел молиться, получал уйму таких гостинцев. «Ну погоди, черт, я ужо с тобой расквитаюсь!»

С детства не верю я в чертей и Микулашей. От сказок о чертях мне только и осталось что присказка: с чертом лишь черт расквитается!

---

[1] В Словакии существовало поверье, что 6 декабря святой Микулаш разносит детям подарки.

4

А Вильма любит детей. Вечно с ними возится. Детишки со всей деревни к ней таскаются. Бывает, даже злятся, если она занята важным делом, но и тогда не дают ей покоя. Ох, дети! Что с них возьмешь? Пожалеешь их, а потом тебе же боком выйдет. Вильме уже не раз жалость эта боком выходила. Иные дети и впрямь невыносимы, слишком много себе позволяют. Летом, правда, еще куда ни шло, можно выдержать, стоит только придумать для детей какое-нибудь занятие — ну хотя бы вытащить их куда на травку, на лужок, да там и оставить. Или, к примеру, спросить: «Кто знает, не поспела ли черешня?» И дети потихоньку рассеются, пойдут поглядеть, как обстоит дело с черешней. Если им будет удача, придут и поделятся этим с Вильмой. То же самое можно попробовать и с абрикосами. А вот наступит осень, оголятся деревья, затуманятся и отсыреют просторы, зарядят обложные дожди, тогда Вильмины старания уже ни к чему. Дети говорят себе, а то и говорить ничего не приходится, они попросту знают: Вильма — мастерица придумывать, только нам и здесь хорошо, нам и в Вильминой горнице нравится. Какое им дело до того, что она призналась: в мае, мол, свадьба, и забот теперь у нее — непочатый край! Дети приняли все это с пониманием, более того — даже с восторгом. Смекнув, что Вильмины заботы связаны со свадьбой, они стали еще усердней ее навещать. Девчонкам непременно хотелось знать, какое будет свадебное платье, какой букетик, венок. Мальчишки относились ко всему несколько критично: ведь свадьбу могли бы сыграть и раньше или хотя бы поскорей начать приготовления к ней. Злились, что Вильма тянет с этим,— так, глядишь, навалится все в последнюю минуту, подымется хлопотня, начнут печь, замарают все миски — разве успеешь их как следует вылизать? Однако Вильме, верно, хотелось показать, что дело со свадьбой продвигается: нет-нет да и поднесет она детям по два, по три ореха. Иногда тайком от матери насыплет каждому в горсть немножко сахару. Потом отошлет детей прочь и радуется не нарадуется, что наконец-то от них избавилась. А ребятишки выберутся на улицу, минуту-другую довольны, а съедят сахар, глянут на ладонь, увидят, как они языком ее повылизали и как она похорошела, сразу станут ворчать, что Вильме, мол, нечего скупиться, можно бы и в обе ладошки насыпать, и тогда бы обе они были красивые. Побегают друг за дружкой, в снегу изваляются, иные, правда, так только, для видимости. А потом вдруг у кого-то из них мелькнет мысль: были орехи, был сахар, может, еще что перепадет?! И бегом! Опять к Вильме!

— Боже праведный, мама,— причитает Вильма,— они опять лезут!

— Шугани их! — советует мать.— Чего боишься! Возьми метлу да и всыпь им как следует.

— Ну уж и всыпать! Боже милостивый, что же делать?

А они тут как тут, вот уже хлопнула и калитка и за последним — правда, последнего не было, поскольку как раз в калитке он обогнал предпоследнего,— сама затворилась. Хоть бы отряхнулись во дворе хорошенько! Дудки! Уж они отряхнутся! Лезут прямо в горницу: гляньте, как мы вывалялись в снегу и как мы ловко топаем! В кухне какой-нибудь недотепа ногой задевает ведро, в котором, почитай, с литр воды, но когда она выливается, ее становится больше. Виноватый, чтобы отвести от себя подозрение, начинает тузить дружка:— Дурья башка, видишь? Глянь, какую реку ты устроил — чисто Ваг!

Вильмина мать хватает метлу. Подымается суматоха, давка. Дети кидаются наутек.

Дня два-три — тишь да гладь. Вильма с матерью спроворили уйму дел, и теперь им начинает казаться, что можно было бы и не так торопиться.

— Жалко, что все уже постирали! — говорит мать.— Гляди, как прояснило! Сохло бы у нас белье любо-дорого.

— Зачем же так торопилась? Теперь уже умничать нечего!

Они утешаются тем, что предстоит еще гладить. Но вот пощупали — белье вроде бы волглое.— Пусть малость подышит,— предлагает Вильма.

На том и сошлись. А дальше что? Мать умом пораскинет и, вернувшись в горницу, начинает мыть пол. Вильму смех разбирает: — Мы же вчера мыли его, мама!

— Вчера? — Мать глядит на нее.— Постой, вчера разве? Я-то думала, позавчера. Ладно уж. Начала, так кончу.

Вильма стоит над ней, качает головой, а потом сама хвать тряпку и давай матери помогать.

Настирают они, нагладят, все переделают. И опять Вильме скучно, нечем заняться.

— Мама, пусто что-то у нас. Дома мне вроде не по себе.

— Как это пусто? Чего тебе не хватает? Тепленько тут. А вообще-то я тебе еще раньше хотела сказать, мне тоже вроде так представилось. Знаешь что? Герань-то с окон перед рождеством перенесли мы в подвал, уж оттого, верно. А может, и то нас малость смутило, что от окна-то мы отодвинули лавку и теперь там не рассиживаемся. Тут-то у печи, на лавке, оно получше. Как выйдешь замуж, как этот шалопут женится на тебе, переставлю лавку в заднюю горницу, в задней-то горнице на лавке мне опять будет куда как хорошо.

— И что это ты, мама, всегда на него напускаешься? Всегда тебе его пошпынять охота.

— Чего мне его шпынять? Шалопут — он и есть шалопут. Хоть и скажу так, от этого его не убудет. Хорошо, что и от тебя отделаюсь. А ежели потом у вас маленький народится, и покачать могу. Что-что, а качать я умела. Знаешь, Вильма, я бы и вышивать стала. Ведь крохе нужны всякие чепчики, а на каждом чепчике можно бы монограммку вышить. На платьицах хорошо бы и маргаритки. Смотря по тому, кто народится, я бы цветики и вышивала.

— Думаешь, я не умею вышивать?

— Чего ж тебе не уметь? Только у тебя времени не будет. Знаешь, какая с детьми морока? Я-то уж привычная. Разве я с вами мало намыкалась? Вильма, а Гульдан-то что сказал? У нас хочет жить? Или чтоб ты к ним переехала?

— Не знаю. А мне все равно. Мы об этом еще не говорили.

— Ох ты же и глупая! Самая пора о таких вещах говорить. Сдается мне, тебя туда будут тянуть, их двое, двое этаких остолопов, кому-то ж надо им стряпать. Коли станут тянуть, ступай А я позову сюда Агнешку и Штефана. Увидишь, как мы тут заживем. Только и будешь к нам бегать да Агнешке завидовать.

— Это вы будете мне завидовать. А я с радостью из дома уйду.

— Ну-ну не прыгай, рано радоваться-то! Еще не перепрыгнула.

5

И Имро готовился к свадьбе. Купил себе черную шерстяную тройку с красивым блестящим жилетом и с красивыми граненными пуговицами, что переливались на свету и отражались на блестящих предметах. Купил он и галстук, и новые ботинки, что тоже не лишены

были блеску; изредка надевал их, чтобы разносить до свадьбы, но расхаживал в них только по дому — боялся запачкать.

Мастер готовился к свадьбе все больше речами — их и впрямь было вдосталь, и все они обычно кончались призывом: «А свадьбу, Имришко, надо отгрохать на славу!»

Итак, свадьба была назначена на начало мая, хотя могла бы быть и пораньше, ведь Вильмин дедушка умер в начале апреля, а все же вышло б неловко, да и люди стали бы судачить, если бы Гульдан с Вильмой отмерили траур тютелька в тютельку, словно никак не могли дождаться венчанья. А так по крайней мере Имро с Вильмой успеют обо всем позаботиться и оба семейства подготовятся к свадьбе по всей форме.

Мастер купил себе новую шляпу — та, что была у него на Якубовой и Ондровой свадьбе, уже поистрепалась, залоснилась. И сапоги будут новые, хотя и выходные его пока вполне ничего — их бы только смазать хорошенько да надраить, но раз такое дело, мастер жаться не станет. Свадьба так свадьба, к ней должны быть новые сапоги! И будут! Сапожник Кулих сошьет их.

Но однажды вечером явился мастер с новостью:

— Имришко, планы изменились! Свадьбу придется отложить!

Имро уже лежал в постели и подумал было — отец шутит.

— А что изменилось? Ничего не изменилось,— сказал он раздраженно и сел. Шутка показалась ему довольно плоской.— Ничего не могло измениться. Мы договорились. Свадьба назначена.

— Ты же ничего не знаешь,— мастера даже задергало.— В Церовой будут строить новый костел. То есть его уже давно строят, а теперь решили закончить. Зовут поработать по плотницкой части, негоже нам ударить лицом в грязь...

— Тата, а при чем тут свадьба?

— Иисусе Христе, ты что, не соображаешь? Свадеб миллион, каждую минуту играют в округе где-нибудь свадьбу, а костел каждую минуту не строится. Подумай, Имро! Костел, колокольня...

— Нет, тата. Ты меня на эту удочку не поймаешь. На работу подрядиться можно, а к свадьбе это касательства не имеет...

— Не дури, Имро! Выслушай меня! Село богатое, много крепких хозяев. В Церовой нам всегда везло больше, чем в другом месте, не можем же мы теперь церовчан с носом оставить. Свадьбу же мы не собираемся отменять, а только откладываем. Женатый-то человек, он словно оглушенный, одно знает: умом дорожку к жене топчет, особенно ежели к жене еще не привык. Ходит как очумелый, все у него из рук валится. Не-е, женитьба усложнила бы дело. Костел — вещь серьезная, тут вдуматься надо.

— Нет, не выйдет. Зря уговариваешь. Люди меня обсмеют. Вильме и то не объяснишь.

— А чего ей объяснять? Нешто не знает, что такое костел? Должна понять нас. Позовем на подмогу Якуба и Ондро, у нас у двоих на это и пороху не хватит. Дело-то нешуточное! Придется помощниками обзаводиться. В Церовой людей — прорва, помощники сыщутся.

— При чем тут помощники? Да меня вообще это не занимает.

— Такое дело, Имро, тебя не занимает? Я же тебе ясным языком сказал: в Церовой с нами будут и Якуб и Ондро, придется им оставить жен, и те все поймут, уж я о том позабочусь. Не валяй дурака, Имро! Женитьба не убежит. Неужто отложить на месяц не можешь? Имро, речь-то о костеле! Раз, от силы два в жизни выпадает такая удача, а тут когда она прямо валится в руки — отказаться от нее, не подналечь? Свадьба! Ну что такое свадьба, скажи? Надувательство,

суетня! Полгода готовишься, а потом за одну ночь все сожрут, выпакают, свадебники обмочат забор, кто в дымину пьяный в грязи изваляется, а кто, желая душу облегчить, только и горланит: жизнь — море-е-е, море-е-е бурное, и вы на утлой лодочке... А какой-нибудь старый долдон, олух вроде меня, едва доплетется домой. Голова трещит, в пояснице ломит, потом неделями, а то и месяцами будет отфыркивать пыль и озираться вокруг: ага, стало быть, я уже дома, еще одну свадьбу отмучил. Имро, да ведь мы только и говорим что о свадьбах! Из работы и то свадьбу устроили. Я все время в дороге. Со свадьбы лечу на свадьбу, с крестин на крестины. Жизнь! Вот это жизнь! Якубов сын уже голосит, говорить-то еще не умеет, а про меня уже спрашивает. Ондров еще не спрашивает, только еще осматривается, а все смеется и глазами, говорят, деда ищет. Как же туда не бежать? Бегу. Бегаю, отдыха не ведая. На работу разве что только заглядываю. А все больше ворчу, потому как и ворчать — моя обязанность. На то и мастер, чтобы ворчать. Тяжко жить таким ворчуном! О тех двоих лучше не говорить. Неплохие они, толк в деле знают, да норов у них лошадиный, таким норовом управлять надо. Коли забудутся или в чем оплошают, ей-ей, Имро, разворотят все, что попадет под руку... Все бы простил им, но этого... Ну скажи, Имро, разве не могли они дома жениться? Не могли жен сюда привести? Сделали бы мастера подмастерьем, да хоть и побегушкой, мне-то все одно — что побегушка, что нет, я-то уже кой-чему научился. Тут мой дом, тут я родился, куда же бежать? У женатого дом там, где жена и дети, оно так, я думал об этом. Дома можно быть не только у себя, но и у соседей, в Вене, и в Париже, и в Америке, где угодно, на какой угодно земле. И все-таки настоящий, самолучший дом тот, где ты родился, где твоя родина. В ком нет уважения к родине и к тем, кто его воспитал, кто еще в детстве разговаривал с ним и журил, в том нет уважения и к собственным детям, в них растет равнодушие, и равнодушные, они однажды тоже отправятся на поиски, но ничего не отыщут, если не будут знать, что дорога ведет не только вперед, но и назад. Зачем мы строим дома? Неужто затем, чтобы покинуть их? Или затем, чтобы потом разрушить или продать? Дом можно разрушить, можно продать, дом — это всего лишь дом, и поступай с ним как знаешь: вместо старого можешь выстроить новый, сто, тысячу новых домов, но родной дом — не просто дом, это родина, да, настоящая родина, наш родной дом только там, где наше начало, где мы сдирали и расшибали коленки, пока учились ходить, где отбивали края у ночного горшка — тяжелый, он был нам не под силу; родина там, где ты кружил вокруг дома и, войдя в него. знал, что ты действительно дома, и если б ты даже из дому ушел далеко, то был бы все равно всегда вблизи дома, близ родины. потому что родина может быть и вдали; родина убегает вдаль и вширь, родина — это расширяющийся круг, у которого есть своя сердцевина, а сердцевина — всего лишь клочок (в школе мы это учили), клочок обыкновенной, пропитанной потом земли, утоптанной твоими ребячьими ножками, оглаженной твоими коленками, овеянной твоим дыханием; у родины высота, да, и высота есть у нее, и ежели кто из дому бежит, я всегда спрашиваю: ты куда, дружище, бежишь, почему убегаешь из дому? Может, высоты испугался? Или глубины? Пожалуй, ты испугался бы меньше, если бы понял ее, а поняв, ты понял бы и сердцевину, и тогда бы уже не бежал, не предал бы собственной родины и не надругался бы над чужой; у кого есть родной дом, тот повсюду дома, любая родина его привечает, а тот, кто без родины, он словно блуждающий в чужой земле камень, что путается у всех под ногами, а другие камни на него еще и покрикивают: ты тут чужой, братец, ты тут не дома!

Ибо родина с родиной всегда заодно, и человек должен знать, где его корни...

— Ну и умеешь же ты голову заморочить! — сказал Имро серьезно, даже с восхищением, но и не без легкой улыбки.— Ловок языком плести, черта и то заговорил бы, забаламутил. А моя забота о свадьбе.

— И я жду ее не дождусь. Ей-богу, Имро, не могу дождаться. Но ведь костел тоже...

— При чем тут костел! Свадьба свадьбой, нечего все в кучу валить!

— Имро, да ведь одно с другим связано! А коли думаешь, что не связано, то, пожалуйста, можем свадьбу отложить на месяц-другой и толковать не о чем.

— И то дело! Согласен! Скоро март, как раз так и получится.

— Постой, постой! Я не то думал. Не с марта хотел отсчитывать. Можем начать с июня либо с июля.

— Нет, так дело не пойдет.

— А раз не пойдет, то мы с тобой не столкуемся. Только повздорим.

— Сыграем свадьбу немедля!

— Как это? Когда немедля?

— Немедля.

— Что у тебя так загорелось? В пост? Да священник и не обвенчает вас.

— Ну после поста.

— После поста уже начнется работа. Знаешь, Имро, давай не мудрить! Материал заготовлен. Вскорости снег стает, да он и так помаленьку тает, нам и ждать нечего. С будущей недели кликнем Якуба и Ондро...

— Нет, я так не могу. Ты пойдешь объясняться с Вильмой?

— Пойду. Отчего ж не сходить? Ты бы, Имро, на планы взглянул! Я-то их видел, архитектор показывал. Ей-богу, Имришко, превосходные планы, мировой архитектор! Ловкий архитектор, толковый мужик, шикула[1], поистине шикула! Нынче у нас февраль, через пару деньков март, в марте и приступим, нажмем на всю железку.

— Только к Вильме я не пойду, наперед тебя предупреждаю. Разве что после того, как ты ей сам все объяснишь.

— Объясню, Имришко, все объясню. Только бы нам этот шикула мозги не замутил! Ничего, и его обскачем, и его свяжем, приладим, подопрем, скрепим болтами и поясками. Гляди, шикула, на свою башню-колокольню, взойди на нее, высоты не пугайся, а ежели напугаешься, грош цена твоим планам. У кого мусор в голове, кто не знает, что такое родной дом, кто не любит его, тому все равно, что делается в нем и не в нем, тому лишь бы все с рук спихнуть; напрасно замахивается он на колокольню, разгильдяю не место на высоте, ему нечего с высоты сердцевину показывать, пускай внизу копается, по крайней мере колокольню не загубит...

Колокольня

1

Итак, за дело! Хотя сперва придется рассказать кое-что о церковчанах. Они-то уж давно созрели для нового костела. Старый стал слишком тесен — по большим праздникам они в него уже не вмеща-

[1] Способный, толковый человек, умелец *(словац.)*.

лись и должны были топтаться снаружи. И случалось, топтались так рьяно, что причетник выходил наводить порядок.

— Добрые прихожане, образумьтесь! — урезонивал он их.— Тут ведь не шинок. А кто не может образумиться, прийти в себя, пусть в шинок отправляется!

В себя-то они приходили, а вот в старый костел все равно войти не могли. Поэтому совершенно естественно, что мысль о новом костеле приветствовали прежде всего те, что обычно стояли снаружи. Как скоро они прознали об этом, взялись кое-что откладывать, сберегать, а как сберегли, начал терзать их соблазн. Самое время в шинок заглянуть! Ан нет, не заглядывали. А если и случалось, то только с заднего входа, чтобы жены не видели. Итак, в Церовой царит порядок, а в те времена еще больше было порядка, поскольку мысль о костеле объединила всех. Церовчане откладывали деньгу и кое-что — кто больше, кто меньше — относили по воскресеньям в приход. Иной раз подбрасывали и в будни или же являлись в приход извиняться, что вот, мол, ничего не удалось отложить. В кругу семьи деньгам велся счет, и младший, поскольку он лучше всех знал толк в арифметике, выписывал на бумаге цифру и старательно делил ее, рассчитывая, сколько придется на месяц, чтобы потом хватило на все месяцы, на все первые воскресенья в месяце, когда бывает литургия с вынесением святых даров, чтобы после такой литургии глава семьи, то есть женщина, могла войти в ризницу и сказать: «Вот я и снова тут!» И священник, бывало, всякий раз тепло привечает ее. А причетник, в общем-то отвратительный и злой мужичишка, тоже не скупится на похвалу и улыбку: — Кабы каждый так жертвовал, костел бы нам уже светил! И я внес,— не преминет он похвастаться.— Костел много проглотит. Пан священник, ведь правда? — Да, и пан причетник пожертвовал,— подтверждает священник.— Пойдемте в приход, соседка! Пойдемте запишем! — И записывать было что.

Итак, откладывали, долго откладывали. А потом накупили много материалу и заложили фундамент. И вдруг вмешалась война. Радости как не бывало, да если бы только радости! Человек десять церовчан забрали на фронт. Иной скажет, что десять на такую большую деревню — вовсе не много. Оно бы и не было много, кабы позвали их на храмовой праздник. А их призвали на войну. На войну и одного жалко. Жалко и друга и недруга, жалко до тех пор, пока не начнут биться, а как погибнут, их еще жальче. Некоторым этого не понять, забыли они, что други и недруги бывают и на этой и на той стороне: кто хочет найти недруга, найдет его, кто ищет друга, обретет друга. Правда, с дружбой дело сложнее. Свинью, пожалуй, другом не назовешь, хотя, случается, и ей нужен друг. Это сразу по ней видать, конечно если нет тут ошибки и это в самом деле свинья. Свинье всюду мерещатся только враги. Она может, к примеру, взъяриться и на такого ни в чем не повинного, покладистого человека, как автор этой книги, хотя он никого не собирается обижать, вполне терпимо и беспристрастно судит даже о свиньях. Для ясности скажем: кто хочет знаться со свиньями, пусть запасается крепким желудком. Приличный человек шарахается от них, особенно если дело касается кабанов,— от них спасаться надо на дереве, в конуре или же защищаться огнем и железом. Но и тогда нужен крепкий желудок. Человека воротит от этого, ибо он и сам может вдруг превратиться в свинью или хотя бы в поросенка. Впрочем, из такого тоже может вымахать порядочный боров. И тот, кто стоит рядом или на полпути между ними, уже и сам не знает, кого больше бояться. Нате, свиньи, жрите меня!

Итак, десяток церовских парней, не считая возницы и того, что примостился на тормозную колоду, да и тех, что уже были в казар-

мах, призвали в армию, хорошо обули-одели, обучили и обученных послали на фронт. Уходили они весело, во всяком случае, почти весело, так как еще под Медзилаборцами пели:

...погляди-ка на ремни,
перекрещены они,
утешение мое...

И чему они радовались? Одному богу известно.

Неужто в самом деле они весело пели? Или уже стали похрюкивать, хотя в Церовой никогда не хрюкали. Не хрюкали даже в корчме. Когда в корчме заварилась драка, туда сразу являлся тата и устраивал крик: «Ух, так тебя и разэдак! Ну-ка марш домой!» Вбегала туда и мать, отвешивала оплеух и сыну, и тате, и драки как не бывало,— туда-то ведь прибегало больше женщин, а уж они-то умели награждать мужиков оплеухами. Только вот под Медзилаборцами не было ни церовских тат, ни матерей, были одни сыновья, а те и знали и не знали, кто они и что они, зачем идут и куда идут, свиньи ли они или всего лишь поросята. Многие поумнели только под Липовцом[1]: — Ребята, ведь они прут на нас, как на стадо свиней! — Что ж, кто заварил кашу, тот и расхлебывай. Не один тогда вспомнил о доме. И сам себя спрашивал: «Зачем я тут? Кто меня сюда звал? Ведь дома мне было лучше. Дома я помогал бы строить новый костел».

Только дело с новым костелом не очень-то двигалось. Война попутала церовчан, сильно сбила с толку. Иные говорили: — Фундамент заложен, дальше торопиться не будем, чтобы после войны не жалеть!

Но причетник на это: — Как раз и поторопимся! Войны-то на свете бывают всегда. Одна война кончится, глядь — к другой начинают готовиться. Так уж повелось от Адама. Небось Адам войну-то и выдумал. От Адама везде и всюду так и идет.

В конце концов и священник решил: — Как стает снег, сразу же и за дело!

2

И закипела работа на славу. Вся деревня на ногах. Все носятся, все хотят помочь строить новый костел. Мы уж говорили, что церовчане — народ богатый; ясное дело, потому и богатый, что никогда не чурался работы. Найдутся, правда, и небогатые, и таких немало, но когда речь идет о работе, все одинаково умеют вгрызться в нее зубами. Стоит начать, а там уж сразу все превращаются в кротов, роют, роют, роют, буравят, буравят и все, что выбурят или выроют, откидывают назад, а то бегают с этим, бегают, второпях положат сюда, отнесут туда, господи боже, сколько же они всего наперетаскали, напереносили! Иной раз случалось им перенести и такую вещь, какая должна была оставаться на месте,— вот теперь и дуй с нею обратно, вмиг оттащат ее назад и уже опять что-то схватят — вот так взад-вперед их и швыряло! Да, на это стоило посмотреть! А кто и домой забежит, отдуваясь, но и там дух перевести не успеет, а лишь поснует по избе, кинет на зуб что попало и айда обратно к костелу. Пока примчится — чуть куском не подавится и уж снова кричит: — Посторонись, ребята, посторонись! Дайте-ка мотыгу, дайте лопату! Где известка? Посторонись, ребята, пропустите меня к известке! — Лопата сама прыгает ему в руки: знает лопатка, у кого какая хватка, она всегда своего хозяина сыщет.— Посторонись, ребята, посторонись!— Песок ближе известки, а лопата, что ж, она и песок ловка кидать.

[1] Село Липовец Винницкой области, где словацкие части во вторую мировую войну потерпели крупное поражение.

Все копошатся, задами дергают, покачивают, ногами топочут. Раствор словно начинка для пирога. Кирпичи шлепаются — шлеп, шлеп! Каждый кирпич проходит через десятки рук — чего только не наберется,— и вот, веселого и обученного, шлепает его каменщик на стену, и кирпичу там способно.

Каменщиков тут тьма-тьмущая, один лучше другого, халтурщика среди них не найдешь. Халтурил один, да только в самом начале, при стольких-то мастаках и он чуть подучился, и к нему кое-что пристало. Но мало того, он еще и руководить порывался. Как-то раз строитель это подметил, отозвал руководителя в сторону и шепнул ему на ухо:

— Слышь, ты, скотина! Чего во все нос суешь? Пошто все время пасть отворяешь, чего каждого жучишь? Думаешь, мне тут десяток партайфюреров требуется?

— Простите, что вы сказали? Я вас не понимаю.

— Вот тресну тебя по башке, сразу поймешь! — Строитель потащил его дальше. И вдруг смекнул: «Чего мне от него надо? Куда я тащу его? Ведь в общем-то он дошлый малый. Может, он и впрямь старательный? Работать не умеет, зато руководить ловок, почему бы в таком случае мне его не использовать? Может, как раз такой парень мне и требуется».— Эй, послушай! — строитель улыбнулся.— Не хочешь ли быть адлатусом? [1]

— Адлатусом? — Руководитель поднял брови, вытаращил глаза на строителя.— Это что? Такого не знаю.

— Ну, как бы это тебе объяснить? Особая должность. Подчиняться будешь только архитектору и мне. Иной раз придется тебе присмотреть и за мастерами.

— Еще и за мастерами?! Да смогу ли?

— Ты все сможешь. Каждое утро будешь являться ко мне, а в течение дня следить за работой, проверять каменщиков и плотников. У тебя везде должен быть глаз. Понятно?

Парень улыбнулся. Подняв руку, кончиками пальцев стал легонько поглаживать нос.— Понятно, понятно. Да, кстати, сколько за это положено?

— Сразу же деньги у тебя на уме! Тебе мало, что будешь за мастерами приглядывать? Не бойся, получишь больше, чем мастер. Потому что адлатусу набавляет еще и инвестор.

— Какой такой инвестор? Никакого инвестора я не знаю.

— Скоро объявится. А не объявится, тебе бояться нечего, у меня с инвестором хорошие связи. Если где что застопорится, обращайся прямо ко мне. Ты должен обо всем мне докладывать. Потому и говорю: у тебя везде должен быть глаз, чтобы обо всем мне докладывать. Каждый тебя уважать должен. Будешь мастеров и немастеров подгонять, да и за материалом приглядывать.

Парень недоверчиво: — Вы вроде бы о десятнике говорите.

— Десятник десятником, ты его сюда не припутывай! Десятником может стать любой олух. А ты получишь диплом. Только не сразу, сперва подучись. Адлатус ты уже с нынешнего дня, а диплом получишь только в конце.

И с этой минуты руководитель превратился в адлатуса. Ловкий, понятливый был адлатус. Правда, нашелся и хороший учитель. Строитель умел наставлять уму-разуму. Позже, когда церовский костел был готов, адлатус получил и диплом, да он и сам мог уже раздавать дипломы. И часто потом вспоминал: «Да, во времена оны ходил я в адлатусах». Однако он ни разу не открылся, когда, для кого и где

[1] Помощник, сподручный *(словац., устар.)*.

ходил в адлатусах. Не открылся потому, чтобы случайно не обнаружилось, что люди когда-то считали его халтурщиком. Конечно, сам-то он никогда не считал себя таковым. А может, это все одни сплетни, люди-то злые, ни за что готовы утопить человека в ложке воды.

3

И Гульданы тут. Опять все четверо вместе и успели уже как следует поработать. Правда, вокруг них и помощников много. Пожалуй, столько и не требуется. По большей части это мальчишки, что недавно окончили школу, а те дивятся любой пустяковине, правда, не слишком — подивятся немного, а там опять все представляется им само собой разумеющимся. Завидели дерево, и сразу всем захотелось в плотники.— Ребята, не так ретиво! — мастер вынужден был даже слегка их осаживать.— Для учеников у меня одно правило: принеси да отнеси, то подай, а то прими! Беги, да чтоб одна нога тут, другая там. А коли надо что подержать, так уж и не двигайся и не дыши!

Кто понял, а кто и нет, не у всех же одинаковое понятие, нашлись и такие, что хотели разом стать подмастерьями, а двое-трое даже и мастерами. Гульдану пришлось их усердие отметить несколькими легкими затрещинами.

Кой на какие работы мальчишек подрядил Ондрей.

— Плотники, сюда! — кричал он. Радовался, что и у него подчиненные.— Леса для каменщиков подымать будем!

Да, на это надо было вам посмотреть! Ну и пыхтенье стояло! В два счета леса выросли. Ондро даже взмок весь.

— Эй, каменщики! — кричал он.— Давайте поднатужьтесь как следует! Не отлынивайте! Пускай врежет в самое небо!

Да, в самом деле! Это было подлинное горение. Все катило как по маслу, ну и не диво, что иной раз закатывали и оплеуху. Катило или ладилось? Что так, что эдак, кому закатят или заладят оплеуху, тому не все ли равно, а мне и подавно наплевать. Мастером все же вдруг не заделаешься, это бы надо каждому знать. За день, да два не научишься даже порядком тесать.

Где уж там! И тесать умеет только истинный мастер, знающий, что дерево сбегает, сужается кверху. Пока дерево живет, из года в год нарастает у него новое годичное кольцо, круг, что расширяет объем, раздает кору — она даже хиреет и лопается. Мы говорим: годичное кольцо, хотя на самом деле речь идет о конусе, напоминающем огромную деревянную трубу или дудку, подобно тому как труба или дудка напоминает дерево — ведь в дереве заключено столько звуков. Слышите? Вы слышите? Дерево раскрывается, разветвляется, и самое младшее годичное кольцо хочет раскрыться, раскинуться, затрубить, засвистать каждой веточкой, а потом ударить еще выше, пусть жизнь продвинется еще на ступень, и пусть о том останется отметина, чтобы многие годы спустя, когда человек спилит дерево, он мог, склонившись над пнем, пересчитать его лета.

Плотник отесывает ствол дерева, как бы снимая с него наружные покровы. Коническая структура дерева не должна быть нарушена, ибо под большим давлением балка может сломаться, поэтому и готовая балка, если она сработана настоящими плотниками, бывает на одном конце толще, а на другом — тоньше. Разница должна быть уравнена только при вязке кровли, но и тогда, конечно, не следует нарушать природные свойства дерева. Но мы, пожалуй, вдаемся в излишние подробности, они любезного читателя, наверно, мало занимают.

Кровля вяжется на земле. Плотники или же их сподручные на-

таскают широких досок, собьют из них просторную палубу. Мастер пройдется по ней, кой-кого подчас и окрикнет, а то и подтолкнет — ведь речь идет о деле серьезном и поначалу каждый ему помеха. Затем соберется с мыслями, внимательно изучит планы и под конец, вытащив карандаш, наклонится или станет на колени и начнет чертить на доске сечение будущей кровли с обозначением балок, стропил, стоек, подкосов, распорок, затяжек и полос. Пронумерует все стыки и связи. Кой-где добавит еще черточку, галочку или всего лишь выразительную точку, чтобы балбесы подмастерья не забыли важнейшие стыки укрепить, как положено, скобами, хомутиками, тягами, стальными поясами либо шипами, а то и деревянными накладками со стальными болтами.

Да, кровля еще только набросана на доске, а подмастерья, стоящие вокруг, уже мозгуют, шарят глазами по разным стыкам и пыжатся все упомнить, чтобы потом ежеминутно не прыгать, не глазеть на чертеж.

Ондро, как никто другой, подходит к делу обстоятельно: берет брус за брусом и вдумчиво укладывает все в голове — она потихоньку расширяется, да ведь так и должно быть — голова должна слегка расширяться, если мы пытаемся в нее все уместить. Ондро запоминает номера стыков и связей, даже если речь идет о сложной кровле, в которой много связей и не меньше стыков. Иному это покажется, возможно, и лишним. «Зачем себе голову наперед забивать?» — поговаривает Имро, а иногда и Якуб. «Ведь на доске и так все обозначено, пронумеровано, потребуется — можно и глянуть туда. В работе все равно надо каждую стойку, полоску, пластину или колышек пронумеровать. Каждый стык через мои руки проходит. Обозначу стропило, когда оно уже будет в руках». Но Ондро на такие речи не поймаешь. Цифры для него — ерунда. Правда, иной раз приходится голову поломать. А почему бы и нет, почему бы Ондро и не поломать головы, для чего же она тогда? Ондро и впрямь головы своей не жалеет, пожалуй, целая кровля бы в ней уместилась. Да и по нему это видно, особенно при ходьбе. Эко как у него кровля качается! Ну и пусть качается, Ондро за свою кровлю не тревожится. На что же тут распорки? Ондро и плечами двигает так, будто выпрямить хочет распорки, а на них нету лап, или будто обе распорки елозят по балке и никак не найдут свое место. Вдруг — рраз! Обе лапы опустились в пазы. Ондро аж на зубах это почувствовал. Ничего не попишешь, распорка — дело нешуточное. Отец ловко с распоркой орудует. Но и Ондрова голова все же есть голова, кровля из нее не выскочит и не вылетит, не вылетит даже тогда, когда распорки сядут в пазы и подкосы сменятся тягами, ей-богу, не вылетит, конечно не вылетит, поскольку у человека и анкеры есть, и анкеры Ондровой кровли довольно глубоко, да-да, довольно глубоко вставлены и заклинены, может, даже в ногах — а иначе отчего бы Ондрей так медленно и враскачку ходил. Вы, друзья мои, не беспокойтесь за Ондро! Он не мастер и никогда им не станет, но в плотничьем деле знает толк. Чего зря языком плести? Ондро не любит умничать. Речи речами, а работа работой. Но уж если действительно понадобится что объяснить, то можно и в двух словах сказать обо всем.

Спроси мы его: «Эй, Ондро, скажи-ка нам что-нибудь о годичных кольцах! Что такое годичное кольцо?» Ондрей коротко ответит: «Ну конус. Ясное дело».

А спроси мы еще: «Ондро, может, скажешь нам и побольше? Расскажи хотя бы о кровлях, как их надо вязать...» Ондро и договорить нам не даст: «Вот дурачье, дерево-то само вяжется! Дерево от ростка уже вяжется».

4

У Вильмы работы непочатый край, конечно, весна на носу, она не дает людям баклушничать. Иные, может, и отлынивают, а кого и летом не выманить из норы, но к Вильме это не относится — ее и зимой в нору не загонишь, а теперь она не нарадуется, что дни прибывают, весны никак дождаться не может. Вильма любит работу, а войдет во вкус, так словно играет в нее. Она уже перекопала весь сад, поразбивала комья, размельчила комочки, несколько раз прочесала сад граблями и, наметив, где быть семенам, а где саженцам, тщательно вымерила палочкой грядки, проложила в них канавки, в канавки накидала семян, присыпала землей, а землю обеими ладонями старательно поприхлопывала.

Больше всего времени потратила она на клумбу, клумба была довольно большая — и три могли б из нее получиться,— а кроме того, на ней уже из земли пробивались тюльпаны, нарциссы, даже пионы и, уж конечно, ирисы — их у Вильмы было многое множество, по меньшей мере видов семнадцать, восемнадцать. И не поверишь, что на одной клумбе может уместиться такое море цветов. Но Вильма больше любит незабудки. Когда Вильма была совсем маленькая, когда отец был еще дома и совершенно ничего не знал об Америке, он всегда говаривал ей: «Девчушка ты моя, конопушка, поди сюда, погляди на меня своими глазками-незабудками!» Ты, Америка, верно, думаешь, что эти глазки уже другие?! Приезжай поглядеть, увидишь! А незабудок-то сколько! Эй, американец, видел бы ты! Честное слово, Америка, ты бы ахнул! На клумбе, правда, только горстка, зато у колодца целый окол. И дедке оттуда перепало. На погосте тоже будет окол. А что, если Вильме подсунуть дедке и пучок барвинка? Уж он бы кидался, уж он бы вертелся, еще, глядишь, от злости и из могилы бы выскочил! Заикнулась как-то Вильма об этом матери, обе посмеялись, а потом мать подколола ее: — Надо бы тебе и Имро украсить.

— Чем, барвинком?

— А чего ж! Барвинок ему к лицу, коль розмарина[1] боится. В самый раз.

— И до чего ты зловредная, мама!

— Зловредная? Как же, зловредная! Я сразу поняла, что с Гульданом каши не сваришь. Сперва торопил, все хотел уладить по-быстрому, а теперь раздумывает, сразу время нашлось.

— Ну и нашлось, ведь не горит. Свадьба должна быть в мае, а вышло иначе, ну и ладно, мама, ничего не случилось, ничего не случится, если свадьба будет и осенью.

— Не будь дурой! Хватит с нас и того, что есть. Хватит с нас. Он из тебя только посмешище делает.

— Какое посмешище? Он же тебе все объяснил. И я тебе уже сто раз все объясняла.

— Чего он мне объяснил? Чего ты объясняла? Вам нечего мне объяснять. Думаешь, я не разбираюсь ни в чем? Вильма, ты про этот костел лучше даже и не говори никому! Люди подумают, что мы белены объелись.

— Что мне до людей?

— Подумаешь — что мне до людей! А до кого тебе? Или ты уж такая большая барыня? Тебе должно быть до людей. Гульдан чокнутый, у него в мозгах пуговица застряла, ему бы только взяться с Карчимарчиком за руки да ходить на пару — у того-то ведь две пуговицы застряло, ты же знаешь.

---

[1] По словацкому обычаю веточкой розмарина украшают молодоженов на свадьбе.

— Ты чего сюда Карчимарчика припутала?

— Чтобы ты знала, с кем водишься, с кем нас люди равняют.

— Какое мне дело до людей.

— Есть ли, нету ли, псих всегда псих. Рядом с ним и умник дураком покажется. Псих из пророка и то психа сделает. Однажды пошли старый Гульдан с Карчимарчиком, уж и не знаю куда, но куда-то они точно пошли. Дураки, они любят ходить, ну и эти двое туда же. Может, хотели поумничать, хотели потолковать, вот и решили ходить, чтоб разговор поддержать. Ходили недоумки, ходили и вдруг видят — пришли они на край света, а дальше и нет ничего. Да и что может быть на краю света? Ничего, как есть ничего. Больше всего они досадовали, что разговор не успели закончить. На самой середке остановились. Да и то — не могли же они заранее знать, что край света так близок, а разговор получится такой долгий. Чокнутые-то любят языки чесать. Хотели было разговор докончить, да уже дальше идти некуда. Что делать? Как быть? Куда идти дальше? И посоветовать некому. Пришлось меж собой совет держать, а уж ему-то конца-краю не было; когда мужики меж собой советуются, конца не жди; иной раз даже друг другу по морде надают, чтобы потом все начать сызнова, чтобы опять о том же помудрствовать. А этим двум драться не хотелось. Они и сказали себе: «Что ж, обязательно драться, коли мы на краю света оказались? Трепать друг друга за волосы и оплеухи отвешивать? Да на что это похоже?» Разулись они, сели на краю света, ноги опустили в никуда, в пустоту, а там ничегошеньки и не было, и в этом ничегошеньке, в этой пустоте дрыгали ногами, прикидывая, чего бы еще выдумать. «Знаешь что, Гульдан,— предложил Карчимарчик.— Если хочешь, вздремни тут маленько, только гляди, чтоб во сне тебе в пустоту не сверзиться. А я вот что решил: обобью-ка край света жестью, обошью железом, пускай сверкает. Кто пойдет вслед за нами, по крайней мере увидит и скажет: стой, дружище, тут железяка, отсюда уже дальше не прыгнешь!» А Гульдан в ответ: «Коли ты так, то и я тебе на это скажу. Ты что думаешь, я эти топоры, пилы и эккера зря тащил? Дерево-то оно лучше. Огорожу край света, поставлю забор. Жесть только после понадобится. И люди уже не заплутаются, пустоты и то бояться не будут, запросто везде и всюду будут расхаживать, может, им даже будет сниться Америка. Иной где хочешь найдет Америку, только дурень будет бегать по кругу, не останавливаясь до самого Судного дня». И каждый сделал свое дело: Гульдан поставил ограду, Карчимарчик обил ее жестью, так они и шли шаг за шагом, рассуждая о том, что, если кто хочет добраться до края света, должен быть смелым и умным да еще уметь на ограду взбираться...

— Ты все это придумала? — спрашивает Вильма.

— Да ведь об этом всякий знает,— отвечает мать.— Колумб открыл Америку, потому как у него в голове винтик такой был и винтик этот в голове у него вертелся, а в Околичном в каждом втором доме есть кто-нибудь с винтиком, в каждом втором доме какой-нибудь Колумб проживает. Вот выйдешь замуж, если выйдешь конечно, так и на твою долю достанется.

— Ты за меня не бойся! Понадобится, так я знаю, где Гульдан живет, я и сама о себе напомню.

— Гляди, как бы не удрал от тебя.

— Имро? А куда?

— Куда хочешь. Всяко бывает. Не забывай, что ты еще в девках! Мне ведь тоже твой отец не говорил, что убежит в Америку.

— Я и туда дорогу найду.

— И туда? Бог мой, ну и глупая! Кто ж тогда твои околы поливать будет?

— Об этом я меньше всего беспокоюсь. Америка-то больше Словакии, думаешь, там нельзя околы разводить?

— Ну и беги туда.

— Так и побежала! Охота была! Я ведь знаю, где Имришко живет. Принимай, Гульданко! Хотел невесту, вот и получай! Будет окол и во дворе у Гульданов.

5

Стройка растет, церовский костел мало-помалу подымается, подымается — одно загляденье! И как же ему не подыматься! Все усердствуют. А больше всех — сами церовчане. Бегают, бе-е-е-гают, вот уж бе-е-е-гают! В других местах, думается, люди и не умеют так бегать. Тащут, перетаскивают, шныряют туда-сюда, шныряют, подавая что надо, а случается, и что не надо; хваткий народ, работящий, иной раз и утереться некогда. А то изредка кто-нибудь забудется, утрется, поглядит на погоду и подивится: — Хорошо-то как! Пожалуй, и окапывать в поле можно!

Архитектору сюда ходить незачем, делать ему тут нечего, потому что он свое уже сделал, пришел поначалу, потолковал со священником, со строителем, с мастерами, за разговором выпили малость, а теперь все идет как по маслу.

Строитель заходит каждое утро после святой мессы в приход, желает священнику доброго утра, а после они совещаются — что да как. Пожалуй, оно бы и ни к чему так много совещаться. Важные дела все равно решаются в двух-трех словах, а потом разговор тянется вхолостую. Но строителю совещания представляются важными и полезными. Он только и говорит о них: «Вчера мы с вашим преподобием договорились... Завтра утром нам с вашим преподобием надо будет обсудить... Нынче утром на совещании мы с вашим преподобием говорили — тьфу, тьфу, постучать бы по дереву,— что до сих пор у нас никаких трудностей не было...»

Священник подобных речей не выносит, но сказать откровенно не решается, лучше все проглотить да не связываться. Он обычно молчит либо пытается перевести разговор:— Слава всевышнему, что дождей нет! Полил бы дождь, я и не знаю, что бы мы делали.

— Вы будто мысли мои читаете, святой отец,— говорит строитель.— Начни лить дождь, я бы ох до чего расстроился. Я бы, наверное, и аппетит потерял. Да, не порадовал бы меня дождь, преподобный отец. Вы бы, наверное, и не поверили, сколько раз я говорил людям: молитесь, чтобы погода держалась. Стоило это нескольких «отченашших» и «богородиц», но зато человек хоть знает и видит, что не зря молился. Право же, на сей раз молитва не пропала втуне.

Священник и не знает, что на такое ответить. Ему не хочется обижать строителя, он никак не может себе этого позволить и, видимо, даже немного боится строителя; не нравятся ему эти речи, звучат они не от сердца, поэтому священник только кивает головой или с тоской улыбается и невольно вздыхает. Конечно, строитель все замечает и тут же, желая уверить священника, что понимает эти вздохи и улыбку, в свою очередь кивает головой, громко вздыхает и сыплет словами: — Истинная правда, пан священник! Иной раз до того умотаешься, столько забот на уме, что и сосредоточиться невозможно на длинной молитве. Иной раз от усталости и сон не берет, давят заботы, вплетаются и в «отченаш». А случается и так, святой отец: передо мной конкретная работа, раздумываю над ней, сами знаете, строителю умственной

работы хватает, постоянно есть о чем поразмыслить, и именно тогда в светские мысли вкрадываются слова, что, набросай я их на бумаге, вы бы сразу признали в них молитву.

«Знаю я твои молитвы»,— злится священник.

— Так, значит, за костел, да благословит нас господь! За наше здоровье, пан священник, господи, благослови нас. И еще раз за наше здоровье, за божье солнышко, за свет божий. За здоровье, пан священник, за здоровье, за здоровьишко, за нашу с вами молодость, за нашу радость!

6

Адлатус стоит на лесах. Пардон! Надо бы нам иной раз адлатуса величать по-другому, ибо когда строитель отсутствует, адлатус перестает быть адлатусом.

Каменщики перемигиваются: — У нас новый строитель!

Адлатус-строитель стоит на лесах, держит в руках ватерпас и смотрит — куда же это он так задумчиво смотрит?

— Посторонись! — раздается рядом.— Положь ватерпас и не путайся под ногами!

Адлатус не слышит. Да и как ему слышать?! У него же теперь две должности, он еще и строитель, даже если бы адлатус и слышал, строитель может прикинуться чуть глуховатым. Адлатус-строитель и в самом деле слышать не хочет, даже, напротив, берет еще и отвес и опускает его вдоль стены, с минуту адлатус глядит вниз, потом глядит вниз и строитель, один смотрит одним глазом, другой — другим, затем глаза меняются: правый на левый, левый на правый, а под конец все так перемешивается, что и не разберешь,— и сейчас, как раз когда мне нужно об этом писать, я сам не знаю, какой глаз чей.

— Ясно сказано? Не мешай, проваливай! — грозится каменщик-подмастерье.— Дождешься — плеснем тебе на нос!

Адлатус-строитель переминается с ноги на ногу. А хотите, могу сказать и точнее: двое переступают с одной ноги на другую. А то двое переступают с двух ног, каждый, однако, со своей одной ноги на свою другую ногу... Хотя ну ее, эту точность! Адлатус-строитель кладет ватерпас и отвес и отходит в сторонку, эдак на метр. Смотрит вниз, а там есть на что посмотреть. Люди, будто почувствовав на себе глаз адлатуса и, более того, глаз строителя — теперь-то ясно, что глазами адлатуса глядит и строитель,— начинают суетиться еще пуще. Того и гляди, надорвутся на работе.

Два крестьянина оборачиваются друг к другу и нечаянно стукаются головами. Смеются, трут себя по лбу и хлопают друг друга по плечу.

На лесах происходит нечто подобное: адлатус улыбается строителю, а тот адлатусу, поглаживают себе лбы, потом пытаются друг у друга пощупать плечи; одновременно улыбаются и тем двум крестьянам, что уже взялись за работу. Тут адлатус сует руку в карман и нащупывает...— что же он может в кармане нащупать?

Правая ладонь жмет правую ладонь — адлатус жмет руку строителю и хмыкает на два голоса. «Схожу-ка погляжу на плотников»,— говорит потихоньку адлатус. И тут же в нем отзывается строитель: «Схожу-ка — хоть одним глазком на них погляжу».

Будет диплом, будет!

7

А мы тем временем можем заглянуть еще кой-куда. Церовские мужики стоят длинной цепочкой, об этой цепочке мы уже говорили,

да что из этого? Передают из рук в руки кирпичи, толкуют, размышляют, судачат. Что ж, и мы послушаем, навострим ухо.

— Дело движется,— говорит тот, что берет кирпичи из кучи.

— Нынче мы изрядно подняли стены!

— Опять по сторонам зыркаешь? — говорит сосед.— Живей! Подавай-ка! Ясное дело, движется!

Кирпич прыгает из рук в руки. Вот уже допрыгал до пятого.— А я слыхал, братушки-ребятушки,— говорит пятый,— что на освященье пожалует и сам пан епископ.

Третий решил, что его очередь была говорить, но в руках у него уже следующий кирпич.— А как же без епископа?! — обращается он к четвертому.— Я и то не пошел бы тогда на освящение.

— Будет епископ,— говорит четвертый. Он взял кирпич, передал его и уже дожидается другого.

Пятый.

Шестой.

Седьмой.

Восьмой хватает кирпич за кирпичом. Этим заняты и остальные. Поток не останавливается.

Семнадцатый: — О чем это вы там?

— Не задерживайся! Бери! — огрызается на него шестнадцатый.

— На такое дело,— говорит седьмой,— могут и двое приехать.

— Не помешало бы,— говорит одиннадцатый.

— Ну и дубина! — Ага, и восьмой отозвался.— Какой же епископ помешает?

— Я слыхал об одном,— говорит пятый шестому.— Но двое... Могли бы приехать и двое...

Шестой молчит, за словом не гонится.

Седьмой.

Восьмой.

— Знаете, что я слышала? — Ну, наконец! Отозвался и девятый, случайно оказалось, что это женщина, но она из себя изображает мужчину и смело может у нас сойти за девятого.— Говорят, будут ходить по домам.

— И я это слыхал,— раздается голос первого.

Пятый торопится: — Я дал молодого бычка. Эти кирпичи аккурат за него. Когда будут ходить по домам, священник беспременно укажет на меня: теленок из этого двора был.

Третий: — Да и меня не обойдут.

Четвертый: — Ведь и я пожертвовал.

— А кто не пожертвовал?! — улыбается двенадцатый.

Поток кирпичей не останавливается.

Семнадцатый: — О чем это балаболят?

— О вислоухом,— опять огрызается шестнадцатый.— Коли туг на ухо, то помалкивай!

Одиннадцатый: — Каждый что-нибудь да внес. Должно быть, только цыганка...

Седьмой хватает кирпич и подает восьмому: — Она что, не дала бы?

И восьмой сразу: — Только брать умеет.

Одиннадцатый: — Я же говорю: каждый понемногу, от каждого что-нибудь.

— Встретила я ее,— слово опять берет девятый, точнее, женщина, которая прикидывается, а впрочем, и выглядит как мужчина, но какая разница — мужчина или женщина, главное, что трудится.— Встретила я ее. Петуха несла. Я как раз шла из прихода.

Пятый дергается: — Петуха, говорите? У меня пропал петух.

— Да ты что?! Петух? — улыбается двенадцатый.— Придется тебе колокольни дожидаться, авось он на ней закукарекает.

— Я серьезно,— не сдается пятый.— Мировой был петух. Здоровенный такой петушище.

— Ты ведь и тельца дал,— двенадцатый не перестает улыбаться.— Вот будут ходить по деревне, будут теленка поминать, а ты высунь из окна голову — кукареку-у-у! Сразу же епископам и закукарекаешь...

8

Что происходит? Каменщики сразу как-то выдохлись. Один, другой еще что-то ладят на боковой стене, остальные лениво слоняются по лесам. Ученики-начинашки вхолостую дергают вверх-вниз лебедку.

Раствор не убывает. Бетонщицы время от времени притрагиваются к нему, да только затем, чтобы не лодырничать. Подключается к ним и маленький, конопатый мужичишка, берет грабельки и так рьяно гребет, будто хочет наверстать упущенное в поле.

Вниз спускается подручный-каменщик и объявляет:

— А теперь, люди, внимание! Слушайте во все уши! Нужно новое, изрядно набухшее корыто, потому как мы уже укрепили анкерами кровлю в стенах и скоро плотники покажут вам, какие они мастера. Но укрепили мы кровлю пока только так, на скорую руку — ни один плотник на нее не взберется. А кровлю положено как следует укрепить. Поэтому наш мастер и послал меня объявить вам, что сперва надо сделать подходящую колоду, чтобы все эти анкера, а особенно главные, как следует вошли в пяту, то есть в ту пяту, в те анкера, в стены и в колоду, которая через все главные анкера насаживается на все пяты, а стало быть, и на главную, а потом уж сядет как следует и будет прочно держать, вот для этого — для э-э-этого! — нам и требуется набухшее корыто. Новое, как есть новое и изрядно набухшее — другое корыто для каменщиков гроша ломаного не стоит. Где его взять и где дать ему изрядно набухнуть — поразмыслите сами! А мы до тех пор подождем. Пока не будет корыта, ни один каменщик пальцем не пошевельнет и плотники не смогут работать. Люди, я должен был вам это сказать, а теперь бегу, не то мастер мне всыплет.

Что ж это такое? Адлатус в растерянности. Оглядывается, нет ли тут поблизости строителя, хорошо бы с ним посоветоваться, но строитель будто нарочно за минуту до этого куда-то исчез. В приходе быть он не может, поскольку священник тут. Адлатус подбегает к нему: — Пан священник, каменщики прекратили работу. Им нужно корыто! Собираются делать колоду.

— Слышу, слышу,— кивает священник, а в голове у него сверлит: на что сдалось каменщикам корыто? Что за колода такая? И в голове адлатуса мелькают те же мысли. С минуту они друг на друга растерянно смотрят, потом священник начинает поторапливать прихожан: — Люди добрые, отыщите это корыто побыстрей, отыщите — не то у нас каменщики будут до вечера болтаться без дела!

В Церовой корытам счету нет, да только не новым. Были бы хоть в деревне корытники, была бы хоть поблизости ярмарка!

— Люди, пораскиньте умом! Найдите корыто! Смотрите! Каменщики на лесах лоботрясничают! Неужто глядеть на них будем? Не для того же мы их сюда звали. Вот ведь мы уже дошли до колоды, а теперь, что ж, бросить все недоделанным? Главные анкера уже в пятах, но такая стройка спустя годы осядет, а потому уже сейчас надо все учитывать; может, эта колода и должна быть как раз сверху насажена. А иначе-то как объяснить? Корыто сюда! Корыто! Церовчане, корыто!

Вдруг кого-то осеняет, что в сущности полугодовое корыто тоже новое и что новое может быть новым до той поры, покуда не куплено еще более новое, а у него дома как раз и есть полугодовое корыто, да к тому же еще и набухшее — жена в нем вчера купалась.— Пан священник, есть корыто! — Мужик хлопает себя в грудь.— У меня корыто! Пан священник, потерпите чуток, и у нас будет корыто для колоды!

И бежать.

А тот маленький, конопат конопатый, все еще шурует граблями в растворе, но вдруг оглядывается и видит: сосед его куда-то бежит, тут и он убыстряет темп, и чем быстрее сосед перебирает ногами, тем шустрее конопат конопатый орудует мотыгой, ибо грабли у него и впрямь сменились мотыгой, и он окапывает, окапывает, вот уже и вторую гряду окопал, и, ежели так дело пойдет, он минут через десять со всем полем управится.

Священник — своим прихожанам: — Видите? Стоит человеку захотеть — все ему по плечу. Вот мы поднажали — и сразу отыскали колоду. Где-то люди гибнут, воюют друг против друга, а мы тут в Церовой преспокойненько костел строим. Колоду собираемся делать. Спаситель к нам милостив! Возблагодарим же господа за милость его!

— Ох вы ж и проказник, ваше преподобие! — улыбается синдик.— Вы и над самим господом нашим подтруниваете. Еще и отца небесного подстрекаете. Это мне по нутру. В кои-то веки и всевышний, может, развеселится.

— А вы думаете, господь бог шуток не любит? — ухмыляется причетник.— Он ведь и Адама сотворил шутки ради.

— А вообще как живете? — спрашивает синдик.— Что нового? Преподобный отец, что слышно? Конца войны еще не видать? Уж вам-то непременно должно быть известно.

— Не знаю, право, не знаю,— вертит головой священник.— Я и то ничего не знаю. Мой отец всегда, бывало, говорил: беда в дом, малые дети — под стол! Иной раз мне кажется, что оно так и есть — будто сидим мы под столом и пикнуть боимся. Сперва-то мы вообразили себе, что другим стало хуже, а нам — лучше, кое в чем оно и впрямь стало лучше, но стоит только высунуться — либо вас сразу по носу щелкнут, либо сзади кто-то наступит на пятки. Боюсь, еще придется нам всяко вывертываться.

— Я тоже так думаю,— соглашается синдик.— Такой уж мы народ. Только и знаем, что вывертываемся. Когда господь нам нашу землю пожаловал, верно, на карту забыл поглядеть.

— Нет, я с этим не согласен,— возражает причетник.— Разве позор какой лежит на нашей земле? Не надо было вислоухих ему сотворять.

Крестьянин, что пожертвовал молодого бычка на костел, весь передернулся.— Ты поосторожней! А то еще я окажусь виноватым!

— Ну, ну, ну! — успокаивает их священник.— Однако же не будем тут ссориться. Как станет совсем плохо, спрячемся в костеле, может, как-нибудь стороной все и пронесет!

Кто-то замечает: — А вон и корыто! Смотрите!

Люди, столпившись вокруг священника, указывают на мужика с корытом: — Пан священник, корыто!

— Ну и бежит! Ого, как бежит! Корыто, корыто, святой отец, корыто! Глядите, глядите, вот и корыто!

— Вижу, вижу, вижу!

— Ну и бежит!

— Вот это чешет!

— Молодец!

— Молодец!

— Стоящее корыто!

— Прыткий малый!

— Ей-ей, у тебя и впрямь корыто что надо! Нынче ты здорово бежал, так бежал, что аж вспотел весь, ох и пришлось же тебе попотеть, а молодец, молодец!

Мужик с корытом взбирается на леса. Вскоре он среди каменщиков, потный, запыхавшийся, едва не давится словами: — Вот оно... корыто! Можете... начинайте!

Каменщики не двигаются. Мастер говорит: — Не можем мы начать.

Крестьянин таращит на них глаза: — Новое...— Он показывает на корыто.— Вчера вечером у жены... оно на-на-на-набухло... Оно набухшее!

Каменщики гогочут.— Что нам до того, что было вчера? Нам полное корыто надобно. Нам надо знать, набухло ли оно как положено.

— Вам в-воды? — спрашивает мужик. Пот катится с него, он утирается обеими руками.— Сейчас принесу воды и... и... оно набухнет!

— К чему нам воды? Какая при воде работа? Надо, чтоб корыто и колода честь по чести набухли! — Мастер-каменщик встает.— Ребята, айда. Придется ставить костел без колоды!

Крестьянин пугается. Переводит взгляд с одного на другого. Вдруг его осеняет.— А-а, понятно! — смеется он.— Вот когда дело пойдет! Набухнет оно, набухнет, стоит только сказать! Раз колода, то надо... смочить ее!

Десять минут спустя на лесах стоит корыто, полное вина, есть чем и закусить. Каменщики едят, пьют, поют, никто не посмел бы их потревожить. По очереди наклоняясь к корыту, они вволю отхлебывают.

К обеду все в стельку, лежат словно колоды. Мастер с великим трудом подымается, пытается еще хлебнуть из корыта, но только обливает себя. Бормоча что-то под нос, он изо всех сил толкает корыто и сбрасывает его вниз. Потом приваливается к остальным и вскоре начинает храпеть.

К пяти часам они просыпаются.

— Вставайте, братишки! С колодой мы управились, теперь, что упустили, должны наверстать!

Священник выглядывает из окна прихода: — Так вот, значит, что за колода! Нечестивцы! Устроили себе тут колоду!

9

Работа продвигается. Церовчане глаз почти не смыкают. То бегут в поле, то копошатся в саду, а между тем нет-нет да и завернут к костелу — там все еще нужна помощь.

Плотники уже подняли кровлю, теперь другая на очереди — полувальма над ризницей или, скорей, полувальмочка, ибо ризница всего лишь низенькая пристройка к стене возле алтарной части. Кровли друг друга не касаются; гребень полувальмы подходит как раз под сток главной двускатной кровли. Была бы ризница больше, да стены повыше, допустим, достигали бы высоты стен нефа, то можно было бы говорить об угловой кровле, о кровле на два ската, в которой обе кровли прилегают друг к другу: стыкуются они в так называемом разжелобке, или ендове, и создают одно целое. Такое решение было б, конечно, занятным, Гульданы могли бы в разжелобке немного повозиться. Само собой, двускатных крыш у них за спиной не перечесть, но прежде дело касалось строек поменьше, со средними подпорками, ну, скажем, деревенских домушек, которые, известно, разделены внутренними поперечными стенками, ибо каждому хочется заглянуть и в гор-

ницу, и в кухню, даже в кладовую, в которой всегда найдется чем полакомиться. Имущий человек хочет, чтобы была и парадная, воскресная горница, в которой стоит самая красивая мебель; хозяин, коли в воскресенье гость не наведается, может тут и кое-что почитать: «Посланца божьего сердца Иисусова», «Словака», «Святое семейство», «Друга деток», «Католическую газету» или о той графине, что влюбилась в графа, а потом, когда они поженились, то не смогли народить детей; здесь есть также «Сигнал», «Красоты Словакии», «Жертва тайны исповеди», «Александр и Александра» или книжка, где написано: «Море женкой моряку, корабль ему домом, далеко Ямайка, пойдем, будем знакомы!» Можно и стихи почитать. Например, Рильке. Уже само имя толкает к рифме: на шпильке! Проза есть проза, так и прет на человека. Читаете что-нибудь о той самой графине, и вдруг вам примстится, что вы схватили ее за ляжку. Тогда лучше бросить читать или несколько страниц проскочить. Если наткнетесь на какое-нибудь сражение, тогда все возместится. Убиение, это уже не так опасно. Четыре раза кряду можете прочитать, как кому-то вспороли живот, и никто этим не возмутится, напротив, такое вспарывание живота можно даже объявить геройским поступком. Но хватать кого-то за ляжку, упаси бог. Запретить, и баста! Лучше писать о подвигах. Но мы-то хорошо знаем, какие мы писатели. О подвигах мы почти что не поминаем; болтаем, несем всякий вздор, и вдруг нате вам — подвиг! А разделаемся с ним, снова болтаем, будто только и помышляем о том, как бы подвиг свести на нет. К дьяволу такое! Уж если я о чем напишу, то напишу как положено: обнажу штык (он должен быть наточен, не упомянуть об этом нельзя), изо всех сил размахнусь — и вот тебе, получай, пес вонючий, мерзопакостный, чтоб кровь из тебя ручьем лилась, свинья паршивая, захмелевшая от вражьей отравы, вот тебе еще и еще, дьявол, вздумал деда моего и прадеда растоптать, ан теперь не растопчешь, нет, мой штык два раза насквозь тебя продырявил! Во многих местах надо убедительно показать, что все вражеские солдаты — убийцы и трусы; если среди них и нашлись бы какие нетрусы, то они должны вовремя перейти к нам на службу, это нужно в какой-нибудь главке очень хорошо развернуть. Под конец надо поторопиться домой и как следует там растормошить, развеселить землицу, которая каждый год по весне оттаивает и прорастает травой для гусят, плешивый татко, прокладывая борозду, плетется за воловьей упряжкой, овечки что ни утро копытцами сбивают с росной травы сверкающую росинку, бача[1] бормочет, пастух играет на фуяре[2]. О пахаре, баче и пастухе должно высказываться очень похвально. Но нужна осторожность! В любом случае надо проверить, является ли пахарь настоящим пахарем, бача — бачей, пастух — пастухом. Если мы обнаружим, что это охальники, что они только позорят народ,— вырвем у пастуха фуяру и бац-бац одному, второму и третьему. Фуяру надо сдать в музей, а потом ее показывать детям: «Вот видите? Фуяра! Герой сын хватил ею по голове родного отца, потому она и поломана. Вы осознаете этот поступок? Вашему отцу пришлось дедку так долго колошматить по голове, что фуяра совсем разломалась». Конечно, все, о чем мы тут говорим, ни к какой конкретной битве не относится. Речь идет только об инструкции, как писать хорошие воспитательные романы. Герой всегда должен знать, кого надо колошматить, и уметь делать это обстоятельно. А лучше прихватить еще кой-какие головы, доколошматить все, чтобы детям, если таковые останутся, было что учить в школе, а наша замечательная, резная и чеканная фуяра была

[1] Старший овчар *(словац.)*.
[2] Словацкий народный деревянный духовой инструмент.

очищена от позора. Некоторые ловки писать. Сразу же становится ясно, что речь идет о нашем человеке, о нашем прекрасном чистейшем характере. Герой не совершит ни единой оплошки, а если и совершит, то самую что ни есть ма-а-а-хонькую, да и то она его всю жизнь мучит! Вот видите! А какого-то графа мучит, что он не может схватить графиню за ляжку. Свинство! Лучше читать что-нибудь о гайдуках или разбойниках. Хотя, конечно, много такого не прочтешь. И дети мешают, и работа гнетет, да и потом мы-то знаем, кой у кого только и есть что один календарь. Откроет календарь и запишет: «Отелилась у нас та срединная корова». Или: «Биденко погиб под Липовцом». Или: «Одолжил я мотыгу, а не знаю кому».

Какого черта! Ну мы и разболтались! Счастье еще, что нас не занимает исторический роман. Наша задача — познакомить читателя немного с плотничеством, а по возможности и с другими ремеслами. Впрочем, и писательство может быть кой для кого ремеслом. Болтали же мы о разных ремеслах и профессиях, почему бы нам теперь не потолковать и о писателях? Военное ремесло тоже иным по душе, а потому вспомянем и солдат. Правда, высказываться о писателях или солдатах по призванию как о ремесленниках — это несколько вульгарно, неуважительно. Оттого для этих и тому подобных профессий мы пользуемся термином «искусство». Это выражение очень расхожее. Каждый день мы слышим о военном, литературном, музыкальном, спортивном, изобразительном, актерском, парикмахерском и бог знает еще о каком искусстве.

Один француз, ученый и философ, говорил, что искусство есть квасок, в котором собираются новые, пробуждающиеся правды прежде, чем наука сумеет ассимилировать их и точнее выразить. В этом что-то есть. Только как же прочие ученые смотрят на это? Эге, говорят они, уже и искусство — закваска! Закваска — это мы, это можно научно доказать. Знаете, лучше не доказывайте, возьмите себе эту закваску! Ведь закваски тоже разные. Бывает, прислушаешься, и ни черта — не бродит! Там-сям малость прихватит, лезет, точно из волшебного горшка, а попробуете — каша! Настоящее искуство — это сопка, вулкан, раскаленная лава, взрыв энергии; человек тут не успевает ставить и отставлять формочки. Однако наибольшего почтения заслуживает Kriegskunst [1], искусство малых и больших форм, норм, униформ, искусство искусства. Вот эта закваска! Наука о военно-художественных формах, то бишь операция, называется стратегией. Под словом «операция» мы понимаем полимузыкально-театральное действо. Как правило, речь идет об инструментированной цикличной композиции на местности, куда сгоняются и художники и нехудожники. Очень красивые звуковые и изобразительно-кинетические эффекты способна создавать авиация. Если создатели, а также дирижер или дирижеры используют при реализации композиции все, чем они располагают, мы говорим, что налицо Totaleinsatz [2]. В партитуре, однако, чаще пишется итальянский термин tutti [3]. Канонада — это музыкальная композиция для одной, но чаще для нескольких артиллерийских батарей; она может зазвучать как в начале, так и в середине операции или же звучит непрерывно. Если ее сопровождает пение, крик или плач, мы говорим, что это кантата. Мины, падающие среди обезумевших солдат или среди гражданского населения, называются кукушки. Если какая-нибудь упадет на шоссе, то это сизоворонки. Если в садик, то агавы.

[1] Искусство войны *(нем.)*.
[2] Тотальная мобилизация *(нем.)*.
[3] Все *(итал.)*.

Генералпауза: подготовка к следующему удару. Alegro barbaro: быстрое взятие города или местечка. Capriccio: веселая пальба из пехотных орудий. Responsoria [1]: короткие пулеметные очереди. Мирабель: проливной стальной дождь. Буффонада: переход через минное поле. Маршалпаста: штыковой бой один на один на болотной топи.

Пожалуй, этого хватит. О солдатах мы знаем уже достаточно. Черт подери, и как мы до них добрались. Начали говорить о Гульданах, и вдруг вон аж где. Теперь вы хотя бы видите, что получается, когда у писателя никудышная закваска. Она только лепится, тянется; от нее только все пальцы замараны. А я уж было испугался, что от маршалпасты или от гусаржира. Знаете, что такое гусаржир?! Да?! Ну вот, именно это я и имел в виду. А я-то испугался, что мне придется объяснять, что такое гусаржирный бурлеск. Ведь его, этого бурлеска, иной раз во как человеку недостает. Бывает, вы раздумываете: что это со мной?! И вдруг осеняет: бог мой, да ведь мне бурлеска недостает. Идете в театр, а в антракте актер подходит к занавесу, чуточку его отодвигает, выглядывает в зрительный зал и хохочет, хохочет, того и гляди за живот схватится; оказывается, настоящий-то бурлеск сидит в зрительном зале. Досадуя, вы идете домой. На следующий день вы еще больше не в духе. И актер не в духе, но как только выходит из дому, снова хохочет: опять, мол, встретил бурлеска! Весь день хохочет. А вечером говорит себе: всюду весело, только у нас в театре с этим бурлеском что-то не ладится. И вы дома скажете себе: чихал я на все! И на бурлеск. Ведь мне и без него хорошо.

Только как быть, если в горле что-то застряло? То подымается, то опускается, а то ни туда, ни сюда, ни взад, ни вперед, знай себе перекатывается. Пробую откашляться, не помогает. Пробую еще раз, опять не помогает, а попробую в десятый раз — даже смешно делается. Рассмеюсь, ругаюсь, чертыхаюсь, кашляю, а его все еще полно горло. Что делать? Как быть? Если что-то долго-предолго торчит в горле, начинаешь злиться. Позлишься, позлишься, а потом скажешь себе: ну чего злиться? У меня оно в горле, а может, и в легких и в желудке. Скребет, так и пусть скребет. Надо выдержать. Стою у окна, смотрю на дорогу, по которой ходят люди, иной раз улыбаюсь, но осторожно, чтобы горло попусту не раздражать. Потом опять сажусь; пишу, пишу, пишу и осторожно улыбаюсь.

10

А вот и колокольня! Видите ее? Правда, она еще не готова, но при желании можно увидеть ее. Вон на ней уже и кровля подымается, ее еще ставят, но она видна. Видна издалека, издали видны и Гульданы.

Ловкие ребята! Смелый народ!

Вся конструкция кровли прочно крепится к кладке башни, крепится на достаточную глубину, поскольку башня, известно, открыта ветрам, бурям, ураганам и грозам, но всегда должна стоять незыблемо, не смея ни покоситься, ни опрокинуться. Полицы лежат на пяте башни, на системе обвязочных, соединительных и поперечных балок, все стропильные ноги оседланы мауэрлатом, он своим чередом крепится переводинами, положенными по диагонали. Вверху стропила упираются в шпиль, который проходит через два верхних яруса, а к нему прикреплен стальной трос, разветвляющийся книзу, и каждое его плечо при-

[1] Перекличка хора и священника в католическом богослужении.

винчено сверху к уго́льному стропилу; концы стальных плеч продолжены и выгнуты крюками, которые при ремонте могут служить для навешивания лестниц и веревок. Внутреннее пространство башни должно быть свободным и открытым для доступа по лестницам снизу вверх, так как иной раз требуется заглянуть и наверх; кто не боится сквозняка, несомненно, когда-нибудь сюда и подымется, если не для чего-нибудь особенного, то хотя бы из любопытства. О, мне-то известно: люди боятся не колокольни, а сквозняка, боятся смотрового окна. Ау! Вы меня видите? А я вас вижу. Ведь смотровое окно для того и сделано, чтобы в башне было достаточно светло и сквозило — сквозняк ослабляет напор ветра. Ау, дурачок! Ну чего ты так боишься смотрового окна?

Но глядите, глядите! Опять что-то происходит. Плотники прекратили работу, решили посоветоваться — пришло время навесить самый большой колокол, а с ним всегда бывают затруднения. Первое возникло еще два года назад, когда кто-то в приходе обронил: — Пан священник, а мне кажется, что большой колокол у нас маловат.

Причетника даже подбросило: — Как так маловат? Это же самый большой.

— Самый большой! Для кого самый большой, а по мне так маленький. Хотите не хотите, а по мне так это не самый большой колокол.

— Пан священник,— вмешался в разговор синдик,— думается, наш большой колокол и не велик и не мал. В самом деле, это не самый большой, а всего лишь средний. А вы что на это скажете?

Священник подумал и решил, что синдик прав. Он украдкой посмотрел на причетника и сказал: — Пан причетник, а ведь это правда. Наш большой колокол должен быть чуть побольше.

Новость сразу же расползлась по деревне. Все только и говорили о том, что в Церовой нет самого большого колокола, что у них только маленький — тот самый колокольчик, в который звонят по умершим,— и два средних: один побольше, другой поменьше.

И как же так вышло, что до сих пор никто не замечал этого? В ближайшее же пожертвование на серебряный поднос падали одни пятикронки: лишь бы колоколило как положено! А однажды священник, причетник и синдик, прослышав, что в Тренчине живет известный, прославленный колокольник, отправились туда и нашли его; звали его, кажется, Ранко, и хотя, может быть, это и не звонкое имя, но он умел придать ему звук, и звон, и тон, и даже величавость, потому как был мастер — все вокруг него звенело, гремело и под ним, а над головой словно ангелы пели ему,— так вот этот самый Ранко, всем мастерам мастер, отлил, изготовил им колокол, точнее, колоколище — превосходный по виду и звуку, какому широко окрест равного не было.

— А как же они его повесят?— беспокоились церовчане.

— Это их дело. На то и мастера, чтобы знать свое дело.

— Скоро уже! Наверняка готовят полиспаст.

— Полиспаст? Вот оно что! А я-то думал, применят лебедку.

— И лебедкой можно. Но машина есть машина. Гульдан сказал, что заместо лебедки используют полиспаст.

— Чего тут удивляться. Это же колокол!

— Ну, скажу я вам, ребята, такой большой колокол и скотину разбудит.

— Уж тебя-то точно разбудит. А что, разве это дело не стоящее! Для того-то и купили колокол, чтобы тебя разбудить.

— Хоть бы его повесили!

И вправду, применили машину, полиспаст, и даже не один, среди них, возможно, была и какая-нибудь лебедка — умникам на удивле-

ние! Вся деревня тянула, тянула, пожалуй, так тянуть и не требовалось, а когда колокол подняли, мастер Гульдан — ибо он тут всем заправлял и все проверял — махнул рукой и сказал: — Стоп! С этим колоколом не надо спешить! Имро, Якуб, Ондро, поживей что-нибудь под него подложите! — А как подложили, мастер поднес руку ко рту и закричал вниз, где загорелые и небритые крестьяне держали канаты полиспастов: — Стоп! Хватит! Ослабить! Можете малость ослабить! Ослабить, ребята! Можете чуть ослабить! Еще! Еще! Еще сантиметр! Готово!

— Как готово? — удивились ребята. — Что это они опять выдумали? Почему сразу не повесили?

Мастер снова приложил к губам руку и закричал: — Помощники наверх!

— Помощники наверх! Помощники наверх! — передавался приказ вниз.

Все помощники плотников взбежали на колокольню.

Мастер двинулся им навстречу: — Слушайте, ребята! Мне нужен шикула. — Вызвались все. Мастер пересчитал. Их было двенадцать. — Неужто вас и вправду двенадцать? Вы, ребята, не серчайте, но я не такой уж дурак, каким кажусь. Я знаю отлично, что истинный шикула на дороге не валяется. Попробуем еще раз! Я сосчитаю до двух, а вы подымете руку, но вызваться может лишь тот, у кого котелок и вправду варит, — на этот раз все будет в силе, хочу шикулу за сметку наградить! Внимание! Минуту! Раз, два!

Руки опять поднялись, на этот раз было их меньше. Двое не вызвались. Один из них был неулыбчивый, пожалуй даже слишком, глаза запавшие, а когда мастер посмотрел на него, он и вовсе их опустил. У другого глаза были такие же, но глядел он Люцифером и к тому же скалил большие кривые зубы.

— Почему вы не подняли руку? — спросил их мастер.

— Я хотел только помочь, — ответил первый.

— Я тоже хотел помочь, — ответил второй, — но думал, что будет веселей. Я люблю веселую работу. Жалованье и фураж меня не волнуют.

Мастер улыбнулся одному и другому, ему казалось, что оба удивительно походят друг на друга, даже могли бы сойти за одного. «Ей-ей, возьму-ка их обоих, по крайней мере будет у меня и посол и осел, может, людям дурак-то как раз и понравится!» — Возьму вас обоих, вместе и составите одного. Шикула — вольно! Остальным — разойдись!

Это означало, что, кроме посла и осла, все могут уйти.

Через несколько минут с колокольни спускаются и посол и осел.

— Надо отправить на колокольню восемь литров вина, — объявляют они. — Ровно в двенадцать увидите повешенного.

Церковчане гадают: — Какого повешенного? Зачем ему вино? Что они еще придумали?

— Опять какое-нибудь богохульство? — сердится священник. — Никакого повешенного не будет!

Но посол обучен как надо. Он растолковывает священнику, что это стародавний обычай, а обычаи надо уважать. Мастер сказал, что чем больше у народа обычаев, тем больше он чувствует себя народом, обычай сплачивает, сближает людей.

— Как же! Уже и повешенные народу понадобились! Повешенный будет людей сплачивать!

— Пан священник, — не уступает посол, — ведь это всего лишь обычай!

— Дурной обычай! Довольно! Смрад один! Еще поучать меня вздумал! Ни слова больше.

Осел агитирует деревенских:— Послушайте, люди добрые, обычай не обычай, а вино гоните, во всяком случае, потеха будет. Ребятам выпить охота. Восемь литров. Разве это много? На худой конец кто-нибудь из ребят наложит в штаны. Ну и что из этого? Разве такого еще ни с кем не случалось? Случится такое, так взойдем на колокольню и разом все вычистим. Думаете, я не знаю, о чем вы горюете? Обидно небось — отдать выпивку, а настоящего повешенного не увидеть. По вашим глазам вижу, что вы бы с радостью кого-нибудь повесили. Тащите вино, устроим представление. Повесьте хоть меня!

— Перехватил малость!— возмущались деревенские.

— Перехватил, не без того!— подтвердил дурачок.

— Скиньте его!

— Скиньте меня!— Он сам предлагал себя и улыбался.— А откуда? Откуда хотите меня скинуть? Ведь я среди вас, по земле хожу.

— А не рехнулся ли он?

— Я точно рехнулся.

Священник незаметно исчез. Остальные качали головами. Некоторые явно возмущались, но нашлись и такие, которым речи блаженного нравились. Вспыхнула ссора, в нее примиряюще вмешался синдик: — Братья прихожане, к чему ссоры! Раз действительно это всего лишь обычай, можно его и соблюсти, даже если от него и проку не будет. Разве кто из нас тут, у костела, прок ищет? Паренек еще глупый, возможно и сказал лишнее, но нам, ежели мы не глупые, бояться нечего, кто знает, может, мы и из обычая какой-нибудь прок извлечем. Возможно, обычай развеселит нас! Это наше право. Или кто думает, что у нас нет этого права? Кто так думает? Покажите мне его! А если и не повеселимся, тоже ничего не случится. Годы спустя вспомним мы свой смех или, может, свою глупость и скажем детям: мы только и знали, что работали. Киркой, мотыгой довольно мы на своем веку наработались. Когда надо было строить церковь — строили, а когда надо было в чужом краю их разрушать — неслись туда с винтовками, точно безмозглое стадо. Мы были готовы на все и всегда выполняли волю того, кто умел лучше приказывать, мы и обычай его уважали, а от своих нос воротили, не отличая хорошего от дурного. Кто ничего не создал, не поймет и обычаев, легко обойдется без них, наплюет и на то, что сотворили другие. Мы изведали всякий труд, всякую надсаду, оттого и незачем делать вид, что у нас нет собственных, хотя и дурных, обычаев. Свои обычаи надо понять, признать их, поучиться у них, не стыдиться их, найти в них смирение, но не унижение, смирение, но и гордость, уважение к себе и другим, не то мы будем только безумцами, вечными холуями, вечными дураками...

Без четверти двенадцать взошли посол с ослом на колокольню. Мастер сосчитал бутылки, было их девять.— Я говорил: нам надо восемь. Зачем просили больше?

Осел улыбнулся:— Одну я испросил для себя.

Мастер сперва нахмурился, а потом весело тряхнул головой, подмигнул сподручному и сказал:— Ну ладно. Ты заслужил. Угости товарища! Ступайте.

Остальные бутылки мастер разделил так: Имро досталась одна, Якубу и Ондро по две, а мастеру — три.

И на глазах у всей деревни они их выпили. Порожние бутылки бросали вниз, и церовчане их считали. Из последней мастер тянул очень медленно. Имро сказал ему:— Отец, уже скоро двенадцать.

— Сам знаю, Имришко. Берегу винцо, чтобы до двенадцати хватило.

Упала и восьмая бутылка. Кто-то внизу сказал:— Будет еще одна.

— Откуда ты взял? Их было восемь. Ведь только о восьми была речь.

— Как это о восьми? Я дал девятую.

— Девятая—вот!—засмеялся парень, что держал девятую бутылку, он чуть хлебнул из нее и изо всей силы грохнул оземь.

А наверху, на колокольне, мастер обернулся к сыновьям и сказал:— Ребята, много говорить не буду, но мне, ей-ей, здорово ударило в голову. Придется вам меня подсадить. Подсадите меня, ведь я уже старый, высоко не подпрыгну! Вон там, внизу, уже ждут, и все они знают, что тот, кто слишком высоко подымется, должен потом и упасть. Но сперва его надо повыше поднять или подтянуть, чтобы там, внизу, знали и видели, что это настоящая высота, а после наступит полет и наконец падение, оно, бывает, и слышно. Вот это высота! Люди так представляют себе высоту! Подымите меня, ребятки, чтобы люди были довольны, да и чтоб вам, кто почитает меня за мастера, не пришлось за меня перед ними краснеть!

И они подскочили, обхватили отца и в два-три коротких прыжка оказались с ним там, где требовалось, высоко подняли его и подвесили на то место, где должен был висеть самый большой колокол. Мастер ухватился руками за балку, а сыновья раскачали его. Потом подпрыгнул Якуб, он уцепился за ближнюю балку и стал тоже раскачиваться. То же самое проделал и Ондрей.

Имро тоже приноровился подпрыгнуть, да вдруг подумал, что это глупо, и хотел даже крикнуть отцу и братьям, чтобы не изображали из себя блаженных и дураков.

— Прыгай!— заорал Якуб. Крикнул и Ондрей, только еще злее и чуть было не двинул младшего в зубы.

Имро подпрыгнул. Обеими руками уцепился за балку, стал раскачиваться, вернее, только биться, дергаться и метаться, так как Имро был младшим и младшему пришлось подменять собой колокол, звонящий по умершим. А этот колокол не настоящий, это всего лишь колокольчик, он никогда как следует не раскачивается, он всегда только бьется, по нему всегда кто-то бьет.

Мастер с хрипом упал на деревянный помост.

Вскоре упал и Якуб, за ним Ондрей.

Но Имро, коль он уж решился, не пожелал сдаваться так быстро, он знал, что он младший, а младшему многое положено выдержать — вот потому, сжав зубы, он еще долго-долго, невообразимо долго бился, дергался и метался...

11

А у строителя — мы-то его уже знаем, знаем, что он за человек,— на уме одни совещания. Каждый божий день, поутру, закатывается он в приход, приветствует священника по всем правилам и тут же начинает — короткие молитвы так и вылетают из него одна за другой, точно стрелы.

Священник подчас готов лопнуть со злости. Как завидит строителя, сразу у него настроение портится. Как-то пожаловался он причетнику, а тот ему и посоветовал:— А что тут такого? Гоните его в три шеи.

— Да я ему уже намекал. Представить себе не можете, пан причетник, сколько раз я ему намекал, что нет ни времени у меня, ни терпения, но ему хоть бы хны, ничего его не берет, добрым словом и то его не проймешь.

— А я, святой отец, ей-богу, не стал бы ему намекать! Пнул бы его коленом под зад: ступай куда следует!

— Пан причетник, да ведь и так негоже, драться-то я с ним не стану. Говорить с ним и то тяжко. Ужасный человек. Непонятно, как можно только быть таким бесцеремонным и навязчивым.

— Это вам за доброту вашу, святой отец, за доброту вашу, за ласковое слово. Сами видите, как ценят люди ласковое слово. Я бы пнул его, ей-ей, пнул бы, да так, чтоб он зашатался. Строитель не строитель, а в приходе не смерди, отчаливай, знай свое место.

Да что там! Пустое дело — советовать! Некоторым даром советы давать! Сколько раз советовал причетник его преподобию, и почти всегда понапрасну. У преподобного отца нрав мягкий, он готов каждого выслушать, а чей совет слушать — не знает, обычно на поводу у того, кто наседает на него самым что ни на есть грубым и настырным образом. Любой прохвост лезет в приход, каждому хочется быть накоротке со священником, дружбу водить с ним. Глаза бы причетника на таких людей не глядели. Когда нет надобности, он и не глядит. Во время мессы усядется где-нибудь в ризнице или в исповедальне и молится потихоньку, иногда, правда, молитва эта колючая, шпильки да иголки, а бывает, и одни покаяния. В самом деле! И причетнику приходится иногда объяснять господу, почему он не может творить пристойную, благочестивую и покаянную молитву. Господь бог его понимает. Если бы и пан священник причетника понял, наверняка повысил бы ему жалованье. Нынче для этого и случай удобный представился — с новым-то костелом не оберешься забот! Причетник пробовал намекнуть его преподобию, да что толку. Пан священник отмолчался, и все. Так зачем же советовать? Преподобный отец и сам должен бы знать, что у причетника служба вовсе не мед. У органиста жалованье в три раза больше, да еще люди тащат ему всякой всячины, хотя он вовсе в том не нуждается. По утрам чуть потренькает, да и дело с концом. То со свадьбы перепадет, то с похорон; а подойдет завидный месяц, ноябрь или март, люди мрут как мухи! Органист сочинит прощальный плач, да хоть бы рифма была в нем как рифма! Ясное дело, орган есть орган, играть на таком инструменте — искусство, но разве это все? В конце-то концов, какое это искусство? К чему оно? Великий боже, ты и впрямь был бы порядочным вахлаком, если бы тебе нравилось такое искусство! Легко тренькать, когда чужая ребятня, малолетки, одни косточки, ножонки, ручонки да шейки, эти озябшие заморыши с вылупленными глазенками чуть свет каждое утро отчаянно вгоняют воздух в стонущие органные трубы, а этот дьявол, сатана, что к господу богу только подмазывается, время от времени нарочно нажимает педаль и выпускает весь воздух самой толстой трубой: вот тебе, боже, такой уж я рыцарь, такой я артист, вот какой звук у меня! Дикарь эдакий, чего тебе не хватает? И как только может пан священник с эдакими оболтусами дружбу водить?! Должно, иные кое-что и подносят ему... А ты поднеси мне, причетнику, малышам поднеси! Заметят сопельку у министранта [1] — какой грех, все возмущаются, а то, что он всю зиму ходил без пальтишка, никто не заметил. Даже пан священник не обратил на это внимания, хотя зимой, на сретенье, стужа пробирает и взрослого. Да и ему, причетнику, часто приходится хлюпать носом. Сколько было говорено о маленькой причетничьей шапочке, сколько было наобещано: будет, пан причетник, будет! А потом точно обещаний и не было. Одни ризы, мантии, епитрахили и береты покупаются, а жалкую шапочку купить не на что. Конечно, по-всякому дело можно уладить. Купить бы какую шляпу поприличнее, поля от нее отрезать да выбросить, вот тебе и шапочка. Разве не может приход расщедриться на одну шляпу при-

[1] Прислужник в католической церкви.

четнику? Да что там! В других местах о таких глупостях и говорить причетник не должен. Утром является он в ризницу, берет свою шапочку, надевает на голову, и полный порядок — он сразу настоящий причетник; степенно и с полным достоинством выходит он к благочестивой и мирной пастве, среди которой — не взыщи, господи, но это же правда!— встречается и немало ослов... А со стороны святого отца и впрямь негоже, что он так жмется с жалованьем: человек ученый, а не понимает, что и у причетника имеется рот и желудок, да и министрантам хочется кушать. Что ни поставь перед ними, все разом сметают! Семь малышей на четыре ложки! А если восьмой народится — ну, беда! Уж лучше поосторожничать, чтоб не пришлось искать ложку! М-да! Ложки-то найдутся, и двух бы хватило, ты лучше поставь миску, а там увидишь, на что министранты горазды!.. Господи, хоть бы кто помер! Как бы чудесно зазвонил колоколец по новопреставленному. Сразу бы перепало на краюшку хлеба. Органист, конечно, получил бы на пять, а то и на десять хлебов — разве есть справедливость? Выжмет из себя пару жалких стишков, а деньги рекой льются... Неужто никто не преставится? Беда, и только! Носишься, носишься, мечешься от одного костела к другому, а проку никакого, работы по горло, да сыт ею не будешь. У нового костела хоть иногда чем поживишься: то мотыга, то ведерко известки... А раз зубило, бурав с коловоротом нашелся... Ну, Гульдан, ищи теперь свищи!..

12

К костелу, опираясь на тонкую палочку, бредет сгорбленная старушка. Издали походит она на утку: вытягивает шею, озирается пытливо по сторонам — хочет всех разглядеть.

Бетонщицы ее уже заприметили: — Эгей, Юльча! Смотрите, вот и Юльча пришла помогать!

Старушка услышала, уставилась куда требовалось, улыбнулась и заверещала, будто в горле у нее разрывался пергамент:— И Юльча пришла! И Юльча тут!— В самом деле, она точно утка. Та, пожалуй, тоже могла бы так верещать.— Сами управляйтесь! Юльча пришла пропавшего цыпленка съесть!

Она доплелась к женщинам, оглядела их, потом окунула кончик палки в раствор и сказала: — Помешаю хоть малость! — Снова в горле разорвался кусок пергамента, и в то же время отозвалось и несколько нестройных, однако нежнейших дудочек сиринги[1].— Так. А теперь берегитесь, хочу пропавшего цыпленка съесть.

— Ну вот и помогла! Гляньте-ка!— женщины хвалят ее.— Помогла как-никак!

— Юльча, осторожней! Тут повсюду известка. Как бы тебе не оступиться, не упасть.

— Как, как?— трещит пергамент.

— Осторожней, не упади.

— А и упаду, так подымете,— смеется она беззубым ртом, но пергамента в нем не видно, должно быть, он в самом горле, там и сиринга, а может, и расшатанная прялка и еще кое-что: маленькая горошина весело пляшет.— А то и отнесете меня. Старые бабки любят, когда их носят.

— Ох и хитра!— смеются женщины. Одна подходит к Юльче и отводит ее к груде теса.— Иди сюда! Чтоб тебя не толкнули. Тут

[1] Музыкальный инструмент, состоящий из множества дудочек различной величины.

можешь прислониться и присесть можешь. А то расскажи нам что-нибудь или спой, по крайней мере время быстрее пройдет.

— Время, оно и так пройдет,— улыбается Юльча.— Мое уж прошло. Даже петь не пришлось. Оно, может, и обогнало меня.

— И впрямь! А тебе сколько годков?

— Шесть,— отвечает она не задумываясь.

— Шесть? Слышите? Шесть, говорит! Как это — шесть? Может, сто шесть?

Юльча вертит головой:— Нет, нет! Ведь я уже маленькая. Годами я топчу дорожку назад. Помаленьку начинаю молодеть. Иначе меня не пустят на небо. Кому я там, старушенция, нужна буду?

— Ты что говоришь? Ведь на небе будем все одинаковы.

— Одинаковы?— прялка стала слегка пошаливать; горошина где-то застряла или увязла.— Утешайтесь! Думаете, господь бог раздаст нам всем одинаковые чулки? Мать родная там меня не признает. Даже не откроется мне — застыдится, что дочка старше ее и безобразней.

— Надо же! Ничего не боится!

— А чего бояться иль кого? Только бы меня пустили на небо! Там все подивятся. Вот и я, небесный отец! Сделал ты меня старушенцией, вот и получай такую! Увидите, как я буду перед ним вертеться! К самому трону протиснусь и усядусь промеж самых молоденьких.

— Не болтай! Господь тебя покарает.

— Меня-то покарает? А за что? За эти годочки? Так он сам же раздавал их. Захоти он меня молодую, так и оставил бы молодой. Молодой-то и на земле мог оставить, молодой и на земле как хорошо.— Прялка уже снова покойно поскрипывает, дудочки нежно наигрывают, пергамент похрустывает и потрескивает, а горошина весело прыгает, трык-так, в такт с пергаментом, трык-так, словно по паркету, цук, цук, вы же слышите, тра-та-та и еще похныкивает: трень-брень, горошина, трень-брень, тренькает она, тра-ра-ра...

— Думаете, я неба испугалась? Э-хе! Кабы вы знали, бабоньки, кабы знали! Юльча уж давно небо оглядела!

Но кой-кому из женщин такие речи не по нутру.— Не болтай вздор!— осаживают они ее.— Всякий вздор из тебя прет! Господь и без того порядком тебя наказал!

Иные и заступаются:— Не трожьте ее! У нее ведь ума что у ребенка! Юльча, спой что-нибудь. Лучше-ка спой нам.

Юльчу не надо долго упрашивать. Она прикрывает глаза, похоже, будто даже задремывает, но вскоре их опять открывает и начинает медленно покачивать головой. И вдруг у нее в горле отзывается блеющая козочка, голоску которой кто-то, должно быть какой-нибудь добрый, благодушный и тоже, поди, беззубый гобоист, что смастерил специально для своего инструмента мягонькие клапончики, придал особо нежный тон:

Я не первая, не последняя на земле,
Горько плачет солнышко, что темно во мне.

Выглянь, выглянь, солнышко, и не плачь так горько,
Ох бы поскорее народилась зорька!

И вот из прялки уже сделался маленький органчик, пожалуй чуть расстроенный, но все равно органчик, пергамент и горошина теперь тихохонько дребезжат, издавая тремоло, а сиринга скликает певчих птиц, главным образом колибри:

Пчелки в ульях для тебя изготовили медок,
Из гусяток стали гуси, кому гнать их на лужок?

Выглянь, выглянь, солнышко, и не плачь так горько,
Ох бы поскорее народилась зорька!

Спою тебе песенку, поразвею горюшко,
Серебряны дудочки в моем звонком горлышке.

Выглянь, выглянь, солнышко, и не плачь так горько...

Вдруг Юльча умолкает. С минуту присматривается, потом спрашивает:— А этот масляник что тут делает?

— Какой масляник?

— Вот тот,— она тычет палочкой в адлатуса, что стоит, расставив ноги и прикрыв ладонью глаза, и смотрит на колокольню.— Право слово, это он! Масляник!! Он хаживал сюда в Церовую масло продавать.

— Не болтай, Юльча... Это ведь... Как его? Адлатус. Адлатус он.

— Адлатус? Вот задам тебе, адлатус!— она грозит ему палкой.— Он задолжал мне полкрейцера. Масляник! Поди сюда! Так как же с тем крейцером? Я те задам адлатуса! Как с тем полукрейцером?

— Не кричи, Юльча. Ты же не знаешь его. Крейцеры-то когда были? Ведь крейцерами давно не пользуются.

— Ну и что? Ему-то я скажу, небось знаю его! В свое время крейцеры были. Мне было лет семнадцать, а ему, поди, столько, сколько теперь, он пришел, общупал меня всю, потом схватил крейцер и бежать.

На удивление быстрым, вперевалку, шагом она побежала к адлатусу, а приблизившись, подняла палку и стала колотить его по голове.— Масляник! Масла! — крякала она, словно утка.— Масла, масла. масла! Отдай мой полукрейцер и крейцер либо подлей еще масла! Масла, масла!— Она все злее колошматила его палкой. Людям пришлось подбежать и адлатуса выручить.

13

Ондро сказал брату:— Слышь, Имро, сдается мне, эта девка уж больно заглядывается на тебя.

— Которая? А-а, вон та? Чернявая? Так это же Штефка! Ондро, тебе только кажется.

— Нет, братец, не кажется. Все время пялит на тебя глаза. Неохота тебя с толку сбивать, но тут что-то кроется.

— Ничего тут не кроется. Она давно обручена. Да и мне осенью жениться.

— Честь тебе и слава, братец, честь и слава, но девка, согласись, хороша! Гляди-ка, опять на тебя уставилась!

— Ондро, тебе только кажется, только кажется. Ведь она обручена! Верно говорю, обручена.

— А с кем?

— С Кириновичем.

— Неужто, братец, неужто? Имро, да ты, ей-богу, балда! Такую пригожую девку отдать Кириновичу!

Штефка ходила к костелу почти каждый день. Иногда являлась совсем рано, иногда, если дома были дела, пополудни, а то прибегала под самый вечер, должно быть, даже не ради работы, а просто так, поглазеть. Имро примечал ее и вечером после работы, когда уходил с отцом и братьями домой в Околичное. Она прохаживалась с Кирино-

вичем, управляющим имением. Чудно, право! Неужто он и впрямь с ней гуляет? Конечно, человек он неженатый, и на приличную должность вышел, и живет честь по чести, одним словом, управляющий. А все равно старый козел! Наверняка за плечами добрых три десятка, а то и за сорокалетнего смело сошел бы. Чудно, право! Но, с другой стороны, всяк сам себе голова, не суй нос, куда тебе не положено.

Как-то раз — и опять же случайно,— когда Гульданы возвращались с работы, вышел на улицу Штефкин отец и, увидев их, тут же замедлил шаг.— Гульдан!— закричал он веселым голосом и сразу же повернул назад.— Загляни-ка! Я вот думал забежать на кружку пива, но коль ты уж попался мне на дороге, зайдем ко мне ненадолго! Пошли, Гульданко! Пошли, ребятки! Уважаю мастеровой народ!

Конечно, он звал их на рюмочку. Выпили, упрашивать их не потребовалось, а была бы охота, и закусить было бы можно, да не стоило живот набивать, уж лучше опрокинуть лишнюю рюмочку.

Штефка была дома. Дома была и Штефкина мать. Был там и какой-то малец, не очень удачный, он все время швыркал носом, хотя и стояло лето. А не тяни он носом, может, никто бы его и не приметил. Что ж, не каждому же ребенку быть удачным. Но это так — к слову пришлось.

Вечер был из приятных. Гульданы засиделись, пожалуй, дольше, чем следовало. Штефкина мать уже стала подремывать и в конце концов отправилась спать. Мастера это слегка покоробило, он потихоньку поднялся.— Бедняжка! Уморили мы ее разговорами,— сказал он конфузливо.— Ребята, и нам пора!

— Сидите на здоровье!— Штефкин отец их опять поусаживал.— Не беспокойтесь зазря. У нас с женой полное понимание.

И Гульданы сели. Им было приятно. Штефка оставалась с ними до самого конца, хотя порой не знала, кого и слушать. Мастер и ее отец старались говорить серьезно, да и подмастерья не отставали — вы-то уж знаете, что за народ эти подмастерья, особенно когда женщина рядом, они стремятся говорить серьезно, правда, только затем, чтобы произвести впечатление, а вообще-то им на все наплевать, перескакивают с пятого на десятое, слово для них — тьфу, ведь у подмастерьев всегда слов полон рот. Ох, уж и впрямь озоруны эти Гульданы! Они то и дело обрывали отца, обоих отцов, что своего, что чужого, а Штефку меж тем нет-нет да и подкалывали. Она едва успевала отбиваться.

Мастеру пришлось одернуть сыновей:— Негодники, оставьте девку в покое!

А уходя, мастер сказал отцу Штефки:— Мишо, сам небось видел, как мои молодцы хотели дочку твою забаламутить?

— Конечно видел. Дочка у меня хороша.

— Мишо, да у меня и в мыслях не было хаять ее. Я именно это и хотел сказать. Не знал, что у тебя такая пригожая дочка.

— Гульданко, обе дочки у меня хороши. Одну я уже выдал, и эта скоро собирается. Жених,— тут Штефкин отец наклонился к мастеру,— не по душе мне этот жених. Тс-с, Гульданко! Не по душе он мне!

— Так, так! Понятно.

Имро услышал. Невольно опять припомнил Кириновича. Неужто и в самом деле все так?

Мастер огляделся.— А где она? Где девка-то? Эвон! Ну пошли, поторапливайтесь!— Мастер обождал, пока Ондрей и Якуб со Штефкой выйдут на улицу, потом сказал:— Ну как, ребята? Возьмем девку на колокольню?

Сыновья один за другим весело поддакнули.

— Решено! Слышь, Штефка, когда мы будем ставить крест на церовский храм, ты наверху мне вина и поднесешь. А до той поры не смей замуж идти, обычай не позволяет. Ох, старый же я дурак. Ну, благодарствуем, Мишко! Благодарствуем и всего хорошего! Доброй ночи! Доброй ночи, Штефка! С богом! Всего хорошего!

Имро часто вспоминал ее. А иной раз и подумывал: «А что, если мне встретиться с ней? Я еще неженатый, могу встретиться с кем хочу. Пришла бы она на свидание? Ну а потом что? Если Вильма об этом узнает? А и не узнает, что толку? Кого бы я обманул? Нет, Имришко, нет, лучше не мудри, не раздумывай, ни с кем лучше не связывайся! Разве Вильма не хороша? Не отступайся от нее, Имро!»

14

Коротко ударил колокол. И Штефка, в праздничном национальном костюме, с гордо поднятой головой — на правой руке у нее плетенка, в которой бутылка вина и десять стограммовых рюмок,— бодрым шагом, не оглядываясь по сторонам, идет к костелу. Народ расступается перед ней.

— Ну и вырядилась!— Люди не в силах глаз от нее отвести.— Глядите, как вырядилась! Гульдан знал, кого выбрать!

— Еще бы, Штефка умеет принарядиться. Смотрите, смотрите! Вот Гульдан уже ждет ее, она несет свяченое вино к кресту. Оттого и вырядилась.

— Так, так!

— Чего так! Такой-то девки и я б дожидался. Хоть у креста. И вино бы выпил, право слово, выпил бы. Эх, ни земли, ни неба, ей-ей, не испугался бы. Ух! И мы на небе.

А Штефка подымается по деревянной лесенке. Слегка запыхалась, ну да ладно. Она уже у колоколов, там ее дожидается Имрих. Штефка наливает ему в рюмку вина, Имро пьет, а пустую рюмку, как положено по обычаю, разбивает о балку.

— Не боишься взойти еще выше?— спросил он ее.

— Не боюсь,— ответила она весело.

— Ну и не бойся,— Имро хотел подбодрить ее.— Потихоньку подымайся, чтоб не устать. Но наверху не оставайся. Буду ждать тебя.

Штефка пошла выше. Через минуту была уже возле Ондро.— Какая ты красивая! — улыбнулся он ей.— Гляди, как разгорячилась. Ей-богу, ты мне нравишься!— Он сам взял из корзинки рюмку.— Ну налей, налей подмастерью!— сказал весело. Потом выпил, а пустую рюмку разбил.— Дело сделано!— усмехнулся он.— А ты мне и впрямь по душе! Жаль, что я женатый.

А Штефка уже подымалась к Якубу, и взгляд ее был устремлен вверх. И снова все повторилось.

— Не боишься выше идти?— спросил ее Якуб.

Штефка сказала: нет, а сама невольно поглядела на узенькую лестничку, которая вела наверх к мастеру; лестничка казалась ей достаточно крепкой, и было на ней не более десяти—двенадцати ступенек, и все же это была высота! Штефка еще никогда не подымалась так высоко.

— Видать, страх напал! Хочешь,— предложил ей Якуб,— я донесу?

Штефка глубоко вздохнула.— Ах ты господи, да я уже иду, иду. Высоко-то как! Сейчас я, правда, немного боюсь.

Она пошла дальше, и взгляд ее устремлен был вверх. Шла она сейчас медленнее, осторожнее. Господи, как высоко! Отчего так высоко?! И будто качается! И трещит даже!

— Ну давай!— мастер подал ей руку. Она поднялась еще на одну ступеньку, потом еще на одну, и мастер сказал:— Ну, здравствуй! Не думал я, что ты сюда дойдешь.

— Боже милостивый, отчего так трещит?— она силилась улыбнуться.

— Ничего не трещит, тебе кажется,— успокаивал ее мастер.— Не бойся! Это прочная колокольня! А ты смелая девушка. Ну что, нальешь?

— Налью. А почему колокольня так качается?

— Нет, не качается, вовсе не качается! — И мастер взял себе рюмку.— Успокойся.

У Штефки дрожали руки, но рюмку она налила. Мастер выпил и сказал:— За твое здоровье!

— За ваше здоровье!— сказала Штефка — голос ее тоже дрожал.

Мастер выпил рюмку и бросил вниз. Потом она налила ему вторую рюмку и третью — и так семь подряд! И каждый раз мастер смотрел на нее, а при последней рюмке задержал на ней взгляд особенно долго.— Ты правда замечательная девушка, красивая и смелая. Уже не боишься?

— Не боюсь.

— Будем здоровы! — Мастер выпил и сказал: — Благодарствую! Ну ступай! Ты смелая девушка. Наверняка замуж удачно выйдешь! Желаю тебе рослого, умного и доброго жениха! Ступай и гляди в оба, чтоб не поскользнуться.

Она и не знала, как спустилась вниз к Якубу, который радостно ей улыбался.

— Ну вот, видишь! Все уже позади!

Потом она осмелела. Возле Ондро она бы и постояла, да он вдруг ее обхватил, обнял, может, и поцеловал бы, не убеги она вовремя.

Застучали ступеньки, и вот она уже рядом с Имро: — Боже, Имришко, знаешь, как было страшно?

Имро обнял ее.— Ну ладно! Молчи! И чего, чего тут бояться? — Он обнял ее обеими руками, даже целовать стал. Штефка подумала, что надо бы, пожалуй, вырваться из его объятий, но вместо этого улыбнулась и еще крепче прижалась к нему. Ну можно ли ее в этом винить? Она была сегодня на колокольне. Сегодня люди должны все ей простить.

— Что будешь вечером делать? — спросил ее Имро.

— А что?

— Просто так. Можно и встретиться.

— Встретиться? Господи, я не знаю.— Она поколебалась немного. Потом спросила: — А где?

— Почем я знаю? Где хочешь,— неуверенно ответил он.— Правда, что ты гуляешь с Кириновичем?

— Захаживает к нам. Ведь и ты собираешься жениться.

— Да? А ты откуда знаешь?

— Узнала.

— Надо же! А хоть бы и так! Вечером подожду тебя.

Она согласилась: — А где?

— Где хочешь.

— Ну, жди у нашего дома. Но сразу же после работы, а то потом...

— Понятно, понятно...

Но Имро не сдержал слова. Позже вдруг подумал: «Зачем я обещал? Я же с Вильмой договорился. Какой я дурень! Зачем я обещал? Для чего морочу ей голову? А может, все же пойти?»

Работу они кончили до времени. Священник позвал их к обеду. Выпили, а потом побрели домой. И Имро вместе со всеми.

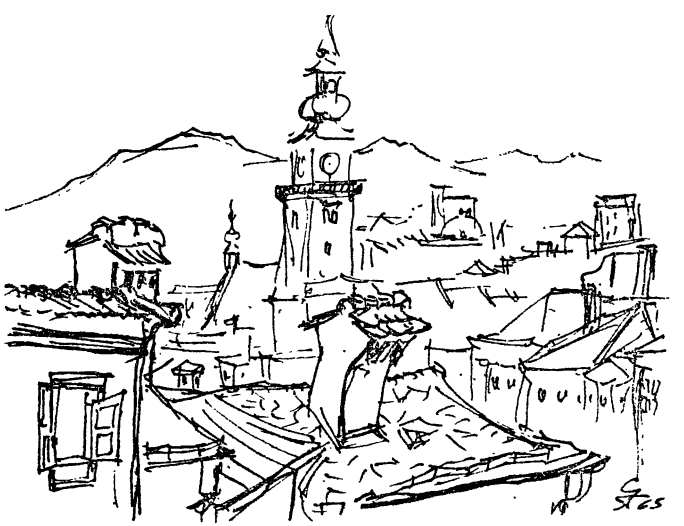
А вечером вышел на улицу и все еще раздумывал. Куда же теперь? К Вильме? Или к Штефке? Вернуться в Церовую? Господи, какой я дурень! Зачем всегда все порчу, все усложняю?

Решил пойти к Вильме, но и к ней не пошел.

Домой воротился не в духе. «Господи, какой же я дурень,— размышлял он, лежа в постели,— не знаю, чего и хочу! Может, Вильму уже не люблю? Еще чего, конечно люблю! Конечно! Боже, какой же я дурень, надо жениться, надо как можно скорее жениться!»

А Якуб в тот день вырубал на колокольне церовского костела, вырубал и вытесывал на балке такую надпись: НАЗЛО ВОЙНЕ ПОСТАВЛЕН БЫЛ ЭТОТ ХРАМ И ВСЕ ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ ВЫПОЛНИЛИ ТУТ в ГОДУ 1943 И КОЛОкоЛА ПОВЕСИЛИ И рукАМИ ОпытНОГО МАСтерА НА МаковКУ КОЛОКОЛЬНИ жеЛЕЗНЫЙ КРЕСТ ВоЗДВигли: ИМРих ГульдаН, МАСтер И сыНоВЬЯ: Якуб, ОНдрей и ИМРих мл. БЛАГОСЛОВи, ГосподИ, житЕЛей села И умеЛЫЕ рукИ лОВких И прилежНыХ ПЛОтников!

(Окончание следует)



ГЕРХАРД ШТЕНГЕЛЬ. ГДР.
Линц. Старый город.
Рисунок

АТ-ТАХИР ВАТТАР

И содрогнется земля...

РОМАН

Перевод с арабского В. ШАГАЛЯ

Тем, кто, не жалея сил, проводит в Алжире аграрную революцию и вносит весомый вклад в создание незыблемых основ передового, демократического общества, посвящает автор эту книгу.

1. Баб аль-Кантара

«Ну и дух же стоит в этой Константине[1]! Каких только запахов здесь нет! Резких, тяжелых, пронзительных... Стоит попасть сюда, и поначалу кажется, будто ты очутился в помещении, из которого выкачан воздух; на каждом шагу, на каждом углу — свой запах, особенный... Клянусь Аллахом, из всех органов чувств здесь вполне достаточно одного обоняния...» Открыв дверцу машины, которую после долгих поисков ему удалось наконец втиснуть в небольшой тупик, шейх Абу Арвах выбрался наружу под палящее солнце, беспощадно сверкавшее на голубом небе, и оказался в маленьком и уютном пространстве, как раз напротив моста Баб аль-Кантара.

«Вот так запах... Прямо за сердце хватает... пронимает до самых печенок».

После долгого сидения в машине надо бы вздохнуть полной грудью, но он не решился на это и лишь слегка перевел дух. Шейх одернул чуть примявшийся пиджак и, что-то прикидывая в уме, посмотрел на часы:

«Без четверти... Девять часов от столицы... Что ж, по такой жаре не мудрено... Пожалуй, в Константину, как и в Каабу[2], предпочтительнее все же являться в пятницу».

Закрыв машину на ключ, он огляделся, намереваясь пойти вверх по улице Бен Мхиди; не спеша, словно в нерешительности шагнул раз-другой и вдруг замер; постоял немного, озираясь по сторонам, и заторопился назад, к машине, подергал все четыре ручки и, убедившись, что дверцы заперты, успокоился.

[1] Город на севере Алжира, важный торговый центр, расположен на плато, на высоте 650—700 *м*. Через глубокое ущелье (250 *м*) реки Ар-Руммель построено несколько мостов, в том числе Баб аль-Кантара, Сиди Рашид и Сиди М'сид. В древности Константина — один из важнейших городов Северной Африки. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

[2] Главная мусульманская святыня в Мекке.

Послышался пронзительный свисток паровоза. Шейху стало не по себе: был ли звук чересчур резким и неприятным или слишком уж долгим, он и сам не понял. Уж не вернулись ли из Мекки паломники? Но скорее всего свисток был как бы предостережением пассажирам: помните, вы въезжаете в город.

Шейх очутился в самой толчее: нескончаемым потоком в обе стороны мчались автомобили, неведомо куда и зачем торопились люди. Случайно в поле зрения шейха попал мост Баб аль-Кантара, и лицо его просветлело.

«Подумать только, и люди, и машины — все несутся куда-то, а куда — одному Аллаху ведомо. Нет, не такой представлялась мне Константина...»

Помолчав, он поднял глаза, посмотрел на тянувшуюся вверх улицу, собираясь не спеша тронуться в путь.

«Семь мостов в Константине, но лучше этого нет. Широкий и не очень длинный. А какой красивый! Когда идешь по нему, забываешь о зияющей внизу пропасти».

В этой части города все вроде по-прежнему — ничего не изменилось: те же зеленые деревья, те же особенные дома, непохожие на другие. И больница, и школа на месте... А где еще увидишь такой элеватор? У тех, кто его строил, была, видно, одна забота — соорудить здание, постоянно напоминающее: Константина это город крестьян, сельскохозяйственный центр. Не исключено, правда, что у них было и другое желание: внушить жителям, что если, не приведи бог, город окажется в осаде, с голоду никто не умрет, ячменя и пшеницы хватит надолго. А вон памятник святой Жанне д'Арк. Испокон веку стоит распростерши крылья, того и гляди улетит. Только не суждено никому увидеть, как она взлетит. А за памятником... символ города — мост, парящий над пропастью.

Итак, едва шейх узрел мост, лицо его просветлело, а сердце забилось чаще. Он снова, в который раз, окинул взглядом элеватор, больницу, школу, виллы, деревья — весь город был перед ним как на ладони — и довольный спросил самого себя:

«Ну как? Что-нибудь изменилось?.. Пожалуй, почище стало. Поярче и поцветистей. Поубавилось европейского лоску. Город будто выгнулся дугой и норовит заглянуть своими глазами-домами в самую глубину знаменитого ущелья. И зачем только вади [1] Ар-Руммель выбрала для себя именно эту дорогу — по ущелью, через самый центр города, а тому ни до кого и дела нет».

Прозвучал призыв на молитву. Сердце шейха преисполнилось радостного ожидания. Кажется, он решил наконец сдвинуться с места: о да, он и в самом деле повернулся и зашагал вверх по улице, забитой летящими вниз машинами — казалось, они падают откуда-то сверху, чтобы тотчас снова взлететь и раствориться в пряных ароматах растений, запахах пищи и пота.

«Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха! [2] Что заставляет всех этих людей метаться в городской толчее? Не успел приехать, пришлось бросить машину чуть ли не посреди улицы, не то люди ослепили б ее. словно мухи. Что случилось? Неужто настал Судный день?! Веселые, мрачные, довольные, недовольные — все несутся сломя голову, вниз и вверх, вперед — назад, с поклажей или налегке; снуют в разные стороны по этакой жаре. И чего ради? Пожалуй, я просто забыл, каким видел город тогда, лет двадцать назад. Нет. Все здесь

---

[1] Долина реки, иногда пересохшее русло реки.

[2] Употребляемое в разговорной речи восклицание, выражающее крайнее удивление.

перевернулось вверх дном. Когда в городе хозяйничали французы, он был глухим, спокойным и тихим, мог обрадовать и утешить, жизнь вползала сюда с рассветом лениво, не спеша, разгуляется, бывало, часам к десяти, а к полудню снова утихнет, чтобы забурлить с новой силой от пяти до девяти вечера: в это время кончались занятия в школах и институтах, учащиеся спешили домой, вспыхивали яркие огни... выходили на прогулку молодые женщины, веселые и прелестные, как гурии... от них веяло тонким ароматом духов, умиротворением и покоем. Все изменилось, от прошлого ничего не осталось... Пожалуй, прав был Ибн Халдун [1], когда... Нет, нет... нисколько. Ведь мы жертвовали собой во имя свободы Алжира, чтобы страна принадлежала арабам, и только им, нам раскаиваться не в чем. Поначалу, когда мы завоевали независимость, да и, пожалуй, в последующие годы, взгляды Ибн Халдуна нас никак не устраивали, не устраивали они нас и потом, когда нынешнее правительство, зайдя в тупик, бросалось из крайности в крайность, от доктрины к доктрине, заимствуя их и на западе, и на востоке. Но сейчас наши правители хватили через край, перегнули палку... Нас обманули. Да, да. Обманули. Сначала о социализме только болтали, а потом вдруг в каждое слово будто душу вдохнули — они обрели смысл. Вот как все обернулось! Ну и дела!

Конечно, я понимаю, свобода — это свобода. Независимость — это независимость. Режим есть режим. А власть есть власть. И тут ничего не поделаешь... Но когда в жизни все идет кувырком — это никуда не годится. Как-никак нам выпало счастье заниматься истинной наукой, сидеть за одним столом с крупными учеными, бороться рядом с самим шейхом Бен Бадисом [2] — да ниспошлет ему Аллах свою милость,— довелось стать знатоками мусульманского права, освоить четыре (целых четыре!) толка [3], но до такого греха, до всеобщего отрицания мы не дошли.

Я им прямо скажу: что кому принадлежит, должно принадлежать вечно — право собственности освящено самим Кораном...

...Нет, ничего у них не выйдет. Люди должны довольствоваться тем, что имеют. Довольствоваться милостью, которой Аллах оделил их от своих щедрот, куском хлеба насущного, дарованного тем, кто всем распоряжается и владеет. Зачем же они так спешат, зачем торопят свой час и удовольствия ради отрекаются от веры?..»

Вдруг кто-то двинул его плечом, да так, что он очутился на проезжей части. Заскрежетали тормоза, и рядом с шейхом, едва не задев его крылом, застыл автомобиль и громогласно засигналил, открыто выражая свое возмущение неосмотрительностью шейха. Не прошло и мгновения, как в шум улицы ворвался свист колес, грохот и треск сталкивающихся машин, собралась большая толпа, послышался плач детей.

Озираясь по сторонам, шейх краешком глаза углядел щель в плотном кольце людей, юркнул в нее, словно ящерица, и, изо всех

---

[1] Абдуррахман Ибн Халдун (1332—1406) — великий арабский ученый, писатель и историк арабского мира. Его прославила многотомная «Книга примеров по истории арабов, персов, берберов и народов, живущих с ними на земле» и «Введение» к этой работе. В них он развил стройную философскую теорию смены исторических циклов в развитии государств и народов.

[2] Бен Бадис Абдельхамид (1889—1940) — первый президент созданной в 1931 году Ассоциации алжирских улемов (ученых-богословов), которая выступала в защиту национальной культуры алжирского народа, за распространение просвещения на арабском языке.

[3] В истолковании основных принципов ислама как религии существуют четыре религиозно-правовые школы, или толка: ханифитская, шафиитская, ханбалитская и маликитская.

сил работая локтями, еле выбрался на тротуар. Ошеломленный случившимся, он в то же время испытывал безотчетную радость и, не в силах вымолвить ни слова, уставился куда-то в пространство.

Наконец, придя немного в себя, шейх вынул из жилетного кармана часы и произнес:

— Пора!

Он вознамерился было проскочить незначительное расстояние, отделявшее его от Большой соборной мечети, как вдруг внимание его привлек чей-то громкий голос, и он остановился как вкопанный, стараясь не пропустить ни словечка.

— В этом городе, о господин мой, о мой повелитель, жить стало невмоготу. Подумать только: пятьсот тысяч жителей! Раньше, при французах, их было всего полтораста тысяч. А сейчас целых полмиллиона, о господин мой, мой повелитель! Целых полмиллиона! И все они здесь, на этой горе. Бросили свои деревни, свои пустыни и осаждают город, набились — не продохнешь. Весь воздух высосали. А вместо него напустили вони. О великий и справедливый Аллах, явись и молви свое последнее слово. Разрушь этот город, и пусть сгинут безбожники, отринувшие веру, погрязшие в разврате и пороках. Настало время. Явись, о всемогущий Аллах! Ты и так слишком долго терпел, о справедливый и великий!

Наконец Абу Арвах увидел говорившего: это был шейх в высоком красном тарбуше. Загораживая вход в кафе «Наджма», он стоял, молитвенно воздев руки к небу, и произносил свою гневную речь. Абу Арвах окинул взглядом длинную очередь у входа на фуникулер, узкий мостик, подвешенный на стальных канатах, глубокое ущелье, по которому текла река, рассекая город на две неравные части. По обеим сторонам ущелья вздымались утесы, гладкие, будто отполированные самим временем. Но на выступах их и во впадинах виднелись редкие деревья и глубокие пещеры — пристанище голубей, круживших в небе темными и светлыми стайками, наподобие размотанных клубков шерсти, обдуваемых легким ветерком.

Горький комок вдруг подступил к горлу Абу Арваха, сердце учащенно забилось. Но он подавил охватившее его волнение.

«...Они бросили свои деревни и пустыни и штурмуют город, что ж из того? Да и что им, спрашивается, делать без земли в деревнях и пустынях? Или этому шейху непременно хочется, чтобы они захватили чужие земли? Что с них взять, с этих лодырей и бездельников. Труд на земле не приносит им радости. Вот они и притащились в город — подавай им, видите ли, работу. Правительство знай только строит заводы и фабрики, лишь бы занять их делом. Не желаете трудиться на родине, извольте — поезжайте за границу: все пути перед вами открыты. Так нет. Им и этого мало. Свои алчные взоры они устремляют на тех правоверных, к которым по милости Аллаха земля отошла по наследству. Будь они прокляты! Не любят горожане пришлых — так уж у них повелось,— сами хотят хозяйничать у себя в городе и по-всякому стараются выдворить деревенских».

У входа в Большую мечеть внимание шейха привлекли нищие, выстроившиеся длинной очередью вдоль стены, окрашенной в бледно-зеленый цвет. Ну и лица! Таких он еще не видел. Ничего не скажешь, лица в Константине особенные, с другими не спутаешь. И все на свой лад. И роста здесь тоже все разного. А вот при французах все были на одно лицо — и европейцы, и арабы. Теперь же все по-другому.

Лица в этом городе, как и запахи, заявляют о себе сами.

Придя к такому выводу, Абу Арвах снял ботинки и оттолкнул нищенку, преградившую ему дорогу.

— Убери руку, о женщина! Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха, высокого, великого! Прямо беда! И откуда вы взялись на нашу голову? Вернулись бы в свои деревни, на фермы да на поля!

— Да обрушит Аллах беду на твою голову! Вот скупердяй! Дал бы дора [1] — не обеднел...

«Всех нас держит эта гора на своих плечах,— хотел он сказать нищенке да и всем остальным,— а в недрах ее вода делает свое дело. Одному лишь Аллаху ведомо, сколько пустот в чреве этой громады. Как бы она не напомнила, что устала нести нас на себе».

И он снова устремил свой взор на шейха у входа в кафе «Наджма», в красном тарбуше, с молитвенно воздетыми к небу руками:

— О великий и справедливый Аллах! О мой повелитель! Разрушь этот город: покарай всех, погрязших в пороке!

Голос шейха заставил Абу Арваха расправить плечи. Преисполненный сознания высокого долга, он пошел дальше. Подошел к стоявшим у стены людям, по-прежнему держа ботинки в руке. И вдруг снова почувствовал, как нечто мерзкое, темное заполняет все его тело вплоть до самых кончиков пальцев; перед глазами поплыли зеленые круги.

Шейх, дважды преклонив колени, как принято при входе в мечеть, вошел туда, и ему почудилось, будто на кафедре в мечети — сам шейх Бен Бадис, как всегда оживленный, с одухотворенным, полным энергии и огня лицом. Сколько ни пытаются художники изобразить его, ничего у них не выходит, ибо в их представлении шейх Бен Бадис был символом ученого, склонного лишь к созерцанию, не вникающего в суть явлений и не интересующегося жизнью.

Абу Арваху показалось, будто этот Бен Бадис ни капельки не похож на того, которого уже нет в живых и которого шейх Абу Арвах помнит все эти годы, заполненные множеством событий.

«Мы восторгались им, хотя, признаться, не всегда его понимали; он был полноводной рекой, несущей свои воды к устью, а мы... что мы?»

Шейх так и не довел свою мысль до конца — ему почудилось, будто Бен Бадис на портрете вдруг ожил,— и он ограничился лишь кратким замечанием:

«Будь сейчас жив Бен Бадис, мы нашли бы с ним чем заняться. Что ни говори, религия есть религия; религия — это верность предкам, а всякое новшество — ересь, отход от истинного пути».

Отвесив несколько поклонов, Абу Арвах перестал наконец думать о Бен Бадисе. Все внимание он сосредоточил на непроизвольном движении указательного пальца своей правой руки. Тот сперва с необычайной быстротой задергался по горизонтали, потом застыл неподвижно, наливаясь тяжестью, и вдруг снова задергался: теперь уже вверх-вниз, опустившись, замер на миг и снова повторил все сначала.

«Проклятый шайтан! Да проклянет Аллах этого дьявола-искусителя! Куда это годится: я сам выгнал одного парня из школы за то, что его палец проделывал такие же выкрутасы... Интересно, что стало с ним, с тем парнем? Ученики прозвали его философом, а я считал его вероотступником. И хотя нрава он был доброго и кроткого, симпатии к нему не питал. Стоило ему заговорить со мной или просто приблизиться, как мне тотчас начинало казаться, будто он видит меня насквозь, знает, что у меня на душе, будто передо мною враг, от которого можно ждать чего угодно. Только всемогущему Аллаху дано знать, что у человека на сердце, но уж никак не этому еретику,

[1] Мелкая монета.

дерзнувшему без дозволения копаться в сокровенных тайнах людей. Как-то во время урока он обратился ко мне с такими словами: «Мой учитель, невольно возникает вопрос — может ли великий Аллах, коему все во вселенной подвластно и ведомо наперед, что будет с каждым небесным телом, с самим небосводом и землями, найти толику времени и хоть краешком глаза глянуть, что за чудеса происходят с пальцем у человека, творящего молитву? Может, всевышнему угодно, чтобы палец двигался только по вертикали, или он предпочитает круговое движение? И что он скажет, если у творящего молитву вовсе нет указательного пальца или руки?» Я выслушал его до конца, а потом громовым голосом крикнул: «Вон отсюда! Клянусь головой святого пророка, нашего заступника, ноги твоей здесь больше не будет. Прочь с глаз моих навеки веков, нечестивец». В ответ он громко рассмеялся, подхватил свой мешок и ушел из мечети, полный достоинства, уверенный в своем праве задавать любые вопросы. И надо же такому случиться — будь проклят этот дьявол! — у меня самого, стыдно признаться, палец описывает круги... А ведь с тех пор прошло ни мало ни много двадцать три года. Подумать только, описывает круги...»

Прислонившись к стене, шейх попытался, придерживая локтями свой огромный живот, надеть ботинки. От напряжения глаза его, казалось, вот-вот вылезут из орбит, лицо вздулось, стало багровым и потным, но губы не переставали шептать молитву.

— Это я уронил доро, он — мой.

— Нет, мой.

— Клянусь Аллахом!

— Да защитит вас Аллах и будет к вам милостив!

— Да будут ублаготворены Аллах и наши родители!

— Я первый!

— Нет, я.

Оглушенный воплями и причитаниями нищих, шейх оглох. В нос шибанул кислый запах потных, давно немытых тел, смешанный с чадным духом жареного мяса, прогорклых, который уж раз пережаренных оладий, ароматом жасмина и кожуры кактуса.

«Звуки в Константине, как и запахи, неповторимы, да и лиц таких нигде больше не встретишь. Странно, прежде я этого не замечал. Город изменился. До неузнаваемости. Наводнен людьми. Шутка ли, полмиллиона на какой-то горе. Это чересчур».

И снова нечто отвратительное, темное потянулось от желудка к голове, залило глаза и уши.

Вместо того чтобы сосредоточиться на пятничной молитве, как положено благочестивцу, Абу Арвах весь ушел в себя, поглощенный мыслями о Страшном суде — сотрясении, когда «каждая кормящая забудет того, кого кормила в день начала его, а каждая обладательница ноши сложит свою ношу. И увидишь ты людей пьяными, но они не пьяны» [1].

Растерянность, страх, темно-бурая масса, наполняющая душу,— так описал всевышний Судный день. Да, да, именно все это по воле Аллаха должен испытать человек накануне землетрясения, возвещающего о наступлении дня, когда перед Аллахом пройдут правоверные и он, вникая в людские дела, вынесет каждому приговор «по заслугам».

— Бог подаст! — зло крикнул шейх девчонке-нищенке и нахмурил брови; монетки доро у него не оказалось, и он, перебрав монеты

[1] Коран, отрывок из суры «Хадж», перевод Крачковского. М., ИВЛ, 1963, стр. 262.

в двадцать, десять и четыре доро, спокойно положил кошелек обратно в карман.

Абу Арвах шел по аллее, которая вела от мечети к улице. Шел нетвердым шагом, покачиваясь из стороны в сторону, наклонив набок голову, которая болталась будто на шарнире, описывая в воздухе то круг, то дугу, и, казалось, принадлежала вовсе не шейху, а кому-то другому. Шел, придерживая живот.

«Съесть бы сейчас хоть кусочек хлеба, Аллах не откажет мне в своей милости, утешит! Времени у меня немного, надо спешить; опережу этих проклятых!»

Шейх затрусил рысцой, торопясь проскочить узенькую улочку, и оказался на небольшом пятачке перед въездом на площадь, отсюда во все стороны, вверх и вниз, расходились улицы, улочки и переулки, мощеные или покрытые кое-где щебенкой.

Все тот же тротуар. Те же продавцы плодов кактуса. Те же магазины, товары. Все как двадцать лет назад. «Эй, почтенный,— крикнет сейчас Иса Джармуни,— что нового?» Направо — Аль-Фарфани: «Сады, колодцы и нории». Чуть дальше — шейх Аль-Курд: «Соверши омовение, правоверный». Подумать только! Даже точильщик на своем месте. И все так же кучками бродят по городу коробейники. Здесь селились первые жители города, отсюда начиналась и сама Константина; именно здесь с незапамятных времен можно чувствовать себя в безопасности. Чужаков тут не приемлют. Отсюда во все концы идет слава об искусных ремесленниках; и сами они отправляются в путь, чтобы покорить весь Восток и Сахару своими изделиями из шелка и меди, духами и благовониями, расшитыми платками и куфиями [1], украшениями для невест и даже свечами.

Справа—Соборная мечеть Аль-Ахдар, мечеть Маймун, небольшая мечеть Аль-Мусла. Неподалеку — мечеть Аль-Бей. В самом конце, на противоположной стороне улицы,— мечеть Сиди Камуш.

Запахи сшибают с ног. Воняет гнилью. И эта вонь ударяет в самое сердце. А в ушах настойчиво звучит голос шейха в красном тарбуше: «Весь воздух высосали. Все провоняли потом».

Абу Арвах осмотрел стены мечетей:

«Подумать только, целых полмиллиона! Разве это дело! Кажется, стены под их тяжестью покосились. Да и что тут, скажите, удивительного!»

Потоптавшись минуту-другую на месте, Абу Арвах решил перейти небольшую площадь, отделявшую его от улицы, на углу которой стоял довольно известный в городе ресторан Балбая. Шейх подошел к ресторану, с опаской взглянул на парадный вход и глазам своим не поверил: и место то же самое, и ресторан, но, о боже, ничего общего с тем, что было...

Напротив — кафе, то же, что прежде, но и его не узнать. Гостиница «Франция» — от удивления шейх судорожно раскрыл рот, как рыба, выплеснутая на берег, но так и не сказал ни слова,— гостиница «Франция» стала приютом мышей и клопов.

«Ну конечно же, это здесь. Над рестораном еще была гостиница «Тунис». А напротив — бакалейщик, тот самый, что торговал при гостинице. Интересно, чем он торгует сейчас? Ох уж этот Ибн Халдун! Презренный Ибн Халдун! Бедняга Ибн Халдун. Какой ты историк? Ты выдумщик и сочинитель!»

Пройдя несколько шагов вправо, шейх спустился по ступенькам и вошел в ресторан: стены выкрашены грязно-серою краской, потолок закопчен, стульев и столов нет и в помине, вместо них видавшие

[1] Шелковый платок, укрепляемый на голове укалем — специальным шнуром.

виды длинные скамьи да обитые цинком стойки, привинченные к стене наподобие полок.

«Нет силы и могущества, кроме как у Аллаха. Какой ужас! Неужели это тот самый ресторан Балбая, куда любили захаживать паши, шейхи, ага, владельцы огромных угодий, скотопромышленники и прочие влиятельные люди. «В тот день, как вы его увидите, каждая кормящая забудет того, кого кормила в день начала его, а каждая обладательница ноши сложит свою ношу. И увидишь ты людей пьяными, но они не пьяны». Справедлив великий Аллах!»

Страх охватил шейха, лицо у него горело, мышцы напряглись. Раздраженный, стоял он, озираясь вокруг, сетуя на себя и на людей.

— Добро пожаловать, бей. Милости просим,— услышал вдруг шейх робкий голос и увидел устремленные на него темные печальные глаза. Это неожиданное приглашение вернуло Абу Арваха к действительности.

Тон у приглашавшего был неуверенный: соблаговолит ли такой солидный и почтенный шейх, в летнем светлом костюме и черных лакированных ботинках, войти в зал и сесть за один стол с продавцами плодов кактуса, подручными шоферов на грузовиках, официантами дешевых кафе, грузчиками, карманниками в грязной, провонявшей одежде, с нынешними завсегдатаями ресторана, чтобы наспех съесть бутерброд с перцем, зажаренным еще третьего дня, или сваренное неделю назад яйцо и выпить стакан кислого лябана, смешанного с мукой.

Абу Арвах поднял глаза. Перед ним терпеливо стоял худощавый, невысокого роста старик с густой бородой. Небольшие очки в светлой оправе, на голове — грязная серая шапчонка, рубашка мятая, залатанная, брюки цвета хаки, разбитые желтые штиблеты.

Да ведь это сам Балбай; как он поседел и отощал! Все во власти Аллаха.

— Кого я вижу? Кого я вижу? Уж не пашу ли Аль-Хефси?

— Нет.

— Ну тогда... паша Бен Шануф!

— Да нет, опять не угадал.

— Как же я сразу не догадался: Аль-Хадж Мухата?

— Да что с тобой? Вбил себе в голову имена всяких пашей, ага и разных французских прихвостней! А настоящих ученых-богословов, истинных праведников забыл!

— Как же, как же... шейх Абдель Маджид Абу Арвах. Как я рад! Как рад! Добро пожаловать, добро пожаловать! Зато голос твой я запомнил на всю жизнь.

Сделав над собой усилие, Абу Арвах обнял Балбая.

— Что с тобой? Все вокруг вроде преуспевают, а ты до чего докатился! Почему? Отчего? — сказал шейх дрогнувшим голосом.

— Что поделаешь. Такова жизнь. Не везет, и все тут, мой шейх! Слава Аллаху, милостивому и милосердному. Он и осудит, он и пошлет воздаяние! Слава Аллаху, милостивому и милосердному. Могу ли я оказать тебе гостеприимство? Надо ведь — сколько лет не виделись.

— Что и говорить, давненько не был я в Константине. Семь лет прожил в Тунисе, девять — живу в столице.

— Вот здорово! Ты в столице! Чем же ты занимаешься? Наверняка состоишь при правительстве, не ниже.

— Да будь проклято это правительство нечестивцев и безбожников. Боже упаси! Работаю в школе... Директором.

— Пожалуйста, прошу.

— Ресторан твой не узнать.

— Усажу тебя в отдельном кабинете, сам зажарю мясо, пожелаешь, могу и мозги, в общем, выбирай что хочешь. Есть у меня и парное молоко для таких гостей, как ты. Подумать только! Какой счастливый случай! Удача и добро не всегда нас обходят. На все воля Аллаха.

Внимание Абу Арваха привлек висевший на стене портрет. Он прямо-таки оторопел, когда, подойдя поближе, увидел изображенных на нем шейха Бен Бадиса в центре, а по бокам — шейхов Ат-Тебесси и Аль-Ибрахими [1].

«Торговцы и банкроты наверняка заодно с нами. Они-то и есть настоящий народ, а не какие-то там рабочие, батраки и пастухи».

Не долго думая, он повернулся к Балбаю, который замер в ожидании, приветливо улыбаясь.

«Наконец-то я нашел своих. Вот где настоящие друзья».

— Прошу, уважаемый, прошу: окажи нам честь!

— Лично мне честь уже оказана.

Под руку с хозяином Абу Арвах прошел в отдельный кабинет. Балбай пододвинул ему стул и, извинившись, попросил подождать немного, пока он приготовит трапезу. Оставшись в одиночестве, шейх стал осматривать комнату. Посреди стоял еще не утративший былого великолепия стол. На стене в позолоченной раме висела картина: Балбай в пору своего величия и расцвета, окруженный самыми знатными людьми Константины: пашами, ага, депутатами, видными деятелями, высокопоставленными чиновниками... сверкают, отражаясь в серебряных ложках, хрустальных бокалах и медных цветочных вазах, огни огромной люстры...

Балбай вернулся с двумя тарелками шурбы, котлетами на большом блюде и свежим инжиром. Сел.

— Что слышно в столице?

— В столице? Полный хаос. Что на востоке, что в центре страны, что на западе. У Ибн Халдуна есть такой стих... Да ладно, у вас-то как?

— Сам видишь. Каждый норовит сожрать ближнего!

— Объясни мне все же, что случилось с твоим роскошным рестораном?

— Лучше не спрашивай. Ушли французы, пожаловали мусульмане. Теперь в каждую квартиру набилось по нескольку семей. У французов, сам знаешь, в семье трое, самое большее — четверо. А у нас? Девять, а то и десять. Бедуины все перекочевали — кто в деревню, кто в маленький городишко, а тамошние жители перебрались в Константину. Кому теперь нужны рестораны и кафе? Приедет, скажем, кто-нибудь в город навестить сына, который учится здесь в средней школе, или еще зачем-нибудь — ну, к примеру, запчасти купить,— непременно остановится у родственников, там и питается. Пришлось приспосабливаться, яйцами торговать, перцами, молоком и прочим... Аллах и осудит, и пошлет воздаяние.

— Сегодня в Соборной мечети шейх речь держал, говорил о землетрясении.

— Опоздал твой шейх. Было уже землетрясение в Константине, было и давно кончилось!

— Что ты такое говоришь?

— Той Константины, которую мы знали, давно нет. Я и говорю: сотряслась Константина своим сотрясением[2]. Нет ее больше и не будет. Из прежних жителей никого не осталось. Где, спрашивается,

[1] Шейхи Башир аль-Ибрахими и Ларби ат-Тебесси — видные деятели Ассоциации улемов.

[2] Перефразировка выражения из суры «Землетрясение»: «Сотрясается земля своим сотрясением».

Константина почтенных Балбая, Бальфафуна, Бен Джаллуля[1], Бен Чику[2], Бен Курара? Где? Сотряслась своим сотрясением. Сотряслась. А на ее развалинах возникла новая Константина всех этих фонарщиков, зеленщиков, лоточников...

— На этот раз все будет по-другому. Сильное случится землетрясение. Небывалое. Так тряхanет — ничего не останется. Ничегошеньки. Все будет так, как предрек Аллах, великий и могучий.

— Но ведь землетрясение бывает только один раз в жизни, уважаемый Абу Арвах,— робко проговорил Балбай и потер лоб. — Одни заранее предчувствуют его, другие ощущают, уже когда их трясет, третьи узнают о землетрясении после того, как оно давно кончилось и все о нем позабыли... Землетрясение — это ведь не что иное, как ощущение.

— Что верно, то верно. Так и учил нас Аллах, великий и могучий.

— Поистине Аллах велик и справедлив. Видишь, почтенный Абу Арвах, я говорил тебе: мне уже довелось однажды пережить землетрясение. Было это в тот самый день, когда все бродяги и оборванцы лавиной двинулись из деревень и пустынь в город, чтобы учинить расправу над господами, а затем улизнуть. Именно тогда я все это и пережил. Что творилось — представить себе трудно! Сколько знатных людей погибло здесь, перед моим рестораном! Сколько офицеров, пашей! От рук пастухов, батраков, дровосеков и угольщиков!

— Бродяги посягают на то, о чем раньше и не мечтали.

— Да, все это было, но прошло. Аллах и осудит, он и пошлет воздаяние! Слава Аллаху, на здоровье пока не жалуюсь.

Абу Арвах слушал молча, будто не вникая в смысл того, что ему говорят, затем, склонив голову набок, устремил взгляд на Балбая: тот ел с жадностью, говорил неторопливо; лицо его выражало полное равнодушие.

«Ну какой он коммерсант? — думал Абу Арвах.— Совсем не умеет вести коммерцию. Приспособился к вкусу новых своих клиентов из простонародья. Стал как все. Кто б мог подумать! И это знаменитый Балбай, друг пашей и улемов, приятель губернаторов и депутатов! Как он опустился!»

— В тот самый день, когда я уволил всех своих служащих и засучив рукава принялся сам подносить еду к чужим ртам, чтобы хоть как-нибудь прокормиться, прокормить детей своих и внуков,— именно в тот день я перестал ощущать землетрясение. На душе стало спокойно. Прежде всего — здоровье, шейх Абу Арвах!

Не глядя шейху в глаза, Балбай тихо, с паузами продолжал говорить о самых разных вещах: возможно, он понимал, что творится в душе Абу Арваха, или просто желал в чем-то убедить самого себя.

— Кажется, я кое-что понял,— вдруг прервал его шейх.— В настоящее время ни один торговец или мало-мальски состоятельный человек никак не может быть доволен ни собой, ни существующим положением. Люди в смятении, не знают, что предпринять. А народ что? Дышит на ладан. Душа у него наполнена жижей, темной, текучей.

— Да и у меня в душе давно ничего нет. Я как треснутый горшок. Правда, день на день не приходится, бывает и по-другому.

Эти слова задели Абу Арваха. Ему не верилось, что Балбай так быстро свыкся с новыми порядками.

— Знаешь, зачем я приехал сюда в такую жару? — Шейх приподнялся и с раздражением посмотрел на Балбая.

— Откуда мне знать?

---

[1] Буржуазно-националистический лидер, популярный в Константине в 30-е годы.

[2] Известная в Алжире буржуазная семья из янычар, чешского происхождения.

— Чтобы опередить их!

— Кого?

— Да власти...

— Власти?!

— Неужели не понимаешь? Скажу тебе по секрету, на ухо. Почти никто не знает об этом. Так вот слушай! Они посягают на хлеб наш насущный!

— Как ты сказал?

— Есть довольно опасный план, его втайне готовят безбожники.

— Спаси нас Аллах и защити.

— Хотят отобрать землю у всех землевладельцев!

— Землю?

— Да не перебивай же, слушай. Ее собираются национализировать.

— Ну и что дальше? Что они собираются делать с этой землей?

— То же, что сделали с землями французов. Ты же знаешь, какую они таят злобу, какую зависть. Недаром говорится: «Рано или поздно содержимое сосуда выльется наружу».

— А ты, значит, приехал опередить их.

— Помни, никто не должен об этом знать. Ни одна живая душа. Впрочем, кому-нибудь из тех, у кого есть собственная землица, можешь шепнуть, это не страшно. Я решил раздать свою землю наследникам. На бумаге, конечно. Чтобы бродягам нечем было поживиться.

— Поздно ты спохватился, уважаемый Абу Арвах, поздно. Умные люди давным-давно это сделали. Что случится такое, можно было понять, едва началась вся эта болтовня про социализм.

— Мы в столице считали, что знаем все, даже сокровенные мысли стоящих ныне у власти. Но просчитались. Волка не приручить. Верно, Балбай?

— Верно. Значит, разделишь землю между сыновьями? Ну что ж, это несложно.

— В том-то и дело, что сложно. Детьми, к сожалению, я не успел обзавестись. Потому и хочу раздать землю родичам.

— За чем же дело стало?

— Во-первых, мне их нужно найти. Бог знает сколько лет я с ними не виделся — и до войны, и после... Мне неизвестно даже, кто из них жив. Во-вторых, надо уговорить их помочь мне, а в-третьих — и это, пожалуй, самое главное,— желательно все провернуть как можно быстрее. Того и гляди, объявят о национализации. Медлить больше никак нельзя.

— Достаточно найти одного-двух — больше не надо.

— Да что ты!— вздохнул Абу Арвах и понизил голос: — Земли-то у меня знаешь сколько? Свыше трех тысяч гектаров.

— Вот это да!

— Большую часть я получил по наследству, немного прикупил, кое-что перепало от родственников.

— Поздно ты хватился, уважаемый Абу Арвах!

— Кто мог подумать, что все так обернется!

...Балбай колебался, брать ли ему деньги с Абу Арваха, да и сам Абу Арвах не спешил расплатиться. Но в этот момент вошел сын Балбая. Воспользовавшись минутным замешательством, он выхватил из руки Абу Арваха помятую банкноту и с улыбкой поблагодарил:

— Да вознаградит вас Аллах за щедрость! Премного вам благодарен.

...Слегка подавшись вперед, Абу Арвах не спеша поднимался по каменным ступенькам под перестук молотков сапожников, среди запахов кожи, потных ног и дешевого одеколона, доносившегося справа

из парикмахерской. Он не понимал, как могли работать вместе два сапожника: молодой — в глубине помещения и постарше — у самого выхода. Другое дело, когда один шьет ботинки, башмаки или, скажем, сандалии, а другой только чинит; но эти занимались и тем и другим. Рядом приютилась мастерская по ремонту радио и телевизоров. Что-то новое. Во всяком случае, когда он уезжал отсюда, ничего подобного не было.

Электрические приборы, электроника, транзисторы, датчики, индикаторы радиоволн под боком у сапожников и продавцов кактусовых плодов.

В воздухе плывут запахи, они накатывают волнами: прилив — отлив, прилив — отлив.

Женщины с открытыми лицами встречаются чаще, чем укутанные с головы до пят в черные мелаи [1]. Глаза, особенно у молодых, живые, пытливые, смотрят весело, ясно.

В Константине наверняка никто больше не женится, жилища все переполнены. Вспомнились слова Балбая: «в каждую квартиру набилось по нескольку семей».

Кажется, все смешалось в этом городе, и люди с этим уже свыклись. Продавцы смешались с ремесленниками, соседи с соседями, отцы с сыновьями, сестры с братьями. Пешеходы растворились в потоке автомашин. Смешались запахи, перемешались языки, слились лица и народы. Поди разберись во всей этой мешанине. Стены покосились, крыши смотрят в землю. Целых полмиллиона на одной горе!

Вот мечеть Сиди Камуш. Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха. Все мы ему поклоняемся, взываем к нему. Но теперь в мечети принимает врач-терапевт. «О люди, бойтесь Господа вашего! Ведь сотрясение последнего часа — вещь великая. В тот день, как вы его увидите, каждая кормящая забудет того, кого кормила... а каждая обладательница ноши сложит свою ношу. И увидишь ты людей пьяными, но они не пьяны»...

Когда, сойдя с последней ступеньки, Абу Арвах очутился на улице Девятнадцатого Мая, его бросило в жар, в груди будто острый камень повернулся, а по налившемуся свинцом телу стала растекаться отвратительная темно-бурая тягучая масса. Сердце учащенно забилось. Голову будто обручем стиснуло. Он хотел закричать, но из груди не вырвалось ни единого звука, ноги не повиновались ему; задыхаясь, Абу Арвах остановился, ухватился руками за стену, потом привалился к ней спиной. Когда-то эта улица называлась улицей Франции; она начинается как раз там, где кончается улица Карама, на которой расположена средняя школа «Омаль».

Улица Франции была царством любви и веселья.

Страстные взоры женщин сулили восторг и наслажденье. Из своих домов-раковин выползали на свет божий француженки, еврейки. Воздух был напоен нежным ароматом жасмина, ладана и мечтами о золоте. Здесь можно найти все, что душе угодно. Ибо сказано в Коране: «Мы ведь можем заменить их лучшими, чем они, и Нас уж не опередить».

Абу Арвах, решив было дойти до ближайшего кафе и немного передохнуть, оглядел улицу и невольно остановился.

Клубы пыли поднимались чуть не до самого неба, на тротуаре в ярких лучах солнца поблескивали плевки. Люди бежали, спешили — кто с корзиной яиц, кто с тележкой, груженной помидорами, луком или плодами кактуса. Тут же шла бойкая распродажа: одни разгляды-

[1] Верхняя женская одежда; покрывало, накидка.

вали товар, примеряли, торговались, другие платили молча. Все торопились, будто стараясь обогнать время.

Он посмотрел на улицу, уходящую вниз по склону горы. И в это время услышал разговор, который заинтересовал его. Беседовали две женщины: пожилая, судя по говору,— с далекого юга и помоложе, у ног которой кучками лежали мотки конопляной пряжи.

— В тот самый день я зашла к ней, к Магбуне, значит. Было жарко — правда, не так, как сегодня. За спиной у нее седьмой ребенок. Отец уехал во Францию, когда малышу было четыре месяца. Обещал прислать деньги, как только приедет, но до сих пор от него ни слуху ни духу.

— Кто знает, может быть, он еще не устроился.

— Я уже сказала... Магбуна, значит, привязала мальчонку к спине, а мне пришлось взять шестого, он так и не ходит, бедняжка. Работали мы тогда у Хадж Абу Абаиза. Она нанялась к нему на все лето за одну сау [1] пшеницы, две саи ячменя да за две сотни доро. Представляешь: жарища, дышать невозможно, пот глаза заливает, а тут еще ребенок за спиной. Не знаю, как она, несчастная, все это терпела. Подхватит левой рукой стебли пшеницы, а правой срежет их серпом. Серп у нее так и летает, так и летает. До чего ж ловко у нее получалось! Она даже впереди других шла. Как вдруг слышим: «О Аллах! Спаси меня! О мой сиротинушка». И бросилась бежать что есть духу, мы все за ней — мужчины, женщины. Все побросали. Подбегаем. Видим: правая нога у нее посинела до колена и дальше синеть начала, а после и вся она синей стала. Злой дух поразил нашу Магбуну. Не могли мы ей помочь, и к вечеру она скончалась. Вот теперь и ходят за мной эти семеро. «Мама, мама»,— кричат.

2. Сиди М'сид

— О, неверные, да лишит вас Аллах своей милости,— бормотал Абу Арвах, пересекая улицу,— плодитесь из месяца в месяц, как кролики! Попадаетесь в лапы всяким пройдохам и бабникам, а потом жалуетесь, никому не даете покоя. Заполонили весь мир дьяволами. Вся разруха от вас, все несчастья!

Обе женщины с их страданиями остались позади, на другой стороне улицы, а шейх направился к кафе «Аль-Бахджа» перекусить и немного отдохнуть. Из кафе «Аль-Монобери» доносился голос Аль-Фарфани в сопровождении ребаба[2].

Он заметил вывеску: «Городская станция скорой помощи», рядом — еще одну: «Стоянка машин запрещена». На стене — во всю длину — висел плакат, возвещающий нечто по-французски, остался, наверно, еще от тех славных времен. Несмотря на запрет, вдоль всего здания выстроился длинный ряд автомашин: ни пройти, ни проехать. Направо тянется улица Девятнадцатого Мая. Поднимается в гору и уходит далеко вверх улица Палестины.

При французах кафе «Аль-Бахджа» было излюбленным местом интеллигенции всей вилаи[3]. Если кому-нибудь из приезжих доводилось случайно забрести в кафе, возле него тотчас появлялся официант и учтиво шептал на ухо:

— Ваши напитки уже оплачены, прошу, проходите.

---

[1] Мера сыпучих тел.

[2] Музыкальный инструмент, род однострунной скрипки.

[3] Провинция *(арабск.)*.

— Оплачены? Кем же? — спрашивал вошедший, пожимая плечами.

— Вольным жителем Константины,— отвечал официант,— извините, назваться он не пожелал.

Здесь собирались национальные патриоты. Начинала борьбу за свои права мелкая буржуазия.

А сейчас? Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха. Вывеска по-прежнему возвещает «Аль-Бахджа» [1], но краски веселья поблекли, звуки трогающей за душу песни Фарида Атраша — «Ковер-самолет, ковер-самолет, ты красив, на тебе улечу я, улечу вдаль...» — заменил стук костяшек.

Что осталось от прежней жизни? Одни воспоминания. Разрушили старый мир, создали новый, непостижимый. Схватили Константину за горло, душат ее, а теперь навалились и на саму гору, и гора стонет под непосильной тяжестью.

Солнцем пустыни опалены лица жителей Константины — и сидящих в кафе, и тех, кто сломя голову мечется по городу. Это все берберы-шавийя. И как это им удалось перебраться через ущелье, перейти семь мостов, и проникнуть в город, в его узкие улочки и переулки, и добраться до самой Касбы [2]? До дальней окраины Константины?

Что привело их сюда? Чего, скажите, они добиваются? Возможности ютиться в Константине, вдали от своих деревень и гор?

«Клянусь Аллахом, голова уже ничего не соображает. Нервы напряжены до предела. В городе невыносимая духота. И не дают покоя толпы людей. Если бы не дело, ради которого я и приехал в это пекло, сбежал бы, не мешкая, куда глаза глядят. Ничто больше не связывает меня с этим городом. Да и что в нем осталось от прежней Константины: лишь кое-какие улицы, дома, мосты, вывески кафе, да и те скоро исчезнут под натиском нововведений, провалятся сквозь землю.

«И забудет каждая кормящая того, кого кормила». Великий Аллах! Разрушь этот город, сотри его с лица земли вместе с неверными, с их пороками, развратом, богохульством... Весь воздух высосали... Все испоганили здесь и теперь ринулись в деревни, замыслив зло против праведников, истинных слуг Аллаха. Как только земля их носит!»

Гудит в ушах, ноги налились свинцом, тело обмякло, отяжелело. И тяжесть эта растекается по жилам, сочится в каждую пору, сустав, мышцу, даже в мозг.

«Выйду-ка я на край горы,— решил Абу Арвах, дрожа и утирая пот,— постою где-нибудь под аркой у Сиди М'сида, подышу свежим воздухом».

Он оглянулся, ища глазами табличку. Так и есть, это улица Хураба Саида. Он закивал головой, как бы подтверждая название на табличке, и сказал:

— Ибн Халдун будет мучиться вечно в аду за свои слова: «Арабы принесли с собой истинную веру и потому не могут призывать к разрушению жизни». Как дерзнул он сказать такое, когда арабы разрушают не только жизнь — своими грязными руками они добрались и до религии, она им, видите ли, больше не нужна. Так уж повелось: араб одной рукой строит, другой — разрушает. Ничего подобного. Лгал Ибн Халдун, вот и попал в ад. Все эти безбожники наверняка не арабы. И не варвары. И даже не вандалы, не татары, не монголы, не копты. Скорее всего — русские. Им во власть отдал Аллах страну, чтобы они разграбили ее, подорвали ее устои. Но может быть, это нечестивцы, неучи, без роду и племени? Когда мы бились за свой народ,

---

[1] Радость, веселье *(арабск.)*.

[2] Цитадель, дом-крепость *(арабск.)*.

за свою веру — так велела нам совесть — бок о бок с Бен Бадисом и другими знатными людьми, вместе с нами были сподвижники и ученики Бен Бадиса, мы созидали и уж никак не разрушали. Заново учили людей арабскому языку — языку святого Корана, везде и всюду распространяли его, вселяли веру в сердца. Мы черпали силы в исламе, в хадисах и сунне[1]. Труднее всех приходилось Бен Бадису. Да и мы вынесли немало. Французы ушли. А безбожники? Они принялись убивать самых уважаемых людей, уничтожать все лучшее, что было в городе. Но и этого им показалось мало. И они ринулись в деревни, чтоб обесчестить истинных защитников веры.

Абу Арвах остановился. Им овладело отчаяние. Он опустил голову, вытер пот с лица и тяжко вздохнул. Чем больше он размышлял, тем сильнее мучила его тревога: «Да защитит меня Аллах! Да сгинет дьявол! Мне как-то не по себе. Борьба, независимость, колониализм, власть — куда от этого денешься? Другое дело — разрушение, ересь, безбожие. Аллах вразумит народ, и объявится новый Бен Бадис, а с ним другие праведники, и спасут народ, их и тысячи землетрясений не остановят. Достойно продолжат они дело своих предтеч и вопреки всему завершат его».

Он поднял голову и увидел перед собой небольшую улочку. Справа была лавка, здесь, как и прежде, торговали мешками. А на месте магазина, где продавали немецкие радиоприемники, появилось вроде другое здание. Парикмахер новый. А молочник прежний, даже шапка на нем вроде та же... Здесь жил Мами Смаил. Нет, не здесь, чуть выше. Слева, в самом начале улицы, был его оффис, рядом — типография принадлежавшей ему газеты «Ан-Наджах» — органа администрации вилаи. Кто же в городе не знал Мами Смаила? Теперь он, наверно, живет тихо и незаметно, если еще не умер. Бывало, паши и депутаты заискивали перед ним. Какие дела здесь вершились! А нынче в его оффисе магазин старой мебели.

Тут Абу Арвах, вспомнив про свои дела, почувствовал прилив сил и двинулся дальше. Видно, жители этого квартала, по крайней мере большинство, и впрямь переселились из пустыни. Вот и знаменитые казармы Касбы. Даже у них стены покосились. А эта улица идет вниз, к администрации вилаи.

Здание муниципалитета, самый центр города. Раньше в этом квартале все больше жили евреи. Здесь было много винных лавок и трактиров, круглый год кипела жизнь. Сюда частенько заглядывали военные, захаживали красавицы, звучал их хохот и любовные песни. Сейчас квартал словно вымер, хотя людей вокруг уйма. Странно. Магазины как будто переполнены: бойко, несмотря ни на что, идет торговля. Секрет, пожалуй, прост: люди одержимы предчувствием землетрясения и стараются истратить все свои сбережения до последнего сантима, купить все, что под руку подвернется. Жизнь свою они превратили в гонки, стремясь опередить время, выиграть отпущенные им, приговоренным к смерти, считанные минуты.

Когда шейх вышел к улице Зирута Юсефа, продолжению улицы Югославии, он обернулся и еще раз осмотрел казармы.

— Подумать только! — не сдержал он удивленного возгласа.— Как покосились стены! Треснули, наверно, изнутри.

Абу Арвах пересек улицу, подошел к стене, привалился к ней грудью.

— Слава Аллаху,— тихо сказал он с тяжелым вздохом,— запахло землей наконец-то. Город — будто корабль в океане, отовсюду грозит

[1] Кроме Корана главной священной книгой мусульмане признают в качестве источника ислама сунну — собрание «священных преданий», или хадисов (рассказов о деяниях Мухаммеда, его высказываний и изречений).

ему гибель, спасения ждать неоткуда. А здесь покой и умиротворение. Люди хотят убежать от судьбы, боятся даже на секунду остановиться — того и гляди, гора-горемыка утратит свое равновесие.

Он прошел еще немного и очутился на улице Югославии. Удивительно! Одна половина улицы названа в честь павшего национального героя, другая — в честь социалистической страны. Как можно давать улице по нескольку названий? Да и в столице нашлись умники, которые одну из улиц вблизи центра назвали проспектом Зирута и Че Гевары.

Раньше мы почему-то не придавали этому значения. Но они все чаще и чаще показывают свои волчьи клыки. Ничего, придется им за все ответить.

Абу Арвах укрылся в тени тоннеля и посмотрел вдаль. На горизонте виднелись вершины гор, одна причудливее другой, словно цепляясь друг за друга, они тонули в облаках или скрывались за плотной стеной темно-зеленых деревьев; ниже, к плато, уступами сбегали невысокие возвышенности, холмы, сплошь поросшие зеленью, кое-где разорванной бурыми пятнами голых отрогов. Вдоль основания горной гряды тянулась опоясанная ослепительно белыми утесами лента вади с маслянисто-бурой водой на дне. Зеленая полоса берега круто сворачивала вправо. У самого подножья виднелся узкий, похожий на язык выступ, соединявший оба берега ущелья. Это мост Сиди М'сид.

Слева — постройка грязно-серого цвета, прежде там была электростанция. Выше, чуть поодаль, треугольник жилого массива — сотни две глинобитных домиков, крытых черепицей, словно рвом окруженных дорогой; что она непроезжая, видно было даже издалека.

Квартал Сиди М'сид. Он как две капли воды похож на квартал Джараби из книги Нагиба Махфуза «Дети нашего квартала». Этому египтянину доставляет истинное удовольствие глумиться над нашими пророками и ангелами. Просто удивительно, что его соотечественники до сих пор не расправились с ним за его богохульство.

Слева виднелся развилок: одна дорога вела в город, другая — в Сетиф. За дорогой вдоль всего горного отрога, словно над жерлами вулканов, курились столбы голубого дыма. Это была знаменитая свалка Буль-Фараис. Казалось, в просветах среди дыма движутся с непостижимой быстротой загадочные черные силуэты, они то приближались, качаясь и вырастая до небес, то удалялись, вдруг съеживаясь, словно гномы.

Бусфор — совершенно голое плоскогорье, спускающееся вниз и выходящее к тому месту, где прежде был квартал Аль-Кадия: приземистые здания, виллы, теснящиеся среди зелени. Ниже по склону садов становится все меньше. Вот снова небольшое плато, то самое, что переходит в треугольник жилого квартала.

В самой нижней части города, справа и слева,— узкие полоски полей, засеянных бобами.

На этой огромной горе, изрытой и испещренной дорогами и тоннелями, расположился полумиллионный город, по улицам которого движутся повозки, запряженные лошадьми, и грузовики с товарами; на складах припасены миллионы тонн продуктов, сотни тысяч газовых баллонов, миллиарды тонн свинца, цемента. А сколько здесь каналов, протоков, канав. Временами грохочут взрывы; это рвутся газовые баллоны; бывает, от взрыва рушатся дома и гибнут люди. Внизу, как бы из-под самой горы, течет вода, уносящая частицы глины и известняка — сердцевину несчастной горы. Именно отсюда, из Сиди М'сида, начнется разрушение города.

Какая-нибудь небольшая скала отколется от каменной громады, во многих местах промазанной для прочности цементом, и чуть-чуть

сдвинется с места, за ней тотчас последует другая, так и обрушится гора — спасенья не будет никому.

Отсюда, с западного берега, тянется вплоть до самого моря длинная гряда. Испокон веку с этой стороны надвигалась опасность на Константину.

Разве не с запада вечно грозила арабам опасность, да и остальным мусульманам тоже, их городам, их жизни, их вере.

«Ох, опять голова закружилась, и сердце болит... дрожат ноги. Да, если с такой высоты глядеть вниз, в преисподнюю, у кого хочешь закружится голова. Болен я, болен, и на душе тяжко. Землетрясение в час Страшного суда — бедствие ни с чем не сравнимое. Каждая кормящая забудет того, кого кормила, беременные до срока разрешатся от бремени, а люди будут пьяными, не вкусив вина. Нет, господь мой праведный, не делай этого. Защити наш город, как защищал его не раз. Будь милостив к невинным, сжалься над покорными рабами твоими, пожалей людей благородных и уважаемых, которые все еще живут в этом городе. Избавь город от черни, изгадившей его, осквернившей своим распутством. Начни прямо снизу, отсюда ведь непрерывно идет наступление на город, а там уж поднимайся к самому сердцу города и очисти его. Господь наш справедливый. Не дай им разрушить город. Чего от них ждать? Сделают свое грязное дело и ринутся в пустыни. Молю тебя: прокляни простолюдинов, оскопи мужчин их, сделай бесплодными женщин, и выродятся тогда неверные, а праведники продолжат свой род».

Не в силах больше смотреть вниз, Абу Арвах глядел вверх, у него не шла из головы Касба, и он снова, в который уж раз, воззрился на казармы. По склону горы прорыли террасу и проложили дорогу. Казарма как бы возвышалась над всей остальной частью горы, господствуя над городом.

По всему судя, страх перед землетрясением не давал ни минуты покоя строителям казармы, дороги и стен, подпиравших склоны. Стоит лишь сдвинуться какой-то гранитной плите, цементной кладке или частице горы—все начнет рушиться и обвал ничем уже не остановишь.

Интересно, о чем думал человек, первым поселившийся в этом опасном месте,— основатель города? Скорее всего, он спасался от опасности еще более грозной. Это мог быть преступник, бежавший от правосудия, или искатель приключений, который не прочь был пошалить ночью на дороге, а днем укрывался в горах.

«Устал я. Какая-то тяжесть давит на плечи. На грудь».

Абу Арвах начал спускаться вниз, к улице Зирув. Мысли его были прерваны стуком костяшек и громкими голосами игроков, доносившимися из кафе на втором этаже. «Кафе «Аль-Инширах»[1],— прочитал он на вывеске.

— Нет, не даст вам Аллах радости!— проговорил Абу Арвах с отвращением.

«Не пора ли приступить к осуществлению задуманного плана? Время идет, а еще ничего не сделано.— Абу Арвах стал внимательно рассматривать свежевыкрашенные в белый цвет дома, где размещались какие-то важные учреждения.— Когда начнется землетрясение, они первыми рухнут, и только бумаги, смешавшись с пылью, будут кружиться в воздухе над Сиди М'сидом».

— Эй, друг, взгляни сюда — довелось ли тебе видеть что-либо подобное? — донесся до Абу Арваха чей-то голос.

— Ты о чем? — спросил другой.

---

[1] Радость *(арабск.)*.

— Нет, ты только посмотри, вон там, на первом этаже, клуб «Железный шарик». Вход с этой стороны. А в клубе что?

— Там пусто. Ни души. Ни игроков, ни завсегдатаев. Будто все вымерло.

— То-то и оно. Ты можешь себе представить, что в клубе «Железный шарик» больше не продают вина? Так вот, не продают, уважаемый. Каждый божий день то в одном кафе, то в другом запрещают продавать вино. Что остается делать бедным хозяевам и посетителям? Они бегут куда глаза глядят... И все равно люди пьют. Ничего тут не поделаешь. Хотят пить. Запреты им не помеха. Вот всякие важные чиновники и занимаются этим, изыскивают различнейшие предлоги для запрета, твердят, будто запреты эти защищают мораль, предписанную религией.

— Пусть делают, что хотят. А люди пили и будут пить до самого Страшного суда.

«Да, несчастный город»,— вздохнул Абу Арвах, услыхав разговор двух незнакомцев, стоявших около дома.

Вдруг он заметил, нет, скорее почувствовал, что спуск кончился, поднял голову и увидел прямо перед собой небольшой подъем; перевалив через него, улица снова уходила вниз.

«Э, да это улица Бреши. Зайду куда-нибудь и выпью стаканчик прохладительного... А заодно составлю список родственников, которые мне пригодятся. Чтоб никого не забыть! Запишу их всех по порядку — кто живет поближе, кто подальше, чтобы зря не мотаться по этому ужасному городу».

В нос ударила смесь отвратительных запахов — два из них можно было еще распознать. Справа — Абу Арвах покосился туда — тянуло дымом. Чад был удушливый: медленно и невозмутимо тлела свалка Буль-Фараис. Где-то в самом центре ее, казалось, бродили неясные призраки. Снизу полз запах гниения. Там, перед площадью,— оптовый рынок овощей и зерна. Там стоят грузовики: одни ждут разгрузки, другие — погрузки. Это ль не добрый знак — стало быть, город связан с внешним миром. Выше по склону, за рынком,— большая площадь: яркие навесы, спасающие от палящего солнца, разноцветные скамейки и разнообразной формы столы.

Площадь грозно бурлит и грохочет. Ее затопила кишащая толпа.

Остановиться, посидеть здесь невозможно. Вокруг киосков с прохладительными напитками столпотворение. Их, того и гляди, разнесут и ворвутся за прилавки. Каких только названий здесь не увидишь! Вдобавок к своему невежеству владельцы киосков давно отступились от веры своих отцов. Ведь надо такое придумать: «прохладительные напитки «Шариа». Клянусь Аллахом, на миллион жителей любой вилаи, кроме, пожалуй, столичной, едва ли один поймет смысл слова «Шариа» или догадается, что оно как-то связано с названием горы. Экая бессмыслица! Из сотен названий выбрать для лавки, торгующей льдом, пышное название: «Шариа Тебесса», или «Остров льда». Уж скорее имелось в виду озеро, а не остров. И что общего между льдом и японским божком, изображенным на шторе, отделяющей покупателя от хозяина? «Сибирский мороз» — это еще куда ни шло, не будь Сибирь под властью коммунистов. А вот — «Монблан». Тут все ясно: наследство старых хозяев. Вот там что-то новое: «Добро пожаловать». Куда бы проще написать: «Заходите». Или— «Звезда льда». Ей-богу, нарочно не придумаешь. Некоторые лавки без названия — хозяева, видно, побоялись увязнуть в снегу или закоченеть во льду задолго до прихода зимы. Сразу за площадью, чуть в стороне,— «Дворец правосудия». Что бы ни случилось в городе, каждый должен знать: тот, кто правит, всегда начеку, и забывать о нем никто не смеет.

Слева — почта. Как обойтись без почты? Город должен иметь прочную связь с миром. Когда скала дрогнет от сотрясения, весь мир узнает об этом и бросится спасать здешних жителей. И не найдется здесь ни одной живой души.

Жизнь бурлит. Бурлит и грохочет. Четыре большие улицы то поглощают людей, то исторгают обратно. И площадь заглатывает людей и выплевывает их. Машины приезжают, машины уезжают. Прилавки ждут товаров. На маленьких тачках — корзины со снедью, ящики с зеленью, мешки с зерном. Их толкают старики, и старухи, и дети, весь поток этот движется вниз к Сиди М'сиду и Аль-Хаме: «выходят они из гробниц поспешно, как будто они устремляются к жертвенникам»[1]. Доверься Аллаху великому.

В день Страшного суда люди увидят чудище [2], хвост его будет на востоке, голова на западе. На чудище — котел с кипящей водой, раз в семь больше земли. Протянет чудище лапу, схватит грешника и — в котел...

О чудище, начни с тех, кто недавно нашел себе пристанище в Константине и своей тяжестью давит на гору, обременяет ее, заставляет «сотрясаться сотрясением». О чудище, первыми хватай безбожников и богохульников.

— Эй, дядя, не купишь ли?

Абу Арвах обернулся. Перед ним стоял парень лет шестнадцати, в изрядно поношенном темно-синем комбинезоне. В руках он держал тростинку с нанизанными на нее семью листьями салата. Абу Арвах молча смерил парня взглядом.

— А у меня не купишь? — робко спросил дряхлый старичок, предлагая Абу Арваху заглянуть в картонную коробку, доверху набитую полиэтиленовыми пакетами с сухими фруктами.

«Ну и ну! В середине лета торговать сухими фруктами! Чего не увидишь в этом городе!»

— Купи у меня. Я должен продать эти пакеты, чтоб заработать хотя бы на ужин себе и своей старухе. И еще мне нужно лезвие. Если сегодня заработаю три динара — непременно куплю, решил я. Старое утром выбросил. Полгода им брился, совсем иступилось, масла не разрежешь.

— Вот так встреча! Наконец-то! Кто бы мог подумать! Добро пожаловать, прошу!

Голос был таким громким, что буквально оглушил Абу Арваха. Прямо на него надвигался огромный мужчина в спальной пижаме, без шапки, в широких грязных шароварах, с грязными босыми ногами, но свежевыбритый. Пожав руку Абу Арваху, он стремительно обнял его, прижав к своей могучей груди.

— Неужели не узнаешь? Разве ты приехал не из столицы, а? Меня не проведешь! Я Омар аль-Банна. Где я только не был! В Бозрие был, в Аль-Анасыре, в Балькоре, в Хусийне Дей. Я тебя сразу признал. Как же, как же! Я встречал тебя в столице. Теперь я в Константине; сам видишь, жизнь здесь не сахар. Работал в мечети эмира Абд аль-Кадера, случилась неприятность, и я угодил в тюрьму. Прошу, прошу, кофе за мной. Угощаю. Но сперва хочу кое о чем тебя попросить. Живу я тут рядом — с женой, дочерьми и сестрой жены. Пока нигде не работаю. Представляешь? Мне нужно масло, всего пол-литра. И ничего больше, но знаешь пословицу: видит око, да зуб неймет? Пойдем выпьем кофе. Дома тебе все обрадуются. Одной моей дочери двадцать лет, другой —

[1] Коран, сура «Ступени», стр. 461.

[2] По мнению некоторых толкователей Корана, геенна огненная (мусульманский ад) — это чудище.

девятнадцать, третьей — всего семнадцать, а сестре жены — двадцать два. Ничего не поделаешь, такова жизнь. Врачу плати, аптекарю тоже, то книгу надо купить, то башмаки, за свет заплатить, за газ, ну и за хлеб, за соль, за масло... За все надо платить. Бедность научит. Хочешь выжить — умей крутиться. Итак, кофе за мной. Пошли, угощаю.

Абу Арвах стоял сгорбившись, в полной растерянности и, стиснув зубы, внимал излияниям Омара аль-Банны. Но когда Омар ухватил его за руку и попытался увлечь за собой, он, словно очнувшись, подался всем телом вперед и крикнул:

— Да кто ты, собственно, такой?

— Пойдем, угощу кофе. Ты даже не представляешь, как у меня дома тебе обрадуются.

— Пошел прочь, проклятый! Навязался на мою голову. Собака и сын собаки! Сводник! — вопил шейх.— И мне, мне ты посмел такое сказать! Воистину, нет мощи и силы, кроме как у Аллаха! Тупица! Болван! Да знаешь ли ты, что я шейх! Мне седьмой десяток, наглец. Я изучил Коран, окончил Аз-Зитуну [1]. А он смеет... И где?! — все кричал Абу Арвах.— В городе Бен Бадиса, да еще в пятницу! Мерзость! Руки б тебе отрубить, безбожник!.. О великий и всемогущий! Накажи их, разрушь этот город со всей его скверной!

Шейха окружила толпа. Но он вдруг умолк, не в силах произнести больше ни слова. Омар выскочил из толпы, сунул руки в карманы и как ни в чем не бывало, став в стороне, с удивлением воззрился на происходящее, будто оно не имело к нему никакого отношения.

Землетрясение в час Страшного суда — явление небывалое. ...И каждая кормящая забудет... И покажется, что люди все будто в состоянии сильного опьянения... И выйдут они из гробниц поспешно... И настигнет их хвост. Хвост чудища на востоке, голова на западе. На чудище — огромный котел с кипящей водой, и над котлом пар клубится. Поднимет чудище лапу, сгребет горсть камней и бросит. Куда попало бросит. Чего выбирать? Все равно угодишь в цель: повсюду богохульники, грешники. Явится Мункар, ангел смерти, и все утихомирится.

Абу Арвах с трудом выбрался из толпы и, не сказав ни слова, направился к центру площади. Ноги не повиновались ему, живот колыхался, голова качалась из стороны в сторону, описывая то круг, то дугу. Руки болтались как плети, побагровевшее лицо заливал пот. Он весь дрожал от гнева и никак не мог прийти в себя. Впервые в жизни ощутил он собственную немощь.

Добравшись до площади, Абу Арвах укрылся в тени навеса и с облегчением вздохнул. Повернувшись лицом к западу, он устремил взгляд на холмы, видневшиеся за городской свалкой Буль-Фараис. Запах дыма от вечно тлеющей свалки опять настиг Абу Арваха, и ему стало не по себе. К дымному чаду примешивался доносившийся с рынка тошнотворный запах гнилых овощей.

Шейху вдруг захотелось уйти отсюда куда глаза глядят, навсегда освободиться от всего, что его окружало, от этого города с его неразрешимыми проблемами, от правительства с его кознями, от грозящего всем и вся землетрясения и страшного чудища.

Откуда-то издалека длинной цепью тянется горный хребет Атлас, и конец его здесь, у самой равнины Аль-Митиджа.

Что ж, если правительство так хочет дать землю народу, почему бы ему не попытаться превратить эти горы в равнины, а уж потом раздавать земли? Что толку, спрашивается, правительству от всех его

---

[1] Мусульманский религиозно-богословский университет, основанный еще в IX в.

друзей, скажем от русских, если они не смогли даже срыть эти горы, превратить их в равнины и возвести повсюду плотины?

Горы — это столбы, Аллах вбил их в землю, чтоб укрепить ее.

Пусть бы правительство разрешило стерилизовать женщин и мужчин. Но ведь это грех. Грех.

Ну а разве то, что мы совершаем каждый божий день, меньший грех? Какую жизнь ведем мы с утра и до позднего вечера?

— Ну, что будем заказывать, отец? — Эти слова словно вывели Абу Арваха из забытья; подняв отяжелевшие веки, он с недоумением уставился на официанта.

— «Шоколадный крем»,— ответил шейх сиплым, будто со сна, голосом.

— У нас только мороженое, напитков никаких.

— Что ж, неси мороженое. Только не забудь стакан холодной воды. И благословит тебя Аллах!

Но тут внимание его привлек хорошо знакомый ему звук. Достаточно определенный, чтобы не спутать его ни с чем другим. Шейх обернулся, чтоб убедиться, насколько прав он в своем предположении.

Подумать только! И здесь эти костяшки. Нигде от них покоя нет.

«Проклятье Аллаха на твою голову, Ибн Халдун! Тысяча проклятий! Это место для тех, кто жаждет покоя, кто хочет подышать свежим воздухом, ощутить нежное прикосновение ветерка, вкусить в жаркий полдень прохладительных напитков, и, уж конечно, не для тех, кто играет в азартные игры. Клянусь Аллахом, они не перестанут играть, даже когда гора сдвинется с места и начнет рушиться. Кто, спрашивается, сидит здесь сейчас? Что стало с некогда роскошным рестораном Балбая? В городе, где бы они ни устроились, они живут как жили в своих деревнях и пустынях. По всей Константине понастроили сотни деревень. Что их связывает друг с другом? Только купля-продажа. Кто в силах им помешать жить по-своему здесь ли, в любой ли другой части города? Никто. Что для них величие и красота Константины? Пустой звук. Неудивительно, что старожилы ненавидят всех чужаков и пришельцев. Впрочем, какое мне дело! Вряд ли меня это тронуло бы, не будь обстоятельств, вынудивших меня приехать по делам в этот город на горе, которая не сегодня— завтра рухнет. Надо спешить. Поскорей составить список родственников, кое-кто из них, наверно, еще жив, подумать, на кого из них можно сейчас положиться».

Абу Арвах вынул ручку и записную книжку, полистал ее и лишь в самом конце нашел листок, где внизу можно было еще написать несколько строк. Книжка была испещрена всевозможными цифрами: доходы от земли за год, расход жалованья из месяца в месяц, денежные поступления в текущем году, сводные цены на землю за последние четыре года.

Шейх долго смотрел перед собой невидящими глазами, силясь припомнить имя хоть одного из родственников, чтобы начать спасительный список, но скоро отказался от этой затеи. И стал сосредоточенно рассматривать мелкие буквы и цифры, заполнявшие верхнюю часть листка. Цена четырех круглых батареек среднего размера для радиоприемника; излишек расходов в июле по сравнению с июнем.

«Конечно, больше всех мне пригодился бы сейчас мой шурин,— подумал Абу Арвах,— единственный брат моей жены... но имени его, хоть убей, не припомню. Лет двадцать не видел его. Последний раз он приходил ко мне просить взаймы десять тысяч старых франков. Задумал открыть парикмахерскую: поставить в Сибат ар-Расыфе где-нибудь в промежутке между двумя кафе стол и стул и вверить, по-

добно всем, свою судьбу воле Аллаха. Он давно об этом мечтал, но ничего не получалось... Схватил я тогда палку и закричал: «С меня довольно и того, что сестра твоя у меня на шее. Чтоб духу твоего здесь не было. Прочь с глаз моих, неудачник». Ему тогда было лет двадцать, не больше. Разозлился он на меня, покраснел весь и как ошпаренный выскочил на улицу. А сестра его говорит: «И тебе не стыдно! Это же мой родной брат!» — «Стыдно, говоришь? Стыдно воровать да зариться на чужие деньги. Почему бы ему не пойти на службу во французскую армию?..» Ага, вспомнил. Слава Аллаху! Омар. Ну конечно Омар. Потом мне кто-то сказал, что Омару повезло и он заделался все же парикмахером в Ас-Сибате. Но что стало с ним, когда началась война, не припомню».

«Омар — парикмахер в Ас-Сибате,— записывая, Абу Арвах радовался и шевелил губами.— Итак, он будет у меня первым в списке. Наверно, забыл нашу маленькую ссору и больше не сердится на меня. Но почему за все эти годы он ни разу не дал о себе знать? Даже родная сестра о нем не вспоминает. Если теперь ему понадобятся деньги, так и быть, дам ему динаров пятьдесят взаймы. Взаймы? Нет, просто так дам, заглажу свою вину».

И снова шейх напряг память, досадуя, что больше ни одно имя не приходит на память.

«Ну да, был еще двоюродный брат. Как же его звали? На языке вертится. Никак не вспомню... Он называл меня дядей. Как-то, это было лет тридцать назад, он повел меня в кафе Бардо и заказал чай.

— Послушай, дядя,— сказал он, опустив глаза.— Хочу посоветоваться с тобой и кое о чем попросить.

— Если будешь просить в долг, лучше не начинай разговор.

— Да выслушай меня сначала Видишь вон тот магазин?

— Лавку, где продают решета? Ну и что? Я знаю ее хозяина. С ним что-нибудь случилось?

— Он продает свою лавку.

— А я при чем?

— Просит за нее сто пятьдесят тысяч.

— И ты получишь ее в собственность?

— Нет, пока только в аренду. За четыреста доро в месяц.

— Ну а мне на что эта лавка?

— Прошу тебя, дай мне взаймы до следующего лета. Половину отдам сразу после сбора урожая, а вторую — буду возвращать по частям, каждый месяц.

— А гарантия где?

— Какая гарантия? Мы же братья.

— Кто знает, что может случиться! Сегодня мы живы, а завтра...

— Хорошо, я дам тебе расписку. Согласен?

— Нет, так дело не пойдет. Что, если ты разоришься или угодишь в тюрьму, кто мне вернет мои деньги?

— Эх, дядя, ты что, забыл: у меня ведь есть земля. Я не стал бы просить у тебя взаймы; просто сейчас все деньги истратил — дом в деревне построил.

— Вот и заложи землю.

— Ты это всерьез, дядя?

— А что? В жизни всякое бывает. Успех и неудача ходят в одной упряжке.

— Ну ладно. Половину земли заложу.

Он подумал еще немного, тяжко вздохнул и повел меня к нотариусу. А год тогда выдался на редкость засушливый, ни единого зернышка не собрали. Решета никому не понадобились. Тут я, не мешкая, сходил куда надо и выиграл дело. Явился судебный исполнитель с

жандармами и прогнал его с земли. Сто гектаров доброй земли, половина — поливная! На другой год он попытался вернуть свою землю, но не тут-то было, мы ведь не в игрушки играем. Пришлось ему удариться в торговлю, кое-чего он добился, с голоду во всяком случае не умер. Прошло уже столько лет. Вряд ли он помнит обиду. Как-никак, а кровь у нас одна. Он потерял — я нашел. Как говорится: нынче ты мне, завтра я тебе.

Вспомнил: Абд аль-Кадер его зовут. На всякий случай черкну против его имени «опасен». Кто знает, может, он все еще зол на меня, напакостит, чего доброго,— не рад будешь. Клянусь Аллахом, нигде покоя нет... А ну как ему взбредет в голову вернуть свою землю? Да нет, не может этого быть. Пустое дело! Могу составить бумагу — что, мол, уступаю ему часть земли, но в собственность его она перейдет лишь после моей смерти. Тогда ее не продашь и никакому чужаку не заложишь. Сказано ведь в пословице: «Разведясь с женой — не советуй ей идти замуж».

Да, осторожность никогда не мешает. Он однажды потерял землю, может потерять ее снова. Да и земля-то принадлежит мне. Я уж это попомню».

— Эй, папаша! Почистим ботинки, как новые будут!

— Прочь! Чего привязался? Долой с глаз моих!

Это сказал шейх Абу Арвах босоногому пареньку лет тринадцати, в рваных штанах и выцветшей рубашке с изображением Че Гевары на груди и на спине. Паренек остановился, слегка вскинув голову и пристально глядя на шейха. Голубые глаза на худощавом лице с нежной смуглой кожей придавали ему особую привлекательность. И еще волосы. Густые, русые, они завитками падали на плечи.

«Будь он моим сыном, я одел бы его в шелка и парчу, поселил во дворце, и дал бы ему в жены семь девушек, и еще дал бы двадцать служанок; отдал бы ему землю и сделал так, чтобы правительство никогда не смогло ее у него отобрать. Эх, что и говорить: не по ходу корабля дует ветер. Недаром в реке найдешь то, чего нет в море, а в луже да в болоте — чего в реке нет».

— Дядя, всего один динар,— умолял паренек.— Начищу — блеск!

Шейх укоризненно качал головой и, сощурясь, насмешливо улыбался. Но скоро лицо его стало злым и хмурым.

— Да сотрет вас Аллах с лица земли, греховодники! — взвизгнул шейх в исступлении.— Прочь с дороги.

Мальчик бросился наутек, увидав, что шейх весь трясется от гнева, глаза выкатились, а по зеленому от злости лицу пошли красные пятна.

Отбежав в сторону, парнишка остановился. Неужели шейх рассердился из-за того лишь, что он предложил почистить ему ботинки? Если так пойдет и дальше, все чистильщики скоро умрут с голода. Обернувшись, паренек внимательно наблюдал за шейхом.

«Да простит меня Аллах! — подумал шейх и с досадой почувствовал, что снова краснеет.— В чем, собственно, виноват этот мальчик, за что я так на него напустился? Нехорошо, ведь он такой ладный, красивый».

Ему захотелось приласкать паренька, успокоить. Лицо шейха ненадолго озарила улыбка, сердечная и добрая. Его воображению представился вдруг паренек в одежде из шелка, в блестящих красных ботинках и красной шашии[1], с новым кожаным портфелем в руках, галстуком-бабочкой на шее и золотыми часами на левой руке.

«Мой дорогой мальчик. Я так долго мечтал о тебе, ждал... И вот наконец ты со мной, такой прекрасный — само совершенство. Аллах

[1] Плоская феска.

внял моим молитвам. Тебе хорошо во дворце, ты счастлив. Одеваешься в шелка, у тебя семь жен и двадцать служанок. И правительство никогда не осмелится посягнуть на твои земли».

Улыбка, видимо, подействовала на паренька, и он вернулся. Подошел к Абу Арваху и, не говоря ни слова, поставил свой ящик на землю. Шейх оглядел его с головы до пят и тяжело вздохнул:

— Чем занимается твой отец?

— У меня нет отца. Он погиб в лесу. Он сбил самолет, убил генерала и сам тоже погиб. Пулеметной очередью из самолета ему перебило ноги, он стрелял по самолету и сбил его. Потом стал стрелять по солдатам, пока пуля не угодила ему прямо в голову, и он умер. Умер там, в лесу. Мать вышла замуж за угольщика. Но когда он жег уголь в лесу, его схватили лесники. Посадили в тюрьму, и мы его больше не видели. Сейчас я живу с бабушкой и тетей. Тетя каждую ночь выходит замуж за другого мужчину. Он платит ей пять динаров, а утром уходит насовсем. Позволь, дедушка, я почищу тебе ботинки. Начищу как надо, и все за динар.

— Опять ты за свое! — крикнул шейх.— Пошел прочь, шайтан! Будь проклят ты и твоя мать, твоя бабушка и твоя тетя вместе с вашим правительством!

Заметив под соседним столом грязные ботинки, паренек бросился туда — их владельцу не удалось ускользнуть от него. Абу Арвах снова склонился над записной книжкой.

«Ага, вспомнил. В четырнадцать лет он уже знал наизусть шестьдесят сур из Корана. Изучал грамматику и хадисы в завии[1]. Слыл аскетом. Потом объявил себя приверженцем Шазилийи, жил отшельником, стал обучать Корану, раздавать амулеты, принимать паломников. Вот каким был у нас Иса, мой двоюродный брат, сын сестры моей матери. Меня он не знал. А если бы и знал? Все равно не вспомнил бы. Когда мы расстались, ему было восемнадцать. Уж кому-кому, а ему можно довериться. Целиком на него положиться. Он самый набожный в нашей семье. Ничто мирское его не волнует. А кто надежнее набожного человека? Ведь именно набожности и благочестия не хватает двадцатому веку. Запишу-ка я, пожалуй, на него треть своих земель. Никогда между нами ничего не было; нет, было: без его ведома я записал на себя его землю. А тетю, его мать, переселил к себе. Но она недолго пожила у меня. Печаль, будто тяжкий недуг, извела ее, и бедная женщина покинула этот мир. Интуиция меня никогда не подводила. Не подвела и на этот раз. Между нами и приверженцами всяких толков, основателями завий, шли довольно ожесточенные баталии и споры. Однажды, когда Бен Бадис с особым пылом нападал на них, я сказал себе: уж лучше они, чем всякие нечестивцы-безбожники, к сердцу которых не найдешь ключа.

Итак, у меня есть еще Иса».

Шейх тщательно выводил каждую букву, а против имени дописал с видом человека, принявшего, наконец, важное решение: «Заслуживает всяческого доверия». И снова погрузился в размышления:

«Ризки аль-Барадаи. Тоже родственник. Двоюродный дядя со стороны отца, человек весьма достойный. Умеет держать себя, хотя не прочь выпить и побаловаться с мальчиками. Никаких раздоров между нами как будто не было. Ну, женился я на его сестре; прожил с ней три года и разошелся. Обычное дело у мусульман. Стоит ли вспоми-

[1] Небольшая мечеть, молитвенный дом, своего рода ложа какого-либо мусульманского религиозного ордена, объединяющая вокруг себя приверженцев определенного направления, или толка, в исламе. В Алжире действует свыше десяти таких религиозных орденов (братств), среди них Шазилийя.

нать. Он и забыл давно. Да, если сестра его жива и не замужем, запишу-ка на нее часть земли. Но, само собой, при условии, что она никогда не выйдет замуж. Захочет вернуться в мой дом — добро пожаловать. Где есть пища для двоих, найдется и для третьего. А если у Ризки есть сыновья, я и их занесу в свой список. Чем больше родичей и верных людей, тем легче обойти правительство.

Запишу-ка я и Тахира, этого непутевого двоюродного братца. Что и говорить, не успел его отец отдать богу душу, как Тахир тут же бросил дом и ушел куда глаза глядят. Четыре года прослужил во французской армии, три — просидел в тюрьме. Вышел — и давай шарить по карманам в Рахабат аль-Джамале. Не раздумывая, продал мне землю, доставшуюся ему от отца, и пустился во все тяжкие: то женится, то разведется, пьянствовал, воровал, одному Аллаху ведомо, сколько раз сидел он в тюрьме. Если только его не казнили или не сослали пожизненно на каторгу, он сейчас непременно в Рахабат аль-Джамале».

Тахир. Шейх записал это имя, а рядом поставил большой вопросительный знак и обвел его кружком; затем спрятал записную книжку в карман и достал часы: «Половина третьего! А дело не сдвинулось с места».

Все резче ощущался в воздухе запах гнили. Абу Арвах хотел было уйти, но тут его внимание привлек чей-то громкий голос. Слова рассказчика не могли не затронуть шейха, и он остался сидеть на месте.

— Да-а, что вчера было на свалке, вы и представить себе не можете. Вон она, видна отсюда как на ладони. Дымит вовсю.

— Ясное дело, дымит себе и дымит.

— Жаль, мы поздно узнали. Но что можно было, все же спасли.

— Да ты рассказывай по порядку.

— Видишь ли, на свалку вывезли целый грузовик испорченных консервов. Конфисковали в разных лавках. Едва эту гниль вывалили из машины, как на нее набросились все эти гоги и магоги.

— Это еще кто?

— Ну, те, кто живут в развалюхах. Старики и дети, мужчины, женщины — словом, все, кто вечно крутится у этой свалки в поисках поживы, подбирает отбросы, объедки, кости и прочее. Кости, между прочим, вываривают, чтобы хоть малость пахло мясом, и готовят суп. Там, у них, своя жизнь, своя торговля — и маклеры, и заправилы, и эксплуататоры. Словом, свой порядок.

— Ну, а вчера-то что случилось?

— Ах, да... Все эти гоги и магоги стали вырывать друг у друга консервные банки и драться. Вожаки и посредники пытались их как-то утихомирить, но не смогли. Началось настоящее побоище. В ход пошли камни, палки, ножи. Потом пальба началась.

— Вот это да!

— Когда мы прибыли туда, было уже двадцать убитых и семьдесят раненых.

3. Сиди Рашид

Абу Арвах слушал рассказ про обитателей свалки, откинувшись на спинку стула и закрыв глаза. Он размышлял.

«И их, и вас — всех превратит Аллах в пепел, и будут груды пепла в миллионы раз выше, чем в Буль-Фараисе. И суждено вам во веки веков пребывать в аду».

Наконец Абу Арвах решил, что сидеть в кафе бессмысленно и лучше всего — подняться и уйти.

Пробравшись между столиками, он прошел немного и очутился на перекрестке. Налево — улица Зирута Юсефа, за ней — улица, названия которой он не знает. Чуть подальше — улица Девятнадцатого Мая, бывшая улица Франции, за ней — улица Бен Мхиди, которая ведет к кварталу Сиди Рашид. Направо — узенькая улочка, крутой спуск вниз, к площади Павших Борцов. И наконец, целый лабиринт закоулков, переулков, тупиков — вверх, вниз, вправо, влево, и везде — затхлая плесень. Не много найдется на земле городов, где главная достопримечательность — не здания, не исторические памятники, а улицы. Константина. Трудно представить себе ее жителей без этих улочек и улиц, не похожих одна на другую. И все здесь, знай себе, бродят и бродят по улицам, словно до этого долго томились в тюрьме.

Когда начнется землетрясение и город исчезнет с лица земли, все эти улицы, улочки и площади станут расщелинами, провалами и ущельями.

«Экая напасть! Никак не избавлюсь от мысли: землетрясение... землетрясение...»

Вдруг в нос ему ударил жирный дух жареных мозгов, смешанный с запахом плодов кактуса, пота, мочи, пряностей и ароматом духов. Кто-то толкнул его в бок, да так, что он невольно качнулся влево, но тут кто-то другой саданул его головой в левое плечо. Шейх шел дальше, но тело его не слушалось. Он попытался проскочить вперед, но путь ему преградила женщина, закутанная в черную мелаю.

— Дай-ка пройти, папаша! — крикнула она.

И Абу Арвах почувствовал, как его двинули локтем в живот. Он обернулся и проводил женщину взглядом, дивясь ее дерзости и громкому, удивительно чистому голосу. Тотчас Абу Арвах ощутил острую боль — кто-то наступил ему на ногу. Он отдернул ногу и едва не упал в обморок, задыхаясь в этой груде тел. Ей-богу, чтобы ходить по Константине, надо пройти специальную подготовку. Город, словно луна, нуждается в тщательном исследовании, и ему не обойтись без первопроходцев.

«Прежде чем идти в Сиди Рашид, не мешало бы завернуть в Ас-Сибат, может, мне повезет, и я встречу там Омара, шурина своего. Не исключено, что вместо кресла у него теперь приличная парикмахерская. Или даже салон, который он отхватил в канун независимости, как многие выскочки, и теперь живет припеваючи».

Вся эта сторона — Сиди Рашид. Вот какая она теперь, Константина!

Гостиница «Париж». Ее отовсюду видно, такая она большая,— пожалуй, чересчур. На втором этаже три некогда знаменитых кафе, нависших над площадью. Место деловых встреч чиновников-мусульман, крупных землевладельцев, колонистов. Здесь коротали вечера паши, богатые предприниматели, преуспевающие торговцы. Только не трудовые люди. Их отпугивало само убранство кафе: мелодичный звон хрустальных подвесок на шторах, затянутые шелком стены, аромат парижских духов, вышколенные официанты в роскошных фраках, которые своим великолепием могли затмить парадный мундир офицеров прошлого века.

— Эй, дядя, купи!

Перед Абу Арвахом, раздвинув прохожих, появилась рука с индюком, качавшимся из стороны в сторону. Шейх брезгливо посторонился, боясь испачкать костюм, оттолкнул руку с индюком, а затем и самого хозяина птицы — мальчишку с всклокоченными волосами — и двинулся дальше.

— Продаю по дешевке! А ну, кому! Подходи...

Шейх из любопытства обернулся: торговали метлами и вениками из хальфы[1].

Палящий зной проникал в каждую пору тела Абу Арваха. Он стал задыхаться, почувствовал сильную слабость. Ныла, казалось, сама душа.

«Целых полмиллиона разместилось в этом городе, на этой горе. Что их гонит сюда? Разве это промышленный город? Или торговый центр? Ни то, ни другое. Может быть, крупный культурный центр? Да нет же, нет. После того как Бен Бадис умер, а я уехал, здесь, в Константине, предали забвению и науку, и культуру. Понятно еще, если б они лезли в Аннабу, Скикду, Алжир, Оран, наконец, в Марсель или Бельгию. Но зачем они лезут сюда? Сущая нелепость. Видно, хотят своей грязью, распутством и богохульством ускорить приход Судного дня».

Абу Арвах пробрался, наконец, через скопление машин и пешеходов, вышел на улицу Бен Мхиди и почувствовал, как ноги сами понесли его вниз.

«Не найду его самого, найду кого-нибудь, кто знает, где он сейчас. Да, все изменилось — и люди, и главные улицы, открылись новые магазины, да и торгуют теперь по-новому. Но не могли же за это время перемениться все до единого переулки, закоулки, гроты в горе и аркады. А вот когда все изменится, тогда и впрямь не найдешь и следов прошлого. Но остался же Балбай, выжил. Правда, он как единственный зуб во рту у старика, будто нарочно уцелевший лишь для того, чтобы напомнить: когда-то было во рту полно зубов, сверкавших в улыбке, и лицо дышало свежестью юности.— Все перепуталось в голове у Абу Арваха.— Пусть рухнет эта гора и рассыплется в прах вместе со всеми живущими на ней. Тогда и правительству некому будет отдать мою землю».

После землетрясения вместо площади образуется огромная водосточная канава, она протянется на северо-запад — к Сиди М'сиду, на юго-восток — к Сиди Рашиду. Такого мир еще не видел. «И каждая кормящая забудет того, кого кормила... и сложит свою ношу». И люди потеряют голову, не выстоят перед лицом потрясений. Придет чудовище и унесет всех жителей, всех, у кого грех на душе, даже младенцев, и здания с собой унесет — виллы и развалюхи. Все вымрет, ничего не останется. Сгребет чудовище лапой всю Константину и унесет.

По мере приближения к улице Бен Мхиди шейх все острее ощущал запахи пищи. Пахло шипящим на сковородке маслом, жареными мозгами, поджаренным перцем, вареными яйцами, кебабом, мулюхией[2], вареной картошкой, куфтой[3]. Все эти запахи, казалось, проникали в самое сердце, переполняли его. В кафе, как на ярмарке, собираются люди всех наций, всех классов, профессий. Многое изменилось в этом квартале, разрослось и смешалось. Лишь по-прежнему на каждом шагу можно встретить чистильщиков обуви и продавцов газет. Такой город... Столько в нем людей — даже представить себе трудно.

Впрочем, жители ни в чем не виноваты. Наоборот, они правильно поступили, что покинули свои деревни. По крайней мере, там теперь некому зариться на чужую землю. Так что, если правительство все же решится посягнуть на порядок, установленный самим Аллахом, оно останется ни при чем. Те, кто покинул горы и долины и заполонил города, денно и нощно напоминают правительству о своем существовании; это тяжкий грех, и за него положена кара — землетрясение. Но виновато во всем, конечно, правительство. Раз уж оно не смогло пона-

[1] Исламский камыш, злак из рода ковылей.
[2] Густой суп из баранины с овощами и рисом.
[3] Котлеты.

строить достаточно заводов и фабрик и дать всем работу, зачем, спрашивается, мешать тем, кто хочет уехать в Европу?

Недаром великий и всемогущий Аллах насылает смерть, войны и наводнения, землетрясения, холеру и чуму. От Всеведущего никуда не скрыться.

Даже если гора не рухнет и город уцелеет, он все равно превратится в свалку Буль-Фараис; все — люди, собаки, кошки и крысы — перегрызутся и передерутся.

Слишком расплодились на свете люди. Лезут из каждой щели, из любого угла, будто спешат на Страшный суд. Да и как им не плодиться, если правительство заставляет врачей лечить весь этот сброд за гроши, а скоро, говорят, сделает лечение бесплатным. Есть у них и другие привилегии — по части социального обеспечения.

Чему же тут удивляться? У богатых все отнимают и отдают этим оборванцам, пастухам.

Рано или поздно содержимое сосуда выльется наружу. Нет, не жди милости от Аллаха, о Ибн Халдун!

Когда Абу Арвах дошел до Ас-Сибата, в глазах у него потемнело, в ушах зашумело, сердце учащенно забилось, а время словно повернуло вспять...

Торговцы скотом в черных блузах; богатые помещики и зажиточные крестьяне в черных и белых бурнусах из шерсти и желтых шелковых чалмах, расшитых пушистыми нитками; предприимчивые симсары [1] и преуспевающие дельцы в серых плащах и красных тарбушах; в самом центре восседает, будто на троне, старый Айдир — владелец обширных земель, всеобщий благодетель и ростовщик, владыка всей Османской империи и Константины...

— Добрый вечер, дядя Айдир!

— Добрый вечер, о ты, вестник несчастья!

— Почему ты так говоришь?

— Разве когда-нибудь уживались рядом наука и деньги? Скажи, ты обедал? И если обедал, что ел на обед?

— Четверть порции мозгов.

— Всего лишь! Значит, ты явился просить в долг. Вот посмотри на меня. Я — император Константины и всей Османской империи. Что я ем на обед? Молоко[2]. А тебе не на что купить целую порцию мозгов, и потому ты нуждаешься в нашей помощи.

— Но я знаю, что ты никогда ничего не делаешь бескорыстно.

— Такое уж у меня дело. Я даю ссуды под проценты, беру десять процентов. Гарантия — земля. Кстати, что ты намерен делать с моими деньгами?

— Хоть речь идет о деньгах, и немалых, дядя Айдир, занятие богословием не позволяет мне лгать. И если ты непременно хочешь знать, я скажу тебе правду, не скрою.

— Я тебе верю. К тому же твоя земля — надежная гарантия. Но мне хочется знать, куда уйдут мои деньги?

— Так и быть, скажу все как есть. Твои деньги, дядя Айдир, я тоже ссужу, только под двадцать процентов.

— Ого, акула заглотала акулу. Недаром говорят: маслина от оливкового дерева недалеко падает. Клянусь Аллахом, ты достоин моих денег. Зайди попозже, получишь всю сумму сполна.

— Не знаю, как и благодарить тебя, дядя Айдир!

— Ну что ты, не стоит благодарности, Абу Арвах. Грешно ничего не продавать и не покупать. Скажи, а как там дела у твоего друга?

---

[1] Посредник, перекупщик, маклер *(арабск.)*.

[2] Молоко в Алжире — один из самых дорогих продуктов.

— Он по-прежнему пытается толковать священный Коран.

— Передай ему совет — порвать с Бальхамляви[1], иначе Айдир велит сбросить его с обрыва Кяф Шакара[2].

...У шейха перехватило дыхание, он задрожал от страха... В каждой жилке стала пульсировать кровь. Он открыл глаза и с опаской огляделся. Это был страх не только перед надвигающейся опасностью, но и перед чем-то неведомым.

«Двадцать восемь лет прошло с тех пор! Да будет милостив Аллах к старику Айдиру! Вот это был человек! Всякий, кому хоть раз посчастливилось иметь с ним дело, считал за честь пожелать ему приумножить свое богатство и увеличить свое влияние.

А кто же сейчас опекает жителей Ас-Сибата? Кого я встречу? Кто они, эти люди?»

У всех головы обмотаны желтой чалмой, все чисто выбриты. Все в белом. Все веселы, даже почтенные шейхи. Кажется, будто целая деревня, какая-нибудь Аль-Милия, Джайджелла или Ат-Тахира, перебралась сюда, в Ас-Сибат; будто кто-то из сильных мира сего устроил свадьбу и велел гостям непременно явиться в белом.

Сколько ереси вокруг! Нет, презренный Ибн Халдун, ты не историк, ты способен лишь сочинять всякие теории.

Баня в Аль-Аксе. Два парикмахера работают рядом, один прямо у входа пристроился со своим креслом. И ни до кого им нет дела — настолько оба увлечены работой. Три кафе живут в мире и согласии — бок о бок как единое целое, даже стулья и столы перемешались. За столиком в самом центре сидят двое в белых джуббах[3] и небольшими глотками, смакуя, потягивают кофе.

Что же это за люди в одинаковой одежде, с одинаковыми манерами и все же такие разные?

— Мне нужен на сегодняшний вечер оркестр,— сказал мужчина средних лет в добротном европейском костюме, обращаясь к бойкому не по годам старичку.

— А что там у тебя?

— Радость и счастье.

— Известное дело. Ведь мы играем в домах только на свадьбах и вообще, когда у людей радость.

— А у нас обряд обрезания.

— Что ж, поздравляю. Но, к великому сожалению, до шести никого не могу к вам послать.

— Почему?

— Да у нас выборы в профсоюзе. Если хочешь, пошлю после шести или завтра. С превеликим удовольствием!

— Ну и дела!

— Все во власти Аллаха. Всему свое время.

Мутная жижа в груди Абу Арваха спала было, а затем вновь начала стремительно подниматься. Дрожь пробежала по телу, шейха бросило в жар; зубы стучали, пальцы нервно сплелись. Шейх понял: надо присесть; добрался до кресла, рухнул в него и с облегчением перевел дух. И сразу же на него уставились десятки людей, удивленных этим вторжением в их мир.

«Что же с теми, которые не веруют или бегают пред тобой, Господь наш, справа и слева толпами? Не желает ли каждый человек из них быть введенным в сад благодати? Клянусь Господом востоков и

[1] Историческое лицо, шейх одной из завий во времена французского колониализма.

[2] Высокий обрыв в Константине, с которым связано много преданий. По одному из них, в ущелье сбрасывали неверных жен.

[3] Верхняя одежда с широкими рукавами.

западов; мы ведь можем заменить их лучшими, чем они, и нас не опередить» [1].

Землетрясение в Константине произошло давно.

Землетрясение — это страх, забвение и опьянение. Бродяги посягают на то, о чем раньше и не смели мечтать.

Чудовищу незачем будет самому бросать свои жертвы в котел. Оно лишь обратится к повелителю вселенной, велик он и могуч, с нижайшей просьбой превратить в котел сам город. Подогревать котел будут семь солнц; вода из семи морей наполнит котел и нагреется так, что пар поднимется до седьмого неба; и жители Константины по собственной воле бросятся в кипящую воду, дабы искупить тяжкие свои грехи.

Они расправились с теми, кто приобрел богатство по милости Аллаха. А кто занял их место? Всякие болтуны, которые только и умеют, что играть на зурне да бить в барабаны.

О геенна огненная! Распахни во всю ширь врата свои, поглоти весь этот сброд, и пусть он горит вечно. Но всего, что они натворили, им показалось мало, теперь подавай им коммунизм — вон, стали уже создавать у себя профсоюзы. А против кого они, эти профсоюзы, если не против самой жизни? Где ты сейчас, дядя Айдир, со своим мешком золота и серебра? За обедом ты всегда пил молоко, за ужином ел только финики и по каждому случаю мог привести пословицу о пользе добрых устремлений и труда, об искусстве извлекать из всего выгоду.

Где вы, те, кто управлял огромными отарами овец в горах и долинах прямо отсюда, из Сибат ар-Расыфа, из великолепной и веселой Константины?

О святой Рашид![2] О великий Аллах, всеведущий и творящий! Внемли просьбе шейха из кафе «Наджма»: разрушь этот город вместе с ними, с их неверием, распутством и этими их профсоюзами. Соверши великое дело, яви справедливость и пошли добро вместо зла, а вместо греха — праведность».

Внезапно зазвучала зурна, исполненная нежности и страсти мелодия вознеслась к самому небу. Абу Арваху снова почудилось, будто звуки эти — предвестники Страшного суда. Шейх закрыл глаза и стал быстро-быстро бормотать:

— О Аллах, отпусти нам грехи — и те, что мы совершили, и те, что не успели еще совершить. Наш народ никогда не отступал от веры!

Шейху вдруг захотелось покинуть это место, уйти куда-нибудь подальше, но, вспомнив, зачем он ехал сюда по такой жаре, милю за милей — целых девять часов подряд, он решил остаться.

«Вон то здание наверняка парикмахерская моего шурина. Пойду-ка я лучше к нему там посижу. Он, конечно, обрадуется и угостит меня чем-нибудь холодненьким. Нет, сначала, пожалуй, расспрошу о нем...»

— Эй, отец, ты случайно не из столицы? — услышал шейх.

— Из столицы. А что?

— Может, ты из общества?

— Из какого общества?

— Общества друзей песни. Видишь ли, мы ждем представителя из центра, хотим создать местное отделение общества.

— Нет,— отрезал Абу Арвах и отвернулся, всем своим видом

---

[1] Коран, сура «Ступени», стр. 460.

[2] Местный суфийский святой.

стремясь показать, что ему безразличны и сам парень, и общество друзей песни.

«Да не дарует вам Аллах радости единения, да лишит он вас слуха, нечестивцы. Не захотели, бездельники, пасти скот, работать на земле, выращивать хальфу и кактусы, научились петь песни шайтана, а теперь ворвались в города — совратить женщин и мужчин, толкнуть их к пороку и богохульству».

Размышления Абу Арваха прервал голос официанта:

— Эй, отец, не хочешь ли чего-нибудь выпить?

— Да. Только чего-нибудь похолоднее, пожалуйста. Но сперва принеси мне воды, очень хочется пить.

— Сейчас принесу.

Абу Арвах залпом выпил стакан воды, почувствовал облегчение и, поудобней устроившись на стуле, принялся рассматривать окружающих.

Как будто Ас-Сибат основали специально для них. Три кафе расположены бок о бок. Две парикмахерских. Баня. Старики не по годам легкомысленны и оживлены, юноши не по годам сдержанны и самоуверенны. Кто знает, может быть, старики так легкомысленны потому, что они никому не нужны — словно изгои. И все же лучше эти старики, почитаемые или преданные забвению, чем русские.

Вот напротив сидит молодой мужчина, человек небось состоятельный, с благородными манерами, сразу видно — образованный и держится с достоинством, словно он по меньшей мере губернатор вилаи. Но будь он проклят, бесстыдный распутник и сын распутницы! Не поймешь даже, как к нему подступиться.

«Заговорю, пожалуй, а там видно будет».

— Послушай, сынок!

— Ты меня?

— Да, да. Можно кое о чем тебя спросить?

— Пожалуйста, я весь внимание.

Юноша улыбнулся и, явно желая вступить в разговор, пододвинул свой стул поближе к шейху, с трудом скрывавшему свои чувства.

— Ты откуда? — спросил шейх, натянуто улыбаясь.

— Из Алжира.

— Но в Алжире живут и арабы, и берберы, и турки — кого только нет!

— Э, нет, отец, алжирский народ един. Пролитая кровь объединила нас всех, всю нашу землю.

— Ладно. Ну, а чем ты занимаешься?

— Искусством.

— Искусством? Это здорово! Каким именно?

— Я — музыкант. Играю на зурне и на флейте.

— А где ты этому выучился?

— В своей родной деревне.

— Из какой ты деревни?

Юноша загадочно улыбнулся и ответил:

— Я из деревни Аль-Унсур. Слыхал когда-нибудь?

— Слыхал, но никогда в ней не был. Это возле Аль-Милии? А прежде чем стать музыкантом, чем ты занимался?

— Чем мог заниматься сын крестьянина в Аль-Унсуре или Аль-Милии? Своей земли у нас нет. Отец трудится за пятую долю урожая на земле одного врача, живущего в столице. В иной год набегает двадцать кантаров зерна [1], а тут пять лет подряд ни грамма не полу-

[1] Кантар равен 45 *кг*.

чал. Сам я дней сорок летом поработаю, а затем целых одиннадцать месяцев жду. Может, мне красть? Или попытать счастья в Европе? Ну что прикажете делать такому, как я, если не распевать песни? Как ни крути, а на каждой свадьбе можно заработать тысяч двадцать франков, и еще кое-что перепадает в разных местах. Приходится, правда, делиться с барабанщиком и с танцовщицей, но ничего, и на том спасибо.

— А хотел бы ты получить землю в Аль-Унсуре или в Аль-Милии?

— Я бы не хотел. А вот отец и все мои девять братьев ни за что не отказались бы, где бы эта земля ни была: в Аль-Унсуре, Аль-Милии, в Айн аль-Бейде или Оране. Пусть бы только дали. А ты что, почтеннейший, правительственный чиновник?

— Как тебе сказать: и да и нет! Вообще-то я директор средней школы в столице.

— Как же нет! Ты и есть правительство. Самое настоящее. Знакомство с тобой для меня — великая честь. В прошлом году я был в столице. В документе, подтверждающем мое участие в освободительной войне, было написано, что я служил в армии и принимал участие в боях, хотя на самом деле я был мусабилем [1]. Я добился, чтобы эту ошибку исправили.

— Послушай, значит, у тебя есть такой документ?

— А как же? Я горжусь тем, что мне довелось участвовать в сопротивлении. Я был рядовым бойцом и делал все, что положено, даже участвовал в крупных операциях. Но не носил военной формы, каждому свое — я был связным, поддерживал связь с жителями деревни, которые нам помогали, иногда пробирался в город. Поэтому в документе об участии в освободительной борьбе я мог числиться только мусабилем.

— А почему бы правительству не предложить тебе какую-нибудь солидную должность?

— Да где набрать должностей для всех? Нас ведь четырнадцать миллионов. В этом году мой старший сын пошел учиться в среднюю школу. Женился я совсем молодым, пятнадцать лет мне, помню, тогда было.

Абу Арвах помолчал, растопырил на вытянутой руке пальцы, затем собрал их в кулак, глотнул слюну. Ах, как ему хотелось пожелать этому зурначу и флейтисту и в дальнейшем всяких несчастий, вплоть до кастрации. Хотелось крикнуть ему в лицо, что, если он и его братья, не приведи господь, осмелятся захватить хоть пядь чужой земли, на его могилу вечно будут мочиться прохожие,— но шейх передумал. Тем более, что музыкант любезно предложил оплатить счет за напитки в знак глубокого уважения к шейху, директору средней школы, и в его лице ко всем директорам средних школ, ведь как-никак его сын теперь — ученик средней школы, да еще государственный стипендиат; а кончит школу — непременно станет инженером или музыковедом.

«Если твой сын станет инженером или музыковедом, то кем, спрашивается, должны стать сыновья людей состоятельных? Да и потом, кто будет готовить пищу, сбивать масло, собирать яйца, стричь овец? Ишь как все у тебя просто, раз-два — и готово: со дна да на самый верх. Нет, ничего из этого не выйдет!»

---

[1] Мусабиль, в отличие от муджахидов, регулярных бойцов Алжирской национально-освободительной армии,— вспомогательный боец, который после завершения операции обычно возвращался к мирному труду.

Между тем молодой человек молчал, внимательно глядя на шейха, ждал, что скажет этот почтенный человек. Потом он вдруг улыбнулся, как бы вспомнив нечто приятное, извинился, что отвлекает шейха по пустякам, и добавил: мол, его сын возлагает большие надежды на успешное окончание школы.

— Будь твоя школа в Константине, я непременно записал бы сына к тебе, устаз [1].

— Да что ты, зачем?

Абу Арвах сказал это резче, чем сам ожидал, и, увидев, что его новый знакомый растерялся, невольно замолчал с виноватым видом. Во рту еще ощущался вкус лимонада, к тому же он не успел спросить молодого человека о главном.

— Видишь ли,— сказал Абу Арвах,— в моей школе все учителя с Востока — из Египта, Сирии, Ирака, Ливана, Туниса [2]. Школьные дела их не очень-то и волнуют, они даже часто не являются на занятия.

— Как же так, устаз?

— Что поделаешь! Давай лучше переменим тему. Кстати, ты не знаешь хозяина вон той парикмахерской?

— Да нет. Я стригусь у него — и только.

— Понимаешь, я ищу парикмахера по имени Омар. Он тут когда-то держал заведение.

— Этот уж во всяком случае не Омар. Его зовут Ибрагим. Когда я пришел сюда впервые, он уже тут работал.

— А тебе не попадался здесь, в Ас-Сибате, парикмахер Омар?

— Нет, никогда. Ты лучше расспроси самого парикмахера.

— Верно.

Абу Арвах не спеша встал, прошел мимо компании мужчин и под звуки зурны, иногда еле слышные, словно замирающие, стал пробираться между столиками.

Прежде чем войти в крохотный закуток парикмахерской, Абу Арвах украдкой оглядел мастера, работавшего прямо на улице.

«Известное дело, одного стригут, а четверо ждут. Всю парикмахерскую заполонили. Спрошу, пожалуй, прямо с порога».

— Эй, хозяин,— громко сказал шейх, чтобы привлечь к себе внимание,— да благословит Аллах твоих родителей. Можно спросить тебя кое о чем?

— Изволь, отец, спрашивай.

— Не знаешь ли, где сейчас парикмахер Омар? Он когда-то работал здесь.

— Нет, отец, я о нем и не слышал.

— А сам ты давно здесь работаешь?

— Я-то? Да я — старожил, раньше меня тут, пожалуй, проживает один только шейх Нино, маклер. В этой самой цирюльне я уже лет девять, а самому Ас-Сибату — всего десять.

«Девять лет. Это, значит, с первых дней независимости. Как только сбежал прежний хозяин — какой-нибудь европеец или еврей, ты сразу и прискакал. А раньше небось стриг в каком-нибудь закоулке, прямо на ящике, или бегал, ища работу, по деревне. И — на тебе, не успел даже глазом моргнуть, как очутился в прекрасно оборудованном салоне. Подумать только, уже возомнил себя чуть ли не основателем Ас-Сибата, того и гляди, скоро заявит, будто до него ни души не было ни в Ар-Расыфе, ни в самой Константине. Первый

[1] Учитель, наставник *(арабск.)*.

[2] В Алжире острая нехватка арабоязычных учителей. Поэтому приходится многих из них приглашать из-за границы.

поселенец в этих краях! Даже турок обскакал! Нет, вы только гляньте, как этот нечестивец сверлит меня глазами,— наглец».

— А где сейчас этот Нино? Ведь парикмахер был здесь еще до войны.

— Эх! У кого теперь о нем спросишь? Жизнь как вода, отец, течет и меняется. Чего только не случилось с тех пор, как страна получила независимость, про все и не расскажешь! Сперва тут расположились фокусники, но через неделю сбежали; на их место пришли торговцы, но и тем не повезло; потом обосновались здесь скупщики золота — обанкротились; следом за ними сняла помещение сапожная артель — тоже неудача. Сам посуди, кого здесь только не было, судьба у всех одна. Место какое-то заколдованное. Мы вот еще как-то держимся, не сдаемся. В Ас-Сибат не так-то просто попасть, смотри, весь проход забит стульями. И проникают сюда одни одержимые, им Аллах не отказывает в своей милости.

Ибрагим все говорил и говорил, сыпал сведениями об истории Ас-Сибата, а шейх Абу Арвах молча стоял, прислонясь к стене и опустив голову.

— Эй, Нино! Дядя Нино! Да подойди ты сюда! — громко крикнул парикмахер Ибрагим.

Абу Арвах обернулся и посмотрел на улицу, которая начиналась у самого Ас-Сибата. Вдоль стен на скамейках сидели продавцы джуббы, тут же стоял лоток с книгами.

Появился старик в темной, выцветшей накидке с черно-красным тарбушем на голове. Через левую руку, в которой он держит мегафон, переброшены шерстяной бурнус и джубба желтого цвета. Пальцы правой руки нервно перебирают тонкую золотую цепочку.

«И в самом деле — Нино! А я про него и забыл. Собственной персоной, во плоти. Но, боже мой, что с ним? На кого он похож! А ведь какими делами ворочал! Все больше по судебной части. Бывало, зайдет перед самым судом к одному из тяжущихся и без всяких обиняков предлагает откупить его дело. Брал на себя все судебные издержки. Тот, к кому Нино обращался, обычно не раздумывал. А кто не соглашался. как правило, проигрывал. Нино же, каким бы запутанным ни было дело, всегда оставался в барыше. А теперь этот несчастный ходит по Ас-Сибату в грязном бурнусе и джуббе, с тоненькой золотой цепочкой в руке. Бродит из конца в конец квартала и кричит в мегафон, зазывая народ на распродажу. Видно, привязался к этому месту — тоска по прошлому, по ушедшим в небытие сильным мира сего, воспоминания о своей былой славе».

— Как дела, Нино? Аллах, я вижу, не оставляет тебя своей милостью?

— Ох, кого я вижу! Шейх Абу Арвах? Ну и денек! Клянусь Аллахом, совсем недавно кто-то спрашивал о тебе. Но кто? Забыл... Аллах с ним... Скажи лучше, как у тебя дела.

Старые друзья обнялись и направились к освободившемуся столику.

— Многих наших встречал я, но ты куда-то исчез. Кого ни спрошу, все в один голос отвечают: об Абу Арвахе ни слуху ни духу. Ну, как же твои дела, вестник несчастья? Не забыл еще шейха Айдира? Да будет милостив к нему Аллах! Это он тебя так называл. Помнишь, сколько раз он говорил: единственный, кому я могу с чистой совестью доверить свои деньги, это — шейх Абу Арвах. Попав к нему в руки, они словно обретают новую силу. Кстати, не помнишь, где мы познакомились? Ах, да, в Тунисе, мой дорогой, в Тунисе.— Нино буквально засыпал шейха вопросами. Спрашивал и сам же отвечал. Абу Арвах понял, ему не остановить этого потока слов, и не перебивал

Нино — пусть выговорится. Лишь изредка шейху удавалось вставить словечко:

— Хорошо... Слава Аллаху... Слава Аллаху... И тебе того же желаю. Хорошо... Все хорошо...

— Помнишь?..

— Да погоди ты. Скажи лучше, как ты дошел до жизни такой?

— А что, Абу Арвах? Слава Аллаху, я вроде немало прожил, а глаза еще видят. Хвала Аллаху. Что вспоминать прошлое?! Все живут настоящим да уповают на будущее своих детей, а о прошлом жалеть нечего. Что было, то прошло. Верно? Да, мы ошибались, грешили, случалось, причиняли зло другим, иногда — себе. Но все это прошло. Слава Аллаху, даровавшему нам долгую жизнь. И зрение у меня сохранилось, благодарение Аллаху. Кому бы пришло в голову, что все так обернется? Честно говоря, я был уверен, что Франция непобедима и, уж во всяком случае, посильнее Аллаха. Мне и не снилось, что наступит день, когда она будет разбита и уберется восвояси, а здесь останемся мы.

— Да не мы, а они — вот эти! — вскричал Абу Арвах.

— Нет, мы, именно мы, Абу Арвах, и я в том числе, и я тоже, в том-то и дело.— Слезы навернулись ему на глаза.— Когда мой старший сын,— пробормотал он,— оказался в тюрьме, а младший ушел в горы, я был...

Комок подступил к горлу Нино, он умолк и опустил голову. По щеке покатились две крупные слезы.

— Ты, кажется, был связан с французской разведкой? — осторожно спросил Абу Арвах. Нино кивнул.

— Аллах, милостивый и милосердный, прости меня, отпусти мне мои грехи... иначе...

«Не могу понять,— подумал Абу Арвах,— почему почти все эти предатели даже не пытаются скрыть, что довольны существующим положением. Заискивают перед властями или делают это в знак благодарности, что их великодушно простили? Представляю, кем стал бы этот Нино, если бы Франция победила? Ага? Пашой? Во всяком случае, знатной особой. Это уж точно! А какова, интересно, судьба его сыновей, которые были в сопротивлении? Солдат погибает в бою, а угодивший в тюрьму доставляет хлопоты своему отцу, вынуждая его бегать в поисках заступников.

Рухнули надежды Нино, а вместе с ними и надежды Франции, Европы, Африки. Нет больше будущего у великого колониализма. Но вот вопрос: что будет вместо него?

О милостивый и милосердный, защити нас и спаси. Независимость — это независимость, без нее не обойдешься, победа есть победа, хорошо, что мы победили, но только социализм и коммунизм — это совсем другой разговор. Наступит время — и Аллах непременно рассудит, кому на роду написано вдохнуть в души людей веру в могущество религии, в ее силу. И это произойдет не только в Алжире — во всех других странах ислама. Везде, где есть люди, будь то в Марокко или Тунисе, Сирии, Египте — словом, в любом уголке земли, где объявились признаки ереси и безбожия. Правда, не потерпи Франция поражения в войне с нами, она сделала бы все, чтоб мы отреклись от ислама и приняли христианство. Пусть же лучшие представители нашей нации — ученые-богословы, а с ними и состоятельные люди — все как один восстанут против намерений еретиков, тогда и народ, и религия будут спасены».

Нино сидел, по-прежнему опустив голову, глядя прямо перед собой.

«Как ловко ни маскировался он, я опознал его,— вспоминал Нино,— и следил за ним от самой Ханы до Ас-Сувейки и Баб аль-Джабии. Озираясь по сторонам, он вошел в третий дом от угла, дверь за ним закрыла Нана. Было около полудня. Город стоял весь в снегу. Что делать? Возвратиться и позвонить французскому офицеру? Или остаться и ждать, чтобы обнаружить его последнее убежище? Толкаться в этом злачном месте не стоило, того и гляди, наткнешься на знакомых — и все пропало: ведь меня могли видеть вместе с французскими офицерами.

Я подошел к двери, притворился, будто зашнуровываю ботинки.

— Нана, ты все сделала, как я велел?

— Да.

— Выйди-ка на минутку.

— Как прикажешь.

— Вот десять тысяч. Передай их жене, пусть покажет сына врачу и купит лекарства. Да, вот еще список лекарств, ты сама их купишь для нас.

— А ты?

— Побуду здесь, как бы он не ушел. Вернешься, что-нибудь придумаем.

Она побежала на почту и позвонила офицеру. Когда она вернулась, я ждал ее у входа в публичный дом, как было приказано.

Примчались военные грузовики, за ними — гражданские машины. Константина была оцеплена. Все подходы к Сиди Рашиду — перекрыты. На обоих концах улицы Баб аль-Джабии стояли патрули. Прибыл офицер, резко и настойчиво застучал в дверь, солдаты взяли оружие наизготовку.

— Эй Омар! Мы знаем, что ты здесь. Город оцеплен. В Сиди Рашиде каждый уголок под контролем. Баб аль-Джабия перекрыта. Ты окружен. Сопротивление бесполезно. Сдавайся или мы тебя выкурим гранатой. Ну, Омар, выходи!

Всех, кто был в публичном доме, арестовали: и женщин, и мужчин. Их отвели к грузовикам. Арестовали для вида и меня. Тогда офицер закричал:

— Приведите-ка сюда этого молодящегося старикашку, хочу посмотреть на него собственными глазами. Это наверняка он привел того разбойника. Иначе зачем ему было шляться сюда!

Но Омар не выходил.

Офицер крикнул:

— Омар, ты попался. Тебе не уйти... Сдавайся..

Но Омар не выходил.

— Омар, даю тебе последний шанс. Раз попался, нечего упорствовать. Выходи, не то выломаем дверь. Считаю до трех.

Но Омар не выходил.

— Раз!

Омар не вышел.

— Два!

Омар не вышел.

— Два!! — грозно повторил офицер.

И тут раздался голос:

— Выхожу! Сдаюсь!

О Аллах, такой знакомый голос. Кто же там? О Аллах Сердце едва не выскочило у меня из груди. До боли знакомый голос. Кто же там, кто?

— Вот так-то лучше. Бросай оружие, слышишь...

— Сейчас, сейчас... только открою дверь.

Нет, нет. О Аллах! Это же Сулейман! Мой сын. Какой ужас!

Прикладом винтовки мне выбили зубы. Рот залило кровью. Распахнулась дверь, и взорвалась граната, за ней — другая. Что тут началось! Крики, стоны. Все заволокло дымом. Люди попадали на пол. Живые и мертвые Вижу, про меня позабыли, и пустился бежать. А там такая стрельба началась, что не приведи господь. Палили из дома, с улицы, сверху, снизу. Настоящий бой. Взорвалось еще несколько гранат, а потом я снова услышал родной мне голос:

— Мама...

И тут все стихло. Немного погодя меня привели в комнату Наны опознать убитого. Но там их было двое: Омар и Сулейман — мой сын»...

— Да будет Аллах милостив к павшим,— грустно промолвил Нино и поднял глаза на Абу Арваха.

— Хочу спросить тебя об одном парикмахере, он здесь работал,— сказал шейх осторожно.— Омаром его звали. Ты должен его знать.

— Да будет милостив Аллах к павшим! — с тяжелым вздохом повторил Нино, опустив глаза.

Нино рассказал Абу Арваху, что Омар храбро сражался и погиб и что у Омара остался шестнадцатилетний сын.

В полном унынии Абу Арвах покинул Сибат ар-Расыф.

«Итак, шурин погиб,— подумал шейх.— Ну что же, стыдиться тут нечего. Только гордиться можно. Ведь он как-никак — брат моей жены. Когда она узнает, наверняка обрадуется. А с сыном его я, пожалуй, не буду встречаться, еще, чего доброго, денег попросит...»

Абу Арваха захлестнул и понес вперед мощный людской поток. Напрасно старался он управлять своим телом. Шум на улице становился все невыносимее. Казалось, кто-то как безумный колотит в жестяную банку. Сигналы машин словно взывали о помощи. Люди, точно глухие, кричали во весь голос.

Опять сердце наполнила мутная жижа, которая колыхалась, будто в сосуде, а потом стала растекаться по всему телу. Солнце яростно жгло, было сухо и безветренно. Руки и ноги у Абу Арваха как свинцом налились, перехватило дыхание. Голова стала тяжелой, как горы Атласа.

— Клянусь Аллахом, собственными глазами видел: люди убивают друг друга из-за сахара. Иной накупит килограммов двадцать и все равно рыщет по городу, чтоб раздобыть еще.

— Ну и дела! Только и делают, что запасают да запасают. Перед рамаданом, правда, всегда так было, ничего не поделаешь. Все разобрали. И капли масла не купишь.

— Муки днем с огнем не сыщешь! А мыло? Дома превратили в склады.

— Ну и дела!

Это разговаривали двое мужчин, стоявших посреди улицы, загородив проход.

«Мало того, что они собственной тяжестью придавили несчастную гору,— думал Абу Арвах,— так еще и продуктами запасаются... Тяжесть, которая давит на гору, с каждым днем растет... Теперь уж совсем немного осталось ждать, вот-вот начнется... И «сотрясется земля своим сотрясением». Да, да. Стоит горе хоть чуть-чуть сдвинуться с места, тут такое начнется... Все рухнет, обратится в прах, земля разверзнется и поглотит и людей, и масло, и сахар, и муку... И тогда все станет на свои места — как положено».

Шейх с трудом пересек узенькую улочку и остановился перевести дух. Его толкали со всех сторон и в конце концов оттеснили к стене.

— Кого же теперь искать? — бормотал шейх, теряя терпение.— Тахира, карманника, в Рахабат аль-Джамале? Или суфия Ису в завии

Сиди Абдель Мумин? Начну, пожалуй, с Рахабат аль-Джамаля, потом зайду в завию, оттуда спущусь к мавзолею Сиди Рашида, поклонюсь ему.

И Абу Арвах стал медленно подниматься к площади Аль-Кубра, чтобы оттуда повернуть к Рахабат аль-Джамалю.

Вдруг он услышал звуки радиоприемника. Голоса Аль-Фаркани и Умм Кульсум смешивались с передачей на религиозную тему. Затем все заглушили голоса Исы Джармуни и Фарида Атраша [1], чередующиеся с приятным баритоном: «Говорит Лондон». Вокруг бурлила жизнь, преследуя шейха залпами выхлопных труб и бесконечными назойливыми запахами.

— Кому обложку... обложку для удостоверения! Обложку для водительских прав! Изготовление в присутствии заказчика. Удобно! Красиво! Дешево!

Слово «дешево» привлекло внимание шейха. Обернувшись, он увидел небольшой столик, где стояла красная машинка для изготовления оттисков и лежали всевозможные обложки и бланки, а за столиком — длинноволосого юношу лет семнадцати в поношенной синего цвета китайской традиционной одежде и плетеных сандалиях; лицо у юноши белое с легким румянцем, нос прямой, на губах улыбка, глаза живые, проницательные, движения неторопливые.

Самоуверенность современных молодых людей внушает опасения: им ни до кого нет дела, только до самих себя, старшие им не нужны — они избавились от их опеки. Любой юноша в этом городе невозмутим, даже у постели умирающего лицо его не выразит ни радости, ни грусти. А сколько в нем высокомерия! Словно он прожил жизнь. И вообще, колесо жизни вертится в другую сторону — от старости к юности.

— Часы! Часы!
— Приемник! Кому приемник?
— Магнитофон! Кому магнитофон?
— Ботинки! Ботинки!
— Чемодан! Чемодан!
— Брюки! Брюки! Кому?
— Пальто!
— Часы!
— Новый приемник!
— Новейший фотоаппарат!

Со всех сторон протянутые руки. Орущие глотки. Ноги, приросшие к месту, и дрыгающиеся тела.

«Каждый житель Константины — либо сам вор, либо обворованный. Очень просто: один крадет у другого и ему же сбывает краденое. Вот и выходит, что их товары точь-в-точь как деньги — ночуют в одном месте, а утром оказываются в другом. Количество товаров растет лишь благодаря поступлениям из-за границы и уменьшается за счет оттока в деревни и пустыни. Здесь никто не занят настоящим делом, все ходят с места на место, предлагая друг другу товары. Сейчас лето, ботинки никому не нужны, но то и дело натыкаешься на сапожника, который рьяно стучит молотком или самозабвенно орудует шилом. Этим людям только и остается, что бегать с места на место. Потому что у них нет занятия, которое привязало бы их к месту. Из-за этого они и бросили деревни и устремились в город».

Эта мысль поразила шейха, и он остановился.

Безработица прогнала людей с насиженных мест, привела в Константину. Вот и скопилось их здесь видимо-невидимо, то же самое в

[1] Аль-Фаркани, Умм Кульсум, Иса Джармуни, Фарид Атраш — египетские певцы, популярные исполнители народных песен.

провинциальных городах и центрах. Недаром говорится: одна рука работает, тысяча ртов ест; один трудится, тысячи глазеют. Работают лишь шестьдесят дней в году, а остальные триста — сидят сложа руки и ждут неизвестно чего. Вот и родилась эта бредовая идея: отобрать земли у истинных праведников и распределить их так, чтобы каждый получил хотя бы метр-два, курицу или две — глядишь, разгрузятся города или хоть перестанут расти. Шайтаны, проклятые Аллахом! Это русские со своими электронными машинами строят им планы, а они рады стараться, берут эти планы на вооружение, правда, не спешат проводить их в жизнь, почему — непонятно. И философия у них чересчур примитивная, поверхностная.

Кто должен покинуть город, а кто — остаться? Тот, кто вкусил праздной жизни, чья жена узнала, что такое белоснежная ванна и больница, а дети — что такое школа и стадион, тот никогда не покинет город, никогда... Но прозябающий в провинции или в деревне жаждет попасть в город — хоть на помойку, где тучами вьются мухи.

Правительству лучше бы не искать поддержки у сельских жителей — они все одно настроены оппозиционно,— а убедить их, что привязанность к земле — идея современная и суть ее в том, чтобы приостановить людской поток, хлынувший в города.

Ведь власть имущие сами выходцы из деревень, и стоило им попасть в город, как они очень скоро столкнулись с проблемой скученности и перенаселения. Правительству не очень-то нравится, что в городе столько праздношатающихся. Но кто-то внушил ему мысль, что это в порядке вещей, а вовсе не демонстрация народного протеста с требованием открыть пошире дорогу в Европу и Америку.

Абу Арвах вошел в кафе и в изнеможении рухнул на первый попавшийся стул. Осмотрелся: свежевыкрашенные металлические столы и стулья, стены тоже сверкают свежей краской. Вместо старой плиты — новая итальянская кофеварка-эспрессо.

«Выходит, я здесь — единственный посетитель. Да и кому сюда приходить: все только и делают, что шляются по улицам да чинят ботинки. Хозяину кафе за пятьдесят, но он еще крепок. Высокого роста, со светлой кожей. По тому, как он наматывает чалму, сразу признаешь коренного жителя Константины. Лицо его полно достоинства и дышит благородством. Он величествен, словно монумент. Уж он-то наверняка знает Тахира, карманника. Что это он так внимательно на меня смотрит, а подойти не спешит? Может, мы были когда-то знакомы, шутка ли, сколько лет прошло — успел небось меня позабыть. Вообще-то я не жаждал попасть на Рахабат аль-Джамаль. Ну ладно. Вот принесет мне лимонад, я расспрошу его. Но стоит ли здесь терять время, его и так в обрез. Вечером уеду во что бы то ни стало. Заночую в своей деревне, с утра произведу все расчеты с крестьянами и выгоню их. Всех до единого! Буду обрабатывать землю машинами и нанимать только сезонных рабочих. Крестьяне — все жулики, от них только и жди подвоха. Сейчас все разузнаю у хозяина и пойду дальше».

— Можно тебя спросить кое о чем?

— Пожалуйста.

— Я ищу одного своего родича. Он жил здесь когда-то. Но я давно ничего о нем не слыхал. Зовут его Тахир.

— Да половина жителей Константины Тахиры. Скажи лучше, где была его лавка?

— Да не было у него никакой лавки. Работал где придется. По фамилии он Абу Арвах, как и я. Тахир Абу Арвах.

— Что, что? Как ты сказал? Надо говорить: господин Тахир...

— Господин, говоришь?

— А откуда ты его знаешь? Ты вроде приезжий.

— Я его дядя, родной дядя! Всю войну пробыл в Тунисе. А после того, как мы получили независимость, переехал в столицу. Видишь ли, из-за его прошлого — тебе оно, видно, известно — мы не общались.

— Какое еще прошлое, почтенный? Господин Тахир — один из первых национальных героев. Сколько раз сидел в тюрьме! Сколько раз судили его по ложным обвинениям! Говорили даже, будто он — карманник. А он контрабандой оружие и боеприпасы перевозил. Так что господин Тахир — у нас один из первых героев.

— Да я его дядя! Где он сейчас?

— А я его тесть. Он развелся с первой женой, когда вернулся с гор, и женился на моей дочери. Стал моим зятем.

— Так мы, значит, сваты!

— Выходит, что так. Выпьешь чего-нибудь?

— С удовольствием!

Абу Арвах сел, не дожидаясь приглашения, а хозяин пошел готовить напиток для гостя.

«О чем его раньше спросить? О правительстве? Необходимо узнать, что думает мой новоявленный родственник. Или поинтересоваться жизнью племянника? Подумать только! Тахир теперь не просто Тахир, а господин Тахир. Если тесть Тахира — свободный торговец, то правительство он не жалует. Стоит заговорить о правительстве с любым торговцем, настоящим, конечно, или владельцем крупного капитала, а не каким-то там неудачником вроде Балбая или Нино — такое услышишь! — Абу Арвах усмехнулся.— Расскажу ему прямо и откровенно, если он окажется недоволен правительством, все, что мне известно. Пусть предупредит всех, кого это может коснуться, чтобы приняли меры, и тогда план правительства будет сорван. Впрочем, любит он правительство или нет, все равно надо хоть намекнуть ему на коварный замысел этих дьяволов. Надо предупредить буквально всех, внушить каждому, что план правительства весьма опасен и касается всех без исключения, тогда нам успех обеспечен!»

Абу Арваха охватила жажда деятельности.

В это время хозяин тихонько кашлянул.

— Пожалуйста, прошу. Прошу. А ужинать будешь у меня дома. И никаких возражений.

— Да воздаст тебе Аллах сторицей. Но, видишь ли, сегодня вечером я уезжаю.

— Вот еще выдумал! Дядя моего зятя! Приехал в Константину и хочет покинуть ее, не вкусив в моем доме соли. Так дело не пойдет.

— Я — Абдель Маджид Абу Арвах, директор средней школы в столице, богослов и знаток языка. Слыхал обо мне?

— Как же! Господин Тахир рассказывал, помню.

«Явился я нежданно-негаданно,— думал шейх.— Сколько лет не интересовался и вдруг пожаловал».

— По правде говоря, он никогда не рассказывал мне о своих делах. Слышал я, что он стал карманником в Рахабат аль-Джамале.

— Да все это выдумки колонистов, они и обвинение против него состряпали.

— Намучился я с ним. Когда ему вдруг взбрело в голову продать землю, я даже в долги залез, чтобы купить ее и сохранить за нашей семьей.

— Он рассказывал, как это было. Землю пришлось продать, чтобы совершить одну очень важную сделку по закупке оружия.

— Обратись он тогда ко мне, ни за что не отказал бы ему, ведь как-никак он сын моего брата, а для чего ему деньги, меня не интересовало.

Шейх вдруг замолчал.

«Я видел своими глазами, как он угрожал другим ворам, таким же, как он, кинжалом. Потом мне подробно рассказывали, как его судили,— он признался, что утащил кошелек с четырьмястами франками у какой-то старой еврейки. С этого и началось. Подумать только, как ловко они переделывают историю на свой лад! Как бы то ни было, честь племянника — честь его дяди. И наоборот. Наверняка Тахир стал крупным торговцем, или владельцем фабрики, или еще какой-нибудь важной персоной: интересно, есть у него сыновья? Если есть, то стоит и на их имя записать часть земли. Тут уж не две — двадцать птичек убьешь одним камнем: искуплю былой грех, хотя не поймешь, кто прав был, а кто виноват, заодно и налажу отношения с родичами, сейчас это может пригодиться, и, наконец, самое главное — не дам правительству прибрать к рукам мою землю. Тогда уж, если я умру, почти вся земля останется нашей семье. По шариату Тахир — единственный мой законный наследник».

— По-арабски меня зовут Саадан. В этом кафе я уже тридцать лет. Тахира знаю с тех пор, когда он еще был совсем молодым. Сядет, бывало, вон в том углу, вскинет голову. Глаза бегают, будто хотят все увидеть. Все считали его тайным осведомителем, даже убить хотели. Лишь много времени спустя стало известно, чем он занимался на самом деле.

— Неужели вы так боялись полиции? Ты, конечно, тоже участвовал в Движении?

Саадан замялся, открыл было рот, но так ничего и не сказал. Закусил нижнюю губу, прикрыл глаза, затем снова поднял их на Абу Арваха.

— Мы должны были любой ценой пронести мыло, две сотни ящиков, весом кантаров в сто восемьдесят. За мыло уплатили вперед. Собрали деньги со всех. Каждый дал столько, сколько мог. Я даже кафе заложил, отдал больше половины своего пая. В конце концов собрали нужную сумму. Что говорить, ведь речь шла о жизни и смерти каждого из нас. Пятьдесят ослов с грузом из Батны и Айн-Милии пришли в Бардо. Еще пятьдесят прибыли из Айн аль-Бейды и Айн Кирша и ждали в Сиди Мабруке. Из Фальмы и вади Аз-Занати тоже прибыли пятьдесят ослов и разместились в Джебель аль-Вахше. И, наконец, последние пятьдесят прибыли из Азабы и ожидали в Аль-Хаме. Весь товар шел из Туниса. Чтобы выработать окончательные условия соглашения и заключить сделку, я выехал в Тебессу с довольно крупной суммой денег. Рискуя жизнью, я старался сохранить операцию в тайне и все время был начеку. Надо было еще избегать французских и немецких шпионов и агентов союзников. А это не так просто. В те дни Тахир и зачастил в кафе. Мне удалось незаметно выбраться из города. Я решил переночевать в бане [1] в Айн аль-Бейде и, когда вошел туда, вдруг увидел Тахира. Это насторожило меня, и я сделал все, чтобы не попасться ему на глаза, но он сразу заметил меня. Несмотря на молодость, в нем не было легкомыслия, он был очень сообразительным и серьезным. Я тогда подумал, зачем он пришел ночью в баню; а Тахир смотрел на меня и тоже думал, зачем я туда явился, может, слежу за ним, преследую его. Потом вижу: закрыл он лицо ладонями и уснул. Я тоже уснул, а когда проснулся на рассвете, его и след простыл; в Рахабат аль-Джамале он был известен под именем Кудур. Но когда я спросил о нем хозяина бани, тот ответил, что его зовут Бу Джума и что он из Сетифа. Если он не осведомитель, подумал я, то наверняка контрабандист. Но дело есть дело, и я продолжал путь. Прихожу в Тебессу — он тут как тут. Мы оба сделали вид, будто незнакомы, даже когда оказались бок

[1] Повсюду в бывших владениях Османской империи бани кроме прямого своего предназначения служили также местом отдыха, встреч и т. п.

о бок в одной бане. Меня никогда не обкрадывали, но в ту ночь я был осторожен, как никогда. Даже глаз не сомкнул, лежал, держа одну руку на рукоятке ножа, а другую — на чулке с деньгами, он был обвязан у меня вокруг тела. С помощью Аллаха я быстро совершил сделку, и в Тебессе мне не пришлось прохлаждаться. Перво-наперво — в интересах своих да и компаньонов — я избавился от Тахира. Он исчез надолго. И объявился лишь через четыре с лишним года. За это время, как стало известно, он успел побывать в плену у немцев, а потом служил во французской армии [1]. Караваны с грузом не раз натыкались на патрулей, но почти все прошли благополучно. Пришлось, правда, дать взятку семи крупным офицерам, подкупить семь осведомителей и семь лесников, зато караваны прибыли на место. Через несколько дней вся Константина была завалена мылом.

Саадан весь ушел в воспоминания о давнем и нелегком прошлом: видно, велик был соблазн рассказать о пережитом во всех подробностях.

Что же до Абу Арваха, то при слове «полиция» он насторожился и теперь смотрел на собеседника невидящим взглядом, думая о чем-то своем: «Когда арестовали одного моего коллегу по обществу, человека весьма уважаемого, я сделал все, чтобы его вызволить. Старался через осведомителей довести свое мнение до полиции, намеренно засиживался в разных кафе, встречался с разными людьми и всюду твердил: мы организация религиозная, нам нет никакого дела до политики, она нас не интересует, не выступаем мы и против властей. Единственное, чего мы добиваемся,— это свободы религии, свободы деятельности нашей организации, и ничего больше. Помню, потом в кафе «Наджма» я дал себе клятву, что не напишу ему ни строчки. С глаз долой — из сердца вон. И действительно, я не писал ему. Да и никто из наших не писал. Будто мы и не работали вместе. Ну а он, словно в отместку, сочинил о нас целый роман в стихах. Полиция — это зло. Профсоюзы — зло. И насилие — тоже зло».

Размышления Абу Арваха были прерваны выкриками торговцев:

— Швейцарские часы на двадцати четырех камнях!

— Радиокомбайн, ловит и записывает передачи отовсюду!

— Баллончики с газом для зажигалок! Самые лучшие зажигалки!

— Костюмы с Тайваня!

И вдруг отовсюду к кафе устремились торговцы, загудели пронзительные сирены полицейских машин. В один миг кафе — редкий случай — заполнилось людьми. Кто сидел, кто стоял. Некоторые ожидали снаружи свободных мест.

А люди все прибывали и прибывали. Началась давка. Все продавцы округи, все воры, маклеры и просто прохожие заполонили пространство вокруг кафе и близлежащих магазинов. Люди взбирались на стену возле кафе, облепив ее снизу доверху.

— Ас-Сабти! Ас-Сабти! — крикнул Саадан.

На его голос обернулся какой-то парень. В левой руке он держал несколько пар часов, правой прижимал к себе мегафон и ботинки. Растолкав плечами зевак, он пробрался к Саадану и Абу Арваху.

— Добрый день! Как дела, дядя Саадан?

— Что случилось?

— Мирджану убили.

— А кто она? Я ее не знаю.

— Одна девушка, недавно приехавшая в Баб аль-Джабию. Вместе с ней из Аль-Джульфы приехал и ее парень. Ребята из Баб аль-Джабии

[1] Многие алжирские патриоты, в годы второй мировой войны служившие во французской армии, впоследствии стали руководителями антиколониальной борьбы.

стали приставать к ней. А ее парень за нее вступился, дрался, не щадя жизни. Но когда понял, что одному ему не устоять, бросился к девушке и нанес ей семь ножевых ран. Зачинщики тут же разбежались. Примчались полицейские, весь Сиди Рашид оцепили. Документы у всех проверяют. У кого нет документов, того отправляют в полицию на допрос.

Бедняжка Мирджана. Ей было не больше шестнадцати. Кожа нежная, светлая, сама стройная. Да будет к ней Аллах милостив!

На бане Али Бабы деревянная, вся в трещинах, доска. На ней красной краской корявыми буквами выведено: «Сегодня женщины. Баня». Какая женщина посмеет появиться в Рахабат аль-Джамале и войти в баню?! Но зачем, спрашивается, хозяину бани вывешивать такое объявление? Никому здесь нет дела до того, что происходит вокруг. Каждый живет сам по себе. Делает свое дело, не утруждая себя заботами о ближнем. Да и к чему, собственно, лезть в чужие дела и любопытствовать, что происходит вокруг. Не все ли равно, существуешь ты для других или нет. Единственное, что они делают сообща,— это протягивают друг к другу руки, словно взывая к всевышнему, и предлагают свои товары. Нет между ними согласия, нет и разногласий. Каждый считает себя единственным во вселенной.

«Если это не землетрясение, то что же?» — думал Абу Арвах.

Полиция вскоре сняла осаду, и Абу Арвах, опасавшийся застрять здесь надолго, смог покинуть кафе. Толпа стала редеть: кто пошел домой, кто по делам. Абу Арвах шел, обдумывая свой разговор с Сааданом.

— Тахир — офицер, человек видный. Ты разве о нем не слышал? Он такими делами заправляет!

— А в каком он звании?

— Наклонись-ка, скажу на ушко.

— Значит, он изменил имя?

— В том-то и дело!.. Ужинаем сегодня у меня. Вознесем вечернюю молитву в мечети Аль-Кебир, а потом можешь отправляться куда хочешь.

— Нет уж, спасибо, не утруждай себя.

— Никаких возражений. Будем считать, что договорились. Ведь как-никак мы сваты!

Воришка Тахир Абу Арвах, сын моего беспутного брата, пьяницы, и вдруг — офицер! И какой офицер! Облеченный властью и полномочиями. Вот это да! Землетрясение — это то, что мы ощущаем. Рано или поздно все через него пройдут. Балбай его уже пережил. Нино тоже. Саадан начинает ощущать... А я? И я скоро начну его ощущать.

И забудут люди про масло и сахар, про кофе и мыло, про муку, забудут о купле и продаже, бросят воровать. Сотрясется земля своим сотрясением, и горы сдвинутся с места, рухнут скалы, и разверзнется земля, раскрыв чрево свое, и взовьются из глубоких глубин огненные языки пламени, а затем воцарится тишина.

Как сжимается грудь. Вонь все невыносимей. Мутная жижа растекается по телу. Во рту терпкий привкус, будто от горьких листьев. Отвратительный запах. Плоды кактуса. Сапожники. И снова сапожники.

Прежде чем покинуть площадь Рахабат аль-Джамаль, Абу Арвах обернулся, посмотрел на кафе, потом оглядел площадь и увидел выстроившихся в длинную очередь босых людей в грязных обносках с алюминиевыми котелками и засаленными тряпками в руках. «Общественная муниципальная кухня»,— было написано на стене.

— Их еще и кормят. Пусть думают, что в них нуждаются. Содержимое сосуда рано иль поздно все равно прольется наружу. Воришка

Тахир — важный офицер, облеченный властью. Парикмахер Омар погиб. Маклер Нино, французский прихвостень, кое-как существует и даже доволен. Доволен своей жизнью и неудачник Балбай. А Саадан, промышлявший контрабандой мыла и наркотиков,— тесть офицера, облеченного властью. Вот как все обернулось. Ты был прав, пророк Аллаха! — бормотал себе под нос Абу Арвах.— Тысячу раз прав, открыв людям знамения, предшествующие Страшному суду. И посягнут бродяги на то, о чем раньше не смели мечтать, и все изменится во мгновение ока, перевернется, и не останется ничего ни вверху, ни внизу. Вот они, предвестья Страшного суда... И этот день близок. «И содрогнется земля. Сотрясение последнего часа — вещь великая».

Оставив позади Рахабат аль-Джамаль, Абу Арвах пошел по переулку к Сиди Рашиду — кварталу, где находился мавзолей святого Рашида. Он то и дело останавливался, заглядывая в запыленные витрины магазинов и окна ресторанов, и удивлялся царившему здесь возбуждению.

Да, тут все как было, только народу прибавилось.

Парикмахер уткнулся в газету: никто не стрижется, не бреется. Даже запахов здесь вроде поменьше. Улочки и переулки с каждым шагом все уже.

Направо — частная начальная школа «Арагон». Когда-то она славилась как самое лучшее учебное заведение и тот, кому не довелось закончить его, считался неучем в среде интеллигенции, предпочитавшей всем языкам французский. Интересно, что теперь представляет собой эта школа.

Выше — Сиди Бу Инаба.

Ниже — спуск по склону, за ним — небольшая площадка, а за ней — опять спуск, более пологий, к мечети Сиди Абдель Мумин, а от мечети — крутой спуск к реке. С берега можно пройти к мосту и к мавзолею святого Рашида.

«В мечети Сиди Абдель Мумин расспрошу об Исе, сыне тетки со стороны матери, а потом уж пройду в Сиди Рашид и совершу послеобеденную молитву. Кто-кто, а Иса непременно будет на месте, в своей мечети — наверно, сидит и по-прежнему читает нараспев молитвы или обучает Корану. Пишет заклинания, принимает посетителей. Добросовестный, трудолюбивый Иса всегда отличался аскетизмом и прямотой характера, слыл образцовым суфием [1]. Он изучил грамматику, рисалю [2] и, конечно, знаком с сочинениями Сиди Халиля. Ису не интересовали житейские проблемы, и все события должны были миновать его, как и все перемены в этом порочном городе.

Вот дом с покосившимися стенами; как только начнется землетрясение, он рухнет в ущелье Ар-Руммель. Переулки настолько узки, что самих окон в домах не замечаешь, только видишь женские лица. Жены и дочери дьявола, вы порождаете ему подобных. Вам бы в пещерах жить да в расщелинах скал. Детей здесь как саранчи — целые тучи. О вестники горя! О семена зла! Да ниспошлет на вас Аллах чуму! Да содрогнется Константина и вы вместе с нею! Да разверзнется ущелье Ар-Руммель и поглотит вас!

Есть здесь и молодые парни. Они сидят у дверей своих домов, уставясь куда-то в пространство. Сидят печальные, с отрешенным видом, будто у изголовья умирающего, до которого им нет никакого дела — они уже похоронили его в сердце своем тысячу и один раз. С одинаковым безразличием будут они поворачивать штурвал самолета и во-

[1] Сторонник суфизма, религиозно-мистического течения в исламе, проповедовавшего идею познания божества.

[2] Послание — образцы речей религиозного и политического характера,— один из прозаических жанров средневековой арабской прозы *(арабск.)*.

дить лезвием по чьему-нибудь горлу, потому что чересчур заняты собой, чересчур самоуверенны.

Все здания свежевыкрашены и сверкают. Зачем? Зачем мартышке часы?

Слава богу, вот наконец и завия Сиди Абдель Мумин. Выкрашена, как и прежде, в зеленый цвет. Жизнь не остановится, покуда будут существовать такие завии, праведному мусульманину нечего волноваться. Завии вселяют надежду на то, что не будет никакого землетрясения и Аллах спасет мир, сделает все, чтобы правоверные могли вершить добрые дела, и избавит их от напастей, которыми грезят нечестивцы.

Иса сразу узнает меня, едва увидит, и обрадуется всей душой, как радуется лишь близкий человек. Он непременно скажет, что мать его умерла у меня на руках и он никогда не забудет, какие пышные похороны я ей устроил, сколько скотины забил, сколько израсходовал сахара, масла и всего прочего. А я скажу, что очень соскучился по нему и вот — решил навестить, что готов хоть сейчас вернуть ему его землю, пусть только он даст согласие, но что земля эта перейдет в его собственность лишь после моей смерти. Впрочем, зачем ставить такому уважаемому человеку какие-то условия. На его ль, на мое ли имя будет записана земля, все равно он никогда не заикнется о ней. Что и говорить, сейчас такие. как Иса,— редкость. Скромные, бескорыстные, способные устоять перед любым соблазном в этом бренном мире».

— Добрый день! — крикнул Абу Арвах, ступив на порог завии.

На его голос обернулся средних лет мужчина, который сидел в нише[1] этой небольшой мечети. Он внимательно посмотрел на Абу Арваха, кивнул ему и, прежде чем пригласить шейха войти, с деланной улыбкой еще раз окинул его взглядом.

— Пожалуйста, прошу.

Здесь, кажется, тоже кое-что изменилось. Но поглядим, что будет дальше. Пока в мечети еще встречают посетителей, дела не так уж плохи.

Абу Арвах лениво, словно нехотя, протянул руку, а служитель, не торопясь пожать ее, пристально разглядывал шейха, явно удивленный невоспитанностью нежданного посетителя, которому полагалось либо облобызать смотрителя в голову, либо коснуться его плеча или уж — на худой конец — вообще ничего не делать.

— Прошу прощения. Я хотел справиться о моем родственнике, он был здесь служителем, правда довольно давно, в самом начале войны. Я уехал тогда в Тунис. Потом надолго задержался по делам в столице и, в общем, никак не мог его навестить. Вот не могу его найти. Чем-то он похож на тебя, но ты старше намного.

— Ты спрашиваешь о господине Абу Арвахе?

— Да-да, об Исе Абу Арвахе, сыне моей тетки со стороны матери.

— Опоздал, почтенный, приехал бы пораньше...

— Как прикажешь тебя понимать? У него неприятности?

— Видишь ли, с ним случилось такое... Словом, он выбит из колеи.

— Ничего не понимаю. Говори толком.

— Что тут говорить, вступил твой Иса в профсоюз, стал профсоюзным вожаком или коммунистом, точно не знаю. Только учти, все это — между нами.

— Иса, служитель шазлитского братства, стал профсоюзным вожаком! Что это ты говоришь!

— А началось все вот как: пришел к нему однажды человек в синем комбинезоне, инвалид, без правой руки, сел перед ним и повел

[1] Ниша в мечети указывает направление к кыбле — стороне, к которой обращается лицом мусульманин во время молитвы.

такой разговор: «Как мне быть, господин, посоветуй. Я работал у Маше и вот потерял руку. Мне полагается компенсация за увечье. Но этот Маше, как ты знаешь, друг-приятель начальства. Мы создали было на фабрике профсоюз, но власти распустили его и делают что хотят. Маше не скупится на подарки кому следует. Он, уважаемый шейх,— как бы памятник ушедшей Франции. Городские власти заискивают перед ним и пляшут под его дудку. Вроде и позабыли, за что сражались алжирцы, не щадя жизни. Помнят только щедрость Маше и всюду твердят: он, мол, никогда не выступал против революции. Ты, господин, близок к Аллаху, ты участвовал в священной войне. Мы знаем, ты прятал оружие, скрывал партизан, помогал подпольщикам. Потом сам ушел в горы и храбро сражался. Но разве помнят об этом нынешние власти? Да и к чему им помнить? Они поклоняются Маше, никого другого и знать не желают. Это у нас всем известно. Заявили, что я руку потерял не на работе, и все — ничего не сделаешь, еще судить меня начали за обман. Но тут Маше решил проявить великодушие — не стал взыскивать с меня компенсацию за простой станка, а тот целых шесть дней бездействовал. Моя рука, видите ли, всему виной. Что же мне делать, господин? Ведь я должен кормить семерых детей, жену и старую мать».— «Прежде всего, подай жалобу в суд».— «Но ведь потребуется адвокат, свидетели и настоящий профсоюз, признанный законом».— «Подавай в суд, расходы я возьму на себя». Рабочий обнял господина Абу Арваха единственной рукой, и на глазах у него выступили слезы...

— Это еще не значит, что сам Иса стал работать в профсоюзе.

— Наберись терпения. На этом дело не кончилось. Прошла неделя. Явились сюда какие-то трое, поздоровались с ним и говорят: «Господин Абу Арвах, мы пришли к тебе не за благословением. Это мы сделаем позже, если будет угодно Аллаху. Мы — рабочие одного частного предприятия. Довольно большого. Устроили собрание, на собрание пришли все, кто хотел. Создали профсоюз. И все. А назавтра власти решили распустить профсоюз. Утром приняли решение, а вечером хозяин распорядился уволить нас троих — членов комитета. Растерялись мы, господин Абу Арвах, не знаем, как быть. Рабочие объявили забастовку. Через два часа нагрянула полиция и разогнала бастующих. Опять жертвы. Мы попытались связаться с представителями власти, но те не пожелали нас выслушать да еще обвинили в подрывной деятельности: мы, мол, коммунисты, иностранные агенты. Да мы не то что за границу, из Константины никуда не выезжали, ни разу в жизни, с тех пор как Аллах сотворил нас. Даже не представляем, какая нам может быть польза от заграницы, а нас обвиняют: мол, мы ей служим. В профсоюзе мы и вправду работаем, так этого никто не отрицает».— «Соберитесь с силами и обратитесь за помощью к друзьям».— «А полиция? Ты ведь знаешь, что еще не улеглись страсти после прошлой стычки».— «Тогда поезжайте в столицу. Не все, конечно, кого-нибудь одного отрядите. А другие пусть снова постараются организовать рабочих».— «Попытаемся. Непременно».— «Надо будет написать прошение или жалобу, петицию, наконец, я напишу, а за деньгами дело не станет».— «Не знаем, как и благодарить вас, господин Абу Арвах! Денег на поездку в столицу у нас действительно нет».

— А почему, собственно, эти негодяи пристали именно к бедному Исе?

— Да он же шейх, предводитель завии, в которую они ходят с самого детства.

— Но это тоже не значит, что Иса работает в профсоюзе.

— Потерпи немного. Ровно через семь дней господин Абу Арвах

сказал мне, что ему во сне трижды являлся Абу Зар аль-Гафари — кто такой этот Абу Зар, не знаю — и каждый раз говорил ему: путь, указанный Аллахом, это — служение правоверным; быть праведным — значит бороться с врагами правоверных; быть праведным — значит бороться с угнетением и эксплуатацией. Сказав это, господин Абу Арвах совершил омовение [1], помолился и покинул завию. Часа через два явились полицейские и стали о нем расспрашивать. С тех пор я его больше не видел; наверно, скрывается. Ходят слухи, что он организует забастовки, разбрасывает листовки, встречается с рабочими, со студентами — чего только не говорят. Но, я уверен, скверна эта проникла в его душу уже давно, во времена революции, а может, намного раньше. Нет покоя и в божьем доме.

— Да тяготеет над ним проклятье Аллаха и темной ночью и ясным днем.

В голосе Абу Арваха прозвучала злоба. Ему показалось, будто почва уходит из-под ног, а стены пустились в пляс. И опять грудь его стала сжиматься от навалившейся на нее тяжести, и страшила мысль, что вот сейчас темная жижа разольется по всему телу, зальет глаза, уши, голову.

Абу Арвах приложил ладони ко лбу, закрыл глаза и воскликнул:

— «О люди, бойтесь Господа вашего! Ведь сотрясение последнего часа — вещь великая. В тот день, как вы его увидите, каждая кормящая забудет того, кого кормила». Да будет так, святой Рашид! Пусть разверзнется земля, пусть рухнет этот город и вместе с ним все эти люди с их неверием и распутством.

Покинув завию, шейх Абу Арвах стал спускаться по извилистой и крутой улице Ахмеда Халиля; ему хотелось поскорее бежать отсюда, но с каждым шагом ноги наливались тяжестью. Наконец Абу Арвах в изнеможении опустился на порог какого-то дома. Собравшись идти дальше, он заметил между двумя домами узенький проход. Шейх потер лоб, подумал немного, углубился в этот проход, держась за стены, и вскоре очутился на огромной пустынной площади.

Справа — развалины. Когда-то здесь стояли многоэтажные здания, в них жили люди, они дышали, пили и ели, спали, просыпались, любили, ненавидели, страдали, распутничали. Но в один прекрасный вечер они легли спать и больше не проснулись: гора зашевелилась, и люди погибли под рухнувшими стенами.

А может, все было по-другому. Они вышли утром из дома по делам: сбыть краденое, починить обувь или купить плоды кактуса, а вернулись к пепелищу и развалинам, под которыми были погребены их жены и дети.

Шейх ускорил шаг. Ему пришлось долго спускаться по крутой улице. По обеим ее сторонам бегали стайками дети. Везде валялась кожура плодов кактуса. Небольшие окна домов были распахнуты настежь. Чуть ли не в каждом окне — женское лицо. Дома в лучах солнца выглядели опрятно, даже нарядно. Казалось, все они выкрашены в один цвет.

«Интересно, сколько кантаров краски и жира добавлено к первоначальному весу этих домов, сколько хранится в них запасов? Миллионы тонн, не меньше. Бедная гора. Как она все это выдерживает, как терпит? Ей, конечно, невмоготу, и она стонет, стонет, как человек под внезапно обрушившимся на него непосильным бременем. Но пройдет лишь малое время, и гора выкажет свое возмущение: содрогнется, потом задрожит мелкой дрожью, и все жители Константины сразу поймут, что это значит. Поймут непоправимую свою ошибку...»

[1] Ритуальное омовение перед утренней молитвой.

Абу Арвах посторонился, пропуская вперед мужчину, обнимавшего за талию женщину, закутанную с головы до пят в черную мелаю. Мужчина, должно быть, вернулся недавно из Европы и теперь прогуливался с невестой.

«Жаба ты и дочь жабы! — едва не крикнул шейх.— Одна твоя половина в воде, другая — в грязи. Очистись от грязи, если можешь. Не замутить тебе воды и не помешать пьющему испить ее».

Абу Арвах плюнул и заторопился. Сперва ему показалось, будто здесь все по-прежнему, но вдруг он заметил слева довольно обширный пустырь: здесь проходила граница вади. Пожалуй, стоит оглядеться, подумал шейх, и решить, что делать дальше.

Он обернулся. Слева зиял узкий переулок. Там в одной из дверей стояла девочка лет десяти, белолицая, глаза подведены сурьмой. «Как вызывающе она держится,— подумал шейх,— очень похожа на мою первую жену, покойницу Айшу, той, пожалуй, было столько же лет. Не повезло бедняжке, такие наряды ей и не снились».

Женился Абу Арвах по воле Аллаха на Айше, когда ей было девять лет. Недаром пророк Мухаммед — да благословит его Аллах и приветствует — сказал: не успеет женщина появиться на свет божий, как тотчас начинает обольщать мужчин. А попадет мусульманин в рай — и изволь с утра до ночи лишать девственниц невинности.

«Да, так сказал пророк Мухаммед, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Там, в раю, Аллах, велик он и могуч, тем, кто терпел и страдал, воздаст сторицей за все, чего были они лишены в этой жизни. Но я прошу у него одного лишь: пусть одарит меня детьми. И пусть каждая женщина родит мне двойню. Что может быть дороже этой милости Аллаха? Рай, конечно, находится на равнине, не возведут же его на скале, как Константину. Очень она соблазнительна, эта невинная девочка, вырядившаяся как невеста. Да падет проклятье на нее и на дьявола! Вырядилась, разукрасилась. Что заставило ее выставить себя напоказ! Ведь девушек из этого квартала позже других берут замуж. И если уж какой-то из них повезет и ее захотят взять замуж, она торопится — не дай бог, жених передумает и откажется».

Абу Арвах посмотрел направо. Внизу между ветхими постройками и ущельем лежали развалины. Присмотрев местечко подле стены — облупившейся, сплошь в зазубринах и брешах,— он стал осторожно спускаться.

До чего же глубокое ущелье, страшно смотреть. На дне — бурая вода. Течение едва заметно. Скалы, нависшие над ущельем, кажется, вот-вот обвалятся. Но если даже все дома и постройки рухнут вниз, им не заполнить этой зияющей бездны.

Шейх, подняв голову, глянул вверх: край горы сплошь порос лесом, похожим на зеленое море. Какая красота! Странно, почему люди не селятся там, а теснятся внизу, на этом тесном пятачке? Чуть ниже — плато Аль-Мансура и шоссе Сиди Мабрук.

А еще ниже, на краю ущелья,— табачная фабрика. На ней сохранилась старая вывеска: «Бен Чику...» Рядом студенческое общежитие. Едва поселились в нем студенты института Бен Бадиса, вспыхнула война. Общежитие постепенно пустело, и в конце концов там не осталось ни единого студента. «Начнись война чуть позже,— думал Абу Арвах,— мы успели бы заселить и четвертый этаж. Но что говорить, ветры дуют против хода кораблей... Откуда взялись эти постройки? А вон там что? Какое-то странное здание. Огромными, метровыми буквами по-арабски и по-французски начертано: «Курить воспрещается». Большое бензохранилище Когда гора сдвинется с места и начнется землетрясение, бензохранилище рухнет в вади Ар-Руммель, вспыхнет

бензин, запылают все запасы Константины и пламя взметнется до самого неба. И чем больше будет свершаться низменных дел, чем больше будет бесчестия и подлости, тем более грозной будет опасность, нависшая над городом. Сиди М'сид поглотит верхнюю часть города, Сиди Рашид — нижнюю, и от города ничего не останется, кроме строки в книге истории или на доске, куда записывают грехи».

Шейх еще раз пристально взглянул на вади. Почувствовал головокружение, прикрыл на мгновение глаза, а когда открыл их, увидел голубей, спокойно паривших в воздухе, будто для них не существовала могучая сила земного притяжения. Когда птицы летают высоко в небе, в его беспредельных просторах, полет их красив. Если же птицы летают внизу, вот как сейчас, полет их кажется неуклюжим, тяжелым, будто на птиц давит какая-то тяжесть.

Вдали видна часть моста Сиди Рашида. Его арочные пролеты из гранита и железобетона достигают ста метров в высоту. Мост так могуч, что выдерживает потоки огромных грузовиков с переполненными до отказа кузовами. Каким бы сильным и долгим ни было грядущее землетрясение, этот мост ему не разрушить. Он вечен, он будет стоять, если даже исчезнет зияющее под ним ущелье, если рухнут опоры. Этот мост — символ не только человеческого упорства, готовности встретить любую опасность, но и созидательного порыва человека. Тот, кто укроется на мосту, когда содрогнется гора и город начнет исчезать, быть может, спасется. По просьбе святого Рашида Аллах внушит всем благочестивым правоверным мысль укрыться на мосту. Крупные землевладельцы, хозяева заводов, богатые торговцы, имамы[1] мечетей окажутся во время сотрясения на мосту Сиди Рашида.

Подумав так, Абу Арвах почувствовал облегчение и двинулся дальше. Вскоре он снова увидел нарядно одетую девицу с глазами, подведенными сурьмой, остановился и оглядел ее. У девушки была высокая грудь, тонкая талия, округлые бедра и крепкие, мускулистые ноги.

— В доме, где раньше жила одна семья, теперь ютятся десять. Люди спят вповалку. Все смешалось в этом городе...

Шейх не заметил, что сам с собой разговаривает. Вдруг он услышал:

— Здесь нет прохода, почтенный.— Это сказал какой-то мальчик.

— Как же мне попасть к мосту? — спросил шейх.

На улице, где он на минуту остановился, соображая, в какую сторону идти, он не нашел ни одной таблички: улицы и переулки здесь не имели названий и были все на одно лицо.

— Поднимешься вверх,— ответил наконец мальчик,— на первом же перекрестке поверни налево и иди вниз по улице Курнае, пока не увидишь развалины. Там спросишь.

У подножия моста, под его огромными арочными пролетами, неподалеку от центра по борьбе с проституцией стоял мавзолей святого Рашида. Когда-то, конечно, он располагался на вершине холма и был виден отовсюду, но постепенно опускался все ниже и ниже, пока не очутился здесь, в уединенном уголке. Неужели святой Рашид доволен тем, что оказался внизу?

— Как ты попал сюда? Зачем? Что-то странное с тобой происходит,— говорил сам с собой Абу Арвах, стоя перед низкой темно-зеленой дверью, ведущей в мавзолей.— Ну зачем ты пришел сюда? Поклониться святому Рашиду? С каких же пор ты уверовал во все эти мавзолеи и гробницы? Вспомни, ведь вместе с шейхом Бен Бадисом ты столько сил отдал борьбе с культом местных святых, со всякими поверьями, вспомни, сколько раз призывал ты людей вернуться к истин-

[1] Духовное лицо, руководящее молитвой в мечети.

ному исламу. Разве поклонение могилам — не ересь, не выдумка простонародья? Нет, конечно нет... По правде говоря, ты всегда поклонялся им, с тех пор как помнишь себя, но в своих проповедях часто говорил другое. Да и чему удивляться? Все это — часть нашего великого и давнего прошлого, подобного горе, на которой стоит Константина: стоит вывалиться одному камню, и гора придет в движение. Все начинается с пересмотра обычаев, традиций, поверий, а там, глядишь, пошатнулись и сами устои жизни. Чего только не используют вероотступники в своих целях! Берут идеи истинных мужей науки и религии и давай их коверкать. Ты что же, не был согласен даже с Бен Бадисом?.. Не был, ну и что? Я считал и считаю законным все, что связывает Аллаха с простым народом, даже поклонение идолам. Конечно, я никогда не говорил об этом вслух. Внушать народу, что надо забыть культ святых, не поклоняться их могилам,— все равно что призывать к неверию в слово божье или отрицать необходимость борьбы с бедностью... Религия неделима. Она лишь одна связывает простой народ с Аллахом и с прошлым. Любая попытка отделить религию от прошлого, от всего, что было создано в прежние времена и укрепилось в сознании простых людей, это не что иное, как борьба с самой религией... Пойду поклонюсь святому Рашиду! — воскликнул Абу Арвах.

Он толкнул темно-зеленую дверь: довольно большой внутренний дворик весь был покрыт цементом. В конце двора, в левом его углу,— мечеть, сразу же за ней — дверь, ведущая, видимо, в жилое помещение. Еще дверь, тоже в жилое помещение. Затем — дом. На пороге сидели две старухи. Возле одной стояли несколько плошек и котелок — она старательно перебирала недозрелую пшеницу для фарика [1]. Навстречу Абу Арваху поднялась вторая старуха.

— Ты пришел поклониться? — спросила она.

— Да!

— Пожалуйста, прошу, святой Рашид — перед тобой.

Внимание шейха привлекло изображение головы злого духа на коне. И духа, и коня рассекает надвое меч святого Али. Все ясно. Детали не нужны. Такая картина никогда не причинит вреда. Напротив, она лишь укрепляет веру в то, что все враги Аллаха, сколь бы ни были они могучи, будут повержены в прах. Тот, кто не почитал Али как халифа, чтил его как героя. Развенчали как халифа — возвеличили как героя. Народ — как дитя малое, у него всегда все легко и просто: потеряет что-нибудь или сломает, сразу же спешит найти замену, чтобы смягчить горечь утраты.

«Помню, спросил я как-то шейха в мечети Аз-Зитуна... можно ли считать курение разговением, как иногда принято? (Он как раз в это время подробно объяснял ритуал разговения: «Проходит через горло, затем попадает в желудок и там переваривается...») — «Только когда соблюдены все три условия,— ответил шейх,— можно говорить о разговении, во всяком случае, так принято в маликитском толке. Поэтому курение никак нельзя отнести к разговению. Здесь не соблюдаются два последних условия...» — «Почему же мы не скажем об этом людям?..» — «Потому что они не поймут нас. Кроме того, и в этом, пожалуй, суть, пусть считают курение разговением, иначе и об этом забудут!».

Мечеть совсем крошечная. Метров десять — двадцать, не больше. Слева — невысокий, без всяких украшений минбар [2], справа — сам мавзолей. Потолок, пол и стены вместо ковров или ковриков покрыты кусками плотной материи. Кое-где висят бронзовые люстры, по одной

[1] Блюдо из поджаренной недозрелой пшеницы.

[2] Кафедра для проповедей *(арабск.)*.

лампочке в каждой, да и те не горят — не подведено электричество; но это, судя по всему, никого не волнует. Близ усыпальницы, укрытой видавшим виды зеленым покрывалом,— несколько свечей. За усыпальницей неподвижно сидит старушка; втянув в плечи тонкую шею и подавшись всем телом вперед, она не спускает глаз с Абу Арваха, словно боится, как бы он не посягнул на собственность святого Рашида.

Но Абу Арвах, стоя возле минбара, смотрит прямо перед собой и повторяет:

— Аллах велик.

«О угодный Аллаху святой Рашид. Девять долгих часов провел я в пути, чтобы из столицы попасть в это пекло. По делу, что очень волнует меня да и всех благочестивых и праведных правоверных, коим Аллах от своих щедрот пожаловал землю. Я ничего не таю от тебя, ибо ты ведаешь все, что творится в душах людей. Я прибыл сюда, чтобы не дать властям прибрать к рукам мою землю,— переписать ее на имя родичей, но при условии, что она перейдет к ним лишь после моей смерти. Но вышло так, о угодный Аллаху святой Рашид, что я не нашел никого из родных. Один пал в сражении, другой стал офицером, дослужился до большого чина, облечен властью. А офицеры, сам знаешь, святой Рашид, всегда верно служат правительству, если даже в душе и недовольны им. Кому из них есть дело до земли? Им подавай фабрики, разные там проекты, самоновейшие машины! А третий... Ох, уж этот третий! Он был надеждой семьи, все верили, что ему уготован рай после смерти. Скромным был — настоящий аскет. Служил в завии Сиди Абдель Мумин. А стал... Знаешь, кем стал он, святой Рашид? Страшно даже подумать. Коммунистом! Подстрекает рабочих к забастовкам, сбивает с толку учеников и студентов, побуждает правительство к принятию дьявольских мер, угодных одним безбожникам да еретикам. Я обещаю тебе, святой Рашид, поставить свечу, нет, целую коробку свечей, если ты сделаешь так, чтобы никто не отнял у меня землю, у меня и у других верных рабов Аллаха. Сердца этих безбожников полны злобы. Они не принимают даров, не внемлют советам, они ослеплены высокомерием; есть лишь два способа покончить с ними. Либо сжечь их в геенне огненной. Либо наслать на них землетрясение. А обет свой я выполню, о святой Рашид!»

— Где же подношение? — спросила старуха, открывая перед Абу Арвахом дверь.

— Я дал обет,— отчетливо произнес шейх, и глаза его сверкнули,— я вернусь, как только святой Рашид исполнит мою просьбу.

Абу Арвах быстро вышел за дверь и стал осторожно подниматься по лестнице, ведущей к мосту. Теперь он знал, куда должен идти.

«А эта игривая девица волнует кровь,— размышлял по дороге Абу Арвах.— Как же это я забыл попросить святого Рашида, чтобы Аллах послал мне потомство. Впрочем, я еще не выбрал невесты. Знаю лишь, что женюсь на молоденькой. Сойдет и та, подкрашенная, она не хуже других, пожалуй даже лучше. О святой Рашид, обещаю тебе по коробке свечей за каждое зачатие».

Ну вот и кончилась лестница. Прежде чем ступить на последнюю ступеньку, шейх оглянулся снова и окинул лестницу взглядом: пока доберешься до моста Сиди Рашид, забудешь, какая под ним пропасть.

Шейх остановился перевести дух.

Внизу — проулок Рамбулье, здесь все как было. Базар. Чем только там не торгуют! Мужчины и женщины, молодые и старые, в самых разных одеждах сидят на земле, окутанные дымом пекарни. Перед ними — куски картона, ткани или пластика, на которых разложены ржавые ключи, кривые гвозди, поломанные краны, залатанная одежда, поношенная обувь, куски черствого хлеба, грязная, с комками, мука.

А вокруг словно ограда из кожуры плодов кактуса. Вверху — Рахабат аль-Джамаль и Ас-Сувейка. Кажется, будто столичную Касбу с ее невысокими домами, мечетями, медресе, руинами и арками перевернули вниз головой и разместили в этом квартале. Двускатные черепичные крыши коричневатого цвета, сохранившиеся со времен Ноя. Старая, завалившаяся во многих местах, изгородь. Стены покосились и нависли над склоном. Десятки домов — все в трещинах, многие пустуют. Они как бы опираются друг на друга, поддерживая видимость своего существования, иначе давно бы рухнули. На всем квартале лежит печать смерти и разрушения — зловещее предостережение всем живым. На крышах домов — кошки. Одни, свернувшись калачиком, дремлют на солнцепеке, другие носятся друг за другом, играют, третьи, удобно устроившись у рожков телевизионных антенн, озираются, как и сами антенны. В окнах — тряпки, женские лица, бутылки с водой, заткнутые ветошью, длинные связки красного и зеленого перца, ростки в глиняных горшочках, цветы в консервных банках. Эти цветы навевают печаль. Точно такие высаживают на могилах или просто кладут на надгробья. Да и сами дома похожи на могилы; если святой Рашид не перевернет здесь все вверх дном, квартал превратится в кладбище.

Запахи здесь не такие резкие, как всюду. Автомобили мчатся с головокружительной быстротой, будто владельцам их нет дела до моста, содрогающегося под напором машин. Кругом толпы людей, стариков больше, чем молодых.

Впереди — панорама площади Аль-Кубра. Театр и почта, здание бывшего поста французской патрульной службы. Подальше, налево, насколько хватает глаз, от гостиницы «Сирта», на выгнутых полумесяцем террасах разбежались по склону высокие дома с огромными окнами. Краски спокойные, не броские. Меж домами — темная зелень сосен и олив. А по бокам от домов — яркие пятна, желтые и красные, вроде пунктиров и точек. Это поля, небольшие постройки, голые скалы, и так до самого горизонта.

Когда идешь мимо вспаханного или сжатого поля, кажется, будто во всей вселенной царит покой. Он умиротворяет сердце, и радуешься при мысли, что Аллах не забывает щедро вознаградить рабов своих, а всякий грех, совершаемый еретиками, порождает у него гнев. Земля принадлежит тем, кто ею владеет сейчас. Тем, кто ею владел всегда. По-другому не будет. Право собственности на землю дается не всякому — как ум и талант. Земля есть земля. Собственность есть собственность. Она не зависит от человека, ей неважно, беден ты или богат, сыт или голоден. Для собственности не имеет значения, приносит она доход или нет. Она существует. И в этом ее смысл. Право собственности на землю куда важнее, чем сама собственность. Это право дает достоинство, власть, возможность возвыситься тем, кто хочет приблизиться к Аллаху и его пророкам, короче — все, чего лишены многие, не имеющие этого права.

И эта истина вечна. А какая у них истина? Один смотрит на землю глазами собственника, другой — арендатора, получающего за труд лишь пятую часть урожая, для третьего она — источник дохода: вывез урожай за границу — получил твердую валюту; есть и такие, кто облагают землю высокими налогами.

«Велико твое терпение, святой Рашид! Поспеши, поторопись. Добрые дела нельзя откладывать. Всепожирающее пламя геенны огненной или страшное землетрясение? Уничтожь ты это правительство, похорони всех бедняков, рабочих и студентов, всех, кто вступил в профсоюзы. И возродится тогда новый народ — из одних лишь господ и знати».

Абу Арвах поморщился и вновь ощутил, как встал в горле горький комок. Он пошел быстрее, но, не дойдя до конца моста, остановился и задумался:

«Остались только Гарабили и Барадаи. Среди них уж наверняка нет ни офицеров, ни павших борцов и в помине нет коммунистов; они верны своему делу и не променяют торговлю ни на что другое. Так, по крайней мере, я думаю и надеюсь, не ошибся. Хотя, кто знает...»

Сразу же за мостом слева — бензоколонка и здание бывшего поста французской патрульной службы. Чуть дальше, вниз по склону, улица, на которой была стоянка такси, ездивших из Константины в Аннабу. На углу — кафе «Аль-Мустакбаль». Справа—длинный торговый ряд со сладостями и парфюмерией, заслоняющий подход к Рамбулье, а дальше — узкие улицы, ведущие вверх, к самой площади.

Подумать только, в этом городе людям еще нужны духи!

Абу Арвах свернул направо и поднял голову: улица Бунаба Али. Кинотеатр стоит на месте. Летят куриные перья. Здесь же, на улице, готовят еду. Запахи крепчают, их уже можно различить. Прислонясь к стене, сидит старуха с лепешками в руках и громко разговаривает с кем-то, невидимым отсюда:

— Вот я и говорю, сестра, ихний хлеб годится только в бульон, уж больно он черствый. Слава богу, хоть такой дают, да пошлет им Аллах свою милость. Эх, не зря сказано: лучше спокойно есть горькую луковицу, чем с опаской — курицу... А я и говорю, сестра, сына ее убили на этой свалке Буль-Фараис, а ей поранили грудь и руку. Вцепилась она в банку сардин, ну ей и тяпнули по руке тесаком. Вот так-то...

Вдоль стены, заполонив весь тротуар, расположились старики и старухи: составители документов, переписчики и гадатели на песке, толкователи гороскопов — их здесь великое множество.

— Единственный он у меня, о великий и могучий,— услышал Абу Арвах.— Он свет очей моих. В нем вся моя жизнь. Записался он ехать во Францию и билет на пароход купил, но пока не едет, все ждет чего-то. Напиши ему такой талисман, чтоб не ехал, со мной остался. Нет, нельзя ему здесь оставаться, никак не найдет работу, кое-кто из друзей его нашел, а ему не везет. Ты уж напиши ему талисман на счастье, о великий и могучий.

— Может, еще и никуда не уедет твой сын. Опоздает на пароход и останется с тобой.

Рядом с ними, напротив другого предсказателя, сидевшего на маленьком коврике, поджав ноги, опустилась на колени женщина в мелае.

— Двенадцать женихов сватались к ней, почтенный, и все потом отказались. А ведь дочь моя не уродина, не калека — красавица. Шьет, кроит, вышивает — руки у нее золотые. Вся вина ее в том, что первый жених от нее отказался и женился на соседской девушке.

— Смилостивится над ней Аллах, и выйдет она за тринадцатого жениха.

— Если можешь, сделай, чтобы она вышла за одиннадцатого, прошу тебя. Он сирота, да и дом у него свой.

— Выйдет твоя дочь за одиннадцатого, если будет на то воля Аллаха.

Неподалеку стоял юноша и читал газету. Мужчина средних лет в одежде марокканца чертил на песке, рассыпанном тонким слоем по небольшому платку, линии и круги и что-то тихо говорил деревенскому парню. А тот, уставясь неподвижно в пространство, слушал, боясь пропустить словечко:

— Везде зелень. Перед тобой зелень, позади тебя зелень. Сам посмотри: между тобой и твоим счастьем — змей о семи головах. Пря-

мо за тобой след в след движется дух-двойник женщины-иудейки с семью сердцами в груди. Я должен отрубить все головы змея и отсечь ноги у духа-двойника. Поездку, которую ты задумал, отложи. Вокруг тебя зазеленеет. Не трогайся с места, жди, получишь казенную бумагу, и сердце твое возрадуется.

— Не видать ему никакой бумаги, об этом побеспокоится святой Рашид,— проворчал Абу Арвах, поспешая прочь.— Что ему делать здесь? На что смотреть? Ведь он как-никак не турист.

Проходя мимо одного из домов, он увидел табличку с красно-зеленой надписью: «Фронт национального освобождения. Отдел пропаганды и информации». И тут до его ушей донеслось:

— Пиши! Хоть самому президенту! Так и напиши, что Иса Абу аш-Шаир, что был с тобой в горах, обижен и оскорблен. Как и другие правоверные, он женился четыре года назад. Но они не сошлись характерами, такое может случиться с любым правоверным. Он развелся с ней и отправил назад в дом отца. А она возьми да подай на него в суд, и присудили ему уплатить бывшей жене пятьсот динаров — как возмещение. Сумма-то невелика, да только Иса нигде не работает. Так уж вышло: не умеет Иса Абу аш-Шаир ни писать, ни читать, зато он — муджахид, боец армии национального освобождения, и не может соглашаться на любую работу, унижая свое достоинство. Прошло четыре года — Иса Абу аш-Шаир и думать забыл об этой истории, как мог позабыть о ней любой правоверный,— и вдруг получает он повестку в суд, и его приговаривают к шести месяцам тюрьмы и штрафу в две с половиной тысячи динаров... Пиши. Пиши. Так и пиши: мол, он знает меня, пусть вспомнит, как я был с ним в горах. И еще припиши: если он не поторопится, пусть ищет меня в тюрьме.

— Барадаи в Рахабат ас-Суфе. Гарабили в Бардо,— размышлял вслух Абу Арвах,— начну, пожалуй, с Бардо, это поближе.

Шейх свернул налево, за угол, и быстро зашагал по проулку, словно убегая от шума, стоявшего на улице Бунаба Али.

4. *Маджаз аль-Ганам*

Шейх Абдель Маджид Абу Арвах решил было повернуть направо и пойти по улице Шитура Омара, чтобы потом спуститься по проулку — сразу же за почтой: так было намного ближе. Шейх ругал себя за этот утомительный марш по улице Бунаба Али. Однако толпа, запрудившая всю правую сторону улицы, и голос из динамика, выкрикивающий имена, вынудили его замедлить шаг.

Бросив взгляд на одну из вывесок, шейх прочел вслух: «Дом профсоюзов» — и стал вглядываться в лица парней и девушек, но ничего особенного в них не нашел. Серьезные, внимательные глаза, негромкие голоса, неторопливые жесты. «Будто сидят подле больного, обреченного на смерть. Начни, о святой Рашид, отсюда... с этого дома, с этих людей, они чужды мне и непонятны».

Из дома вышел офицер, спустился по широкой каменной лестнице и стал подниматься вверх по улице. Абу Арвах решил подождать его и остановился.

«Расспрошу-ка его о Тахире Абу Арвахе,— подумал шейх.— Сам Аллах его мне послал. Он наверняка знает Тахира, а Тахир может помочь мне и прочим землевладельцам, всем знатным людям и имамам. Так и быть, запишу на него свою землю. И в знак благодарности вместе с другими землевладельцами помолюсь за него Аллаху и по-

прошу святого Рашида помочь ему. Да, Тахир должен сделать все, чтобы наш план удался, а это куда важнее, чем землетрясение или неверие, растлевающее души. Впрочем, нет, не буду обращаться к этому офицеру, спрошу лучше у Абд аль-Кадера, моего двоюродного братца, уж он-то наверняка общается с Тахиром. Увы, работа в школе отвлекла меня от моих личных дел, я позабыл напрочь, что я крупный землевладелец и именно это для меня главное. Да еще дьявол противоречий поселил во мне сразу ученого-богослова и финансиста. Прав был шейх Айдир, тысячу раз прав — я даже в собственной семье не смог создать прочной опоры. Все ждал, что Аллах пошлет мне наследника и будет у меня верный помощник. Но недаром говорится: ветры дуют против хода кораблей. Что ж, сделаю еще одну попытку. Сейчас самое время для серьезных дел: преподавать, а тем более руководить крупным учебным заведением — это что-нибудь да значит. Бог с ним. Для борьбы с врагом все средства хороши. В моей школе, к примеру, все время идет борьба с неверием и всякого рода извращениями среди молодежи, особенно среди тех, кто готовится в будущем взять в свои руки бразды правления. Ведь многие из них стремятся в университет, чтобы бороться против засилия коммунистов. Это ли не важно!.. Интересно, что делают здесь эти молодые ребята?»

Заметив возле кафе какого-то старика, стоявшего, прислонясь к стене, Абу Арвах оглядел его и, повысив голос, спросил:

— Чего они тут собрались?

— Пришли проверяться — на комиссию. Это все — добровольцы. Будут строить дорогу в самом сердце пустыни...

Не дослушав старика, Абу Арвах повернулся и, даже не поблагодарив, пошел дальше. Он шагал все быстрее, будто кто-то подталкивал его в спину. Может, лучше вообще никого ни о чем не спрашивать? Тут он увидел на кафе вывеску: «Образцовое предприятие» — и в недоумении остановился. Странное название. Большие позолоченные буквы. Что все это значит? Он заглянул внутрь: ну прямо этнографический музей. Зал битком набит возбужденными людьми со всех концов провинции, старыми и молодыми, по-разному одетыми. Старухи, старики, мужчины средних лет, парни в обнимку с девушками.

«Ни стыда, ни совести,— думал Абу Арвах.— Здесь смешалось все: профессии, возрасты, сословия, мужчины и женщины, имущие и неимущие. Сущая круговерть! Все они растеряны, будто не ведают, что творят, чего им надо; волнуются, трясутся. Круговерть. Похоже, они на дне реки, придавлены тяжким грузом».

Абу Арвах вошел в парк. Благоухание цветов. Яркие краски. Высокие, застывшие в безмолвии деревья. Жары не чувствуется. Но от суеты и здесь не спрячешься.

Даже тут торгуют!

Мальчик с ведром моченого гороха. Напротив — мужчина с корзиной свежих фиников между колен. Он уселся под зеленой табличкой: «Сидеть на траве запрещено». Чуть дальше — мальчик, у ног его ведро, полное плодов кактуса, мальчик держит длинный кинжал, то и дело отпугивая им ребятишек, лезущих к нему со всех сторон. Скамейки из камня. Неподалеку — продавец чая. Его огромный кипящий чайник стоит на самодельной переносной печурке с углями. А там — еще один продавец, еще и еще... Все в грязной деревенской одежде. Шныряют взад-вперед. Сидящие на скамейках подзывают их, берут чай, возвращают стаканы. Под деревом в укромном уголке пристроился фотограф с подержанной фотокамерой. Другой фотограф, третий, четвертый. Детские велосипеды — большие, поменьше, совсем маленькие.

На каждом шагу чем-нибудь торгуют. На каждом шагу — продавец и покупатель, вор и жулик. Пророк, велик он и могуч, конечно, благословил торговлю, но не такую. Что это за торговля?! Скорее попрошайничество.

Ну, чего ради бросили они свои деревни и пустыни, ворвались в город, а теперь выставляют перед правительством свою бедность?

Шейх не скоро добрался до гостиницы «Сирта». Она выглядела более чем скромно. Интересно, как там внутри? Кто из алжирцев в ней живет? Тахир Абу Арвах, когда бывает здесь, наверняка останавливается в «Сирте».

Шейх подошел к гостинице и стал разглядывать высившийся напротив департамент земледелия, изображения на его стене шейху не понравились. «Странное дело,— подумал Абу Арвах,— вместо того чтобы изобразить трактора, лошадей и всадников, они нарисовали жнецов, пахарей и дровосеков. Неужели эта мазня по вкусу колонистам и пашам, жившим в гостинице? Я был чересчур беден для такого отеля, хотя с моими соседями-колонистами, которые часто здесь бывали, у меня сложились неплохие отношения. Тебе уготованы ад и геенна огненная, Ибн Халдун. Ты еретик, а не историк,— возмущался Абу Арвах.— Ты хитроумный, ты безбожник. Ты избрал весьма неподходящий способ, чтобы проповедовать свое безбожие, не подвергаясь опасности».

Он так и не решился зайти в гостиницу и стал спускаться по улице. Сразу же за отелем, слева, стояли глинобитные домики. Справа высилась стена, отделявшая квартал Бардо от Аль-Кадии. Дальше — кафе «Мерцающие звезды». Еще дальше — стоянка государственных автобусов, кафе «Тысяча и одна ночь»... Из-за дома выглянуло дерево. Резко застучали костяшки: немолодой мужчина с изрытым оспой носом не посчитал зазорным для себя сесть за один стол с подростком.

— Эй, хозяин!

— Слушаю.

— Кофе.

— А мне чаю.

— Твой взнос?

— Нет, это на первом сбрасывании,— возразил мужчина с изрытым оспой носом.

— Поспеши, святой Рашид, поспеши! — произнес Абу Арвах и огляделся с воинственным видом.

Неподалеку разгорелся спор:

— Ты смешал кости!

— Клянусь Аллахом, нет!

— Игра в открытую. Это не по правилам!

— У меня просто упала одна кость!

— Перемешай их, тебе говорят. Это у вас в Сетифе так играют!

— В Сетифе или Аннабе — лимонад за тобой, хочешь не хочешь.

Ошалелый шейх медленно удалился от кафе, затем прибавил шагу. «Коробку свечей поставлю, святой Рашид. Алжирская Сахара пустынна, там никого и ничего нет. Если когда-нибудь Тахир Абу Арвах оправдает мои надежды, всех, у кого нет лавки, нет должности, земли, работы — ни на фабрике, ни в поле,— пускай вышлют туда, в пустыню.— Хозяин закрыл магазин и куда-то ушел. «Одежда для красавиц».— Не мог найти названия получше! Ого, какая богатая мечеть!»

Абу Арвах, начав было разглядывать ее, услыхал тихий голос:

— Раньше здесь был кинотеатр. Хозяин купил его у одного француза за бесценок. Но когда правительство решило национализировать кинотеатры, этот ловкач, будь он проклят, не придумал ничего лучшего, как превратить кинотеатр в мечеть, чтоб сохранить за собой здание.

«И правильно сделал»,— подумал Абу Арвах. Голос между тем продолжал:

— Пока деньги текли к нему в карман, он и не думал о мечети. Но прознав, что кинотеатр могут отобрать под школу, поликлинику или... словом, на нужды общества, он тут же его прикрыл. Да еще решил хитрец показать: ему, мол, имущества не жаль. Но с национализацией он никогда не примирится, как и с социализмом.

«Вот — настоящий герой!» — хотелось крикнуть Абу Арваху. Один из стоявших рядом парней с иронией заметил:

— Но ведь правительство, которое попалось на эту удочку, направляется не кем-нибудь, а Аллахом.

— Пока речь идет об одном, пусть нескольких кинотеатрах,— сказал другой парень,— еще можно терпеть. Главное, кино теперь не в частном секторе, а в государственном и доход от него идет муниципалитету.

Абу Арвах слушал их молча, с каменным лицом. В нем уже закипало возмущение, и взгляд его близоруких глаз, устремленный на парней, был полон раздражения и горечи. На стене дома, стоявшего напротив, у самой лестницы, которая вела к какой-то улице, Абу Арвах прочел: «Закон Граммона от 1850 года запрещает мучить животных». Шейх с изумлением перечитал эти слова: для чего вдруг здесь такая надпись и кто такой Граммон? Улыбнувшись собственным мыслям, он зашагал дальше, краем глаза читая надписи на стенах: «Шантале и братья», «Перевозка пассажиров: Константина, Айн аль-Бейда, Ханшала, Тебесса, Сидрата, муниципалитет — муниципалитет Константины — департамент водных ресурсов и общественных реформ».

«Поверну, пожалуй, налево, сокращу себе путь».

И вдруг Абу Арвах услышал: «Полиция! Полиция!» — и остановился.

Мальчишки бросились врассыпную, гремя мисками и подносами с мясом, сверкая кинжалами. Полицейская машина проскочила мимо, и мальчишки прибежали обратно. Тут поднялся невообразимый шум, послышались крики, вопли, со всех сторон сбежались дети, подошли и несколько взрослых.

На земле лежал мальчик, в животе у него торчал кинжал. Кровавое пятно на одежде растекалось все шире.

— Он упал и напоролся на свой кинжал.

— Его толкнули.

— Никто его не толкал.

— Ведь он умрет.

— Ай-ай-ай.

— Надо остановить какую-нибудь машину и отвезти его в больницу.

— Омар дал ему подножку.

— Не Омар! Абу Джума!

— Он сам упал. Сам!

— Смотрите, он умер.

Тотчас мальчишки — продавцы мяса попрятались кто куда. Мальчик остался один лежать на земле, свернувшись калачиком, его обступили несколько мужчин и старух. Абу Арвах плюнул и с тайным злорадством стал не спеша спускаться по широкой каменной лестнице, образующей тихую улочку.

Он вытер пот со лба и почувствовал себя так, будто погружается в затхлый колодец, из которого невозможно выбраться. Замедлив шаг, он обернулся: из-под здания муниципалитета сочилась застоявшаяся вода, оттуда тянуло гнилью и плесенью. Слева был забор из

колючей проволоки, за забором — большая казарма. Одну ее половину занимала воинская часть, другую — продовольственный склад.

— И здесь тоже склад!

Улица разделилась. Направо уходили лачуги: одна — из глины, крытая жестью, другая — жестяная, крытая глиной. Несколько жилых строений. Всюду тряпье, доски, листы жести. Грязная, бурая вода струится из-под жилищ, растекается ручейками, они сливаются в широкий поток, бегущий вдоль улицы.

Когда святой Рашид решит наконец уничтожить город и всех его жителей, покончить с бесчинствами и пороками, это не потребует большого труда. Стоит одному лишь зданию из квартала Аль-Кадии рухнуть на здешние лачуги, и они тотчас рассыплются в прах, а вода унесет этот прах в вади Ар-Руммель.

Из-за угла появились три женщины с открытыми лицами. Шейх окинул их взглядом:

«Очень бледные, но в самом соку... Брови какие густые... Глаза чуть навыкате. Эта — в брюках, та — в широком свободном платье, третья — в короткой юбке, ноги свои показывает, ноги красивые, длинные».

— Он говорит: давай махнем в Оран,— сказала одна из женщин.— Побудем там недельку и — назад.

— Никуда я не поеду.

— Что тебя держит в этой могиле? Да здесь кружка пива дороже воды из Земзема [1]!

— С ним еще двое. Мы с ними не знакомы.

— Ну и что?

— Нет, я никуда не поеду, сейчас в Константине пойдут свадьба за свадьбой.

— Снова плясать всю ночь за полсотни динаров, а утром твой парень наложит на них лапу. Поедем с нами в Оран, хоть на денек-другой, немного рассеешься, не пожалеешь.

Когда они поравнялись с шейхом, одна из них громко запела: «Эй, Хамуд, эй, сосед! Погляди-ка мне вслед!»

Шейх с наслаждением вдохнул аромат духов. Обернулся. Но аромат растаял, и шейх ощутил зловоние. Он снова огляделся и тут лишь разглядел какие-то черные лоскуты, разбросанные по обеим сторонам улицы. Оказалось, это козлиные шкуры.

Шейх вспомнил мальчика, распростертого на земле, детей, размахивающих кусками мяса и кинжалами.

«Не будь мое дело столь важным и срочным, ни за что б не уехал из столицы. Да и тут можно было бы отдохнуть в гостинице, а завтра заняться делами. Нет, нельзя откладывать на завтра то, что надо сделать сегодня. Не так-то просто перехитрить правительство. Вон, Балбай говорит, я и так слишком поздно спохватился. Пожалуй, он прав, но я думаю, какое-то время у меня еще есть. Я и крестьянин, я и директор, я и ученый — и ничем не занимаюсь всерьез, вот и выходят у меня одни промашки. А надо быть твердым, решительным. И всегда рассчитывать на худшее. Да, надули нас, здорово надули. Обличий у них много, а показали они нам поначалу только одно! Но главное, я здесь, в Константине. Надеюсь, мне удастся найти моего двоюродного брата Абд аль-Кадера, у него душ семь или восемь детей, сговоримся — и запишу землю на всех. Конечно, у племянника моего Тахира побольше прав, чем у всех прочих. Он офицер, у него и власть в руках, он многое может. Абд аль-Кадер наверняка поможет мне его найти. Знал бы я тогда, что воришка Тахир

[1] Священный колодец при храме Кааба в Мекке.

выйдет в начальники, не задумываясь, ссудил бы ему сумму, которую он просил. Кто мог предвидеть такое? Ценность динаров росла, а франк начинал исчезать. Торговать было не просто, а Тахир в этом деле был новичок. Как я мог ему довериться? Но он не должен бы помнить зла, ведь я его дядя».

Вдруг до шейха донеслись голоса:

— Моторостроительный завод, говорят,— важное дело.

— Да уж, в Константине он будет весьма кстати, у нас ведь как-никак сельскохозяйственный центр всего Северного Алжира.

— Все учтено. Эксперты, инженеры, специалисты. Алжир не стоит на месте.

— Что я могу сказать? Ты прав и в то же время не прав. Так уж у нас повелось — одна рука строит, десять разрушают. Оно верно — государство строит заводы. Но эти сучьи дети берут на работу только по знакомству или за взятку.

— Ну и дела!

Конца разговора шейх не расслышал.

Солнце палило нещадно. И снова шейх почувствовал, как подступает к горлу горький комок.

Во время землетрясения гостиница «Панорама» рухнет, земля под нею осядет и она покатится с горы вниз. Завод, о котором болтали эти двое, тоже давит на гору, и она вот-вот сдвинется с места. Глупцы!

Шейх вдруг наткнулся на какое-то строение довольно мрачного вида — сплошная стена с пробитыми там и сям окнами. В окнах — связки перца, тряпки, старая посуда. Оно выделялось на фоне квартала и явно соперничало с «Панорамой».

В этом доме наверняка обитают временные жильцы, а мрачным и темным, его, пожалуй, оставили в угоду жителям соседнего квартала, чтобы не раздражать их, не будоражить и чтоб никакое другое здание, кроме их собственного дома да знаменитой «Панорамы», с которой все давно примирились, не привлекало внимания. Это понятно. Потом, если перекрасить здание, жители окрестных хижин и лачуг воспримут это как тяжкую обиду.

«Вот я, кажется, и у цели,— подумал Абу Арвах.— Обогну это здание, пройду еще метров пятьдесят и будет лавка. Бедняга Абд аль-Кадер, сколько лет мы не виделись! Но он небось сразу узнает меня».

На повороте Абу Арваха догнали двое, и он услышал знакомый говор родной деревни:

— Но ведь это же здорово! Бриллиант в оправе для красавицы Константины.

— Не только для Константины — для всего Алжира.

— Она построена на пожертвования народа.

— Тут и правительство сделало свое дело.

— И ислам тоже.

— Слава Аллаху!

— Вот только название мне не нравится. Мечеть эмира Абд аль-Кадера. Подумать только: эмира Абд аль-Кадера?!

— Да, эмир — это уж слишком. Назвали бы проще: святого Абд аль-Кадера.

— Главное, чтобы новая власть поддерживала религию и чтоб у власти стояли люди набожные, испытывающие страх перед Аллахом.

— Пошли прочь! — проворчал Абу Арвах, посторонился и, провожая их взглядом, задумался...

Нет, никому из жителей этого квартала в раю не бывать. Это уж

точно. Ни молитвами, ни постами не умилостивите вы Аллаха. Не верит он вам. Даже в геенну огненную вам не попасть... Будете как скот, как жалкие козявки. Вы это заслужили. Ни у Аллаха, ни у ангелов его, ни даже у воинов в аду не найдется времени для вас. Пошли прочь! Идете по дороге, болтаете о правительстве, похваливаете его. Одного завод радует, другого — мечеть, третьего, может, и вовсе — профсоюзы, коммунизм или тюрьма. Вот попадете в пустыню Ин Салах, или Адрар, или в горы Ахаггар — поболтаете о правительстве, там вам покажут!

— Добрый день! — крикнул Абу Арвах, остановившись у входа в лавку, где пахло жареным мясом, и с удивлением и любопытством уставился на парня, стоявшего у огня.

«Уж не его ли это сын? Только вот ни капельки не похож на нашу родню. Не поймешь, что творится в последнее время. Может, парень у него служит?»

— Где Абд аль-Кадер?

— Какой еще Абд аль-Кадер?

— Хозяин лавки.

— Я — хозяин.

— И давно?

— С первого дня независимости.

— А прежний хозяин где, не знаешь?

— Эх, почтенный! Здесь все давно переменилось. Еще до независимости, раньше, чем старые владельцы ушли отсюда, люди поделили между собой дома и магазины. А еще раньше жители деревень да пустынь поделили дома своих городских родичей и знакомых. Такова жизнь. Один в гору, другой под гору.

— А не знаешь, где теперь прежний владелец лавки?

— В нашем квартале, почтенный, вечно какая-то кутерьма. То половодье, то оползень, то власти насядут или пожар разгуляется.

— Ну, теперь уж ему не устоять! — проворчал Абу Арвах.

— Что ты сказал?

— Да это я так, про себя. Вспомнил имя первого владельца лавки — Абд аль-Кадер Абу Арвах. Он тут решета на продажу делал.

— Не знаю. Я эту лавку купил у одного тунисца. Он пирожками торговал. Ну да, точно, у тунисца.

— Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха. Неужто здесь не осталось никого из старых торговцев, из старожилов?

— Почему, есть! Вот — Хамана Барадаи, он, пожалуй, единственный. У него все как было. Хоть и твердит, будто профессия у него не городская, да только здесь он родился, здесь и умрет.

— А где его лавка?

— Да вон, сразу за этим переулком. Барадаи, это уж точно, один остался на всю округу, больше никого.

Кляня про себя болтовню и наглость торговца мясом, Абу Арвах повернулся и пошел прочь.

«Говорил со мной, будто я ему ровня. Вот собака! Сам собака и жарит собачье мясо для таких же, как он, собак».

Шейх остановился перед свежевыкрашенным в бело-голубой цвет, довольно красивым домом и стал удивленно его рассматривать: «Интересно, что за здание? Вон и надпись. Ясно. Муниципальная больница. Ну и дела! Муниципалитет печется о здравии жителей этого квартала. Великолепно! Ага, еще одна новинка: напротив больницы — школа. Большая, ничего не скажешь. Вот оно лицемерие! Вот как развращают народ! Работы не дают, а лекарства и знания — пожалуйста. Любопытно, что будут делать здешние жители, которым удастся поступить в среднюю школу или в университет? Какой вред

наносят религии, как портят молодежь. Докатились — собирают под одной крышей в средней ли школе или в университете детей имущих и неимущих и дают им одинаковые знания. Нарушают волю Аллаха, всячески противятся ей. Расчищают путь для заграничных, чуждых нам идей».

— Добрый вечер.

— Добрый вечер. Заходи, будь как дома.

— Хочу спросить тебя об Абд аль-Кадере, когда-то, много лет назад, он был здесь. Это мой родственник. В его лавке сейчас торгуют жареным мясом.

— Да-да. Был здесь господин Абд аль-Кадер, да будет Аллах милостив к нему. Прошу, садись.

— Я спешу. У меня неотложное дело.

— Ничего, отдохни немного, посиди. Ты, я вижу, устал, вспотел весь. Сейчас принесу холодненького питья.

— Не надо, клянусь Аллахом! Спасибо тебе, спасибо.

— Вот я и говорю: да будет Аллах милостив к Абд аль-Кадеру. Значит, он родственник тебе?

— Двоюродный брат, сын моего дяди по отцу.

— Да-да. Он рассказывал мне о каком-то своем двоюродном брате, богатом и ученом. Уж не о тебе ли?

— Ученый — это правда, а насчет богатства, сам знаешь, люди, особенно родственники, любят приврать. Так где же мой брат Абд аль-Кадер?

— Чего не бывает в жизни, мой господин!

— С ним случилась беда?

— Что ты, совсем наоборот. Твой брат Абд аль-Кадер, как ты знаешь, не умел ни читать, ни писать.

— Это уж точно.

— Когда началась война, Абд аль-Кадер был уполномоченным в нашем квартале, собирал взносы, пожертвования, оружие, лекарства. Не прошло и года, как нас обоих арестовали. Гоняли как коз по пустыне — из тюрьмы в тюрьму, из участка в участок, пока не загнали в концлагерь Аль-Берруагия. Долго мы там просидели. Пока я там в шашки играл да шил заключенным одежку, Абд аль-Кадер все учился. Выучился читать и писать, на память целые книги заучивал, стихи разные. А уж после получения независимости... Как думаешь, кем стал твой двоюродный брат Абд аль-Кадер?

Вопрос застиг шейха Абу Арваха врасплох, он молча посмотрел на Хамана Барадаи, потом слегка улыбнулся.

«Да, есть в нем что-то неприятное, в этом парне,— думал Абу Арвах.— Уж не считает ли он, что я должен гордиться Абд аль-Кадером лишь потому, что он научился читать. Пусть читает себе на здоровье. А вот что люди относятся к нему как к образованному, это дело другое. Сидел в тюрьме, получил образование. Тут тебе, брат, не шуточки. Может, он в министры вышел или в послы, заделался губернатором или помощником губернатора? Кто его знает. А может, в партию вступил?»

— Твой двоюродный брат Абд аль-Кадер служит учителем в средней школе.

— Что-о? Абд аль-Кадер — учитель? Раз-два — и учитель? Вот здорово!

— Нет, не так-то все было просто. Абд аль-Кадер упорно учился. Получил поначалу свидетельство об окончании начальной школы, а со временем — диплом бакалавра[1]. Крепко ему досталось. Но

[1] В Алжире выпускники полной средней школы получают диплом бакалавра, дающий право на поступление в университет.

все-таки поступил в университет и закончил его. Теперь преподает в средней школе. Вот что такое свобода. Иногда он заходит ко мне. У него учится моя дочка. Он женат, обзавелся детьми.

И снова шейх почувствовал, как подкатила к горлу мутная жижа, сердце забилось чаще. Ему показалось, будто какая-то тяжесть придавила его к земле; у него вдруг перехватило дыхание, в голове застучали тысячи молотков. Шейх обливался потом. Лицо его пожелтело, потом посинело. Перед глазами пошли зеленые круги. Наконец он перевел дух.

— Нет, ничего, ничего особенного,— ответил он на вопрос Барадаи «что с тобой?».— Просто голова немного кружится, еще с утра. В такую жару и неудивительно. А в городе совсем душно.

— Так вот, господин Абд аль-Кадер, твой двоюродный брат, живет сейчас в доме преподавателей, в квартале Сиди Мабрук. Там его каждый знает.

— Спасибо тебе. Я, пожалуй, вернусь в город. Где здесь остановка автобуса?

— Спустись к больнице, чуть пониже школы Окбы ибн Нафи, в самый конец улицы. Там увидишь мост Маджаз аль-Ганам, пройдешь немного — и будет остановка. Автобусы ходят часто...

Вертятся жернова мельницы. Неподалеку стоит осел, усердно отгоняя хвостом мух. Торговцы подержанной мебелью утратили всякую надежду привлечь покупателей и лишь по привычке выкрикивают цены на свой товар. Несколько пожилых женщин готовят кускус [1]. Столяр забивает гвозди в доску, второй — сверлит в ней дрелью отверстия. В тени дерева стоит цирюльник, он поставил на затылок тощему старику двух пиявок. Из склада доносится пение:

Надоели всем красивые слова, болтовня давно всем надоела.

«Абд аль-Кадер, мастеривший прежде решета, тот самый Абд аль-Кадер, который потерял земли своего отца, теперь учитель средней школы и живет в доме преподавателей,— подумал Абу Арвах.— Это вызов мне. Бродяги посягают на то, о чем раньше не смели мечтать. «О люди, бойтесь Господа вашего. Ведь сотрясение последнего часа — вещь великая». Землетрясение — это то, что человек ощущает. Рано или поздно оно свершится, и тогда все ощутят страшной силы толчок, который швырнет на дно реки всю грязь, песок и камни. Быть может, само землетрясение не будет столь страшным, как ожидание его. Несчастный Балбай. Несчастный Нино. Несчастный Тахир Абу Арвах. Несчастный Абд аль-Кадер. И я, я — тоже несчастный. Будь они прокляты, власти предержащие. Мало им завладеть нашей землей, подавай им и наши души. Решили держать нас в вечном страхе. Всюду произвол. Угодил в их ловушку и я. Чувствую, как навалились они на меня всей своей тяжестью. Проклятые злодеи! Нет, несчастные! И проклятые».

Абу Арвах не ведал, куда идет, не понимал, зачем он здесь. Земля уходила у него из-под ног.

Он прислонился к стене дома напротив школы, положил руку на лоб, другую — на сердце и перевел дух. Открыл глаза. Пелена, что заволокла было все вокруг, исчезла. Абу Арвах снова увидел изогнутые полумесяцем двойные арочные пролеты — мост Сиди Рашид в самом центре города. Казалось, он гордо вознесся над ущельем у мавзолея святого Рашида, а под его опорами притаились яркие здания.

Края огромного ущелья словно вступили в нескончаемый поединок с мостом: они рвутся друг к другу, желают соединиться, но мост

[1] Национальное кушанье из мяса, теста и сладкой подливы.

уперся в землю могучими бетонными лапами и не поддается, не уступает. Ущелье, широкое наверху, сужается книзу, превращаясь в длинную извилистую линию — русло реки, где тускло отсвечивает темная вода. Чуть выше моста, словно канат под куполом цирка, переброшен узкий пешеходный мостик для жителей квартала Джанан ат-Ташия, содрогающийся под ногами. Без пешеходов, на фоне неба и гор он выглядит причудливо и неправдоподобно. Джанан ат-Ташия — составная часть квартала Бардо, но бог весть почему отделен от него. И тянется по всему склону, до самого верха, до горного плато Сиди Мабрук, а затем круто спускается вниз к долине.

Там кончаются хижины и дома и начинаются голые, мрачные уступы. Дальше, вплоть до моста Маджаз аль-Ганам, стыдливо замкнувшись, простерся квартал Руманий — здесь жили когда-то легионеры Рима. Маджаз аль-Ганам — небольшой мост, метров около двадцати, не больно-то впечатляющий. Его, наверно, сочли поначалу временным сооружением и даже не подвели опоры — он упирается в края ущелья и выглядит не очень надежно и не очень красиво, особенно при ярком солнечном свете. Всем своим видом он как бы напоминает жителям Константины: вы обречены, вас ждет скорая гибель, спешите в последние минуты взять от жизни свое.

В мутном ручье, протекающем по долине, плещутся ребятишки, женщины промывают шерсть, полощут мешки, стирают одежду, вымачивают козлиные кожи.

«Когда святой Рашид, вняв моей мольбе, изберет для наказанья второй способ, сомкнутся края ущелья и на дне его встанет преграда потоку. Вода, скопившись, поднимется до самого верха. Повалит деревья, размоет дома и хижины. И начнется новый великий потоп. Недаром в Коране сказано: «О господи, не оставляй на земле ни одного из еретиков; если ты их оставишь, они введут тебя в заблуждение своим поклонением тебе, не оставляй на земле никого, ибо давать жизнь они будут лишь развратникам нечестивым».

Подошел автобус, Абу Арвах поспешил влезть в него, вынул монету и произнес:

— До Баб аль-Кантары.

Он опустился на сиденье, подпер голову руками и с наслаждением закрыл глаза. Ему хотелось ненадолго забыться, отдохнуть или хотя бы не слышать докучливой болтовни, звучавшей вокруг.

— В Константине будут строить большие дома.

— Здешняя строительная организация сможет строить дома по всей стране.

— Алжир развивается — надо строить.

— Но Франция чинит нам всякие препятствия.

— Да уж, кто не насытился полной тарелкой, остатками не наестся.

— Во Вьетнаме Америка получила по заслугам.

— Что удивительного, туда каждый день приходили составы с советским оружием.

— Я, честно говоря, никак не пойму, в чем разница между Израилем и кое-какими арабскими странами. В Израиле капитализм. Во многих арабских странах — тоже. Верно? Израиль — ставленник американцев. А мало ли среди правителей арабских стран американских агентов? Израиль убивает палестинцев, но есть и арабские правительства, которые против палестинцев.

— Клянусь Аллахом, ты прав. Вражда к Аллаху во имя Аллаха — экая чушь!

— Я говорю ей: уходи от него, а она: он, мол, будет страдать, мучиться. Никак не пойму ее. Ненавидит его и вроде любит. Она и меня любит, только бежать со мной не хочет.

— Да брось ты эту распутницу. Ты ей нужен, пока молод. Изменила ему, изменит и тебе.

— Представляешь, приходит он как-то к нам, а мы в постели лежим. И заявляет: нет мощи и силы, кроме как у Аллаха. Вскочил я как был, нагишом, схватил его, прижал к стене и давай душить, а сам приговариваю: «Ну как, хорошо тебе? Почему не разводишься?» А она знаешь что отколола?

— Ну-ну, говори.

— Схватила кинжал и как бешеная бросилась на меня. Оставь его, кричит, пусти, не то раскрою тебе череп... Следователю она заявила, что в постели с ней был ее отец. Он, мол, попросил помассировать ему спину, а потом уложил ее в постель. На суде сказала, что это был ее брат и она сама его соблазнила. Потом от всего отказалась; не то, говорит, отец был, не то — брат, спросонья да в темноте не разберешь. А может, и вовсе соседский сын. Так-то, друг.

— Ну а судья что?

— Всех в тюрьму посадил — и отца, и брата, и соседского сына, и ее тоже...

— Вот, значит, стоит он в очереди. В руке у него — бутылка из-под масла. Очередь длинная, но сам он не в конце, а в середине. Только очередь почему-то не движется, все как стояли, так и стоят.

— Может, торговать перестали?

— Да погоди ты. Там патруль был, следил за порядком...

— Военный или гражданский?

— А не все ли равно? Что военный, что гражданский — один черт.

— Не скажи. Военный — это военный, а полиция — это полиция.

— Не имеет значения. В Константине так уже давно. Ты слушай дальше. Глянул он случайно вперед и видит: на месте продавца стоит начальник патруля и наливает масло своим друзьям да знакомым. И девушкам с женщинами не отказывает. Люди растерялись, переглядываются, переговариваются, но патрулю ни слова. А он торгует и торгует. Кто-то из его подручных стал ему помогать, тоже разливает масло. Все молчат, не смеют рта раскрыть. Тут сын мой подал голос: «Что за безобразие?!» К нему сразу патрульный: «Что ты сказал?» — «Ничего». Но патрульный не успокоился, пожаловался начальнику: сын мой, мол, недоволен, протестует. «Повтори-ка, что ты сказал»,— обратился к нему начальник. Сын не вытерпел и говорит: «Вы здесь, чтобы поддерживать порядок. Все мы битых четыре часа жаримся на солнцепеке и ни на шаг не сдвинулись». Тут один из патрульных выволок сына из очереди и бац его кулаком по носу. Полилась кровь. В общем, избили парня и увезли на машине. Два месяца о нем ни слуху ни духу.

— Вот уж действительно безобразие!

— Не знаешь, как быть. Лучше, видно, помалкивать.

У кафе «Наджма» Абу Арвах вышел.

«Настало время послеполуденной молитвы. Совершу омовение в бане Аль-Мисад, заодно и помолюсь. А там отправлюсь в Рахабат ас-Суф, расспрошу о семье Барадаи. Может, мне скажут хотя бы, что с ней случилось. Впрочем, последняя моя надежда — святой Рашид и Тахир Абу Арвах, мой племянник».

5. Мост Аль-Мисад

Когда в войне с французами мы потерпели поражение, они стали подавлять нас своей наукой и техникой.

Гора размывается все больше и больше. Десятки веков мы взираем на нее с изумлением и страхом. Французы опустошили гору, разорили ее, пробуравили в ней тоннели и пещеры, а прорехи залатали мостами — изощрялись как могли; проявили чудеса фантазии, укрепляя гору цементом в Баб аль-Кантаре, Сиди М'сиде и Сиди Рашиде. Но им все было мало, и, чтобы выказать свое искусство, они стали вить канаты из стали, клепать мосты из железа и подвешивать их в воздухе.

О, люди! Огромная гора, что всех вас изумляет и страшит, побеждена. Запомните это. Двигайтесь по ней как угодно — хоть пешком, хоть на машинах.

А уж если французы вдруг снова вернутся к нам — в той или иной форме,— они сделают еще больше, чем раньше.

Может, всю гору зальют свинцом, и тогда нечего будет бояться, даже если вся земля— не одна эта гора — сдвинется с места. А может быть, они снизу подроют гору, подведут под нее опору высотой с километр и подвесят ее на цепях, как подвесили эти мосты. И тогда под горой возведут еще один город... или, пользуясь силой притяжения одной из планет нашей солнечной системы, заставят гору парить между небом и землей. Точно новое небесное тело.

А мы? Что остается делать нам? Мы теснимся на этой горе, которая скоро рассыплется на мелкие части. Запасаем впрок масло, сахар, мыло, кофе, муку. И только и делаем, что плодимся. Покупаем то, чего не следует покупать, продаем то, чего не следует продавать. Ночью обкрадываем друг друга, утром друг другу сбываем краденое. Играем в домино, молимся, призываем к молитвам, возводим мечети, поем, веселимся, бьем в барабан, дудим на флейте.

Глубоко ущелье, очень глубоко!

По дну течет вода, темная, бурая, точит и точит камни, проникает в поры горы и уносит с собой мох и водоросли. И летают в ущелье голуби, печальные голуби.

Куда ни посмотришь, взгляд натыкается на треугольник, вершина которого на дне ущелья, а две боковые стороны уходят в вышину, в бесконечность и никогда не пересекаются с основанием.

Глубоко ущелье, очень глубоко!

Курейшиты восходят к Ибрагиму аль-Халилю [1]. Самому Ибрагиму аль-Халилю восходить не к кому. Все арабы вышли из племен джурхум, кахтан и ади [2].

В Йемене или Хадрамауте, в Хире или Неджде, Тихаме или в Хиджазе — везде арабы восходят к чистокровным арабам или к народам, которые слились с арабами. И те и другие давно исчезли.

Глубоко ущелье, очень глубоко!

Мы, в Алжире,— арабы, но не восходим к арабам; мы — финикийцы, но не восходим к финикийцам; мы — византийцы, но не восходим к византийцам; мы — берберы, но не восходим и к берберам.

Глубоко ущелье, очень глубоко!

---

[1] Ибрагим аль-Халиль — по арабским поверьям, имя родоначальника всех арабов.
[2] Курейш, джурхум, кахтан и ади — названия древнейших арабских племен, населявших Аравийский полуостров.

Мы принесли присягу Абу Бекру [1] в Сакифе, а затем стали нашептывать о своих делах на ухо Али[2] и его сторонникам.

Мы принесли присягу Омару и убили Омара [3].

Возвели на престол Османа и убили Османа [4].

Мы присягали Али миллионы раз и миллионы раз его убивали.

Мы восхваляли Муавию [5] и порицали его.

Мы сами создаем мазхабы [6] и сами же их разрушаем.

В своих рассуждениях и поступках мы опираемся на сунну, а приходим в конечном счете к нововведениям, к ереси.

— Арабы в Египте, и фараоны в Египте,— бормотал Абу Арвах,— арабы в Сирии и Ираке; были там и финикийцы, и вавилоняне, а сейчас — курды и друзы. Да, все мы обременяем гору, и она вот-вот сдвинется с места. Самое страшное — это непрерывное землетрясение в наших душах, хотя на самом деле никакого землетрясения нет и в помине... Мы взираем на гору с трепетом и изумлением.

«Что за странные мысли молниями вспыхивают в мозгу,— думал Абу Арвах,— уж не предвестья ли это грядущей бури? Спаси нас, Аллах, и защити. Я совершу омовение, вознесу молитву, встречусь с Ризки Барадаи, ведь отсюда до Рахабат ас-Суфа рукой подать, и сразу уеду. Ночевать здесь ни за что не останусь».

Размышляя, он все стоял и стоял неподвижно, глядя на мост Аль-Мисад и ущелье.

«Дед мне как-то рассказывал, что отец его, мой прадед, был главой рода и вождем целого племени. Когда французы железными молотками забарабанили в двери наших земель, его племя встретило их должным образом. Отбило нападение врагов с моря, разгромило их на суше. И без того труднодоступная местность, где обитало племя, была хорошо укреплена. Воины храбро сражались. Французы подослали лазутчика. Тот пообещал прадеду, что его оставят вождем племени, дадут много земли, пощадят всю его семью, пусть только сдастся на милость врага. Собрал тогда прадед воинов и сказал им: «Чем защищаться, лучше напасть на них. Но помните: действовать лишь по моему знаку». Французам же он ответил, что согласен на их условия, и обещал привести своих воинов. Но прадеду не повезло, отряд его попал в засаду. Тогда он сказал: «Зачем зря погибать». И открыл французам путь в наши земли. Они вошли и всех, кто мог держать оружие, поубивали; насиловали женщин. Прадеду надели ордена, провозгласили его вождем, отдали ему все близлежащие земли.

А вот что мне рассказывал мой отец. Дед, говорил он, был великим человеком. От прадеда достались ему по наследству и ордена, и земли, и власть. Женщины нарожали детей, и вновь появились мужчины, способные владеть оружием. Тогда французы решили призвать их в свою армию и пойти походом на Тунис и Марокко. Но мужчины восстали и ушли в горы. Дед с целой армией напал на мятежников. Кто погиб, кто сдался, кто убежал на восток. После этого на груди у деда не стало места для орденов, и он занял еще более высокое положение. Возгордился и никого не замечал. Правда, землю ему пришлось поделить с колонистами. Мой отец не достиг такого величия, как его отец и его дед, но был человеком известным. Ему

---

[1] Первый арабский халиф (632—634).

[2] В Алжире в середине VII в. нашли убежище приверженцы Али — двоюродного брата и зятя пророка Мухаммеда, четвертого халифа, убитого в 661 г.

[3] Глава арабского халифата в 634—644 гг., убит в 644 г.

[4] Третий арабский халиф. При нем продолжалось расширение границ халифата.

[5] Арабский полководец, основатель династии арабских халифов Омейядов.

[6] В исламе существует четыре мазхабы — религиозно-правовые школы.

удалось сохранить за собой дедовские земли и часть его наград. Когда он вернулся после войны в Сирии, его обрядили в красный бурнус и пожаловали ему пост каида [1], местного правителя. Во всей округе он был единственным, кто владел землей наравне с колонистами.

«Сын мой! — говорил отец.— Семья Абу Арваха известна повсюду. И положение у нее солидное, и капитал. А вот образованных среди нас нет. Плохо знаем свою религию, свой язык. Образование, деньги и солидное положение — все равно что венец. Сын мой! Славы нашей семье не занимать, мы достигли всего, чего хотели, но нет в нашей семье никого, кого можно было б с полным правом назвать властелином. Так что поезжай в Тунис и возвращайся оттуда с венцом. Вернешься, подыщу тебе место кадия [2] в самой Константине. По-моему, люди, получившие европейское образование, ничем особенным не выделяются. Во всяком случае среди французов. Но если, вернувшись, ты будешь знать то, чего не ведают и перед чем преклоняются твои соотечественники — а французам такие люди нужны, чтобы править,— то и тебе, и мне успех обеспечен. Твой старший брат служит в армии, а ты поступай в Аз-Зитуну [3]».

Я женился еще до отъезда в Тунис. Мне шел пятнадцатый год, ей было девять. Отовсюду съехались гости верхом на лошадях, собрались певцы и флейтисты. Забили скот, все приготовили для свадебного пира. На меня надели шелковый бурнус и блестящие ботинки и повели ночью к невесте. Когда мне объяснили, что я должен делать, я заплакал и хотел убежать. Невеста тоже заплакала.

Услышал отец, явился с палкой, поколотил нас и заставил провести ночь вместе. В честь такого события послышались загариды [4] женщин.

Неделю спустя отец сказал мне: «Собирайся в дорогу». Вещи были уже упакованы. Первую ночь мы провели в Константине, вторую — в Сук Ахрасе. Отец оставил меня у своих знакомых, а сам вернулся в деревню.

Приехав летом домой, Айшу, жену мою, я уже не застал. Мне сказали, что она умерла.

Я долго ее оплакивал, хотя плохо себе представлял, что такое жена, не успел привязаться к ней, не совсем понимал, что такое совместная жизнь. Но я помнил, как она спала рядом, укрывала меня, играла со мной и плакала, потому что рассталась с родителями и пришла в чужой дом. Как тут не заплакать!

Все говорили, что она умерла. Но младшая жена отца рассказала мне, как было дело: «Ее убил твой отец, удушил. Он велел Айше вымыть ему ноги и, когда она пришла, запер дверь. На другое утро мы нашли ее мертвой... На ее рубашке была кровь. Шея и лицо посинели. На шее остались следы пальцев. Все жалели Айшу и плакали; захоронили ее, даже не совершив обряд омовения. Отец твой сказал: «Мала она еще, даже согрешить не успела».

Младшей жене отца было шестнадцать лет. Она всячески соблазняла меня, и я не устоял.

Вскоре нам сообщили о смерти моего старшего брата. Я ни капельки не огорчился. А потом умерла и его жена, умерла как Айша.

Я не замечал, как летит время, хотя на мою долю в Тунисе выпали нелегкие испытания. Когда, окончив университет, я вернулся домой, отец велел мне надеть белую джуббу, тунисскую шашию, по-

[1] Чиновник, помощник французского администратора *(арабск.)*.
[2] Судья *(арабск.)*.
[3] Религиозно-богословский университет в Тунисе.
[4] Дрожащий, пронзительный, радостный крик.

верх нее шелковую чалму и повез в Константину. Ехали мы в экипаже, запряженном белой лошадью, покружили по городу и на площади Аль-Кубра зашли в центральное кафе. «Куда лучше быть видным алжирцем,— сказал мне тогда отец,— чем простым французом». Отец очень гордился тем, что он алжирец, но это не мешало ему ко всем прочим алжирцам относиться как к слугам или рабам или вообще не считать их людьми: они были для него чем-то вроде камней в долине, которые только и существуют для того, чтобы по ним ходить.

В день начала войны между арабами и евреями [1] отец вел себя как герой. Напал на своего соседа, колониста-еврея, связал его, но когда хаммасы [2] захотели убить колониста, не позволил. Отец вывез из дома соседа всю мебель, забрал лошадей и коров, заставил хаммасов притащить к его палатке молотилку и сказал им: «Отныне работы у вас будет меньше, значит, меньше будете и получать: только седьмую долю. Четыре доли положено мне, так принято, две — этому господину, прежнему хозяину, а одна — вам».

Никто не посмел возражать. Все знали — отец не даст им умереть с голода.

Вечером пришли жандармы, а с ними целая толпа вооруженных евреев.

Окружили дом и велели отцу сдаться. Тот ни в какую. Он знал, что, если сдастся, его ждет смерть. Тогда он обратился к жандармам: «Пусть евреи отойдут подальше, и я сдамся, но только вам. Сами знаете: мой отец — ага Абу Арвах, мой дед — паша Абу Арвах. Дед впустил французов в страну, отец подчинил Франции немало рабов божьих, а я воевал на стороне французов в Марокко и в Сирии, сражался в Халебе, Хомсе и Тартусе. Все мы были награждены орденами Почетного легиона. Пусть евреи отойдут от дома — я сдамся. Таково мое условие. Это мое право. Мы воюем с евреями, а не с французами».

Однако евреи не отошли. Остались вместе с жандармами. Дом стали обстреливать. Но едва стемнело, отец выбрался, вскочил на коня и ускакал. В дело вмешались Балбай, Бен Джаллуль и Мами. Тогда-то и пришлось отцу продать весь свой скот, а вырученные деньги истратить на подкупы и взятки. Простили его. Учли его прошлые заслуги, заслуги его отца и деда. Но ровно через три месяца его нашли мертвым в Константине, под мостом Сиди Рашид, на дне ущелья. Все тело его было изранено.

Еще через три месяца умерла Ханифа, младшая жена отца. Умерла как Айша и жена брата. Она вела себя со мной как жена: прислуживала, всегда была на моей стороне, стоило мне появиться, смущалась, но не избегала меня, а старалась попасться мне на глаза.

Мать делала вид, будто ничего не замечает. Только скажет бывало: «Уж как мне хотелось, чтоб у тебя была сестренка, но Аллах распорядился по-другому — вместо сестренки послал тебе Ханифу. На что надеяться, когда в доме мало мужчин? Другие жены твоего отца часто рожали, но дети быстро умирали. А я родила тебя и больше не рожала. Твой отец — да снизойдет на него милость Аллаха — бросил четырех своих жен и женился на какой-то еврейке из Константины. Бедняга Ханифа, недолго она страдала».

Вторая жена моего отца без конца поносила меня: «Ах он совиная голова, воплощение зла. Как родился, в доме пошли несчастья. Дети мрут и мрут. А он соблазняет чужих жен. Свел в могилу свою

[1] Имеется в виду первая арабо-израильская война 1948—1949 гг. Она вызвала бурную реакцию во всех арабских странах, в том числе — еще не достигших независимости.

[2] Земледельцы-арендаторы, работающие из пятой части урожая *(арабск.)*.

жену, брата, жену брата, скоро и до отца доберется. Да он охотно отправил бы на тот свет всех и остался бы один. Он погубит дом Абу Арвахов».

Третья жена отца была мне чем-то вроде тещи. Каждый день ругала Ханифу. Побранит ее и сразу становится ласкова со мной. Уж Ханифа, бедняжка, и ноги ей мыла, и ароматной водой ее обрызгивала. А та, чуть встанет с постели, давай поносить Ханифу. Встретит меня и жалуется: мол, Ханифа такая и сякая, все не так делает...

Однажды ночью мать постучалась ко мне. Ханифа встала и как была в ночной рубашке пошла открыть дверь. Увидала ее мать и говорит: «Боже, спаси тебя и помилуй». А потом, уже громче, добавила: «Скажи ему, там кто-то его спрашивает». Ханифа передала мне слова матери. Поглядел я на нее. На душе стало тяжко. Страх охватил меня. Какая-то жижа разлилась по телу, залила глаза, просочилась в самое сердце. Рот словно огнем обожгло. И тут мне почему-то вспомнилась Айша, ее посиневшая шея со следами пальцев. Вспомнил я и жену брата. В глазах у меня потемнело, а жижа все прибывала и прибывала, пока не облепила меня со всех сторон. И вдруг я набросился на Ханифу. Она, ошеломленная, даже не сопротивлялась. Лицо ее посинело, на шее проступили следы моих пальцев. Похоронили мы ее... Через неделю умерла мать. Еще неделю спустя сбежала из дома вторая жена отца. А через три недели мы схоронили его третью жену.

Я покинул деревню и отправился в Константину. И там стал сотрудничать с улемами-реформаторами.

Потом я женился снова. Жене очень хотелось иметь сына. И всей ее родне хотелось, чтобы она родила мальчика. Она ждала четыре года, а на пятый однажды сказала мне, что в животе у нее что-то шевелится. Радости моей не было предела. Но ровно через неделю она вдруг исчезла. Несколько лет спустя я узнал, что она во Франции со своим двоюродным братом, он-то, собственно, и был отцом ребенка.

Я вернулся в деревню.

Там мне приглянулась жена одного хаммаса. Красивая была женщина! Зазвал я ее к себе в дом вместе с ее дочерью и запер их на замок. Дней пять бродил ее муж вокруг моего дома, все не решался войти, но как-то вечером наконец решился.

— Добрый вечер, почтенный шейх.

— Что это тебя носит по ночам?

— Надо поговорить с тобой кое о чем.

— О чем же? Что ты голоден и не прочь поесть?

— Нет!

— Тебе что-нибудь от меня нужно?

— Нет!

— Обидел кто-нибудь?

— Нет.

— Так в чем же дело?

— Я хотел сказать тебе, что люди...

— При чем тут люди?

— Да говорят...

— Разве я могу запретить людям говорить?

— Я думал...

— Что ты думал? Не морочь-ка мне голову, проваливай отсюда!

Он повернулся и, тяжело вздохнув, вышел. Но, дойдя до угла конюшни, обернулся и пристально посмотрел на меня.

И опять день за днем он бродил возле моего дома, низко опустив голову.

Наконец, он снова пришел ко мне.

— Добрый вечер, почтенный шейх!

— Ах, это ты? Опять пожаловал?

— Да.

— Что тебе?

— Да вот люди болтают.

— Что же они болтают?

— Говорят, я сводник!

— Ну и пусть. Тебе-то что?

— Правду сказать, почтенный шейх, мне как-то неловко перед тобой. Мой дед служил твоему деду, мой отец — твоему отцу. И сам я служил твоему отцу, а теперь — тебе. Твоя мать, покойница, была так добра ко мне. Это она меня женила.

— Уезжай-ка ты лучше во Францию, а не то загоню тебя... знаешь куда?

— Молю тебя: возьми дочь, а жену отдай.

— Не уедешь во Францию, упеку тебя куда подальше!

— Как прикажешь, почтенный шейх!

На другой день я посадил его на пароход до Марселя. И стал ждать, когда забеременеет его жена. Она тоже ждала. Шло время. Однажды вечером к нам в дом постучалась ее дочь. Они перекинулись несколькими словами, и девочка ушла.

Вдруг я почувствовал, как все кипит и пылает у меня внутри. И снова жижа разлилась по телу. Затопила меня, захлестнула. Опять увидел я перед собой Айшу, потом жену брата и Ханифу. В глазах у меня потемнело...

Утром я нашел ее мертвой, со следами пальцев на шее. Похоронили мы ее.

На этот раз я вернулся в Константину не один, с дочерью хаммаса. Она была ровесницей Айше. Я прочитал суру «Аль-Фатиха» [1] и стал ощупывать ее живот. Ощупывал я его и всякий раз, как она жаловалась на недомогание. Прошел год, другой. Девочка подросла и уже понимала, почему я так настойчиво щупаю ее живот. Она часто исчезала из дома, особенно вечерами, а если я собирался уезжать, спрашивала, когда уезжаю, куда и надолго ли. Сказал я ей както, что завтра уезжаю, смотрю: в глазах у нее вспыхнули искорки радости, бледное лицо залил румянец. На другое утро взял я чемодан и вышел из дома. Побродил по городу час-другой, пока солнце не скрылось за крыши, и решил вернуться, посмотреть, что творится дома. Мой приход был для нее неожиданностью. Она подалась всем телом вперед, судорожно сжав ручку двери и уставясь на меня широко открытыми глазами. По желтоватому лицу ее пошли красные пятна, оно стало похоже на маску, губы дергались, коленки дрожали. Я посмотрел ей в глаза, она отвела взгляд, потом, глянув на меня, передернула плечами.

— Что ты здесь делала?

— Ничего!

— А что собиралась делать? — Я схватил ее за подбородок: — Смотри на меня. В глаза смотри, в глаза, в глаза...

Она подняла глаза и тут же их опустила. Была она очень красива. На щеках — румянец. Глаза подведены. Губы пунцовые, будто вишни. Я привлек ее к себе, она не сопротивлялась, и поцеловал в губы.

— Я хочу подарить тебе ребенка. Знаю, ты его ждешь. Все ради тебя, ради тебя. Но пока ничего еще не сделала.

[1] «Аль-Фатиха» — «Открывающая», первая сура Корана; у мусульман ее принято произносить, когда начинают какое-либо дело.

Она говорила, говорила, не умолкая, пока мы шли за город, в пустыню, будто хотела выплеснуть в этот мир все, что чувствовала, из глаз ее катились слезы...

Через неделю я похоронил ее и вернулся в Константину. Я поклялся больше никогда не жениться. Ярость улеглась, на смену ей пришла опустошенность. Месяцев через семь я понял, что очень боюсь одиночества.

По ночам темно-бурая жижа все чаще и чаще проникала в сердце. Словно где-то в груди с неистовой силой бил фонтан, выбрасывая вязкое вещество, тотчас превращавшееся в эту отвратительную жижу. Она заливала меня. Я зажигал огонь, но ничего не видел, хватался за окружавшие меня предметы, но они ускользали из рук. Слуги говорили, что по ночам я кричу, зову Айшу, но я ничего не помнил, лишь ощущение кошмара жило в моей душе, темно-бурая жижа разливалась по телу, закипала, потом выплескивалась наружу, и я тонул в ней, захлебывался, задыхался, слеп.

Иногда мне приходила в голову мысль взять себе сразу семерых жен и чтобы при каждой был слуга. Или, что самое лучшее, взять в жены двадцать женщин и чтобы у каждой было по семь мужей. Думал еще купить сотню детей. Мечтал обернуться женщиной и вступить в брак с миллионом мужчин сразу, чтобы родить от них миллион детей.

Иногда мною овладевало желание вырыть огромный колодец, глубокий, как ущелье Ар-Руммель, бросить туда тысячу женщин и тысячу детей, тысячу отцов и тысячу матерей и залить их реками молока.

Мысли, одна чудовищнее другой, приходили мне в голову. Но я ничего не сделал. Только взял себе двух спутниц жизни: одну именовал госпожа Власть, другую — госпожа Фикх, правоведение; или иначе: одну — арабский мир, другую — варварство; или: одну — ислам, другую — христианство. Когда они обе одновременно являлись ко мне, я как бы раздваивался. Но в то же время чувствовал, как мышцы мои наливаются силой, я становлюсь все могущественнее, и вот я уже король, увенчанный короной; то-то возликовал бы отец, узрев на моей голове корону! Я бил своих спутниц жизни — обеих сразу, целовал их поочередно, спал сразу с обеими и настойчиво спрашивал, когда же они, наконец, забеременеют? Как-то утром, проснувшись, я обнаружил, что обе они исчезли. А вскоре получил через судью сразу две просьбы о разводе.

И опять единственным моим спутником стало одиночество. Я владел обширными землями. Постиг фикх и грамматику. Я мог вознестись в заоблачные выси, мог опуститься в бездонную пропасть. И я то возносился, то опускался. Но, достигнув неимоверным трудом цели, обнаруживал, что стою на том же самом месте. Время шло; я старел, дряхлел, как гора Константины. И полнел. Размываемая водой пропасть подо мною с каждым часом становилась все глубже и глубже.

Однажды я познакомился с еврейской девушкой. Она сказала: я бесплодна, и ты бесплоден, давай поженимся и усыновим чужого ребенка.

И мы поженились.

Она была прекрасной хозяйкой, я всегда был ухожен и сыт. Никто еще так не заботился обо мне. Жизнь моя пошла в гору, доходы росли. Мы отправились путешествовать во Францию. И все на ее деньги; она была довольно-таки богата. Что и говорить — идеальная жена. Я был на вершине счастья. Все шло хорошо, пока не наступил

день, когда мы наконец договорились усыновить ребенка. И мы поссорились.

— Давай усыновим еврейского мальчика.

— И не думай. Только мусульманина.

— Нет. Я могу распоряжаться своими деньгами как захочу.

— Я сказал: мусульманина. Что стоишь ты со всеми твоими деньгами рядом со мной?

— Давай возьмем двоих: девочку-мусульманку и еврейского мальчика.

— Нет! Только так: мальчика-мусульманина и еврейскую девочку.

— Лучше двух мальчиков: мусульманина и еврея.

— Не будет в моем доме еврея!

— Да ты расист!

— Сама ты расистка!

— Нет, ты, ты...

Не сдержавшись, я дал ей пощечину, она не осталась в долгу. И ушла из моего дома. Развелась со мной. Мы оба совершили безумие. Я, дав волю гневу, потерял жену, а с нею — богатство и опору в жизни.

Я очень горюю о тебе, о Сара!.. Я горько плачу по тебе, о Сара! Всем сердцем оплакиваю я сына, которого ты так и не ввела в мой дом, и поверь мне, не важно, был ли бы он евреем, мусульманином или христианином... Горючими слезами оплакиваю вас обоих... Скорблю всем сердцем.

Нам нельзя было ссориться с тобой — ни в коем случае. Нас соединили деньги и бесплодие, лишения и страдания. Зачем же мы расстались? Разве так уж было важно, какую религию исповедует наш сын, пускай бы он был язычником, не все ли едино? Ты совершила глупость, а я оказался вдвое глупее тебя; нет, несправедлив к нам всевышний!.. Как бы то ни было, Сара, мы навсегда останемся супругами, даже если меж нами пролягут тысячи миль. Нас соединило желание иметь ребенка, которого мы не родили.

Мое одиночество было недолгим. Стыдно признаться, но жениться на молоденькой девушке или на девственнице я уже не мог. Оставалось одно — взять в жены вдову или разведенную. Я старался забыться, уйти от воспоминаний об Айше, которая так и не стала мне настоящей женой, не думать о сестре, так и не отведавшей молока из материнской груди, о не родившейся дочери.

Как-то во время поездки в Бискру я сошелся с одной женщиной. Ей досталось вполне приличное наследство в Сиди Акаба, и мы поженились. Соединили наши деньги и наши исстрадавшиеся души. Как и мне, ей казалось, что душа ее окутана мраком. В новолуние с ней обычно случался припадок. Она рыдала, царапала лицо, рвала на себе одежду. Потом теряла сознание и лежала в беспамятстве чуть ли не сутки. Придя же в себя, с удивлением спрашивала, что с ней произошло. Вначале мне все это было невыносимо, но со временем я привык и даже с нетерпением ждал очередного припадка. Она оплакивала Айшу, Ханифу и Сару, оплакивала моего отца, моего брата, жену брата — оплакивала всех, у кого на сердце был мрак. После припадка она проводила со мной ночь, а потом долго избегала меня. Целовались мы только по праздникам. Говорила она лишь о наследстве, особенно после того, как я выгнал из дома ее брата Омара...»

В это время Абу Арвах услышал голос:

— Железо только железом и обрабатывают.

— Интересно, сколько тонн стали пошло на этот мост?

Голос мужчины, стоявшего рядом с шейхом, вернул его к действительности, и шейх удивленно воззрился на него.

— Все дело в технике, которую использовали при строительстве, а не в количестве материала,— ответил тот, к кому обратился с вопросом мужчина, видимо его приятель.

Абу Арвах внимательно оглядел обоих: длинные густые бороды, темно-синие джинсы, будто сшитые по одной мерке, широкая грудь, крепкие мышцы, подтянутые животы.

«Наверняка студенты»,— подумал шейх и отвернулся, пытаясь вновь погрузиться в воспоминания, но, заглянув в ущелье, невольно произнес:

— Глубоко ущелье, очень глубоко!

По дну его медленно, словно нехотя, течет темно-бурая вода. Летают печальные голуби, тяжело взмахивая крыльями. Гора с каждым часом дряхлеет, и кажется, нет у нее больше сил нести на себе всю эту тяжесть, а народу становится больше и больше. Рано или поздно наступит момент, когда не сыщешь на этой горе свободного местечка и она не выдержит...

А люди взирают на гору в страхе и изумлении. Они переживают землетрясение, не замечая его.

Им не под силу возвести мосты вроде этого, прорыть тоннели и огромные пещеры или хотя бы проложить дороги на склонах горы. Они только и делают, что усугубляют тяжесть, давящую на гору.

«Святой Рашид! Долго ль еще терпеть? Нашли на них всепожирающее пламя или мор. По этой горе, святой Рашид, ходил еще мой прадед, мой дед, отец мой, и я вот хожу по ней. Эта гора слышала биение сердца всех Абу Арвахов, здесь познали они радость и печаль, гордыню и унижение. Сохрани эту гору, не дай ей погибнуть. Сбереги ее, о святой Рашид, как символ, как память о прошлом; ведь она была путеводной звездой семьи Абу Арвахов».

— Если не проводить детального анализа в свете научных данных и, как положено, в революционном духе — без колебаний и сомнений, грандиозная катастрофа неминуема.

— Нет, ты только взгляни, это ведь центр земледелия, крестьянская столица. Таков весь Алжир. И вся Африка, вся Азия. Таков весь отсталый мир, живущий земледелием. В этом мире работают сорок дней летом и сорок дней осенью. Остальное время бродят без дела.

— Необходимо как можно скорее провести обследование и принять решительные меры.

Абу Арвах повернулся к собеседникам. Наверно, студент и студентка. Ведь в двух шагах отсюда университет.

Они разглядывали ущелье и вели серьезный разговор. Шейх окинул их взглядом и вдруг, неожиданно для самого себя, закричал:

— О святой Рашид, о мудрец из мудрецов! Твоя правда. Делай как знаешь — нашли на них всепожирающее пламя или мор, обрушь на них землетрясение!

6. Мост Дьяволов

Шейх вел машину вверх по улице, выходившей к мосту Дьяволов, и размышлял вслух:

— Оставлю машину у базара Аль-Аср, пешком спущусь до Рахабат ас-Суфа, погляжу, там ли Ризки, и сразу уеду. Хватит, я сыт по горло. Ни минуты больше не пробуду в этом городе!

Абу Арвах ехал по улице Таташ Белькасем, или Зубейр, как ее звали теперь жители, по старому кварталу, где раньше жили евреи. Хотя движение было небольшое, шейх вел машину с опаской. Как бы чего не случилось. Вечно здесь носятся сломя голову дети, так и лезут под машину. Особых перемен в квартале вроде и нет. Так вот, оказывается, куда перевели институт Абдельхамида Бен Бадиса! А вот дом, где когда-то омывали мертвых. Интересно, что в нем теперь? Кажется, начальная школа и какое-то религиозное учреждение... Это хорошо.

Еврейские дома во всем мире на одно лицо. Одноэтажные. Не блещут орнаментом. Ставни плотно прилегают к стенам, не сразу их и заметишь. Но был, видимо, смысл предпочесть именно эту конструкцию окон всем остальным. Она везде одинакова: на востоке, на западе, в пустыне, в горах. Может быть, так предписано Библией или пророками? Или здесь дело в другом? В привычке людей быть всегда настороже, никому не верить, с опаской относиться к каждому, особенно — входящему в дом. Когда окна закрыты, дом своим видом нагоняет тоску, вызывает чувство отчужденности от мира. И государство свое они создали наподобие своих жилищ. Ставни плотно прилегают к стенам, окна раскрываются только наружу, в окружающий мир, но ничего не впускают извне. Мало им притеснять арабов, так они еще сгоняют их с насиженных мест.

Вот и школа — бывшая средняя школа «Омаль». Как плохо написана вывеска: «Рида Хоху»[1]. Буквы какого-то неприятного темного цвета. В такой цвет красят обычно казармы и тюрьмы. Снова развалины. А вот старое здание; кажется, оно стояло здесь еще до прихода французов. Из глины и сырого кирпича, цемента тогда и в помине не было. Может, оно осталось со времен турок? Нет, его построили гораздо раньше. Презренный Ибн Халдун говорил, что чужеземцы строят куда прочнее и долговечнее арабов, потому что они, как правило, ставят свои дома на возвышенностях, там почва не такая рыхлая и воздух чище, а арабы предпочитают селиться в низинах, где часто случаются наводнения и вспыхивают эпидемии.

Презренный Ибн Халдун был сочинителем, литератором, но уж никак не историком. Он многое повидал, но в записях у него почти ничего не найдешь. Он многое постиг, но в памяти у него мало что сохранилось. Защищал сунну, но часто отступал от нее, был сторонником нововведений еретиков, выступал против мутазилитов[2], спорил с философами, не признавал личного мнения человека, основанного на здравом смысле.

Ибн Халдун был политиканом, и только.

В Алжире возможно любое решение той или иной проблемы. Допустима любая крайность. Из одной крайности можно впадать в другую. Почти двести лет французы хозяйничали на алжирской земле, превратив ее в свою колонию, а когда их разбили, ушли все до единого, даже те, кто поддерживал алжирцев и считал себя их сторонниками. Евреи тоже ушли. Поддались на обман, что им несвойственно. Поддались на обман и отрезали себе все пути к возвращению.

Пренебрегли историей, недооценили ее, их обычная проницательность на сей раз изменила им. Если во Франции они сохранили свое лицо, свою индивидуальность, то в Алжире во всем подражали коло-

[1] Шейх Ахмед Рида Хоху (1911—1956) — видный деятель Ассоциации улемов и движения сторонников мира в Алжире, автор первого алжирского романа на арабском языке «Девушка из Мекки» (1947).

[2] Сторонники религиозно-философского толка в исламе, считающие разум критерием религиозного познания; для них человек — творец своих собственных поступков без вмешательства Аллаха.

низаторам. В Константине они были хозяевами и ни с кем не делили власти. Определяли, сколько золотых зубов должно быть во рту у мужчин, сколько золота следует невесте принести в дом жениха. Решали даже, из какой ткани и в какое время года следует шить костюм. Всю торговлю прибрали к рукам. Но все это было тогда в интересах колонизаторов. Они, тысячелетиями сохранявшие свои национальные черты, не растворившиеся в потоке истории, не смогли представить себе своего будущего. И вот они оказались вдруг перед необходимостью упаковать чемоданы и бежать. И бежали: с тяжелым чувством покидая землю, где родились, сердца их тревожно бились, на лицах лежала печать растерянности и страдания. Их постигла та же участь, что и французов. Они вырыли глубокую пропасть между собой и народом, с которым столько лет жили бок о бок. На мосту, по которому они обычно ходили в город, поселились дьяволы. Евреи в Алжире занимались не только торговлей, служили они и чиновниками, работали в органах управления, приобретали землю, трудились в промышленности. А теперь поддались на обман... Французы покидали страну израненные, удрученные поражением, а вслед за ними пришлось уйти и евреям. Ну а если б они не ушли? И по-прежнему занимались бы торговлей и экономикой в Константине, Алжире, Оране и Тлемсене?.. Тогда по-прежнему было бы спокойно, не то что нынче.

Крестьяне большей частью оставались бы в деревнях, да и в политике дело не дошло бы до крайностей; легче было бы влиять на ход событий.

А теперь все смешалось; в роскошном кафе или чайной можно увидеть всякий сброд: тут сидит парень в обнимку с девицей, там старик листает какой-то свиток, другой старец славословит Аллаха, сверх положенных пяти молитв произнося и шестую, кто-то торгует яйцами или еще чем-нибудь, за спиной у миллионера расселся нищий оборванец.

Знатных осталось совсем мало, где им устоять перед натиском черни! Каких только мер не принимали они для своего спасения! Протестовали, распускали слухи, общались только с людьми своего круга — не помогло.

Из-за горячности алжирцев невозможны ни компромиссы, ни какие-либо умеренные решения. Крестьяне, довольно еще отсталые, бросаются из крайности в крайность.

Они готовы погибнуть все вместе, как и жить всем скопом,— пусть сосед наступит на горло соседу, а торговец загородит своим лотком лавку собрата.

«Здесь, у этих развалин поверну налево,— решил Абу Арвах.— Посмотрю, как проехать дальше. Где-то неподалеку должна быть завия Аль-Кеттания. Интересно, что с ней стало?»

Шейх повернул налево, к базару Аль-Аср и притормозил у магазина с газовыми баллонами, коробками мыла, бидонами для масла, не поймешь — пустыми или полными. Возле бидонов стоял мешок с пшеницей.

Как пахнет гнилью!.. Шейх посмотрел направо. На дверях церкви, под надписью, сделанной на иврите, было написано по-французски: «И сей дом мой будет обителью, где могут возносить свои молитвы к богу все народы».

Зачем здесь эта надпись? Уж не приглашение ли это войти в дом?

Абу Арвах проверил, закрыта ли дверца машины, и стал спускаться вниз по склону, к базару. Завия Аль-Кеттания выкрашена в зеленый цвет, как и двадцать лет назад. «Я уже бывал здесь с Бен Бади-

сом. Помню, он боролся против этой завии. А сейчас здесь неполная средняя школа. Федаинам тогда удалось казнить шейха этой завии. Вместе с ним умерла и сама завия. Говорили, будто служитель завии стал директором школы. Его вначале уволили, но, когда он съездил в столицу, вернули на прежнее место. Очевидно, те, кто за него вступился, рассуждали так: главное, чтобы завия уцелела. Пусть даже в ней будет школа, неважно. А служитель никакого вреда Алжиру не причинит, будь он директором, уборщиком или стражником в тюрьме. Уж лучше служитель завии или директор школы, чем коммунист или тип, вроде моего двоюродного братца Абд аль-Кадера Гарабиля.

Рядом с этой школой другая — Салаха Бея. Чуть дальше — мечеть. Уцелела! Это прекрасно. Наверно, имам мечети погружает, как прежде, пальцы в мед, принимает приношения и дары.

А народу-то сколько! Мужчины, женщины, дети. Почему везде люди? Они прямо-таки преследуют меня. Словно полмиллиона жителей Константины нарочно вышли на улицы, чтобы помешать мне найти моих родичей и осуществить мой грандиозный план».

Опять эта мутная жижа! Жара все нестерпимее. Жижа плавится и растекается по всему телу. Все развалины похожи, и в Ас-Сувейке, и в Ар-Расыфе, и в Бардо, и в Сиди М'сиде и на свалке Буль-Фараис.

Не сделай Аллах всех жителей города слепцами, не уготовь он им мрачное будущее, они давно бы бросили глину, из которой сложены их жилища, в пропасть, чтобы снять бремя с горы, а сами поселились бы в палатках или под навесами в ожидании землетрясения.

Что волнует этих людей, не ведающих даже о том, что есть предел путанице, которую они внесли в жизнь? Хорошо бы им в каждом квартале поставить огромную палатку и там спать всем вместе, распутничать, торговать, есть и красть, снашивать свои башмаки и тут же чинить их... А что чинить, когда они сразу развалятся!

Да, самое лучшее, что могло бы сделать для них их государство, государство безбожников, это поставить в Константине четыре или пять подобных палаток. Пусть они собственными глазами увидят, что такое социализм и коммунизм, во имя которых они тратят столько сил, не ведая, что творят.

Оказывается, и здесь тоже сапожники! И бани. И плоды кактуса. И покосившиеся стены. И бесконечные волны всевозможных запахов.

Когда по велению святого Рашида наступит день Страшного суда, случится тогда вещь великая. И каждая кормящая забудет того, кого кормила, а каждая обладательница ноши сложит с себя свою ношу. Рухнет и эта часть города вместе с заселившими ее дьяволами. Начнут рушиться и падать в ущелье мосты... А мост Дьяволов рухнет сразу и весь целиком.

Спуск все круче, людей — все больше. Бурая жижа подступила к сердцу, разлилась по всему телу, даже в пальцах стучит.

«Интересно, что стало с Ризки Барадаи, моим двоюродным братом? Когда я уезжал, ему было под сорок. В войне он, разумеется, не участвовал, вряд ли жизнь его могла измениться. Да и что делать шорнику? Ослов и волов вроде меньше не стало. Так что братец мой, хоть конкуренты и множились, наверняка остался шорником — такова его доля. Не стал же он офицером или учителем. Он не числится в списках павших за родину и уж во всяком случае не служит директором школы, он не министр, не советник при губернаторе, не губернатор. А может, отпала нужда в шорниках и он, ради заработка, стал сапожником, или вышивальщиком, или — в стране ведь все меняется — электриком, а то и водопроводчиком и ходит по домам с мальчишками-подручными, чинит краны.

Ну да мне все равно... Главное, он наверняка не связан с правительственными учреждениями [1].

Ох, куда это меня занесло? Я ведь не доехал даже до площади Рахабат ас-Суф.

Кто это так важно восседает на осле? Небось побывал у Барадаи и выторговал у него седло.

Вы только гляньте на него. Будь он проклят! Босой, а при галстуке, с сигарой во рту, да в европейской фетровой шляпе, хотя голова — уж точно — наполовину обрита. Чучело гороховое!

Где же я? Запахи все резче. Скоро вечер. А народ прибывает и прибывает. Базар явно недалеко. Какой-то старик примостился прямо на дороге с корзинкой хны и школьными портфелями — того и гляди, его растопчут ногами».

Автомобили с трудом пробираются в людском потоке.

«...Я заблудился, потерял дорогу в этом бедламе». Абу Арвах остановился и осмотрелся. Вот вывеска: «Частная школа». Еще одна: «Салон. Все для элегантной исламской молодежи». Шейх подошел к магазину. Бюстгальтеры, корсеты, женское белье... Да тяготеет проклятие над этим домом и светлым днем, и темной ночью.

Послышался призыв на молитву. Кто-то надрывно кричал, но слов было не разобрать. Нынешний день явно не сулил шейху ничего хорошего.

— Эй, дядя, посмотри, какой жирный индюк!

— Пшеничная крупа, пшеничная крупа — только для рамадана!

— Эй, папаша, коробка датского сыра не нужна?

— Кому золотая цепочка?

— Эй, красавица, красавица! Может, прокатишься со мной в машине?

— Пошел прочь, подонок!

— Какое яйцо разбилось! Эх ты! Что с тобой?

Надоели всем красивые слова, болтовня давно всем надоела.

Это из магазина приемников и грампластинок доносились резкие, раздражающие звуки марокканской мелодии. У шейха в голове все смешалось.

«Стоит спросить их о чем-то, они сразу сообразят, что я приезжий, и еще, чего доброго, увяжутся за мной. Все они воры и бандиты. С торговцами я еще, пожалуй, договорился бы. Но какие это торговцы? Сплошь болтуны! Попрошайки! Раньше пасли овец да разбойничали, а теперь ринулись в города, заполонили их, захватили магазины, дома, переженились на горожанках, и подавай им теперь должности, местечко потеплее и что там еще взбредет в голову.

Расспрошу-ка я, пожалуй, вон того шейха, что идет мне навстречу. Сразу видно — старожил, и ему наверняка все это опротивело. Тоже, конечно, чувствует, что землетрясение вот-вот начнется и надо спешить. Пусть подойдет поближе».

Какая-то старуха толкнула шейха, и он шарахнулся в сторону. Парень мимоходом наступил ему на ногу. Потом дорогу ему заступил продавец кур. Путь преградил автомобиль. Чей-то малыш ползал у него под ногами. Но все-таки он преодолел все препоны. Мыслимо ли идти в такой толчее, в этаком столпотворении! Нет, в Константине нужно быть первопроходцем, как в космосе.

— Да будет Аллах милостив к твоим родителям! Где тут Рахабат ас-Суф?

Не успел Абу Арвах задать свой вопрос, как шейх вдруг исчез

[1] Хартия аграрной революции запрещает иметь землю государственным служащим.

в людском потоке, кто-то толкнул его, потом обступили старухи, и след его тотчас пропал.

«Надо выбираться отсюда, пока и меня не унесло неведомо куда. Попробую. Вот только вверх мне идти или вниз?» Тут дно реки. Нет — океана. Стиснутый отовсюду — сверху, снизу, сзади, спереди — поток несет с собой грязь, песок, камни, траву, водоросли, мох, дохлую рыбу. И все это вертится в водовороте.

Все те же улицы. Все те же запахи. Все те же товары. Все те же лица в любом уголке города, на каждом шагу. А если где и проглянут какие-то особенные приметы, они сразу потускнеют, исчезнут.

В Константине остались одни лишь мечети, завии, гробницы святых, голуби да мангалы, на которых жарятся мозги. Но и это тоже утратило свой смысл. Мечети хоть уцелели, пусть даже там призывают на молитву с помощью электричества и пластинок, которые вечно ставят не на ту скорость, а вот завии почти все превратили в школы — неполносредние, средние. От бань остались только уборные да писсуары. И поди знай, какие мозги жарятся на мангалах. Скорее всего собачьи и волчьи.

«Пойду-ка я вниз. Ведь Рахабат ас-Суф находится ниже базара Аль-Аср. Брошусь в поток, и он понесет меня прямо к цели. Там, в конце, должна быть главная улица, а уж оттуда я наверняка доберусь до своей машины или к Рахабат ас-Суфу».

Абу Арвах двинулся с места с таким видом, словно бросался в быструю горную реку, вверяя ей свою судьбу. Его толкали плечами, локтями, наступали на ноги, ему сигналили машины, преграждали дорогу торговцы, совавшие свои товары.

«Я — в Синайской пустыне! Я — в лабиринте!.. И опять я забрел в еврейский квартал. О Сара, где ты? Где мне искать тебя — на западе, на востоке? Что сделала ты с ребенком, о котором мы так мечтали?

До чего надоели мне эти голоса, терзающие слух!»

— Сотни грузовиков ежечасно уходят на Аннабу и Скикду [1].

— Район и впрямь стал промышленным!

— Ты только представь себе. Каждый день дорога оседает под этой огромной тяжестью. По ней теперь просто невозможно ездить.

— Ну что ты говоришь! Правительство столько делает, чтобы развить промышленность.

— И образование — тоже. С тех пор как на местные власти возложили ответственность за постройку школ, ни одной деревни не осталось без школы. Даже там, где и не помышляли об учителе, строят школы и дети смело стучатся в школьные двери.

— Французы не оставили никакой базы для развития страны.

— Вор! Вор! Держите вора!

— Вор! Вор!

— Кто мог подумать в сорок седьмом году, после землетрясения, что Константина поднимется из руин.

— Я был тогда совсем мальцом. Помню только, как люди бежали, взывая о помощи на всяких языках.

— А мне было двадцать. Помню все, будто случилось вчера: сотни мертвых и среди них дети, дети. Многие падали под ноги бегущим и гибли. Никогда не забуду это кровавое месиво. Те, в ком еще теплилась жизнь, кричали, плакали, пытались подняться. Люди бежали в ужасе куда глаза глядят.

— Помню, тогда говорили: вроде внутри горы — карбид.

---

[1] Важные порты и индустриальные центры Алжира. Близ Аннабы строится с помощью СССР крупнейший в Африке металлургический комбинат.

— Не то карбид, не то соль.

— Слыхал, из тюрем выпустили всех прогрессивных деятелей?

— Вот это правильно! А то ведь, выходит,— страна социалистическая, а социалистов держат в тюрьме?

— Твоя правда. Но зато у нашей страны есть одна особенность. И, если она удержится, станет как бы сунной, законом для будущих поколений. Ты заметил, у нас никогда не было кровопролитий? Ну-ка, припомни все события с момента получения независимости. Казнен ли хоть один политический заключенный? Нет! То-то и оно. Вражда, споры, разногласия — все это было, но не было ни смертных казней, ни политических убийств.

— Все это так. Ну, а если реакция проберется к власти? Сам-то я так не думаю. Но, по-моему, обострение классовой борьбы неминуемо. Ни один класс не может править, не прибегая к насилию.

— Эй, дядя! Купи свежие гусиные яйца. Купи — пригодятся. Захочешь — гусят высидишь!

— Представляешь? Он привез машину из Франции. Совсем новенькую. Ездили на ней года четыре, не больше. Думал, попользуюсь, а потом продам. Ну, а пока искал работу, сдал ее в наем. Потихоньку, конечно. Но в полиции пронюхали об этом и говорят: продай машину по дешевке или отберем ее у тебя. Думаешь, что он сделал? Обещал, мол, продам, а сам решил вернуться во Францию вместе с машиной. Но полиция церемониться не стала, и он...

— Что?

— Что, что. Облил ее бензином и сжег...

— Вот псих.

— Говорят, скоро на обсуждение будет представлен проект аграрной реформы.

— В самом деле?

— Да, в ближайшее время. Об этом шла речь на последнем совещании в столице. И сразу же начнут проводить ее в жизнь.

— Это будет величайшее событие, равное завоеванию независимости. Настоящая революция! Жаль, поздно начали. Ведь девять лет уже, как получили независимость [1], а много ли тут сделано? Ровным счетом ничего. Посмотри на этих людей. Откуда они? Из деревень. Им осточертели безработица, голод, болезни да невежество. Клянусь Аллахом, в голове не укладывается, что в Аль-Калле, Оресе, Сук Ахрасе или Тебессе живут как сотни лет назад.

Жара все невыносимее.

Абу Арвах снова почувствовал, как жижа заползает в нос, в рот, заливает глаза, еще немного — и он захлебнется, утонет. Бурая жижа залила все, Абу Арвах ничего не видел, не чувствовал. Он никак не мог сообразить, где находится. Не мог понять, он ли говорит с кем-то или кто-то разговаривает с ним. Не представлял себе, куда несет его людской поток — вперед, назад? Или кружит на одном месте?

— Где парикмахер Омар, мой зять?.. Он погиб, погиб во время революции... Где Абд аль-Кадер, мой двоюродный брат по отцу?.. Абд аль-Кадер Абу Арвах стал учителем... А где Тахир Абу Арвах, воришка?.. Воришка Тахир Абу Арвах теперь высший офицер, облеченный властью... Где Иса Абу Арвах, мой двоюродный брат, сын тетки со стороны матери, служитель завии?.. Иса Абу Арвах, служитель завии, стал коммунистом... А двоюродный брат Ризки аль-Барадаи, сын дяди со стороны отца?.. Ризки аль-Барадаи — имам в Соборной мечети... Хвала Аллаху!.. Но не губернатору вилайи!.. Хвала Аллаху!.. Но не министру... Хвала Аллаху!.. Но не борцу, павшему

[1] Алжир получил независимость в июле 1962 года.

в боях, и не предателю. И не имаму. И не министру. И не президенту... Слава Аллаху! Слава Аллаху!..

Людской поток словно на руках нес шейха. Он громко кричал, а дети бежали следом и дразнили его, повторяя каждую фразу.

Вдруг шейх, сделав над собой усилие, остановился и крикнул:

— Где я? Где я?

А дети в один голос ответили:

— На мосту Дьяволов! На мосту Дьяволов!

Шейх открыл глаза: средняя школа — на прежнем месте, впереди — памятник Жанне Д'Арк, распростер свои крылья, того и гляди, улетит. Дальше — больница, зернохранилище, за ними — вокзал. Послышался свисток паровоза. Шейху стало не по себе. Он оглянулся.

«Ну конечно же, это бывший еврейский квартал... А я и в самом деле на мосту Дьяволов».

Страх обуял шейха, он чувствовал, как разливается по телу темная жижа, обволакивает его со всех сторон. Вне себя от ужаса шейх растолкал всех и бросился бежать.

— Эй, жители Константины! — вопил он.— Землетрясение! Слышите, землетрясение! Эй, Абу Арвахи! Спасайтесь, землетрясение!

7. *Висячий мост*

Расстояние между мостом Дьяволов и висячим мостом Абу Арвах преодолел чуть ли не бегом. От него, казалось, валил пар. Он обернулся, посмотрел в сторону Сиди М'сида и всей грудью вдохнул воздух. Затем обвел взглядом мост Баб аль-Кантара и сделал еще один глубокий вдох. Но облегчения не почувствовал. Раскаленным воздухом невозможно было дышать. Ну и пекло! И утром, и вечером.

По мосту проехала машина. Мост вздрогнул, заходил рывками — вверх-вниз, вверх-вниз. У шейха екнуло сердце — он услыхал крики детей.

— Абу Арвах! Абу Арвах!

Шейх уставился на детей. Они выстроились в ряд у него за спиной. Какой-то мужчина прикрикнул на них, они бросились бежать, но у въезда на мост остановились и снова стали дразнить шейха:

— Эй, Омар!.. Эй, Абд аль-Кадер!.. Эй, Тахир!.. Эй, Иса!.. Эй, Ризки!.. Эй, Абу Арвах!..

Наяву все это или во сне? Абу Арвах закрыл глаза.

Да ведь это же дети Айши, дети Сары, дети Ханифы, дети жены хаммаса, дети ее дочери, дети миллиона женщин и десяти миллионов мужчин.

А вот и чудище, хвост его на востоке, голова на западе, живот заслонил небо над Константиной. Чудище наклонилось и сгребло детей в охапку.

— Хватай их, чудище, хватай! Это исчадия порока и разврата!

Мост качается, дрожит. Под ним — глубокое ущелье. Крикнешь на дне ущелья, голос не долетит доверху. Крикнешь наверху — голос растворится в глубине.

«Я ни разу еще не был на дне ущелья, где шумит поток. Интересно, что видно оттуда, снизу? Если глядеть сверху, пропасть, хоть и глубокая, кажется совсем плоской, люди — крошечными, а предметы — и вовсе точками. Так и прошлое наше. И народ. И вся эта чернь. Дело лишь в том, как на них смотреть».

Гора обрывается резко, уступом, с подножья и до вершины четко различаются пласты, словно кто-то аккуратно уложил их друг на

друга. Для пешеходов — узкая тропка, только двоим и разойтись. Чуть выше — асфальтированное шоссе на Сиди М'сид. Над ним, рассекая лес, идет дорога к морю, на Скикду. Она извивается по самому краю горы среди гротов и пещер, все круче и круче забирая вправо.

— О Айша! Жена моя, ты так и не стала мне женой. О сестра моя, тебя так и не родила моя мать. О моя дочь, ты так и не вышла из плоти моей! Почему отпечатались пальцы отца на твоей шее, о Айша?

Отвратительная жижа заливает глаза, нос, рот. Она обволакивает и ослепляет. Вдруг шейх услышал какой-то стук... Нагнувшись, он сдавил пальцами горло, стал душить. Она не сопротивлялась и скоро перестала дышать. Не разжимая пальцев, он поднял ее прямо за шею, как куклу, и бросил вниз.

Она падала, плавно кружа в воздухе, в своей белой одежде. И прежде чем достигла дна ущелья, махнула ему рукой. Он услышал ее нежный голос:

— Пальцы у тебя грубые, как у твоего отца. И руки такие же, как у отца.

...Он открыл глаза. Мост раскачивался и дрожал. А вокруг прыгали дети и кричали:

— Эй, Абу Арвах!

— Нет, это профсоюзники, а вовсе не школяры. И не обитатели свалки Буль-Фараис. У них одно лишь желание: избавиться от меня, сбросить меня в ущелье. Но я не поддамся. Прежде, чем они коснутся меня своими грязными лапами, я сам побросаю их в ущелье.

Он хватает детей в охапку и перед тем, как сбросить в ущелье, пытается раздавить их. Но нет, это ему не под силу, и он бросает их вниз живыми. Однако они не падают. Стоят как стояли. На том же месте. Он видит их. Стоят и громко смеются.

— Мы из Сиди М'сида.

— Мы со свалки Буль-Фараис.

— Мы из Ас-Сувейки.

— Мы с базара Аль-Аср... Из Бардо... Из Джинан ат-Ташины.

— Мы — дети павших борцов из Аль-Калли и из Аль-Милии, из Милы, и Ореса, из Джурджуры.

— Мы дети рабочих с фабрики Маше, мы дети железнодорожников, дети мастеровых, прихожан мечети эмира Абд аль-Кадера.

«Будь вы прокляты! Сгиньте в преисподней!»

Не сгинули. Стоят как стояли. Стоят и громко смеются.

...Он открыл глаза. Дети стояли поодаль, в разных концах моста.

Шейху чудилось, будто дети сейчас схватят его и кинут в пропасть, и он едва не закричал:

«О святой Рашид! О люди Константины, на помощь!»

Бурая вода бежала словно нехотя по дну ущелья.

«Между мною и дном ущелья — миллион миль. Нет, двадцать миллионов. Если бы даже я сорвался и стал падать, все равно не долетел бы до дна и остался бы жив. Но я не позволю им прикоснуться ко мне. Лучше уж сам брошусь вниз. И потом, я сильнее их. ...Я шурин парикмахера Омара, дядя воришки Тахира, двоюродный брат Абд аль-Кадера, родственник Ризки аль-Барадаи. Я — Абу Арвах, сын Абу Арваха, я из рода Абу Арвахов».

Мост дрожит, качается. Прошла машина. Застучали копыта осла. Грудь шейха обожгло огнем. Жижа разлилась по всему телу. Все вокруг окутал мрак. Шейху послышался его собственный голос:

— О Ханифа! Жена моего отца! Ты была и моей женой! Я любил тебя. Почему же я задушил тебя, как отец задушил Айшу?

Совсем рядом цокали копыта осла. Шейх закрыл глаза... нащупал

своими похожими на крюки пальцами шею Ханифы и стал душить ее. Она не сопротивлялась и скоро перестала дышать. Тогда он поднял ее и понес. Пальцы разжались, и Ханифа стала падать вниз, плавно кружа в воздухе, в своей прозрачной ночной рубашке. Но прежде чем упасть на дно ущелья, она посмотрела на шейха, махнула ему рукой и прошептала:

— Ты такой же, как твой отец!

...Он открыл глаза. Мост дрожит. Зной все невыносимее. По краям моста стоят люди, толпа людей.

«Они следили за мной еще в Сиди М'сиде и на свалке Буль-Фараис, в Ас-Сувейке, и на рынке Аль-Аср, и в Бардо, и в Джинан ат-Ташине. Кто они, что за люди? А-а, это дети павших борцов, дети рабочих фабрики Маше, дети железнодорожников, дети мастеровых, прихожан мечети эмира Абд аль-Кадера, они преследуют и изводят меня!.. Нет, им меня не запугать. Я их не боюсь, я сильнее. Схвачу их и брошу в пропасть. Не может быть, чтобы святой Рашид не внял моей молитве. Он не позволит отобрать у меня землю. Я — благочестивый правоверный, я — истинный праведный раб Аллаха. Это он наделил меня землей и возвысил...»

— Абу Арвах! Эй, Абу Арвах! — несется со всех сторон...

«Я вижу, все они вооружены. С ними Тахир. Тахир Абу Арвах. И Абд аль-Кадер Абу Арвах. И Омар. Иса поднимает плакат с их лозунгами. Ризки аль-Барадаи молится за них. Они наступают на меня. Все ближе, ближе».

— О святой Рашид! О жители Константины!

Но на зов шейха откликнулись только дети:

— Эй, Абу Арвах!

Шейх открыл глаза: глубока пропасть, очень глубока!.. На самом ее дне Ибрагим аль-Халиль, и ади, и самуд [1]. И племена джурхум, и кахтан, и Такфаринат [2], и царь Нумидии Югурта, и римский император Нерон, и великий полководец Окба [3], и Мусейлима [4] тоже.

Глубока пропасть, очень глубока! На дне ее — голодные дети Ас-Сувейки, дети из Сиди М'сида и Увейнат аль-Фуля, со свалки Буль-Фараис, дети всех рабочих, всех обездоленных.

— Нет, к вам я никогда не попаду!

Шейх потрогал стальные канаты, на которых висел мост... О, если б французы остались... Если бы они вернулись... Если б евреи не совершили непоправимой ошибки... Если б Балбаю удалось найти себе помощника!

В груди у шейха извергался вулкан. Мост закачался, пришел в движение. Тягучая жижа полилась у шейха изо рта, из носа, из глаз. Мрак поглотил его...

«В начале пятого месяца она сказала мне, что у нее в животе что-то зашевелилось. Как мы обрадовались! Но через неделю она скрылась, исчезла навсегда. Долгие годы о ней не было никаких вестей. Потом я случайно узнал: она во Франции со своим двоюродным братом, он-то и был отцом ребенка».

— Куда ты бежишь от меня, о жена моя! Ведь ты здесь, со мной, у моих ног.

Он потянулся к ее шее. Стиснул ее. Но она дышала ровно и спокойно. И улыбалась во сне.

---

[1] Название одного из народов, якобы истребленных Аллахом за беззакония (*арабск.*).

[2] Вождь восставших против Рима коренных жителей Алжира (17—24 гг. н. э.).

[3] Окба ибн Нафи — арабский полководец, покоривший Алжир в 681—683 гг.

[4] Пророк из Йемамы, бывший союзником, а потом соперником основателя ислама пророка Мухаммеда.

— Я не умру. Ты душишь самого себя, меня тебе не задушить. Силенок не хватит. Да и откуда им взяться? Ты бесплоден. Как смоковница.

Он поднял ее, понес и бросил. И она стала падать. Падала долго-долго. Казалось, никогда не достигнет дна. И вдруг откуда-то снизу донесся ее голос:

— Погоди, мой сын вернется из Франции и зашвырнет тебя в преисподнюю!

Шейх открыл глаза.

Мост гудел от невообразимого шума. Стоящему здесь кажется, будто он слышит все, о чем говорят и спорят во всей Константине. Миллиарды волн несут с собой звуки сюда, к висячему мосту. И у каждой — свой голос: у одной — женский, у другой — ребячий, у третьей — старческий, у четвертой — звериный рык, у пятой — рокот мотора. Звуки, правда, не всегда отчетливы, хотя волны никогда не пересекаются.

Звуки эти наполняют сердце смятением: кажется, будто это голос самого города, желающего поскорее сообщить нечто важное.

— Да вот люди болтают...

— Что же они болтают?

— Говорят, я — сводник.

— Ну и пусть! Тебе-то что?

— Правду сказать, почтенный шейх, мне как-то неловко перед тобой. Мой дед служил твоему деду, мой отец — твоему отцу. И сам я служил твоему отцу, а теперь — тебе. Твоя мать, покойница, была так добра ко мне. Это она меня женила.

— Уезжай-ка ты лучше во Францию, а не то загоню тебя... знаешь куда?

— Молю тебя: возьми дочь, а жену отдай.

— Не уедешь во Францию, упеку тебя куда подальше!

— Как прикажешь, почтенный шейх.

Шейх схватил ее за горло и стал душить непослушными пальцами. И жена хаммаса скоро перестала дышать и дочь ее — тоже. А сам хаммас все ходил и ходил вокруг шейха, будто хотел ему что-то сказать. Все смотрел на шейха, но не посмел обратиться к нему, а потом исчез. Шейх задушил и сбросил жену его и дочь в ущелье. Он долго ждал, пока они упадут на дно, но не дождался. Казалось, воздух поддерживает их, не давая достигнуть дна. Они вроде отдалялись от шейха и в то же время все приближались и приближались к нему. Рядом послышались громкие голоса.

«Неужели это они зовут меня? Или кто-то другой?»

— Нет, хаммас не умер. Он не бесплоден. Он непременно вернется. Он вернулся. Вернулся, чтоб отобрать у тебя землю и заселить ее своими детьми.

— Нет! Нет! Этому не бывать.

Собственный голос вернул шейха к действительности, он открыл глаза. Прохожие не обращали на него никакого внимания. Только дети наблюдали за ним и звонко кричали:

— Эй, Абу Арвах!

Мост раскачивался. Жара не спадала, хотя солнце, весь день яростно сверкавшее на окутанном пеленой небе, уже зашло. У подножия горы одна из скал откололась от всей громады и стояла торчком. Вверх поднимался густой пар. Сердце Константины заполнено карбидом. И углем. И солью. Одна за другой откалываются от горы скалы и рушатся, вздымая пыль. Мост парит в вышине.

Землетрясение началось!..

— Ох, святой Рашид, ох...

Люди бегут сломя голову. И вдруг взмывают вверх по спирали, вслед за скалами. Скалы тоже летят, вращаясь вокруг своей оси. Тела детей сплющиваются. Рвутся баллоны с газом. Рассыпается карточным домиком зернохранилище. Растекается потоками бензин. Пляшут и тянутся ввысь языки пламени. Мост поднимается выше и выше, уходит в небо и снизу кажется маленькой черточкой. Но и сюда долетают крики и вопли. Пахнет паленым. Все в городе изжарилось. Ничего не осталось. Ущелье постепенно заполняется. Исчезает Сиди М'сид. Бардо стерт с лица земли. Свалка Буль-Фараис сливается с другими в одну огромную свалку. Горы исчезают, и земля простирается, плоская от края до края. Константина исчезла. Константины вроде и не бывало.

Остался лишь мост Сиди Рашид, а на нем — благородные и уважаемые люди, все праведники.

«Я вместе с мостом опускаюсь на землю».

— Ох, святой Рашид! Ты заслужил свою коробку свечей.

Абу Арвах открыл глаза. Все на своих местах, все как было. И бездонное ущелье. И дети на мосту. Они ни на минуту не умолкают:

— Абу Арвах! Эй, Абу Арвах!

«Не знаю, нужно ли мне самому это землетрясение? Я больше не в силах жить в постоянном страхе. Но как избавиться от него? Есть только один путь: пусть скорее свершится землетрясение и содрогнется земля. Пусть святой Рашид внемлет моей молитве... Хоть ветерок бы подул! Воздух все накаляется. Жара не спадает. Жижа разливается по телу, мрак обступает со всех сторон...»

...Он вошел, как жених, весь благоухающий. Они обе в постели ждали его. Он приказал им встать.

— Ты сними с меня правый ботинок, а ты — левый, живо!

Они сделали все, как он велел. Тогда он дал им обеим пинка.

— Я шейх Абу Арвах. Женюсь уже в пятый раз. Я ваш бог и повелитель. Что велю — то хорошо, что не велю — то грех. А ну раздевайтесь!

Они разделись.

— Никаких желаний у вас не должно быть, кроме одного: исполнять все мои желания. А теперь спите.

И они уснули.

— Я — Абу Арвах. Вы — две несовместимые противоположности, соединенные моей волей. Ты — деньги, а ты — наука, богословие. Ты — сунна, истинная, а ты — бида, нововведение, ересь. Ты — сторонница шейха Бен Бадиса, а ты Кеттаны.

Они исчезли. Вот они уже в ущелье. И машут, машут руками.

— Твое желание, Абу Арвах, бессильно против бесплодия. Тебе ничего не поможет. Ты бесплоден.

— Ты хочешь продолжить род, Абу Арвах, но ты бесплоден. И тут ничего не поделать.

«Даже на дне ущелья они остались моими невестами. Обе сидят на одной кровати. И взгляд у них одинаковый, и мысли.

Одной противоположностью не уничтожишь другую. Тут нужно нечто третье...»

— Абу Арвах! Эй, Абу Арвах!

«Опять эти дети. Набежали со всего города. И Бен Бадис с ними. Все они зарятся на мою землю. Мою собственную землю. Нет! Не бывать этому! Отправляйтесь в Европу. Прочь из этого города. Спешите в Аннабу и Скикду, в Оран, там вас ждут большие заводы. Там много земли. Она ждет вас. Бегите. Здесь скоро начнется землетрясение и содрогнется земля. Святой Рашид исполнит свое обещание!

Мы с ним обо всем уговорились! Прочь отсюда, прочь! Своей земли я все равно не отдам. Перепишу ее на Омара и Тахира, на Абд аль-Кадера и на Ризки, но только она отойдет к ним после моей смерти. Да и тогда они смогут продать ее лишь членам семьи Абу Арвахов.

Что за стук? Кто стучит в дверь?

Сара!..

Ты никогда не умрешь, будешь жить вечно; ты ведь бесплодна. В тот день, когда ты умрешь, все разом исчезнет. Тебя погребут вместе с твоими желаниями, с твоей тоской и мраком, окутавшим все вокруг.

Давай убьем его прежде, чем усыновить. Убьем, кем бы он ни был: мусульманином, иудеем, христианином.

Ты задуши первого, а остальных придушу я сам.

Не греши, Сара, как грешили люди твоего племени. Наш дом — это дом Аллаха, дом бога. Аллах хочет сделать его обителью, где смогут молиться все народы. Открой окна пошире, но не стой возле них, не надо. Все от Аллаха. Он всегда воздает добром правоверным рабам своим. Вернись, Сара, вернись! Прошу тебя!.. Ох!.. Нигде тебя нет, ни в ущелье, ни на мосту. Ты обречена, Сара, как и все твое племя. Обречены и колониальные владыки. Обречены все благородные».

— Эй, Абу Арвах!

Они все ближе, ближе...

Они и в самом деле приближаются к нему, мост запружен людьми. Детьми и взрослыми. Гражданскими и военными. С ними шейх Бен Бадис. И Иса Абу Арвах. И Тахир Абу Арвах. Они все ближе, ближе. Все громче звучит марокканская песня:

Надоели всем красивые слова, болтовня давно всем надоела.

Пламя разгорается все ярче. Опять по телу разливается бурая жижа.

«О Бискра, дочь Окбы ибн Нафи! Дай мне свою страсть, а потом возьми ее обратно. Оплакивай меня. Оплакивай весь род Абу Арвахов... Видишь, я бросил вниз свой пиджак, и рубашку, и брюки... Они подходят все ближе, протягивают ко мне руки, а сам я еще здесь... О святой Рашид! О жители Константины!»

— Эй, Абу Арвах!

Этот крик долетел до ушей Абу Арваха в тот момент, когда полиция помешала ему совершить самоубийство. И пока его везли в больницу, в ушах его звучали три голоса.

Голос горожанина в тарбуше:

«О святой Рашид, праведный и справедливый».

Мелодичный голос, напевавший в сопровождении ребаба:

«О господь мой, о всевышний, помоги мне, и все, что мучает меня, уйдет как сон».

И третий голос:

Надоели всем красивые слова, болтовня давно всем надоела.

Послесловие

Алжир 70-х годов. Страна, вступившая во второе десятилетие независимого развития, переживает бурный подъем экономики и культуры, коренной перестройки всей жизни общества. Строятся новые, по последнему слову техники, современные промышленные предприятия, химические и металлургические комплексы, нефтепроводы, уникальные в мире заводы по сжижению природного газа. Меняется облик старинных

городов Алжира, строятся новые жилые массивы, школы, больницы, театры, клубы, университеты.

Города, основанные много веков назад, перестают быть прежде всего средоточием торговли и ремесел, превращаясь в крупные индустриальные центры в первую очередь. Они как магнит притягивают к себе жителей окружающего их «традиционного» Алжира — труднодоступных горно-лесных массивов, теснящихся в долинах, ущельях и на засушливых плато редких деревень и фермерских поселков. Заполняющие городские улицы выходцы из деревни образуют специфическую для большинства афро-азиатских стран категорию полугорожан-полусельчан, как бы символизирующих переходный характер формирующегося там своеобразного уклада жизни, находящегося в постоянном изменении, в движении к новому.

Перемены в деревне столь же значительны: аграрные преобразования затронули все сферы земледелия, скотоводства и лесоводства; изъятые у крупных владельцев и абсентеистов земли распределяются среди сельской бедноты. В соответствии с официально провозглашенной в 1971 г. Хартией аграрной революции десятки тысяч семей безземельных или малоземельных крестьян, получив землю, переселяются в благоустроенные поселки, называемые в Алжире «социалистическими деревнями». Здесь они становятся тружениками производственных кооперативов, получающих финансовую и техническую помощь государства. Покинув свои хижины «гурби» или полупещеры-полуземлянки в горах, эти бывшие бедняки (а они до революции составляли около 90 процентов крестьян Алжира) становятся активными, сознательными гражданами нового общества.

У подавляющего большинства горожан новой формации и жителей «социалистических деревень» впервые появилась возможность послать детей в школу, воспользоваться помощью врача (с 1974 г. медицинское обслуживание в Алжире — бесплатное), получить высшее образование, посещать театры, кино, библиотеки.

Но далеко не всем в стране нравится такой порядок вещей. Феодальные элементы, буржуазия, бывшие агенты колониальных властей, реакционные клерикалы, перерожденцы-бюрократы всячески стараются задержать продвижение алжирского народа по избранному им пути и даже стремятся повернуть колесо истории вспять.

Пользуясь экономическими трудностями, рожденными 132 годами колониальной эксплуатации Алжира, они пытаются подорвать веру народа в свои силы, утверждают, что без помощи ведущих капиталистических держав у алжирцев якобы ничего не выйдет. Они пытаются посеять недоверие и враждебность к весьма существенной для Алжира помощи стран социализма и вообще к идеям социализма, получившим в стране значительное распространение. Ссылаясь на религию и традицию, они пытаются доказать «незаконность» национализации средств производства и любого ущемления государством богатых эксплуататоров, особенно при перераспределении земель в соответствии с Хартией аграрной революции.

Силы реакции не рискуют открыто противопоставить себя народу, прикрывая свои истинные цели ссылками на религию, национальные традиции, «мусульманский гуманизм» (именно так и назывался одно время в Алжире журнал правых клерикалов), на былые заслуги в антифранцузском движении, экономическую целесообразность и т. п. Сложность культурно-лингвистической ситуации в стране (сильные позиции французского языка, на котором до недавнего времени получали образование алжирцы, старые традиции связей с Францией в области экономики, техники, культуры) и нужда в арабоязычной интеллигенции — она пока еще немногочисленна — в условиях проводимой в Алжире постепенной арабизации культуры и просвещения создают еще одну проблему. Арабизация в принципе направлена на преодоление культурного наследия колониализма, но по традиции главными носителями и пропагандистами арабской культуры в Алжире были теологи-улемы, большей частью выходцы из богатых семей, учившиеся в религиозных университетах Аз-Зитуна (в Тунисе) и Аль-Азхар (в Египте).

Созданная ими Ассоциация алжирских улемов внесла значительный вклад в антиколониальную борьбу в 30—50-х годах, и ее основатель Бен Бадис даже получил почетные прозвища «вождя-нации» и «отца алжирского возрождения». Но после завоевания Алжиром независимости многие улемы отошли от активной общественной деятельности или оказались на реакционных позициях. Ряд бывших членов Ассоциации связались

с антиправительственной оппозицией, а некоторые лидеры ее, активно выступавшие против аграрной реформы и прогрессивных преобразований в целом, покинули Алжир.

Роман Ат-Тахира Ваттара — самый значительный в алжирской художественной литературе отклик на все эти события. Автор его — участник национально-освободительной войны 1954—1962 гг., член руководства правящей партии Фронт национального освобождения (ФНО) и Союза писателей Алжира. Он — один из немногочисленных пока алжирских литераторов, пишущих по-арабски и публиковавшихся за пределами Алжира. «И содрогнется земля...» — первый алжирский роман, переведенный на русский язык с арабского.

Ваттар показывает революционные перемены в жизни Алжира через призму восприятия ярого врага этих перемен. Шейх Абд аль-Маджид Абу Арвах — герой (вернее, антигерой) романа — отвратителен и опасен. Жадный и жестокий эксплуататор, изощренный лицемер, садист и убийца, он одержим одной лишь навязчивой идеей: спасти от аграрной реформы свои земли, нажитые нечестными махинациями, хищничеством и предательством. Перед читателем проходят колоритные фигуры торговцев, ростовщиков, бывших шпионов колониальных властей и прочих «бывших», выметаемых ныне алжирским народом на свалку истории. Все эти люди бессильны помочь Абу Арваху, ибо они — вчерашний день Алжира. А сегодняшний день страны — это рабочий люд на улицах подробно и с любовью описанной Ваттаром Константины — самого древнего, самого в прошлом «традиционного» и наиболее сильно меняющегося сейчас алжирского города. Увлекаемый кипучей, жизнерадостной толпой горожан, Абу Арвах злобно брюзжит, осыпает окружающих многословными изощреннейшими проклятиями, щедро приправленными цитатами из Корана и прочими свидетельствами мусульманской учености. Он буквально задыхается от ненависти ко всему новому, молодому, прогрессивному в алжирской действительности. Но его старческая беспомощность не должна нас обманывать. Это — хищник, еще не потерявший всех зубов, сохранивший классовые и клановые связи с ему подобными, возможность влиять на воспитание молодежи в руководимой им школе и престиж религиозного деятеля, члена Ассоциации улемов.

Избранный автором прием ничуть не сузил поле зрения Ваттара. Многочисленные приметы времени и места действия романа ярки и точны — улицы, закоулки, базары, лавки и кафе Константины, ее знаменитые мосты, памятники и старинные кварталы. Особый колорит придают им воспоминания Абу Арваха о том, как это все выглядело раньше, когда он еще был хозяином положения. Чередующиеся уличные сценки, внутренние монологи и рассказы героев романа о себе, авторские отступления и как бы подслушанные со стороны разговоры очень емко, зачастую публицистически остро передают то, чем живут алжирцы сегодня, что думают они о прошлом и настоящем своей родины, о ее будущем, зримые черты которого с новой полнотой и ясностью определил проходивший недавно IV съезд Фронта национального освобождения Алжира.

Р. Г. ЛАНДА

■

КАРЛО БЕРНАРИ

Горькая любовь

ПОВЕСТЬ

Перевод с итальянского Л. ВЕРШИНИНА

I

Сидя в красильне, я со страхом прислушиваюсь к ее крикам.

— Могу я все-таки поговорить с самим хозяином?

Сколько времени длится осада — она у стойки шумит, возмущается, а я в красильне жду, когда стихнет ее громкий голос,— точно не знаю, знаю лишь, что раз в неделю последний час работы отравлен ее воплями.

— Это свинство, самое настоящее свинство!

Теперь голос доносится через окно, выходящее во двор,— должно быть, женщина стоит у входной двери.

— Пусть все знают, что вы за красильщики!

— Ну зачем же так,— робко возражает приемщица.— Ведь все можно исправить.

— Когда? Как? — кричит клиентка.— И что значит исправить?

— Надо было сразу не брать платье, а то прошел целый месяц.

Наконец-то моя приемщица подыскала нужный ответ. Но клиентка и тут нашлась:

— Вы его всучили обманом, когда мама была дома одна. А она плохо видит. Да еще заставили заплатить все деньги сразу... Вот как было дело, моя любезная. Уже месяц, как я по вашей милости каждый день таскаюсь в эту красильню.

— По моей? — растерянно переспрашивает приемщица.

— Да, по вашей, разумеется, по вашей.

Этот противный голос доносится из «залы» — видно, клиентка вернулась к стойке.

— Но скоро этой истории придет конец,— снова возвысив голос, нараспев обещает она.— Встретимся в суде... Вот пойду и подам на вас жалобу. Где находится ваш полицейский участок? Посмотрим, как вы будете оправдываться перед полицейским комиссаром!

Такой оборот дела грозил мне крупными неприятностями — ведь полиция безропотно подчинялась не только приказам фашистских властей, но и требованиям отъявленных наглецов.

Я решил вмешаться и, не переодевшись, вошел в залу.

— Так что же вы скажете полиции?

Мое внезапное появление, моя одежда, наглый вопрос — все это смутило клиентку.

— Я ей скажу, скажу...— пробормотала она.

Потом оглядела меня с головы до ног. Она словно не знала, стоит ли разговаривать с грубияном подмастерьем.

— Скажу, что вы натворили.— Она подошла к самой двери, точно желая привлечь в свидетели пассажиров, ожидавших автобуса.— По-вашему, это работа?! Тогда признайтесь честно, что вы мазилы и разрешение открыть красильню получили незаконно! — воскликнула она.

— Простите, но вы не имеете никакого права позорить нас перед прохожими. Скоро тут толпа соберется. Закройте дверь! — велел я приемщице.— А вас попрошу подойти к стойке. Вот здесь и возмущайтесь! — обратился я к посетительнице в черном платье.

Прежде в красильне я ни к кому не обращался, не добавив вежливо «синьора», и сейчас с досадой заметил, как легко употребил эту, очевидно, привычную для моей клиентки форму.

Приемщица закрыла дверь, а клиентка остановилась в нерешительности у стойки.

— Не бойтесь, мы не кусаемся.

— Надеюсь,— с прежней резкостью ответила женщина в траурном платье.

— Я же вас просила не кричать у самых дверей,— приободрившись, заметила приемщица.

— А вам лучше помолчать! — осадила ее клиентка.— Это вы виноваты, что все так получилось!

— Я? — возмутилась приемщица.

— Да, вы и только вы!

Приемщица побледнела, глаза ее сначала округлились от изумления, потом сузились, лоб покраснел словно от удара.

Она метнула полный ненависти взгляд на женщину в черном.

Назревала ссора, и я снова поспешил вмешаться:

— Синьорина, уже восемь вечера, вы можете идти домой. Опустите решетку витрины и до половины дверную решетку. И еще потушите свет в красильне.

Приемщица неохотно подчинилась. Как только она исчезла в дверях, клиентка опять принялась на нее жаловаться:

— Почему она сразу вас не позвала, синьор?

Она перешла на эту вежливую форму, словно желая придать своему протесту полную объективность.

— К тому же она просто невоспитанна. Вам бы следовало ее заменить. Уж поверьте мне на слово, в обращении с клиентами прежде всего нужна вежливость.

— Знаю. К сожалению, не от меня зависит, уволить ее или оставить. Но насколько мне известно, она отлично справляется со своими обязанностями. Поймите, она делает то, что ей велят.

— Так это вы приказали ей водить меня за нос?!

— Я лишь старался выиграть время. Клиенты донимают нас своими капризами, и нам приходится прибегать к разным уловкам.

— Вот как! Да, в откровенности вам не откажешь. Значит, мои требования — каприз?

— В вашем случае, может, и нет, но как правило... Впрочем, покажите, что вам не понравилось.

— Посмотрите сами! Это называется черный цвет! А что вы скажете об этих полосах? Вы положили в чан мало краски.

— О, святая простота! — Я вскинул руки к потолку.— Эти полосы — не что иное, как проступившая основа материала. Можно подумать, что я крашу платья по очереди и ваше, вам назло, положил в чан последним!

— В вашем ремесле я не разбираюсь! Для меня важен результат. А мне придется выбросить платье или подарить его Красному Кресту для какой-нибудь бедной абиссинки. Посмотрите вот здесь... и здесь.

Поглаживая рукой ткань платья у выреза, она придвинулась ко мне вплотную, и я ощутил, как вздымается ее грудь. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять — это набивной жоржет, доставляющий нам, красильщикам, столько хлопот. Охватившее меня возбуждение я попытался замаскировать «профессиональными» действиями, которые хотя и выдавали мое волнение, но выглядели так, будто я издеваюсь над ее претензиями, столь не вязавшимися с ее влажным взглядом. Стоило мне поднять глаза, как наши взгляды встретились.

Я просунул руку ей за пазуху, ладонью касаясь ее груди, дотронулся пальцами до взмокшей подмышки, словно хотел проверить, насколько крепка ткань в самом уязвимом месте. Затем высоко поднял край ее юбки и стал разглядывать его на свет. Наконец я изрек:

— Пожалуй, можно попытаться кое-что исправить. Но только на вашу ответственность.

Прерывающимся, сдавленным голосом, точно моя близость мешала ей дышать, она спросила:

— Как вас понимать?

— Заранее вас предупреждаю: можно все окончательно испортить. Чтобы вы потом не скандалили. Набивной жоржет — прековарная штука, особенно когда цвет основы очень яркий. Ткань тогда плохо впитывает краску, и на ней проступают следы. А если сделать раствор погуще, она приобретает красноватый либо зеленоватый оттенок.

И тут вошла приемщица. Она молча прошла мимо нас, слегка кивнув нам на прощание головой.

— До завтра,— сказал я.

Моя клиентка, даже не кивнув в ответ, проводила ее презрительным взглядом.

— Если бы эта девица,— сказала она, едва за той захлопнулась дверь,— меньше думала о своей внешности, а больше — о клиентах, она бы предупреждала их, что такие платья красить нельзя... Но ей, видно, очень хочется угодить вам.

— Вы слишком к ней строги.— Я сжал посетительнице руку, которую она на миг покорно протянула, но сразу же отдернула, словно притронулась к раскаленному железу.— Эта девушка работает не ради собственного удовольствия, а из нужды: у нее недавно умер отец. Во всяком случае, если хотите, я верну вам деньги за окраску,— добавил я.— Потом вычту их из жалованья синьорины.

— О нет, нет! Раз ей так тяжело приходится, бедняжке... Лучше я вам оставлю платье. Может, все-таки удастся его перекрасить. Ну, а если ничего не получится...— Вдруг она резко возвысила голос:— Тогда ноги моей здесь больше не будет. Хватит с меня одной неприятности. Разве я не права?!

Ее глаза, устремленные на меня, говорили совсем о другом: «Скажи, чтобы я вернулась, и я вернусь». Я так и сделал.

— А я, синьора, думаю, что вы еще придете к нам. И даже очень скоро.

— Вы в этом уверены? — слабым голосом, выдававшим сильнейшую растерянность, сказала она.

— Совершенно уверен,— прошептал я нежно, словно признаваясь ей в любви.— Больше того, я уверен, что теперь вы всегда будете звать меня. А пока не выпить ли нам в знак примирения вермута?

— Только не вермут! У меня от него голова болит.

— Тогда чашечку кофе-каппучино.

— Хотите загладить вину чашечкой каппучино!

Она улыбнулась мне, и я, поднимая трубку телефона, уже знал, что она в моей власти.

— Алло! Это бар Систина? Как кто говорит?! Не притворяйся болваном! Ты прекрасно знаешь, кто с тобой говорит. Ведь я единственный клиент вашего паршивого бара.

Я старался показать себя во всем блеске остроумия, и кассир бара как всегда подыгрывал мне.

— Брось! Такого выгодного клиента тебе больше не найти. Так что запиши без разговоров: две чашки каппучино в красильню... Кое-кто и вечером вместо аперитива пьет кофе. Тебе-то какое дело?! Благодарю за совет, я и сам знаю, что сейчас половина девятого! А я решил не закрывать! У тебя есть возражения?! Нет? Тогда добавь еще и пирожных. И притом самых свежих. Понял? Иначе я все отошлю назад и позвоню в бар напротив. Ваш конкурент только этого и ждет.

Дама в черном платье с любопытством разглядывала меня.

— Он мой давний друг. Если хочешь, чтобы тебя обслужили как следует, его надо подзадорить,— объяснил я. Но тут, вешая трубку, я увидел себя в зеркале. Улыбка замерла у меня на губах. Неужели этот самый оборванец в испачканной краской, изодранной тенниске, в подпоясанных бечевкой черных штанах с дыркой у колена и есть я?! А обшитые белой ниткой петли на рубахе и деревянные облезлые башмаки на голых, черных от анилиновой краски ногах!

Да, я узнал себя, это, конечно же, был я. Но моя глупая, самодовольная улыбка никак не вязалась с моей одеждой.

— О боже, в каком я виде! — с искренним ужасом воскликнул я.— Извините, я мигом переоденусь.

Проходя мимо входной двери, я закрыл ее на ключ и убавил свет в люстре. Затем, остановившись на ступеньках лесенки, которая вела в саму красильню, завернулся в портьеру и сказал синьоре, удивленно озиравшейся вокруг:

— Когда постучат в окно, откройте, пожалуйста, дверь посыльному из бара, велите ему поставить поднос на столик и сразу же снова заприте дверь. Иначе потом мороки не оберешься с запоздавшими клиентами.

— А может, с клиентками? — спросила она, когда я влезал в ванну, вода в которой уже успела согреться.

II

Вернулся я с напомаженными волосами, весь благоухая одеколоном. Смыть анилиновую краску с рук и ног мне удалось лишь хлорамином, и я надеялся, что одеколон заглушит его отвратительный запах. На мне был щегольской костюм светло-жемчужного цвета, который стоил ровно столько, сколько я зарабатывал за целый месяц.

— О, какие мы элегантные! — воскликнула она, когда я появился.

Я притворился, будто принял ее комплимент как должное.

— Садитесь, что же вы стоите!

Она села на плетеный диванчик, скрестив ноги, и расправила складку платья.

— Господи, до чего же оно безобразное. Смотреть противно! — со вздохом сказала она.

— Ну, не стоит об этом вспоминать!

Я протянул ей чашку кофе и сел рядом.

— Хотите пирожное?

Она пристально посмотрела мне в глаза, потом, взяв пирожное, спросила:

— Вы всегда так поступаете с клиентками?

— Все зависит от того, скандалят ли они, приятное ли у них лицо. Правда, таких красивых клиенток, как вы, я почти и не встречал,— небрежно-кокетливо ответил я.

— А мне показалось, что у вас богатый опыт.

По ее глазам я догадался, что она скорее ждет не опровержения, а подтверждения своей догадки. Тут весьма кстати на память мне пришли стихи Бодлера, прочитанные накануне. И я продекламировал с пафосом:

Entre tant de beautés que partout on peut voir,
Je comprends bien, amis, que le désir balance,
Mais on voit scintiller en Lola de Valence
Le charme inattendu d'un bijou rose et noir[1].

— И эта розовая и черная жемчужина — я? — весело смеясь и всем телом наклонившись вперед, спросила она.— Розовая и черная! Очень приятный комплимент. И неожиданный. Надеюсь, что черная краска будет не вашей.

— Увы, это исключено,— сказал я, впившись в нее взглядом.— Вам черный цвет был дан гением природы, и красками ему служили лепестки роз, ягода тутовника и зерна суммака, а не жалкие анилиновые красители вашего покорного слуги.

— Подумать только!— воскликнула она, покачав головой, словно хотела отогнать неотвязную мысль.— Кто бы мог всего два часа назад поверить, что я буду сидеть рядом со своим мучителем и слушать его комплименты! Признаюсь, я вас просто ненавидела.

— Теперь вы тоже меня ненавидите?

Она не ответила. Протянула мне сигарету и вынула зажигалку. Я взял ее руку в свои и сказал, чтобы она закурила первой.

— Чьи это стихи? Ламартина? — смущенно спросила она, закурив и отдавая мне зажигалку.

— Бодлера. Одного из двух моих самых любимых поэтов! — изрек я, пустив струйку дыма.

— А кто второй? — Рука у нее дрожала.

— Леопарди. Бодлер с редкой полнотой выразил чувства своей эпохи. После него и Леопарди поэзия утратила всю нежность.

— Я в поэзии мало разбираюсь. Наверно, вы правы. Вот стихи Леопарди я знаю неплохо. Он был родом из моих мест. Девушкой я не раз мечтала у заветного холма. «Всегда дорогими мне были этот заветный холм и изгородь эта»,— продекламировала она нараспев с преувеличенным пафосом.

— Нет, нет, не так,— остановил я ее.— Ведь вы его коверкаете, бедного Леопарди!

---

[1] Меж рассыпанных в мире привычных красот
Всякий выбор, мой друг, представляется спорным.
Но Лола́ — драгоценность, где розовый с черным
В неожиданной прелести нам предстает.

(На картину Эдуарда Мане «Лола́ из Валенсии», перевод В. Левика.)

— Кто учится пению, тот по привычке читает нараспев даже обычное письмо,— согласилась она.

— Вы учитесь вокалу? — Мне стало приятно, что я ухаживаю за оперной певицей. Но она сразу уточнила:

— Училась. Прежде. Знаете, замужество, дети. Потом начались беды, сплошная цепь несчастий. И самое последнее из них — смерть мужа.— На ее розовом лице снова появилось растерянное выражение. После секундного молчания она спросила:— Как это вы умудряетесь интересоваться сразу столькими вещами?— А ее черные глубокие глаза досказали без слов: столь далекими от вашего ремесла?

Я медлил с ответом, не зная, что выбрать — то ли: «Я пишу, рисую, сочиняю стихи» или же: «Горький в молодости тоже был красильщиком». А сказал лишь многозначительно:

— Учусь. Стараюсь смотреть на мир не только сквозь окна моей грязной красильни.

— Очень хорошо поступаете,— одобрила она.

— Довольно часто хожу на выставки,— продолжал я.— Увы, у меня остается мало свободного времени... Но на последнем Куадреннале я все-таки побывал.

— Вам понравились скульптурные работы Руджьери?

— Вы говорите о портном, который стал скульптором?

— Так вы и это знаете? Вы обратили внимание на его бюст женщины, выставленный в четвертом зале?

— Нет, признаться честно, не обратил.

— Ему позировала я. Но об этом никто не знает,— сказала она с обезоруживающим бесстыдством.

— Но я-то теперь знаю! Он и это изобразил? — вполголоса сказал я, дотронувшись ладонью сначала до ключицы, а потом и до упругих бедер.— А может, и пониже?

— Слишком вы любопытны! — сказала она, закрыв мне рот рукой. Я легонько укусил ее палец, и она тут же отдернула руку.

— Да, жизнь — странная штука,— вздохнула она.

В ее долгом, глубоком вздохе таилось предчувствие чего-то необыкновенного, и я с таким же печальным вздохом подтвердил:

— Воистину, странная.— Я желал найти оправдание быстрой перемене чувств и самой ситуации и грустным голосом добавил: — Кто знает, к каким тонким уловкам и хитростям прибегает жизнь, чтобы сошлись пути двух существ, которые еще минуту назад слепо ненавидели друг друга.

Она благодарно посмотрела на меня, я взял ее руки в свои и стал гладить себя по щеке. До тех пор, пока ее пальцы сами не начали меня ласкать.

— Знаешь, только когда выходишь из дома, а уж когда вернешься — знать не дано,— тихо сказала она.

Я поцеловал ее и дрожащими губами спросил:

— Думала ли ты, что мы будем целоваться?

— Думала,— прошептала она, возвратив мне поцелуй.— Все шло к этому.— Она улыбнулась мне.— Я чувствовала.

— И хотела? — допытывался я, снова целуя ее.

— Это было как прерванный разговор, который ждет своего завершения,— сказала она, слегка отодвинувшись.

— Такого?

С этого мгновения наши объятия и поцелуи словно подчинились точному ритму и неумолимой логике. Едва она устало откидывалась назад, я снова впивался губами в ее губы и снова обнимал ее ищущими руками.

Часы бежали с невероятной быстротой между одним ночным патрулем и другим. Каждый раз патрульные стучали в дверь, чтобы удостовериться, есть ли кто в этой красильне, до сих пор почему-то незапертой и освещенной.

Когда мы вышли из красильни, я не удержался и с мальчишеской гордостью показал ей надпись, которую поэт и писатель Альваро оставил в знак признательности за нашу работу:

Пусть каждый как умеет окрасит свои иллюзии
И почистит свою совесть.
Что же до одежды — не беспокойтесь,
Обо всем позаботится Красильня.

Она прочла это посвящение Альваро с недоверчивой улыбкой и, видно, подумала про себя: «Какие же безумцы, эти поэты! Чего только не выдумают!»

Но я был ей благодарен даже за это не слишком лестное для меня суждение. Я обнял ее за талию, и так, тесно прижавшись друг к другу, мы медленно шли в счастливом молчании по сонным и безлюдным улицам центра.

III

Я как сумел перекрасил платье и несколько дней спустя позвонил в дверь ее дома. Рената небрежно взяла отглаженное платье, которое я осторожно ей протянул, и, едва удостоив его взглядом, бросила на руки старухе, выскочившей в коридор с очками в одной руке и с газетой «Мессаджеро» в другой.

— Возьми и повесь в шкаф этот шедевр красильного искусства.

Старуха обиженно водрузила очки на нос, чтобы получше рассмотреть платье. Рената повернулась к ней спиной — ее явно злила не моя плохая работа, а то, что черный цвет напоминал о трауре — на ней самой было уже пестрое светлое платье.

— А ты наглец. Мог хотя бы предупредить меня по телефону,— сказала она, как только ее мать ушла к себе в комнату.

И поцеловала меня.

Но мгновенно отпрянула, потому что в комнату, распахнув дверь, ворвался мальчишка лет восьми-девяти. Он подбежал к матери и обхватил ее ноги.

— Осторожнее, мне больно! — чуть не упав, сказала она.— Вот мой Витторио.

— Красивый мальчик,— сказал я, пристально глядя ей в глаза.— Ну, давай, дружище, руку! — Я наклонился к нему.

Витторио посмотрел на меня исподлобья и уткнулся матери в колени. Рената потрепала его по плечу.

— Какой же ты невоспитанный. Поздоровайся с дядей.

Витторио, набычившись, мрачно разглядывал меня.

— Перестань дурить,— рассердилась Рената.— Знаешь, он не дерется.

— О, нет! — воскликнул я.— Умных мальчиков я очень даже люблю.

— Тогда тебя ждет разочарование,— грустно сказал она, открывая дверь гостиной. Мы вошли в гостиную, и я обратился к Витторио, который неотступно шел за матерью:

— А я по твоим глазам вижу, что ты вовсе не глупый. Ну, как тебя зовут?

Мальчуган снова уткнулся головой Ренате в живот. Она его отстранила.

— Отвечай же. Ты что, онемел?

— Оставь его в покое. Он меня первый раз видит, стесняется. В каком ты учишься классе?

Витторио отвернулся и опять уткнулся головой в материнскую юбку. Рената сказала:

— Горе с ним, да и только. Кто бы ни пришел, сразу начинает капризничать. Представляешь, ему уже десять лет, а он второй год сидит в четвертом классе.

— Не велика беда. Исправится.— Я неловко попытался погладить мальчугана по голове, но тот наклонился еще ниже, и мои пальцы скользнули по бедру Ренаты.— Годом меньше, годом больше,— добавил я.

— О господи! После твоих речей он вообще перестанет учиться... Расскажи ему лучше, что случается с теми, кто плохо учится.

— Что может понять десятилетний мальчишка?

— В этом возрасте уже многое понимают; потом будет поздно. Ты же сам мне рассказывал, что если бы окончил вовремя среднюю школу, то не стал бы красильщиком. Объясни же ему, как тяжела твоя работа, как тебе приходится вечно торчать в грязной, сырой мастерской у дымящегося котла, носить лохмотья, в которых я позавчера тебя увидела!

Упоминание о моем трудном ремесле, призванное пробудить в сыне отвращение к физическому труду, меня глубоко ранило.

— У каждого ремесла есть свои минусы. У меня руки всегда в краске, у другого они всегда грязные от жира и ржавчины.

— Конечно, всякая работа нелегка, иначе и быть не может. Но твоя показалась мне самой тяжелой.

Витторио смотрел на нас грустно и растерянно. Вдруг он сказал:

— А я бы хотел красить.

— Что? Красить? — взвилась Рената.— Не думай, это тебе не рисунки в альбоме раскрашивать. Почему бы тебе не показать Витторио свою мастерскую? — обратилась она ко мне.— Пусть полюбуется на огромные медные чаны, посмотрит, что в них красят.

— Охотно покажу,— сказал я, глядя на Витторио. Наконец-то мальчуган мне улыбнулся. Он держался за ручку двери, но не открывал ее.

— Поверишь ли, с ним нет никакого сладу,— пожаловалась Рената.— Меня он не боится, а уж бабушку и подавно... Знаешь, мне приходится делать с ним все задания. Какая скучища все эти учебники по истории, арифметике, итальянскому!

— Что же я тогда должен говорить! — воскликнул Витторио, отворил наконец дверь и выбежал в коридор.

— Ах, тебе надоело учиться, бедняжке! — настиг его голос Ренаты.— Ничего, попозже разберемся. А пока иди и делай уроки.

Дверь со стуком захлопнулась, Рената вернулась и сказала в полной растерянности:

— Иногда мне кажется, что я просто не дотяну до того дня, когда он кончит школу. Ты ничего не заметил? — Она шагнула ко мне.— Видишь, как сильно я хромаю.

— Хромаешь?

Рената наклонилась и поцеловала меня.

— Да, любовь моя, я хромаю. Рано или поздно ты бы и сам это заметил. Уж лучше самой тебе сказать.

— Пройдись немного, пожалуйста.

Она послушно стала ходить по гостиной, от пианино до балкона и обратно, покачивая бедрами, словно манекенщица, но я так и не понял — нарочно ли, из кокетства, или по необходимости она это делала.

— Нет, иначе,— сказал я.— Походи так, как ты обычно ходишь по улице.

— Увы, вот так я и хожу по улице, любовь моя. Подумай, еще есть время.

— О чем! — воскликнул я, обнимая ее.— Ты мне полюбилась такой, какая есть. С первого взгляда. Остальное — пустяки. Но право же, если заранее не знать, то ничего и не заметишь.

— С годами станет хуже. По крайней мере так говорят врачи.

— Поменьше слушай этих врачей,— ободрил ее я, садясь на ручку кресла.

Рената явно не приняла всерьез мои слова утешения. По-прежнему стоя у кресла и глядя прямо перед собой, на балконную дверь, она сказала:

— Чему быть, того не миновать!.. Представляешь, я много лет гуляла с Витторио на вилле Боргезе и никогда ничего не случалось. Но стоило мне однажды немного захворать, и вот... Витторио в тот раз, как всегда, пускал в фонтане кораблик с парусом, а я сидела на каменном бортике и читала. Я там бывала часто, особенно летом, когда у фонтана такая приятная прохлада. В тот день мне вдруг стало нехорошо, я вся обливалась потом, но подумала: «Может, это оттого, что дует сирокко» — и просидела у фонтана до самого ужина. Вернулись мы домой, и тут я чувствую, что еле взбираюсь по лестнице. Витторио мне говорит: «Мама, ты сейчас на старуху похожа». И правда, я будто отяжелела. А Витторио снова: «Мама, какая ты смешная!» Я поглядела в зеркало — о боже, я вся раздулась, стала похожа на чудище. А голова горит, лихорадка меня бьет. Я слегла и пролежала три месяца. Врачи только недоуменно переглядывались. Наконец один из них, самый молодой, нашел объяснение. Он сказал, что когда я сидела у фонтана уже больная, то впитала в себя всю сырость и влагу. Из-за этого меня и раздуло. Ну, а потом начался деформирующий полиартрит. Бедра ослабели и словно слиплись. Пришлось мне, лежа в постели, заново учиться раздвигать колени. Сначала я просовывала между колен книгу, потом — подушку. Со временем я оправилась, но ходить свободно, как прежде, уже не могу... Тут внутри,— она погладила бедро,— осталась как бы горсть песка, который скрипит при каждом шаге.

Я обнял ее ноги и приник ухом к больному бедру.

— Слышишь, как скрипит,— сказала она, опираясь на больную ногу и приподняв здоровую.

— Ничего не слышу,— солгал я, хотя и услышал звук, похожий на шелест занавесок.

— Спасибо тебе, мой дорогой,— сказала она, погладив меня по затылку.— Хочешь придать мне мужества. Но Витторио, а он честный и безжалостный, как все дети, еще года два назад перед сном капризничал, хотел послушать, «как шумит завод в маминой ноге».

Она отошла к открытому балкону и, словно обращаясь не ко мне, а к душной и знойной виа Рипетта, сказала со вздохом:

— Нам надо было встретиться не сейчас, а несколько лет назад.— Она будто догадывалась, что я буду любить ее тем сильнее, чем беспомощнее она мне покажется.

— Ты уверена, что тогда я полюбил бы тебя еще больше,— с упреком сказал я.

Она ничего не ответила, вернулась к дивану, села, взяла со стола альбом с фотографиями.

— Вот, можешь сам убедиться, если хочешь. Садись рядом.

Когда ее рука легла на последнюю фотографию (объектив запечат-

лел ее сидящей с грустным видом на балконе в том самом платье, которое я потом красил), я невольно зажмурился, словно желая отбросить ее прошлое, обступившее меня большими фотографиями-портретами и маленькими фотокарточками, групповыми снимками на прогулке и на отдыхе. На меня глядели глаза детей и стариков — целый неведомый мне мир, воспоминания о котором были ей так дороги. Она любила это свое прошлое, недоступное мне, окутанное мраком. С гордостью показала мне фотографии; на них она, уже взрослая девушка, была снята рядом с юношей, который постепенно становился все толще и серьезнее, все более созревая для женитьбы.

Последней была фотография этого же синьора уже во фраке и на вершине буржуазного благополучия. Рядом у старинного портала сельской церкви стоит она, и ее тоненькое личико будто выбелено майским солнцем 1925 года. Потом шли фотографии Ренаты с другим кавалером — мужа сменил «ее маленький мужчина» Витторио, который с каждым годом делался все более похожим на своего покойного отца... Затем — перерыв в два-три года и, наконец, отдельная фотография: Рената в одиночестве сидит на балконе и смотрит вдаль, быть может, на шпиль церкви. На эту фотографию она и положила руку, словно желая скрыть ее от моих глаз.

— Эту фотографию давно пора выбросить,— сказала Рената, отрывая ее от страницы альбома.— Я тут сама себя не узнаю.

— Ошибаешься. Подари ее мне,— сказал я, отводя руку Ренаты.— Для меня эта фотография лучше всех.

— Правда? — искренне удивилась Рената.— Эта гадость? Смотри, сколько тут чудесных фотографий.

— По мне эта самая красивая. На ней ты такая, какой я тебя увидел впервые. А не та прежняя Рената, которой я не знал.

Я неотрывно смотрел на фотографию, чуть наклонив голову, не в силах поверить, что именно мне выпало счастье узнать Ренату в самом расцвете ее красоты...

— Ты бесконечно хороша! С этим бледным лицом королевы в изгнании!

Рената мечтательно улыбнулась: сравнение с королевой в изгнании ей, видно, польстило. (В те годы пользовались большим успехом женщины типа бельгийской королевы Астрид.) Но словно желая отогнать немыслимый соблазн столь лестного для нее сравнения, она негромко сказала:

— На сегодня хватит. Идем делать уроки. Хоть бы я что-нибудь помнила!.. Витторио! — позвала она, когда мы вышли в коридор.

В другом конце коридора отворилась дверь темной столовой. (Похоже, дверь отворила старуха, потому что в проеме белел лист «Мессаджеро».) Витторио выполз на четвереньках из-под стола — здесь он прятался вместе со своими «игрушками»: старым инструментом, пришедшей в негодность кофеваркой, кастрюлями, крышками с оторванными ручками и сковородами без днища. Он подошел ко мне, прикрываясь, точно щитом, крышкой от супницы; на голове у него красовался шлем — ржавая кастрюля, он вытянулся по стойке «смирно» и отсалютовал мне сломанной вилкой.

— Посмотри только, на кого он похож! — засмеялась Рената.

Я же со всей серьезностью ответил на его салют военным приветствием и громко скомандовал: «Воль-но!» Витторио радостно улыбнулся мне из-под кастрюли

— Ты его покорил! — сказала Рената, открывая дверь и погладив меня по затылку. Для меня ее ласка была словно нежное дуновение ветерка.

IV

Витторио прочно вошел в наши отношения, порою досаждая мне шалостями или дурацкими выходками, порою радуя неожиданными, смелыми поступками. Его молчаливая тень нависала над всеми нашими встречами.

Достаточно было Ренате бросить: «Кто знает, что он там сейчас вытворяет» или же мне упомянуть о нашем будущем: «Больше мы не расстанемся», как мысль о Витторио все меняла, пугая мою возлюбленную.

— Нет, нет, это невозможно! — твердила она точно одержимая.

Вот уже несколько недель, как она вечером в часы между закрытием красильни и поздним ужином приходила ко мне в меблированную комнату, которую я снимал вблизи Трафоро. Последнее время я было возненавидел эти четыре угрюмые стены, оклеенные золотисто-желтыми обоями, и собирался перебраться в другое место. Но Рената убедила меня остаться.

— Это чудесная комнатка, мечта поэта! — воскликнула она.— Ах, если бы можно было остаться здесь навсегда! Нет, я бы ни за что на свете не променяла ее на другую!..

Рената любила после долгих объятий лежать в постели и следить за тенью сигареты на потолке, лежать с открытыми глазами и грезить.

— Как было бы чудесно,— говорила она и при этом мечтала не о чем-то несбыточном, а о нашем будущем, которое мы могли бы создать силою веры и терпеливого труда. А в конце неизменно добавляла: — Да что там, ведь это одни мечты! — и разрушала причудливый узор от дыма сигареты, словно разрушая грезу...

— Стоит тебе захотеть, и мы будем счастливы,— возражал я.

Однажды вечером она приподнялась на локте и взглянула на мой лоб.

— Начинаешь лысеть.— Она погладила меня по виску.— Чувствую, ума и воли тебе не занимать!

— Тогда почему ты боишься мне довериться, Рената?

— Даже когда ты совсем облысеешь, ну, скажем, через двадцать лет, тебе будет сорок два, а мне ровно на десять больше. Понял теперь? — с обидой ответила она.

— Что значат десять лет, подумаешь, какая большая разница! — рассердился я.— Просто ты меня не любишь!..

Она, точно обессилев, снова упала на подушку и уставилась в потолок.

— Одной любви мало. Я буду для тебя обузой... Если б еще не Витторио!..

Мысль о сыне преследовала ее неотступно.

— Если бы не Витторио! — каждый раз повторяла она.

Наконец, в один из вечеров она внезапно вскочила и, как была, подбежала к зеркалу — кто бы подумал, что у нее повреждено бедро,— и стала ожесточенно причесываться.

— Прекрати эти разговоры, иначе я больше не приду.

Я подошел к ней, отнял гребень и стал нежно расчесывать ее длинные волосы, которые я всегда расплетал в минуты любви. Понемногу она успокоилась. Она призналась мне, что за несколько дней до нашей встречи собиралась постричься под мальчика, убежденная, что ее старомодная прическа никогда не понравится ни одному мужчине.

— Как хорошо, что ты этого не сделала!

— Но никто из мужчин на меня больше не смотрел,— защищалась она.

— Потому что мужчины — глупцы!.. Гоняются за девушками — думают, что чем они моложе, тем страстнее будут в любви. Глупцы, все до единого! Не знают даже, что девушки любят, чтобы их любили, желали, хотят получать, ничего не давая взамен.

— Откуда такая опытность? — воскликнула Рената, задетая за живое.

Я и сам удивлялся собственным утверждениям — разве я действительно столь многоопытен? Не Рената ли вдохновляла меня не только на эти банальные сентенции, но и на выспренние, красивые фразы о любви, которые я шептал ей, прижимаясь губами к ее губам?! Эти же фразы она потом сама страстно шептала мне на ухо.

Мы как-то незаметно стали объясняться, о чем бы ни зашел разговор, на нежном языке, понятном лишь нам одним. Однажды вечером Рената рассказала мне, к каким уловкам она прибегает, чтобы не забеременеть.

— У кого ты этому научилась?!

— Видишь,— грустно сказала она,— мужчина может гордиться своим прошлым, женщина — никогда. Своего прошлого женщина должна стыдиться, будто она в чем-то провинилась.

— Почему ты не хочешь от меня ребенка?

— Ребенка от тебя! — Глаза ее радостно блеснули, она поцеловала меня.— Какое это было бы счастье, любовь моя!

Внезапно лицо ее помрачнело, она резко отодвинулась.

— Ты меня на преступление толкаешь! Хочешь, чтобы я разлюбила Витторио. О боже, прости меня!

Она горько заплакала.

V

Больше всего она боялась, что ребенок, родившийся от нашей любви, вытеснит из ее сердца Витторио. А она хотела любить Витторио, чего бы ей это ни стоило. Еще больше, чем вдовой, она ощущала себя сиротой, так же как и сын, и вместе с ним хотела разделить все радости и беды: ведь судьба оказалась одинаково жестокой к обоим.

Наша первая поездка во Фреджене, в те времена дикий, пустынный уголок, тоже была омрачена тревогой за Витторио, которого мы оставили дома.

Ему нездоровилось.

— Быть может, у него жар,— сказала Рената, когда мы подошли к стоянке автобусов.— Я не мать, а мачеха. Как я могла оставить его одного с бабушкой!..

— Матери часто поступают, повинуясь инстинкту,— успокоил ее я, помогая ей влезть в автобус.— Значит, тебе сердце подсказало, что болезнь не опасна.

Она недоверчиво покачала головой и сказала, что как раз наоборот, потому и не измерила Витторио температуру, чтобы не оказаться перед трудным выбором.

— Я всю ночь глаз не сомкнула, совсем измучилась,— добавила она.— То и дело вставала к Витторио, и лишь когда взяла его к себе в постель, он уснул.

— Конечно, твоя мать — старая женщина, но у нее опыта предостаточно, и она уж приглядит за Витторио.

— Да, пожалуй,— неуверенно согласилась Рената.— Но мы у моря долго не пробудем, правда ведь?

— Все в нашей власти.

В этом самом первом автобусе Рим — Фреджене мы были единственными пассажирами. Я взял руку Ренаты, поднес ее к своему животу и сказал, что ощущаю вот здесь щемящую пустоту.

— Проголодался, наверно,— наконец улыбнулась она.— Вчера плохо поужинал.

— Знаешь, как это называется,— прошептал я ей на ухо.— Любовью. Всякий раз, когда я думаю о тебе, меня заливает волна счастья, она точно выплескивается наружу, оставляя внутри сосущую пустоту, сильную до головокружения.

— Любовью? — Рената просунула руку в отворот моей летней рубашки.— Я тоже ощущаю какую-то странную пустоту и даже куска хлеба проглотить не могу.

Она позабыла о Витторио.

— О боже, почему я тебя не встретила десять лет назад?!

И когда мы через густую рощу пиний вышли к морю, она снова повторила:

— Почему ты так поздно родился?

Она раздевалась неторопливо, не как возлюбленная, а как мать. На ней был купальный костюм, немного старомодный, но он изящно облегал ее прекрасное тело.

Из воды мы вышли очень скоро, Рената прихрамывала и тяжело дышала.

— Иди, еще раз искупайся, я слишком стара, чтобы тягаться с тобой.— Ее красивые черные глаза подернулись печалью, в голосе слышался непонятный страх. Она села, я улегся рядом. Внизу у самого песчаного берега корка от недавнего прибоя раскололась, обнажив сотни разнообразных ракушек и окостеневших, скукожившихся рачков. Рената набрала горсть песка с ракушками и, просеивая его сквозь пальцы, сказала:

— Вот и я как эти мертвые ракушки.

— Не говори так! — Я обнял ее за талию и положил голову ей на живот.

— Вся жизнь прожита зря,— повторила она, погрузив руку в сухой песок.

— Почему зря?

Рената не смотрела на меня, ее взгляд был устремлен к далекому горизонту.

— Жизнь никогда не кончается, Рената. Даже среди этих мертвых ракушек наверняка найдется одна живая, которая просит ее сберечь.

Я поднял огромную ракушку, очистил от налипшего песка и подставил лучам солнца. Ракушка блестела и переливалась множеством цветов и оттенков: бледно-желтым, ярко-розовым. Рената удостоила ракушку лишь беглого взгляда.

— Мертвая и никому больше не нужная,— сказала она. Нежно провела пальцами по моему виску и пригладила мои растрепавшиеся от ветра и воды волосы.

— Я слишком люблю тебя, чтобы тысячу раз на дню не задумываться об этом,— с горечью добавила она.

— В том и беда, что ты слишком много думаешь!

— Такая уж моя судьба — думать и за тебя, чтобы ты не наделал глупостей.

— Каких еще глупостей? — возмутился я.

— Чтобы ты не взвалил на себя непосильную ношу — не только меня, но и Витторио... Мы станем для тебя помехой, в конце концов ты возненавидишь нас обоих. А Витторио этого не заслужил, он перед тобой не виноват. Наоборот... Знаешь, он тебя даже полюбил. Ночью в лихорадке он все повторял: «Уго, когда придет Уго?»

«Смешно, да?» — с горечью подумал я, приподнявшись и сев с ней рядом. Глаза ее наполнились слезами, но она изо всех сил старалась скрыть их от меня. Раньше я бы ее сразу пристыдил, спросил бы: «Ну, чего ты плачешь?» На этот раз у меня не хватило духа. Пока она изливала в слезах свою молчаливую муку, я неотрывно смотрел на унылый берег. Слабеющие волны набегали на него, оставляя на песке пену вперемежку с водорослями, травой, сгустками смолы, обломками деревьев и хлебными крошками, которые чайки, спикировав, с лета выхватывали из воды.

VI

Мы расстались поздно вечером у ворот ее дома. Я ждал, когда она выйдет на балкон попрощаться со мной, а Витторио помашет мне просунутой сквозь балконные прутья рукой, и даже не заметил, как мысли об этом мрачном дне сменились глубоким раздумьем о смысле моей жизни. Кто я, в сущности, чего хочу, почему стою здесь, чего жду от Ренаты, права ли она, умеряя мои порывы, или же прав я и ее благоразумие губит нашу любовь? Мелкий буржуа, сделавшийся рабочим, чтобы свободно и здраво выбрать свою дорогу, разве не остался я верен косным и лицемерным нравам мелкого буржуа, который видит в браке единственное завершение любви?!

Неужели Рената, хоть и связана незримой цепью с прошлым и настоящим, где все подчинено строгим нормам и незыблемым законам, более свободна от буржуазных предрассудков, чем я в своем безумном желании погубить свою свободу?! Надо же мне было вообразить, что наш брак станет символом моего бунта против общества!

В этот момент Рената позвала меня (Витторио рядом с ней не было) и не сказала мне «чао», а знаком попросила подняться. Дверь была приоткрыта, на вешалке в коридоре висела потрепанная шляпа, в доме было темно и пугающе тихо. Я направился к двери, сквозь щели которой проникал слабый свет, переступил порог и увидел Ренату, стоявшую у двуспальной кровати, на которой лежал Витторио. Лицо у Ренаты было встревоженное, у другого края постели стоял врач, у изголовья — старуха. Рената приподняла Витторио, задрала ему рубашку, врач наклонился и приник к груди ребенка стетоскопом. Потом сам опустил Витторио рубашонку и помог ему снова лечь в постель. Я тихонько сказал ему «привет», но Витторио меня не заметил.

— Пока хрипов в легких нет. Затронута лишь брюшная полость. Будем надеяться, что сумеем предотвратить распространение воспалительного процесса. Но надо принять меры предосторожности; не спускайте с ребенка глаз. Учтите, эта болезнь чревата самыми неожиданными осложнениями. Будем к этому готовыми. Впрочем, на сегодня каких-либо осложнений не наблюдается.

Он все время говорил не «я», а «мы», словно желая показать, насколько он отождествляет себя с больным.

— А пока будем лечить основное заболевание.— Он пристально посмотрел сначала на Ренату, потом на старуху мать, и те ответили ему испуганным взглядом. Наконец обратился ко мне: — Слава богу, в доме есть мужчина. Надеюсь, вам не нужно объяснять, что болезнь заразная и нужна предельная осторожность.

Уловив в моих глазах немой вопрос, пояснил: причина болезни? Прежде всего жаркое лето, благоприятное для палочки брюшного тифа. Ну а переносчиком болезни могли быть фрукты, мороженое, вода или же молоко.

— Витторио очень любит молоко,— сказала старуха.

— Упаси боже давать ему молоко! Давайте ему одну только минеральную воду «Санджемини».

— Даже если он попросит молока?

— Именно если попросит! Лучше уж немного бульону, чем капля молока. Но пока — ничего, кроме воды!

Врач был полным, грузным человеком с крохотным носиком-бугорком на грубом, мясистом лице. Весь его облик, манера держаться — все в нем напоминало тупое животное.

— Ни капли молока! — снова приказал он.

Лишь год спустя я узнал, что врач вскоре сам умер от брюшного тифа после того, как выпил молока, купленного в «Чентрале». Потом стало известно, что продавщицы «Чентрале», любовницы фашистских властителей, принимали молочные ванны, чтобы их тело было еще более упругим, гладким и соблазнительным.

Эпидемия унесла в Риме сотню жизней, но газеты молчали. Напрасно старуха, мать Ренаты, несколько месяцев подряд лихорадочно перелистывала «Мессаджеро».

Но в тот вечер до меня опять донесся из коридора хриплый голос врача:

— Сейчас же купите эти лекарства!.. Я снова загляну к вам после больницы. А покуда будем надеяться, что небо наконец разразится ливнем.

Я взглянул на небо, оно потемнело, черная туча плыла к шпилю обелиска на пьяцца дель Пополо, на балконе соседнего дома хлопали под порывами ветра ставни.

— Хорошо еще, что ты внизу ждал,— сказала Рената, вернувшись в комнату с рецептом в руках. Я вырвал у нее рецепт и выбежал на улицу, не отозвавшись на ее оклик. Я был счастлив, что стал сопричастен общей беде, и не слушал, как она кричала вслед: «Уго, Уго, возьми деньги!»

VII

В моем сердце радость одолела тревогу. Я был безмерно рад, что могу быть полезным Ренате и доказать, что я мужчина, способный выдержать трудные испытания. Я мигом вернулся с лекарствами, неся их точно священный дар, я словно и себя самого приносил в дар... Когда я понял, что обе женщины решили поочередно дежурить ночью у постели больного, я предложил свою помощь. И старуха и Рената вначале запротестовали, но потом сдались.

Получив ключи от ворот и от двери, я после короткого неспокойного сна — я спал одетым — вернулся, поцеловал Ренату и отослал ее отдыхать. А сам занял ее место в кресле возле постели Витторио.

Так, прислушиваясь к любому движению больного мальчугана, я ждал наступления утра. Оно объявило о себе четырьмя полосками света в квадрате балконного окна, а вскоре его лучи позолотили бюст, стоявший на комоде. Это был бюст Ренаты работы скульптора Руджьери, который я впервые увидел в то утро.

Теперь утро неизменно объявляло о себе золотистыми лучами, вырывавшими из темноты строгий профиль Ренаты, ее упругую грудь. Со временем я заметил, что стоило Витторио проснуться, его взгляд тоже приковывался к углу, где стоял на комоде бюст Ренаты.

Едва открыв глаза, он еле слышно звал: «Ма!». Я подбегал к нему.

— Хочешь пить? Выпей ложечку сиропа, а?

Витторио отрицательно качал головой.

— Хочу маму.

— Мама отдыхает,— шептал я, показывая ему на обессилевшую Ренату, спавшую с ним рядом.— Скажи мне. Может, хочешь пописать?

— Хочу маму,— начинал хныкать мальчик, неотрывно глядя на гипсовый бюст. Тут Рената просыпалась и приподнималась на постели.

— Скажи все маме.

Витторио сразу успокаивался. В эти часы короткой передышки я мчался домой и, умывшись, бежал в красильню.

Однажды утром перед уходом я отозвал Ренату в сторонку.

— У меня такое впечатление, что этот бюст его пугает. Убери его.

— Но ведь он всегда тут стоял,— возразила Рената.— Витторио видит его, можно сказать, со дня рождения. И потом, он не знает, что это мой бюст. Никто не знает, кроме тебя.

— Возможно... Только этот бюст все время меняет цвет. Честно говоря, он и мне действует на нервы. От него как-то неуютно становится в комнате.— Я заговорил зло, чего прежде никогда не случалось. Рената смотрела на меня в полной растерянности.

— Хорошо, я уберу. Только не сердись,— сказала она.

— Я не сержусь,— возразил я с еще большим раздражением.

Бюст исчез, но с того дня и Рената и ее мать постарались свести к минимуму мои ночные бдения.

— Мальчику лучше, незачем беспрерывно сидеть у его постели,— говорила старуха. А Рената поддакивала:

— Конечно, стоит ли тебе изнурять себя бессонницей. Витторио больше ночью не просыпается, и мы обе можем передохнуть. Так что пойди и ты отдохни.

Недовольный, словно у меня хотели отнять заслуженное мною право, я уходил домой. «Хоть отосплюсь всласть за все бессонные ночи». Но едва я ложился в кровать, сон бежал от меня, и казалось, ночи не будет конца. Я вставал и отправлялся бродить по улицам или заходил в кафе «Мортео», единственное кафе, открытое до самого утра. Так я убивал время в эти часы мучительной свободы, лишенный права на самопожертвование, которое я уже считал своим завоеванием.

VIII

Теперь, после выздоровления, Витторио всегда бывал с нами.

— Он еще слишком слаб, бедняжка,— защищала его Рената.— Как увидит, что я ухожу, сразу начинает реветь. Могу я оставить его одного?!

Наши любовные свидания тоже утратили прежнюю сладость.

Теперь Рената встречалась со мной лишь раз в неделю, да к тому же в «часы Витторио» — самое неурочное для меня время, когда тот гулял в саду Пинчо, ходил в гости к дедушке, брал частные уроки или отправлялся на лечебную гимнастику...

Остальное время Витторио неизменно проводил с нами, мешая нам на улице идти под руку, а в кино — нежно, как прежде, сплетать руки. Я даже в темноте чувствовал его взгляд, устремленный на наши сплетенные руки, пока мы не разнимали пальцы. Тогда он перебирался на мое место, «чтобы сидеть посередине, рядом с вами обоими».

Не меньше досаждал он нам и в кафе, куда мы порой ходили вечером или после ужина.

Витторио отправлялся бродить по залу, надоедая посетителям и

официанту. Но как только он издали замечал, что я взял руку Ренаты или же прикасаюсь губами к ее губам, он сразу бежал назад.

— А ты знаешь, почему вода белая? — в упор спрашивал он меня с хитрым видом: мол, на этот раз я тебя поймал.

Если я случайно находил правильный ответ, Витторио тут же выпаливал новый, еще более нелепый вопрос:

— Но уж почему вода крепче стали, ты не знаешь.

— Перестань, Витторио, говорят тебе, перестань! Не то я тебя в следующий раз оставлю дома! — грозилась Рената.

Витторио смотрел на меня с ехидной усмешкой.

«Нашла чем пугать»,— читал я в его глазах.

— Почему бы тебе в самом деле не оставить его дома? Дети быстро устают и становятся нервными.

— Уж я-то знаю, от чего он устает! — грустно ответила Рената.— Нет, ему просто нравится меня мучить.

— Он не виноват. Это мы не даем ему той свободы, в которой так нуждаются мальчишки,— неуверенно возразил я.

— Если он тебе надоел, можем больше не встречаться! — мгновенно обиделась Рената.

— Ну, зачем ты так? Разве я засну, если не посижу немного с тобою вечером?

— Вижу, вижу! Тебе уже надоело изображать из себя отца. Представляю, что будет потом!..

Она до боли сжимала мне руку. Я не решался ей признаться, какие противоречивые чувства испытываю. Все, что ночью казалось мне ясным и понятным, днем вновь представлялось немыслимым. И я тоже крепко сжимал ее руку — помоги же мне, Рената, превратить мечту в реальность. Мы сидели в блаженном молчании... Но лишь до того мига, пока Витторио не замечал этого тайного рукопожатия. Он подбегал и клал щеку на наши сплетенные руки, словно ища отдыха и ласки. Но секунду спустя начинал кусать мою или ее руку. Рената вскрикивала:

— Ой, мне больно. Перестань. Какой ты глупый мальчишка!

Наконец однажды вечером, после очередной сцены, Рената сказала:

— Такие встречи — пытка. И для тебя и для меня. Лучше уж тогда приходи к нам домой. Все равно поговорить и побыть одним не удается.

«Если бы он умер!» — подумал я, со слезами на глазах прижимая Витторио к груди. Рената испуганно и благодарно смотрела на меня, не подозревая, какое жестокое желание я топил в этих слезах.

IX

Как-то у Ренаты разболелась голова, и она сказала, что вечером не сможет выйти. Я купил фьяску вина, пакет с колбасой и закусками и бегом поднялся по лестнице ее дома. Дверь мне открыла старуха. Она приняла из моих рук вино и пакет и, прижимая их к груди вместе с «Мессаджеро», с которым не расставалась никогда, направилась в гостиную. По дороге она все повторяла, что в доме полно еды, хватит на всех, включая и гостя, и незачем было тратиться.

Рената вышла из кухни с повязанной платком головой

— У меня смешной вид, да? — сказала она. Потом, увидев пакет на столе, воскликнула: — Ну, зачем же! — и стала его разворачивать

под жадным взглядом Витторио, готового схватить яства, едва они перекочуют на тарелки.

— Убери лапы! — прикрикнула на него Рената.— Сначала помой их.

Витторио хмуро поплелся на кухню. Мгновение спустя он вернулся и показал ладони.

— Теперь довольна?

— Это я должна быть довольна?

— Как это ты умудряешься вымыть их с такой быстротой?! — вмешалась старуха.— Впрочем, я знаю, где ты всю грязь оставляешь. На полотенце... Отец бы тебя научил уму-разуму.

Рената тоже не раз при мне жаловалась, как ей трудно без мужа, но в устах ее матери это звучало бестактно.

— Подожди, обжора, я хоть тарелку поставлю,— словно издалека донесся до меня голос Ренаты.

Витторио недовольно посмотрел на содержимое тарелки.

— Так мало?

— О господи, тебе мало полной тарелки? У тебя не живот, а бездонная бочка!

Я прислушивался к ворчливым голосам и чувствовал всю нелепость своего положения — гостя, пожелавшего вмешаться в убогую повседневную жизнь троих, лишь бы не оборвалась непрочная нить любви, которая связывает его с одной из них.

В тот вечер я отдал Витторио часть своей еды, но затем, став в доме своим человеком, уже не позволял себе такой вольности.

— Перестань канючить,— сердито сказала Рената.

— Я есть хочу,— захныкал Витторио.

— Только и умеешь, что нудить: «Есть хочу, есть хочу»...

— Мальчику уже и поесть вволю нельзя? — сказал я.

— Да он целыми днями что-нибудь жует. Не видишь разве, как он потолстел!

— Пусть себе толстеет. Ему же будет хуже. Вот когда вырастет, увидит, какие его сверстники сильные, ловкие, готовые к грядущим трудностям и в гражданской жизни, и в армии, он сам горько раскается,— сказала старуха. И, пристально посмотрев на меня, добавила: — Как это говорится: «Что королю по душе, то полезно и мне».

— Да, конечно,— смущенно пробормотал я.

— На, держи, обжора! — Рената дала Витторио вторую порцию, потом третью, и тот умял их в мгновение ока.

— Хоть бы уж ел как полагается,— заметила старуха.— Прожевывал бы каждый кусок тридцать два раза.

— Тридцать три,— поправил ее Витторио.

— Неважно сколько: тридцать два или тридцать три. Главное, милый мой, поработать челюстями. А ты все проглатываешь целиком, вот и не наедаешься.

— Сразу после ужина сядете заниматься. Понял? — снова обратилась к сыну Рената.

— Дайте ему хоть спокойно переварить пищу,— снова вступился я.

Витторио благодарно посмотрел на меня; в эти минуты, пока старуха убирала со стола, а Рената вынимала книги и тетради, я ловил полный симпатии взгляд Витторио. Он словно искал у меня защиты от беспричинных придирок матери и бабушки.

— Пользуйся, глупый баран, что Уго хочет и может тебе помочь,— сказала Рената.

А старуха тут же ее поддержала:

— В твои годы мальчишки уже учатся во втором классе средней школы и записываются в авангуардисты[1].

Сонные, разомлевшие, мы с Витторио лениво склонились над пожелтевшими книгами и над разодранными тетрадями, готовые в любую минуту отвлечься или заспорить.

— До сих пор на той же странице сидите? — изумилась Рената, войдя в комнату.— Ах, так! Ты, Витторио, нашел союзника. Вы похожи на двух нашкодивших мальчишек. Ну-ка, дай мне! — Она отобрала у меня книгу, несмотря на мои протесты.

— Подожди, мы занимались разбором состава предложения. Он застрял на дополнениях.

— Что? — в отчаянии воскликнула Рената.— Ты же, Витторио, вчера повторял их со мной и выучил все назубок!

В самый разгар спора появилась старуха. В одной руке она держала пенсне — казалось, оно, как и нос, сердито морщится, а другой — газету «Мессаджеро», которую прочитывала от корки до корки.

— Уложи, Рената, мальчика в постель. Все равно он так устал, что ничего не соображает. Он же спит на ходу, разве ты не видишь? — Затем обратилась к Витторио, погрозив ему газетой: — Муссолини нужны юноши сильные и сметливые, а не такие растяпы, как ты. А еще хочешь стать офицером! Военному тоже без знаний не обойтись. Вот почитай, почитай, что сказал дуче о молодых офицерах — завоевателях Абиссинии...

Ее упреки предназначались скорее мне, чем Витторио, и я начал злиться. Вскоре я уже еле сдерживался, дыхание мое стало учащенным. Это послужило для Ренаты сигналом тревоги, и она сразу вмешалась:

— Не преувеличивай. Кому придет в голову отправлять на фронт сосунков!

Рената словно встала между мной и матерью и, боясь, как бы я не сказал что-нибудь резкое, торопливо перевела разговор на домашние дела.

— Ну, попрощайся с Уго — и спать. Знаешь, какой этот хитрец фокус выкидывает? — обратилась она ко мне.— Сейчас у него глаза слипаются, но стоит ему лечь, как он требует детский журнал. Читает его допоздна. А утром с кровати не стащишь!..

— Хочу в уборную,— хватаясь за живот и испуганно глядя на мать, захныкал Витторио.— Очень давит, правда!

— Каждый раз вспоминаешь об этом перед сном,— сердито пробормотала старуха.

— Для тебя вся радость жизни в еде да в уборной. А ведь ты уже взрослый парень! — с тоской сказала Рената.— Ну, беги в свою любимую уборную. Только не вздумай запираться на крючок! Не то я дверь ногой вышибу, а тебя прогоню вон выбивалкой!

Витторио, счастливый, убежал, а я, надеясь побыть несколько минут наедине с Ренатой, сказал:

— Подожду Витторио, чтобы с ним проститься.

— Долго вам ждать придется,— со вздохом сказала старуха, садясь в старинное кресло-качалку и кладя на колени «Мессаджеро».

Мы с Ренатой закурили по последней сигарете («Ей-богу, это — последняя!» — клялась Рената), а старуха принялась перелистывать газету, чтобы снова затеять со мной политический спор — политика была ее страстью.

---

[1] Авангуардисты — при Муссолини — члены фашистской молодежной организации.

— Не читали, что сказал секретарь партии о тех фашистах, которые не носят в петлице значок?

— Нет, как-то упустил,— ответил я.

— Зря. Очень зря. Если вы хотите жить не хуже других, надо быть в курсе всех перемен.

Рената подняла на мать свои печальные глаза и сказала с упреком:

— Я же тебе говорила, что он не фашист. И вообще, оставь его в покое.

— Почему же он не вступает в партию? — не унималась старуха.— И это когда все подряд подают заявления о приеме... Если хочешь сделать карьеру...

— Он не хочет делать карьеру... Неужели ты до сих пор не поняла?!

Несмотря на старания Ренаты эти разговоры с каждым вечером становились все тягостнее. Обычно я, злясь на самого себя за то, что не могу по-настоящему возмутиться, лениво поднимался, а Витторио кричал мне из уборной: «Чао, Уго!» Наконец однажды я сказал Ренате, целуя ее на прощание в коридоре:

— Если твоя мать будет продолжать в том же духе, я больше не приду.

Она растерянно взглянула на меня, потом ответила:

— Это и есть семья. А ты представлял ее себе иначе?

Я посмотрел на Ренату в упор.

— Семья — это одно, а политические взгляды — совсем другое. Я люблю тебя, Рената, люблю Витторио, но не желаю, чтобы меня беспрестанно провоцировали.

— Одной любви недостаточно, друг мой,— невозмутимо, с насмешливой улыбкой, еще больше разозлившей меня, возразила Рената.— Семейная жизнь сложнее, чем тебе казалось. В каждой семье сколько голов, столько умов... Чао, иди спать, милый, а завтра обо всем поговорим.

X

Больше мы с ней об этом не говорили. Я понимал, что рано или поздно признал бы правоту Ренаты. А мысль о том, что семья — это узкий круг людей с застывшими представлениями и взглядами, которые уже не меняются, как и сами люди, была для меня невыносима.

Мои приготовления длились два дня, а на третий я уехал из Рима. До этого я все время сравнивал себя с лавочником, который проклинает свою рабскую жизнь и продолжает уныло стоять за прилавком.

Я пересек Северную Италию, половину Франции и надолго обосновался в Париже. Там я брался за любую работу, пока не встретил политических изгнанников, которые подыскали для меня в Риме место продавца в букинистическом магазине. Теперь я мог вернуться в Италию.

До сих пор я ощущаю на губах терпкий вкус и теплоту первого фонарного столба, который обнял, выйдя с вокзала Термини. Был август, и опустевший Рим дремал под знойным полуденным солнцем.

Увидев, что я обнимаю фонарь, кучер, сидевший на облучке своего фиакра, бросился мне на помощь.

Подбежав, он услышал, как я прошептал, прижимаясь к раскаленному чугуну: «Рим мой».

— Я бы так же поступил,— сказал кучер, взяв мой чемодан.—

Но я, понимаете, решил, что вам стало плохо от этого чертова солнца!

Я ошеломленно оглядывался вокруг: я вновь в Риме, в моем Риме! Город входил в меня вместе с этим возгласом, звучавшим словно признание в любви. Сильно ли мне помогли эти два года разлуки, если снова, очутившись в Риме, я мыслями сразу же унесся к ней, Ренате, и словно ощутил в горячем дыхании города ее дыхание.

Улицы, площади, кафе, сады Пинчо, часть которых я видел из своего букинистического магазина,— все напоминало мне о Ренате, горьким огнем обжигало душу, и я клялся, что отныне моя жизнь потечет иначе, не так, как прежде.

Я знал, что Рената отдыхает на море, и все равно каждый вечер звонил ей. Звонил, чтобы услышать телефонный гудок в ее доме. Остальные продавцы, позвякивая висячим замком от металлической решетки, сердито выговаривали мне: мои дурацкие телефонные звонки заставляют их задерживаться в магазине, а за эти «сверхурочные» им ни гроша не платят. А я прислушивался к телефонной трели, которая, верно, звенела и в ее пустой квартире.

Каждый вечер я несколько минут подряд признавался ей в любви, потом вешал трубку. И так до того дня, когда точно по волшебству телефонный гудок оборвался и необыкновенно нежный голос произнес: «Алло!»

Это была она, я в растерянности посмотрел вокруг, продавцы с улыбкой глядели на меня; а я молча вбирал в себя эти слова: «Алло! Алло!»

Я снова поднес к уху трубку и услышал:

— Это что, шутка или просто ошибка?!

— Нет, не шутка,— наконец сумел выговорить я.— Это я, Уго.

— Откуда ты звонишь? Как ты узнал, что я вернулась? Об этом еще никто не знает.

— Никто, кроме меня,— таинственно сказал я.— Скажи только одно: ты рада моему звонку?

— Еще бы!

— Значит, ты меня любишь,— прошептал я.

— Тебе опять захотелось меня помучить?

— Почему мучить? — Рената долго не отвечала.— Почему? — Мне показалось, что она всхлипывает. И я не стал настаивать.

— А где Витторио? — Я почувствовал, с каким трудом она справилась с волнением.

— Здесь, со мной,— ровным голосом ответила она.

— Он здоров?

— Более или менее.

— Что с ним такое?

— Ничего... Знаешь, меня ждут. Прощай.

— Как это — прощай?

Но она уже повесила трубку, и я услышал равномерный длинный гудок. Я застыл на месте, держа в руках трубку. Хотел было снова позвонить Ренате, но меня обескуражили иронические взгляды моих сослуживцев.

XI

Миновав церковь Тринита-дей-Монти, я бегом одолел виа Бабуино и десять минут спустя уже был у дверей ее дома.

Открыла мне сама Рената, в переднике и в белом тюрбане на голове.

— Какой ты нетерпеливый! — с упреком сказала она.— Что за спешка? — Она холодно подставила щеку для поцелуя, и я ощутил на губах горький вкус ее слез.

— Не мог больше ждать ни минуты,— прерывисто дыша, ответил я.

— Как тебе нравится мой вид?! Я подметала пол... После двух месяцев отдыха приходится все в доме убирать и перетряхивать,— пожаловалась она.

Белый платок на голове оттенял темный загар ее лица, и без передника, портившего ее фигуру, она походила бы на счастливую купальщицу. Я уже собрался пошутить насчет ее летних приключений и пляжных знакомств, но вдруг, когда она грустно опустила веки, увидел в глубине ее глаз тень страха.

— Что-нибудь случилось? — Она пожала плечами. Однако я не успокоился: — С Витторио?

— Из-за него я и вернулась.

— Он что, болен? Кстати, где он?

— Где он может быть? — жалобным голосом сказала она.— Как всегда, либо в кухне, либо в кладовой.

— Ну, раз аппетит у парня не пропал, значит, он здоров,— засмеялся я.— Пойду к нему. Вот уж он удивится!

— Нет, лучше не надо,— остановила она меня.

— Как? Не хочешь даже, чтобы я с ним поздоровался? Ведь мы целых два года не виделись!

Я вырвался из ее рук и лишь в последний миг догадался о причине ее испуга. Но было слишком поздно. Я направился в кухню, и сзади меня настиг сдавленный голос Ренаты:

— Я налью тебе пива, хорошо?

XII

В гостиную я вернулся совершенно подавленный. Рената ждала меня. Она сидела на ступеньке у балконной двери и держала в руках стакан пива — рядом стоял полный до краев стакан для меня... Я взял его и, тяжело вздохнув, сел рядом с Ренатой. С ее ресниц скатилась слеза и прозрачной пуговкой упала в оседающую пивную пену.

— Ну, видел? — сказала она, не подымая головы и глядя на свой стакан.

— Да, видел.— Я отпил глоток, чтобы исчезла вязкая хрипота в голосе.— Не понимаю только, почему из этого надо делать трагедию!

— Он хоть тебя узнал?

— Еще бы! Даже крепко обнял. Впервые за все время нашего знакомства.

— Странно. Он стал невыносим. Со всеми ссорился, каждый день устраивал на пляже драки. Пришлось нам уехать.

— Все вполне логично. Люди смеялись над ним, и он бросался на обидчиков. И, по-моему, правильно делал.

— То же самое говорил и врач: «Не мешайте ему защищаться и мстить своим мучителям». Но потом сам посоветовал увезти его, чтобы Витторио не слышал насмешек и оскорблений. Иначе у него может возникнуть комплекс неполноценности. К тому же морские ван-

ны ему не помогали, а только его нервировали.— Она на миг умолкла, потом, глядя на опустевший стакан, спросила: — Ты, наверно, пришел в ужас, увидев его?

— Если бы я тебе сказал — вовсе нет, то солгал бы. Но, поверь, ужаса я не испытал. У меня самого двоюродная сестра была до того толстой, что ее вывозили гулять лишь в коляске, да и то в закрытой.

Рената с тревогой посмотрела на меня.

— А что с ней потом стало?

Я не сказал Ренате правду — моя кузина умерла, когда ей не было и тридцати лет.

— Она выздоровела, вышла замуж, теперь у нее двое чудесных ребят,— солгал я.

— Значит, есть надежда? Врач тоже говорит, что не все потеряно. Он назвал его болезнь чем-то вроде гипертрофии. А знаешь, с чего все началось? С того, что у Витторио вырезали гланды. Я будто чувствовала — сопротивлялась до последнего дня, никак не соглашалась на операцию.

— Гипертрофия, иначе говоря, воспаление гланд,— вслух стал я припоминать.— Моей кузине облучали рентгеном гипофиз и, кажется, еще щитовидную железу.

— Вот, вот! Витторио прописали такой же курс лечения. Значит, ты думаешь, и ему поможет?..

Она нежно, как прежде, сжала мне руку, но сразу ее отпустила, точно пожалев о своем порыве. Я сам крепко сжал ее руку, но она мгновенно высвободилась.

— Спасибо, Уго,— сказала она и встала.— Сколько времени ты путешествовал?

— Два года с небольшим.

— Ты вернулся в свою красильню?

— О нет! — с гордостью воскликнул я. И принялся пространно рассказывать о моей новой работе, о приличном заработке — словом, о том, что я взял у жизни реванш. И чем ярче становились подробности, тем больше я забывал о своих прежних горестях. Под конец я заметил, что голос мой торжествующе звенит: — Я уже не тот жалкий красильщик в деревянных сандалиях на заляпанных краской ногах. Теперь даже университетские профессора меня уважают и приглашают к себе в гости.

— Очень за тебя рада. Я всегда говорила, что ты пробьешься.— Она вздохнула и опустила глаза, словно ей было не по себе от моих разглагольствований.

— Теперь я сам себе хозяин,— не унимался я.— Не то что прежде, когда я был рабом красильни, просиживал там до позднего вечера. Теперь я волен уйти из магазина когда мне вздумается; прогуляться, заглянуть в библиотеку, справиться о книге, посидеть с другом в кафе или сходить в университет на лекцию.

— Молодец, мне очень приятно,— пробормотала Рената.

— Поэтому, если тебе будет трудно или же надоест водить Витторио на прогулку, я могу тебя заменить! — настаивал я, желая показать ей, какой я пользуюсь свободой.— Что мне стоит погулять с Витторио или повторить с ним уроки?!

Рената недоверчиво покачала головой:

— Похоже, ты не представляешь себе всех трудностей.

— Какие еще трудности?! Кто-нибудь вздумает на улице поиздеваться над Витторио? Пусть только попробует! — Я вытянул руку и напряг мускулы.— В любом случае он не может все время сидеть дома взаперти. По-моему, ему надо гулять, тогда он снова почувству-

ет радость жизни. Он должен поверить, что рано или поздно вновь станет таким же, как все, нормальным человеком. Иначе физически он после курса лечения, может, и поправится, но в душе у него навсегда угнездится страх, сознание своей неполноценности.

Я заметил, что мои доводы подействовали на Ренату. И хотя она по-прежнему с сомнением покачивала головой, она ухватилась за мои слова как за последнюю надежду, что жизнь еще наладится.

— Конечно, ты во многом прав,— сказала она наконец.— Но у нас есть время поразмыслить над этим.— И, точно желая на миг отвлечься от пугающих мыслей о судьбе сына, с грустной улыбкой похвасталась: — Знаешь, что я сделала, и притом одна? Все в доме переиначила. Теперь у Витторио будет своя, отдельная комната... Но каких мне это стоило трудов! Идем, покажу!

Она, прихрамывая, направилась к двери. Мне показалось, что она нарочно припадает на больную ногу, чтобы я понял, как ей тяжело пришлось. А может, для того, чтобы убить во мне всякое желание.

XIII

Моя любовь устояла и перед этим испытанием. Ее хромающая походка вызывала во мне чувство жалости и нежности. Лишь пальцы мои, которыми я во время «обхода» темных неприбранных комнат не раз касался ее тела, хранили аромат ее кожи, вызывая воспоминания о нашей прежней любви.

И вот однажды рано утром после бессонной, мучительной ночи я позвонил Ренате и попросил отпустить Витторио со мной на прогулку. Словно близость Витторио поможет мне подавить мою страсть.

— Еще слишком рано,— ответила Рената, приняв мое нетерпение за хитрость.

— Тогда в десять.

— Лучше бы завтра.

— Ты что, не доверяешь мне?

— Вполне доверяю. Не будь таким подозрительным.

— Хорошо, тогда в три часа.

— В три ему делают укол.

— Ну, в четыре.

— Я же тебе сказала: сегодня ничего не получится. В четыре я поведу его на рентген. Завтра я его отпущу. Но не больше чем на час. Потом ты сам отведешь его на лечебную гимнастику.

Мне казалось, будто я выпросил у Ренаты любовное свидание.

На другой день я ласково обнял Витторио, его волосы еще хранили слабый запах ее духов.

— Какие мы душистые! — сказал я.

— Это меня мама причесывала,— ответил Витторио, неохотно позволив себя обнять.— Она все думает, что я ребенок.

— Все мамы так делают, чтобы чувствовать себя молодыми.— Я толкнул Витторио в бок, но Витторио даже не улыбнулся.

Рената с балкона крикнула нам обоим «чао». Витторио, не поднимая головы, устало махнул ей рукой.

— Ну, куда пойдем, Витторио?

— Куда хочешь.

— Нет, куда ты хочешь.

Мы стояли на углу возле дворца Сан-Джакомо. Близлежащие улицы были пустынны и изнывали от полуденного зноя. Мимо, об-

дав нас пылью, промчалась к больнице карета «скорой помощи». Санитар, высунувшись из окошка, нагло поманил Витторио пальцем, а тот в ответ показал ему язык. Я хотел было подбежать к карете, притормозившей у ворот Сан-Джакомо, но Витторио удержал меня.

— Не стоит, они все дразнятся,— сказал он.

— А я надаю им пощечин, пусть только еще раз попробуют,— сурово сказал я.

— Так они смеются не над тобой, а надо мной, толстяком.

— И к тебе они не смеют приставать, иначе понюхают вот это.— И я показал воображаемому врагу кулак.

— Э, слишком много тумаков придется тебе раздать,— рассудительно, как взрослый, без всякой злобы сказал Витторио и пошел вперед.

Я догнал его и, улыбаясь, сказал:

— Я потренируюсь. Да и ты мне поможешь. Не зря же ты занимаешься гимнастикой?!

— Это лечебная гимнастика. В драке от нее толку мало.

— Когда дерешься, все сгодится. Будем лупить наших врагов, пока не устанем.

— А если нас самих отлупят?

— Никогда не думай об этом заранее. И главное, запомни: всегда побеждает тот, кто бьет первым.

Витторио наклонил голову и посмотрел на свои сжатые в кулак пальцы. Размахнулся и пронзил кулаком воздух.

— Блям!..— Он явно приободрился. Я прижал его к себе.

— Отлично! Горе тому, кто косо посмотрит на нас.

— Убить его! — крикнул Витторио. И, замедлив шаги, спросил: — Куда же мы пойдем?

— На пьяцца Навона.

— А кто там прячется? — Он все еще сжимал кулаки.

— Послушай, Витторио, мы вовсе не обязаны сами искать врагов. Вот если они объявятся, тогда мы их отделаем за милую душу. А на пьяцца Навона мы идем посмотреть то место, где во времена Древнего Рима был цирк.

— Конный цирк?

— Да, нечто похожее... Потом, в более поздние века, площадь затопили и катались по ней словно по озеру на лодках.

— И сейчас катаются?

— Нет, теперь там три фонтана. Средний фонтан украшают четыре скульптуры Бернини, символически изображающие четыре самые большие реки мира. Кстати, ты знаешь историю статуи, которая вскинула руку в страхе, что на нее рухнет церковь Борромини? — Я заметил, что Витторио заинтересовался моим рассказом.— А потом пойдем в кафе «Джолитти в парламенте» и будем есть мороженое.

Витторио жадно облизнулся, и его круглое, как луна, лицо расплылось в сладострастной улыбке.

— Нет, только не мороженое,— пробормотал он.

— Почему?

— Мама велела, чтобы я на прогулке ничего не ел, особенно мороженое.

— Брось. Мало ли что мама придумает! Шоколадного мороженого мы непременно поедим! — Я поднес палец к губам.— Но маме ни слова, смотри! — Я обнял его за жирные плечи и потянул за собой на пьяцца Навона.

Хоть Витторио и шел с трудом, стоило мне посмотреть на него, он улыбался в ответ, словно хотел показать, что вовсе не устал.

XIV

Теперь я подчас удивляюсь, как быстро я привык к толстой фигуре Витторио и почти не замечал его безобразия. То ли Витторио с каждым днем на моих глазах худел, то ли его движения со временем стали куда более свободными и уверенными, то ли постепенно стерлось первое весьма неприятное впечатление от встречи с этим неповоротливым толстяком... Во всяком случае я часто забывал об его необъятных размерах и удивлялся насмешливым или брезгливым взглядам прохожих... Но первым ехидные взгляды всегда ловил Витторио. Он толкал меня в бок и шептал:

— Вон тот тип на нас уставился.

Если это был мирный прохожий, то после двух-трех моих угрожающе-мрачных взглядов он поспешно опускал глаза. Если же вызов нам бросал рассыльный какой-нибудь лавчонки или дерзкий мальчишка, я резким криком: «Убирайся прочь! Чего тебе от нас надо?» — неизменно обращал его в бегство. Хуже бывало, когда Витторио встречали насмешливыми взглядами бродяги из района Трастевере, помощники мясников из Тестаччо, носильщики из Сан-Лоренцо. Тут уж, чтобы придать мужества Витторио, мне приходилось не просто осадить наглецов, а пригрозить им. Я подносил кулак к носу первого же обидчика, хватал его за воротник рубахи и кричал ему прямо в лицо:

— Тебе что-нибудь не нравится?

— Я чего? Я разве чего говорил? Курил себе и все. Кто насмехался, к тому и приставайте.— С этими словами бродяга или носильщик уходил, отряхивая рубаху, словно я оставил на ней следы. А я с вызовом смотрел на остальных, стоявших в глухом молчании.— Если кому-нибудь жить надоело, пусть выйдет вперед,—говорил я. Моя угроза приводила Витторио в восторг, потому что недавние наглецы лишь боязливо поеживались.

Все же иногда попадались такие, которым «жить надоело». Тогда начиналась драка. Но как бы плохо нам иной раз ни приходилось, я знал, что криком всегда сумею привлечь внимание полицейского или агента полиции, дежурившего на Президентском пути. Так назывались дороги, по которым машина вчерашнего президента, а ныне дуче и Основателя империи, мчалась от виллы Торлония к палаццо Венеция, Виминале, либо к зданию парламента, либо на открытие одной из бесчисленных юбилейных выставок. Страх перед публичным скандалом заставлял полицейского агента поскорее увести нас в первый попавшийся подъезд. Мне только этого и надо было. Я начинал громко возмущаться, а агент больше всего боялся, что нас увидит кто-нибудь из жильцов.

— По-вашему, это допустимо в цивилизованном государстве...— Агент знаком просил меня говорить потише.— Допустимо, чтобы мальчик только потому, что он толще других, не мог пройти по улице, не услышав из всех подворотен оскорблений?! Разве он виноват?..

Тут я замечал, с какой мукой Витторио слушает меня, и невольно понижал голос. Потом снова принимался вопить:

— По-вашему, это — цивилизованная страна? Страна христианская и фашистская? И это народ, который должен завоевывать!..

Я не уточнял, что́ именно народ должен завоевывать. Но в те времена, услышав об «исторических завоеваниях родины», любой государственный чиновник первым делом думал о неприятностях, которые могут грозить ему. Поэтому нередко мы с Витторио выходили

из подъезда под охраной одного, а то и двух полицейских агентов, что спасало нас от новых опасных встреч или мести обидчиков.

Витторио очень гордился нашими подвигами, я — куда меньше. Ведь я понимал, сколь унизительна защита, которую мы получали ценой трусливой демагогии, в то время как наши ближние должны были бы поддержать нас по искреннему порыву сердца. Но и я неспособен был провести различие между теми, кто оскорблял нас из подлости или по природной грубости, и бедняками, голодными оборванцами, которые не знали, что полнота Витторио — результат болезни, возможно неизлечимой, а принимали его за откормленного буржуйчика, своим неуемным обжорством отнимавшего кусок хлеба у их сыновей и братьев. Поэтому всю свою ненависть я обращал против подлецов, которые, оскорбив и оплевав мальчишку только за то, что он толще других, каждое воскресенье отправлялись в церковь молить об отпущении грехов, а в полдень, надев черную рубашку, уже воинственно вопили на фашистских митингах.

Не умел я и здраво оценить нашу и особенно мою долю вины — ведь потасовки нередко начинались из-за моего вызывающего поведения. Мне казалось, что благодаря этим схваткам я вновь завоюю быстро ускользавшую любовь Ренаты. Правда, я всякий раз брал с Витторио слово ничего не говорить дома о драке.

После первой же потасовки я сказал Витторио:

— Смотри, дома — молчок. Мама может испугаться и больше не отпустит тебя со мной.

Но в глубине души я надеялся, что Витторио нарушит свое обещание или же невзначай проговорится о нашем последнем приключении и это наведет Ренату на наш след. И она прибежит и увидит, как мы в одном из переулков, пользующихся дурной славой, геройски бьемся с обидчиками. Тогда я в свое оправдание скажу только: «Вот он, твой сын, которого ты считала обреченным!» Между тем Витторио, кажется, был счастлив, что мы стали сообщниками и вдвоем противостоим всем опасностям. Он радовался, что наша все более крепнувшая мужская дружба совсем отдаляет от нас Ренату.

Нередко я задавался вопросом, совершал ли я эти утомительные, опасные прогулки ради блага Витторио, для его удовольствия, или ради Ренаты, втайне вдохновлявшей меня на все эти жертвы.

И тут же говорил себе: «Раз я об этом задумываюсь — значит, все-таки поблекло мое прежнее преклонение перед Ренатой или по крайней мере угасло то изумление и восторг, которые я испытал, когда она разрешила мне погулять с Витторио». Желая поскорее убедиться в обратном, я бежал к телефону.

— Почему бы и тебе не пойти с нами? — допытывался я. А она ровным голосом ответила:

— Зачем? Что я там буду делать?

— Ты это у меня спрашиваешь? — возмутился я.

Наступило молчание, я слышал в трубке, как она откашливалась, чтобы скрыть волнение.

— Вы молоды, можете бегать. Я буду вам только мешать.

— Не носимся же мы все время по улицам как угорелые. Временами и мы отдыхаем.

— В другой раз, может быть... Пожалуйста, не утомляй его чрезмерно...

— Что за странные речи! — вскипел я.— Он должен уставать. Скажи это своим врачам. Он должен поздороветь не столько физически, сколько морально.

— Надеюсь, этого нам в какой-то мере удалось добиться?

Она говорила «нам удалось», и это меня огорчало. Ведь она особо не выделяла мои заслуги.

— Что ты ей такое сказал? — спросил Витторио, догнав меня на углу улицы, где мы встречались.

— Не знаю, а что?

— Как всегда, ударилась в слезы. Иногда мне кажется, что она не рада нашим прогулкам.

— Да нет же! Может, она сама хотела бы пойти с нами. Но вот нога...— ответил я, скрывая за улыбкой горечь.

— Нога тут ни при чем! Она, когда хочет, ходит очень даже хорошо!

— Зачем ты так говоришь?!

— Но разве нам плохо вдвоем? — возразил Витторио.

— Конечно, неплохо,— согласился я с болью в сердце. Лишь стыд не позволял мне с мольбой попросить Витторио: помоги мне вновь обрести любовь Ренаты. Но сдержаться я не смог и смущенно пробормотал: — Ты же знаешь, Витторио, как я привязан к твоей матери.

XV

— На тебя жалко смотреть! — сказал мне однажды Витторио.

Год прошел с тех пор, как мы решили встречаться по четвергам и субботам. В ту субботу, 30 октября, ему исполнилось шестнадцать лет. Чтобы отпраздновать это событие, я повел его обедать в траттторию.

— Чем же я вызываю жалость? Ты уже не ребенок, а взрослый человек и отвечаешь за свои слова.

Витторио не был больше тем неповоротливым толстяком, что несколько лет назад. Казалось даже, будто жир помог ему набраться сил и вытянуться. Он положил на стол недочищенный апельсин и насмешливо посмотрел мне в глаза.

Прежде этого насмешливого взгляда я у него не замечал.

— Ну что ж, тогда слушай,— сказал он.— У матери есть другой. Неужели ты до сих пор не понял?

Я зажмурился, чтобы Витторио, не спускавший с меня глаз, не увидел, какая меня вдруг переполнила ненависть.

— Знаю, тебе больно. Но лучше узнать все сразу. Тогда ты перестанешь страдать,— донесся до меня его голос.

— Кто он? — Я снова открыл глаза.

— Ну, на этот счет можешь не волноваться. Представь себе — старик.

— Старик,— пробормотал я, пытаясь очистить мандарин, но пальцы у меня дрожали и не слушались.

— Дай-ка я очищу,— пришел мне на помощь Витторио. И, протянув мне очищенный мандарин, добавил: — Пожуй, горечь во рту пройдет.

Мы молчали, я машинально проглатывал дольку за долькой, не ощущая вкуса мандарина. Наконец Витторио сказал:

— Может, она до сих пор тебя любит, но тот, другой,— более надежная партия... он, представь, хотел меня погладить, но я отбросил его руку! «И не вздумай повторить»,— сказал я этому старикаш-

ке. А мама мне: «Витторио, что за манеры?» Только сказала она это не очень-то уверенно. Она его терпит, наверно, но я...

Он рассек кулаком воздух, словно перед ним был один из наших былых врагов.

Витторио был искренне огорчен новой любовью матери.

— Если это вообще можно назвать любовью,— добавил он, желая выказать мне свою солидарность. Но, видно, он знал куда больше, чем рассказал. Он взял меня за руку, крепко ее сжал и сказал с грустью: — Пошли.... У тебя такое лицо...

— Я отлично себя чувствую,— солгал я.— Но подышать свежим воздухом, пожалуй, не мешает. Подожди, я сейчас расплачусь.

Официант принес счет, и все время, пока я расплачивался и ждал сдачу, Витторио не сводил с меня глаз. Когда мы наконец вышли на улицу, он сказал:

— Если тебе надо побыть одному, ты не стесняйся!

— Да нет,— улыбаясь сказал я.— Давай сходим в кино!

Мы выбрали ковбойский фильм. Витторио давно признался мне, что не любит фильмы, в которых без конца дерутся и стреляют. Сейчас он захотел посмотреть именно такой фильм, решив, очевидно, что приключения на экране отвлекут меня, помогут забыться. Но когда в зале погас свет и Том Микс принялся расправляться с многочисленными врагами, Витторио сам увлекся похождениями героя. В самые напряженные моменты он крепко хватал меня за локоть и сразу отдергивал руку, словно напуганный моим оцепенением.

Выйдя из кино, я купил пирожных.

— И для мамы тоже! — вырвалось у Витторио.

— Конечно, и для мамы. Ведь это — твой праздник, верно?

— Зачем так много? — запротестовал Витторио, когда увидел, что я попросил шесть пирожных: по два для него и Ренаты и еще два для возможного гостя.

Размахивая коробкой, словно кадилом, Витторио неохотно направился к дому... Внезапно он остановился, вернулся назад и, не говоря ни слова, крепко меня обнял и поцеловал.

XVI

Я решил исчезнуть. Теперь я испуганно вздрагивал, когда звонил телефон, и знаком показывал продавцу или продавщице: «Скажите, что меня нет в магазине». Если же я был один, я изменял голос, чтобы ни Рената, ни Витторио меня по телефону не узнали. А если Витторио приходил в магазин, я притворялся, будто очень занят. Сбрасывал вниз с книжных полок горы книг, словно я что-то искал и не находил. А сам изо всех сил крепился, чтобы ничего не спрашивать ни о его жизни, ни о Ренате. Стоя на лестнице, молчал, пока он что-нибудь рассказывал и чихал в облаке пыли, вздымавшемся от сброшенных мною книг. В конце концов он, обидевшись, уходил.

— Это старинные книги? — спросил он однажды.

— Старинные, старинные,— резко ответил я.

— И ты так вот их бросаешь?

— Тот, кто учил меня профессии букиниста, объяснил мне, что книги — обычный товар. Для меня что мешок картошки, что книги — разницы никакой.— Я всячески разжигал себя и отыгрывался на книгах, которые яростно кидал на пол.

— Когда же снова увидимся? — спросил Витторио, стоя в дверях и не замечая, что зазвонил сигнальный электрический звонок.

— Входи или захлопни дверь,— сказал я, раздраженный этой металлической трелью.

— Ох, извини! — смутился Витторио и сразу ушел.

Было это в марте, и до самого октября он больше не появлялся. Теперь воспоминание о Ренате потускнело — оно мгновенно оживало с приходом Витторио,— и я во вновь обретенном иллюзорном спокойствии решил, что излечился от страсти.

Но однажды в субботу, когда я и думать обо всем этом позабыл, я услышал в телефонной трубке голос Витторио.

— Что ты делаешь завтра? — спросил он так, точно мы расстались только вчера.

Застигнутый врасплох, я не нашел ничего лучшего, как задать дурацкий вопрос:

— А что за день завтра? — Хотя прекрасно знал, что это за день.

— Что у тебя стало с памятью? Забыл, что завтра — воскресенье. И поздравить меня не хочешь?

— Верно, прости, пожалуйста.

— Так ты меня поздравляешь или не поздравляешь? — настаивал Витторио. Я чувствовал, что рядом с ним стоит Рената.

— Конечно, желаю тебе счастья,— сказал я, глядя на цифру «29» в настенном календаре.

— Значит, мы проведем этот день, как и раньше, вместе?

— Послушай, Витторио, не обижайся, но я не тот, что прежде. Я устал, и у меня большие неприятности.

— У меня тоже,— мрачно сказал он.

— Что случилось, говори?!

— Ничего особенного. Если увидимся, расскажу.

— Раз уж начал, рассказывай все сейчас же.

— Так мы увидимся? — настойчиво повторил он.— Когда увидимся, я тебе все и расскажу.

XVII

Мы встретились. Витторио начал разговор издалека, первым делом сообщил, что наконец-то получил лицейский диплом, и добавил, что по этому случаю, а также по случаю своего восемнадцатилетия он решил, как и в прежние годы, провести этот день со мной. Мы стояли у парапета виллы Медичи и смотрели на машины, взбиравшиеся по крутому подъему Сан-Себастианелло, форсируя до предела режим моторов. Вот и наш разговор стоил нам невероятного напряжения.

— Очень рад за тебя, молодец. Я всегда знал, что ты выдержишь,— рассеянно сказал я.

— Твоя заслуга, только твоя! А все остальные — вспомни, чего они только не делали, чтобы меня обескуражить.

Витторио намекал на давнее неверие в его силы тех, о ком я хотел забыть, поэтому я холодно сказал:

— Ты выстоял. Это — главное. Стоит ли копаться в прошлом, вспоминать, кто в тебя верил, а кто нет. Ты не забыл, что я тебе говорил много лет назад? Человек крепнет в тяжких испыта-

ниях. И чем труднее испытания, тем мужественнее человек, сумевший их выдержать.

— Я записал твои слова в тетрадь по итальянскому. Учитель однажды увидел и стал допытываться, откуда я списал это изречение. Я назвал твое имя.

— И зря сделал. Изречение не мое. Не знаю уж, где я его вычитал. Но ты наверняка отыщешь его в одной из книг.

— Почему ты всегда любишь себя принижать? — спросил Витторио.

— Конфуций говорил: «Не взбирайся слишком высоко, если не хочешь упасть со слишком большой высоты». Но мое любимое изречение другое. Вот оно: «Не моли богов сделать тебя таким, каким ты никогда стать не сможешь».

— Это тоже прекрасные изречения, подожди, я их запишу.

Я остановил его:

— Ты и их рано или поздно найдешь в какой-нибудь книге по истории. Скажи лучше, чего мы тут стоим как истуканы?

Витторио притворился, будто обдумывает, что бы нам такое сделать.

— Давай сходим куда-нибудь пообедаем? А потом — сразу же на футбол,— радостно закричал он.

— Значит, ты заранее продумал программу?

— Да, но на этот раз плачу́ я. Ладно?.. Мне нужно рассеяться,— задумчиво добавил он, глядя вдаль, словно в лабиринте лоджий и гребней крыш он увидел свой балкон на виа Рипетта. Потом другим, почти шутливым тоном: — Знаешь, сегодня играют «Рома» — «Проверчелли». Хорошая команда — «Проверчелли». Говорят, в ней много молодых игроков.— И еще более наигранно-весело: — Кстати, как их надо называть? Верчеллани, ве́рчеллини или верчеллези?

В ответ я молча улыбнулся, понимая, как трудно ему не говорить о том, что его гнетет.

XVIII

Во время обеда и потом на матче я заметил по движению губ, что Витторио хочет поделиться со мной своей бедой, но никак не решается. Лишь в перерыве, увидев, как я рассматриваю женщин, сидящих на ступеньках, он заметил:

— Странно, ты всегда заглядываешься на женщин одного типа.

Это было правдой — я всегда заглядывался на женщин, чем-то напоминавших мне Ренату. Но я не признался.

— Вовсе нет, я наблюдал, с каким интересом женщины смотрят на тебя. Ты им явно нравишься.

Он посмотрел вокруг и отрезал:

— Мне тут ни одна не нравится.

Весь второй тайм он не промолвил ни слова. Лишь когда мы, смешавшись с толпой, вышли со стадиона, Витторио сказал:

— Ты меня не спросил о ней.

— Да, как она поживает? — притворился я, будто лишь сейчас вспомнил о Ренате.

— Хорошо. Так хорошо, что сегодня обвенчалась.

Я ощущал на себе его немигающий взгляд и шел покачиваясь, словно слепой. Витторио взял меня под руку.

— Не думай больше об этом,— шепнул он.

— А кто думает? — ответил я с застывшей улыбкой.

— Ты ее любил? Теперь можешь мне сказать. Ведь мне уже восемнадцать!

— Да, любил и никогда не скрывал этого от тебя.

— Значит, со мной ты гулял лишь из-за нее?

— Отчасти да. Но это не совсем так. Как бы тебе объяснить? Ну, в какой-то момент мне захотелось быть тебе вместо отца.

Витторио толкнул меня локтем и снова крепко сжал мою руку.

— Отца, скажешь тоже!.. Забыл, какую драку мы устроили в Трастевере и Борги... А про то больше не думай. Тем более она сегодня обвенчалась.

— Ты мне уже сообщил... Спасибо за информацию.

Я был взбешен.

— А ты сам был на венчании?

— Еще чего! Хорошо бы я там выглядел, в церкви, здоровенный детина! Мама, правда, скандал мне учинила. Ей очень хотелось, чтобы и я пошел в церковь.

— Глупо сделал, что не пошел,— с упреком сказал я.

— Они бы меня туда и связанного не затащили!— воскликнул Витторио.— Вот потому-то мне и хотелось побыть с тобой сегодня. Чтобы отвлечься и никого больше не видеть. Ей нужно было обвенчаться, а не мне! Понимаешь, уже видно стало...

— Что стало видно?

— Да что у нее живот!— сказал он так просто, что я похолодел.— Она уже на пятом месяце. Когда же ей выходить замуж, как не сейчас?!

Я молчал, горло сдавило петлей, покалывание в руке, которую сжимал Витторио, сливалось с таким же покалыванием в сердце. Так, не обменявшись ни единым словом, мы прошли больше половины виа Фламиниа. Витторио первым нарушил тягостное молчание:

— Не думай, что она тебя не любила... Знал бы ты, сколько она из-за тебя пролила слез.

— Из-за меня?— вскинулся я.— Что я ей плохого сделал?

— Просто ты намного ее моложе... Ей ведь почти сорок лет. А тебе?

— Сам знаешь, скоро будет двадцать девять.

— Представляешь себе маму через десять лет, когда она вообще не сможет ходить?!

— При чем тут это?— рассердился я.

— Очень даже при чем... На женщине старше меня на десять лет, да вдобавок больной, я бы никогда не женился!

— Ты потому так говоришь, что не испытал, что это такое — любить,— пробормотал я.

Дойдя до пьяцца дель Пополо, Витторио не отпустил моей руки, не свернул на свою виа Рипетта, а повел меня дальше по Корсо. Загорались фонари, побеждая густеющие тени осенних сумерек. Заморосил мелкий, ажурный дождик, Витторио свободной рукой поднял воротник плаща и сказал мне на ухо:

— Больше об этом не думай. Теперь вы должны забыть друг друга. Так будет лучше для обоих.

Я горестно кивал головой, захлебываясь от воспоминаний о стольких годах любви и страданий. В смятении смотрел на лучи, отражавшиеся в черном зеркале мокрого асфальта, и никак не мог смириться с потерей — не любви даже, а ожидания, придававшего смысл дням моей жизни и почему-то всегда приносившего мне какую-то непонятную, горькую радость. Теперь все кончилось, смирись с этим, говорила мне рука Витторио, сжимавшая мою. Ты мужчина, и ты не можешь и дальше тщетно надеяться, что однажды ожидание вознаградит тебя, распахнув двери новых, несбыточных весен. Я машинально повторял про себя строки стихотворения, которое несколько лет

назад посвятил Ренате. В нем я изображал ее и себя как «две зимы, странно слившиеся воедино». Налетали бури, а я все призывал такую бурю, которая разделила бы словно стеной «мою судьбу и твою, столь похожие и столь далекие, раз уж и близость ничему не помогла». Я улыбнулся, вспомнив об этих наивных стихах. Если и была в них поэзия, то лишь поэзия породившего их отчаяния — цветы, выросшие на поле среди сожженной сорной травы.

В голове у меня был мрак от этих беспорядочных мыслей и душевного смятения, глаза подернуло туманом, лоб взмок от пота, и я не замечал, куда мы идем, давно ли. Но вдруг Витторио отпустил мою руку и нажал кнопку звонка маленького парадного; дверь внезапно отворилась, меня обдало магическим светом убегающих лучей, запахом дыма и пудры, и я увидел в глубине крутую лестницу.

■

ГЕРХАРД ШТЕНГЕЛЬ. ГДР.
Городская улица. Египет.
Рисунок

ВАН МИН

К 75-летию со дня рождения

■

С китайского

О стихах Ван Мина

Автор этих стихов не был поэтом-профессионалом — он был профессиональным революционером. На протяжении нескольких десятилетий Ван Мин был широко известен как один из видных деятелей Коммунистической партии Китая и международного коммунистического движения, автор теоретических работ по проблемам китайской революции, страстный публицист, обличавший ее врагов. Только близкие люди знали, что он всю жизнь писал стихи.

Если бы Ван Мина спросили, что влечет его к стихам, он мог бы, наверное, сослаться на известные слова из созданного две тысячи лет назад «Предисловия» к древнейшему памятнику китайской лирики «Шицзину»: «Поэзия — это то, что выражает стремления людей». Взгляд на поэтическое творчество как на способ выразить прежде всего свои жизненные принципы и устремления, свое политическое и философское кредо издавна распространен в Китае. Владение непростым искусством традиционного стихосложения считалось обязательным для каждого образованного человека. Многие выдающиеся поэты занимали важные государственные посты; впрочем, это не было редкостью и за пределами Китая. Однако такого множества политических деятелей — полководцев, министров, предводителей народных движений,— писавших стихи, вряд ли знает какая-либо другая страна. Следовательно, Ван Мин своими стихами продолжил давнюю и примечательную традицию.

Стихи Ван Мина можно, в определенном смысле, охарактеризовать как поэтическую версию автобиографии борца, революционера, патриота. И не потому только, что многие его стихи родились как непосредственный отклик на события, связанные с общественно-политической стороной его жизни и деятельности, будь то участие в студенческих сходках, поездка в Москву — в Университет трудящихся Востока, арест и вызволение из тюрьмы, получение известий о гибели соратников или о победах над врагами. Главное состоит в том, что о чем бы ни писал Ван Мин — о своем детстве, персонажах китайских легенд, подмосковной природе или близких ему людях,— он думал о судьбах родной страны, о своем месте в борьбе за свободу и счастье родного народа. Он радовался его успехам в сражениях и в созидательном труде, он разделял страдания, причиненные ему антинародной политикой группы Мао Цзэдуна. Неизменно клеймя изменников делу революции, самовлюбленных авантюристов, антисоветчиков, Ван Мин столь же неизменно выражал веру в то, что «зима уйдет, весна недалека», что китайский народ с его богатейшими традициями революционной борьбы вернется на путь социализма, мира и дружбы с трудящимися всех стран.

«Ни Лаоцзы, ни Будда, ни Конфуций не принесли спасенья Поднебесной... Китая многочисленные раны излечат Ленин, Энгельс, Маркс»,— писал Ван Мин в дни столетнего юбилея основателя Советского государства, и эти слова обращены к сердцам всех истинных патриотов Китая. Вновь и вновь напоминал Ван Мин о том, как много сделали партия Ленина, весь советский народ для освобождения Китая, для помощи его народу, начавшему в 1949 году строить новую жизнь на своей земле.

«Поэзия выражает стремления людей...» Стихи Ван Мина выражают устремления их автора, общие для всех китайских коммунистов-интернационалистов, их веру в торжество идей Маркса и Ленина, в светлое будущее своей родины, в крах замыслов всех противников дружбы китайского и советского народов.

В своих стихах Ван Мин использовал различные формы традиционной — как правило, рифмованной — лирики и современного, преимущественно свободного стиха. Особенно часто обращался он к восьми- и четверостишиям — формам, хорошо известным нашим читателям по переводам классической китайской поэзии VII—XII вв.

Публикуемые переводы взяты из готовящегося издательством «Прогресс» сборника его стихотворений.

В. СОРОКИН

В Мавзолее

(Ленина воспеваю)

Красная площадь и Кремль величавый —
Сердце и разум великой державы;

У Мавзолея знамена алеют,
Ленин, учитель наш, спит в Мавзолее.

СССР, нерушимый, могучий,
Высится пиком, пронзающим тучи.

Бурный Китай — океан неуемный;
Гневно бушует он, темный, огромный.

Объединяются всюду народы,
Требуют хлеба, работы, свободы.

Тысячелетья история длится,
Яркую впишем в нее страницу!

Предан революционной идее,
Перед учителем в Мавзолее

Низко склоняюсь... Для нас, молодежи,
Нету наставника ближе, дороже.

Конец 1925 г.
Москва.

Посвящаю Мэн Циншу во время ее заключения

Три раза, одежду меняя,
тюрьму Лунхуа посещаю.

Любимая мне вручает
куртку, что сшила сама.

© Русский перевод издательства «Прогресс», 1979.

Дела партийные — шепотом,
домашние — вслух обсуждаем.

Железом оконных прутьев
два сердца скрепила тюрьма.

19, 26 октября, 2 ноября 1930 г.

Перевод Г. ЯРОСЛАВЦЕВА

Скорбная весть из Чантина

(Памяти товарища Цюй Цюбо)

Я думал — ты в боях на Севере сейчас...
Трагическая весть вдруг донеслась до нас.
В тот самый миг, когда ты отдал жизнь за правду,
«Интернационал» вселенную потряс.

Октябрь 1935 г.

Перевод С. ТОРОПЦЕВА

Встреча советских и китайских войск в Дунбэе

Много лет обе партии наши
мечтали о нынешнем дне:

Плечом к плечу братские армии —
закалены в огне.

Нам ли бояться, что за спиной Чан Кайши
янки-империалист?

Советский Союз сумеет помочь
революционной весне!

20 августа 1945 г.

Перевод А. ГОЛЕМБЫ

Надпись на альбоме Ци Байши

На грани между сходством и несходством
таится вечно тайна мастерства.

Рисунку и душе изображенья
соперничать с природою под стать.

Широкий взмах иль штрих едва заметный —
повсюду кисть художника права.

Мысль так свежа, так ново восприятье,
манера же — изящней не сыскать!

Весна 1956 г.

Перевод Г. ЯРОСЛАВЦЕВА

Без названия

(О Мао Цзэдуне)

1

Ложь —
«откровения» его,

«Открытья» —
клевета,

Мошенничать
и плутовать

Готов
везде, всегда.

Интриги —
вот его закон,

Как варвар
поступает он!

2

Он жаждет
обелить себя

Заслугами
чужими

И наделить
других людей

Пороками
своими.

Его оружье —
нож, хула,

Злокозненны
его дела!

3

Не оболванишь
ты Китай,
Народ,
он все поймет,
Похищенное
возвратит —
Не обмануть
народ.
И лопнет
сеть твоих интриг.
Запомни:
ты — тиран на миг!
А истина
вовеки
не умрет,
Тебя
и ложь твою —
переживет!

1960 г.

Перевод С. ТОРОПЦЕВА

Ранняя весна

Краснеют ветви у сосны,
а хвоя вечно зелена.

С берез сережки облетят —
и вся листва обновлена.

Поют, хлопочут семьи птах,
вьют гнезда высоко в ветвях,

И людно стало на полях —
вся ширь, вся высь оживлена.

Облеплен мокрым снегом куст,
он, как зацветший, побелел.

Корабль космический с Земли
к Венере в первый раз взлетел.

Весну встречаю много лет —
тепло и свет, земли расцвет...

Луч солнца нынешней весной
быстрее землю отогрел!

Март 1961 г.
Подмосковье

День моего шестидесятилетия

Выстоять нужно
в трудной борьбе с деспотизмом,

Не унижаться,
став на защиту правды.

Гнева исполнен:
вред для Страны Советов —

Это же помощь
стану империалистов!

Беды народа,
партии нашей измена —

Связаны вместе
страшные эти явленья.

«За справедливость!» —
вот он, девиз коммунизма,

Поднят, как знамя,
он на пяти континентах.

Отклик громовый
ширится, крепнет, мужает,

Бурей проносится
по четырем океанам.

В северном крае
круглую дату встречаю,

Факел надежды
в будущем взгляд мой провидит.

20 мая 1964 г.

Думаю о товарище Юлиусе Фучике

Пишу и передаю
товарищу Густе Фучиковой
на память о нашей встрече.

Все мы смертны на земле —
что о том тужить!..

Умереть, как умер он,—
значит вечно жить!

Новых бедствий и войны
люди не хотят,

Память светлую о нем
бережно хранят.

26 августа 1965 г.
Москва.

Перевод Г. ЯРОСЛАВЦЕВА

Вспоминая товарищей

(1 июля 1967 г., 46-я годовщина основания КПК)

Когда зажигает свои огни
Млечный Путь в вышине,
Ко мне приходят мои друзья,
Беседуют в тишине.
Тех, кто умер, от тех, кто жив,
Никак отличить не могу.
В слезах просыпаюсь и узнаю,
Что все это снилось мне.

Преступление клики Мао

Город Пекин. Квартал Мэнгунфу.
Ворота под номером три.
Здесь проживала моя семья.
Прохожий, зорче смотри!
Отряд хунвэйбинов все разорил
И уничтожил все.
Погибла моя седовласая мать.
Пепел — снаружи, внутри.
Тысячи собранных мною книг —
Все сожжено дотла!
Сотни страниц, что я написал,—
Теперь это лишь зола!
Разбросали даже кости отца,
Могильный холм осквернив.
Поистине скажешь: любая скорбь
По сравненью с этой мала!

Июнь 1966 г.

Осенние думы

Воздух свеж. Небосвод высок.
Окинешь взглядом простор —
И в груди проснется осенняя грусть,
Дремавшая до сих пор.
Холодный ветер песни поёт
На разные голоса.
Облетает листва. Прозрачная тень
Покрывает вершины гор.
В небе — стая диких гусей.
Путь их труден, далек.
Восходит солнце. О чем и кому
Я напишу на восток?
Тигры и змеи в священных садах.
Нет дороги туда.
Почитаю стихи, чтоб родной напев
Мне с печалью бороться помог.

Октябрь 1968 г.

Перевод В. ШВЫРЯЕВА

Зимние думы

Под стон ветров кружат, кружат снега,
Не замерзает Желтая река.
Без угля — промерзают до костей,
Без пропитанья — дума нелегка.
Тирану злому нет и нет конца,
Терзает всех жестокая рука.
Но глянь: под снегом мэйхуа цветет!
Зима уйдет, весна — недалека!

12-й месяц по лунному календарю, 1968 г.
Москва.

Перевод С. ТОРОПЦЕВА

■

Критика

Е. КНИПОВИЧ

«МАЛАЯ» И «БОЛЬШАЯ» РОДИНА ЮРИЯ БРЕЗАНА

Среди ведущих писателей Германской Демократической Республики Юрий Брезан занимает особое место. По рождению он сорб, то есть представитель национального меньшинства, проживающего на западе республики, у самой границы с Чехословакией.

«Малая родина» Брезана по культуре, языку, традициям принадлежит к славянскому миру. Она оставалась инородным телом как в Германской империи, так и в буржуазно-демократической Веймарской республике. В годы фашизма сорбы ощутили на себе всю бесчеловечность «национальной политики» третьего рейха.

Дарование Юрия Брезана сформировалось на перекрестке славянских и германских культурных традиций. Причем его восприятие культуры немецкого народа, естественно, было свободно от малейших признаков германского национализма, не было «сращено» не только с понятием государства, но и с понятием «большая родина».

Сын сорбского крестьянина-бедняка и каменотеса, в шестнадцать лет участник антифашистского сопротивления, эмигрант (в Чехословакии и Польше), захваченный и принудительно мобилизованный в армию рейха, Юрий Брезан с первых шагов сознательной жизни был противником фашистского государства. Поэтому в творчестве его нет лично окрашенной темы «преодоления прошлого» и «расплаты», столь характерной для писателей так называемого поколения вернувшихся. О своеобразии своего общественного и творческого пути Юрий Брезан очень точно сказал в речи на VI съезде писателей ГДР, проходившем в год двадцатилетнего юбилея республики:

«Особые обстоятельства происхождения и первые три десятилетия жизни сделали факт образования Германской Демократической Республики главным переживанием в моей сознательной жизни. Это событие, это глубочайшее переживание привело к тому, что не в третий, пятый или седьмой год существования нашей республики, а уже в самый год ее рождения мне была дана возможность не только измерить истинной мерой вещей уже прожитое время, но и сохранить эту истинную меру для оценки событий тех лет, которые еще предстоит прожить, для оценки деяний и злодеяний, для определения истинной цены и ценности всех личных устремлений».

Творческий путь Юрия Брезана начался со стихов и рассказов, написанных еще в довоенное время на сорбском языке. Но зрелость и самостоятельность утвердились в его творчестве в годы существования ГДР — годы, когда он не только обрел «большую родину», но ощутил естественную и органическую связь ее с «малой родиной», сорбским краем. Как писатель Юрий Брезан «двуязычен». С равной выразительностью и свободой создает он книги и на сорбском, и на немецком языке. Случай «двуязычия», примечательный, хотя и не единичный в литературе ГДР, не редкость в советской многонациональной литературе. Достаточно назвать таких крупных художников слова, как Чингиз Айтматов, Василь Быков, Ион Друцэ.

Связь Брезана с «малой родиной» ощущается и в том глубоком — «изнутри» — знании, с каким он воссоздает в своем творчестве образы земляков — крестьян сорбского края. Но фактографии, прямой очерковой связи с фактом в рассказах и романах Брезана нет. Правда характеров и обстоятельств подчинена поэзии. И о забавном бунте «правды» против «поэзии» Юрий Брезан рассказал на одной из традиционных творческих встреч советских и немецких писателей.

Цикл новелл «Старуха Янчева» — может быть, лучшее из ранних произведений Юрия Брезана. Творческий «подтекст» взаимоотношений автора со своей героиней, о котором шел рассказ, заключается в той победе «поэзии» над «правдой», которую он, автор, одержал.

Янчева, в прошлом батрачка, а ныне общественница, «власть», охотно и словоохотливо делилась с подругами и товарками по работе своими суждениями и воспоминаниями. Это и легло в основу новелл Брезана.

Ознакомившись с рассказами о себе, героиня сначала ославила писателя на всю округу как бессовестного лгуна: и не то она говорила, и не то с ней было. Но постепенно эта неутомимая рассказчица — за копкой картофеля, сортировкой свеклы — вдруг стала замечать, что в ее «правду» все более властно вторгается брезанова «поэзия»; и тут она снова напустилась на земляка: «Ты меня совсем запутал, уж я теперь и не знаю, что́ со мной было и как было».

Такая победа, по справедливому мнению Брезана, объясняется тем, что, отступая от правды факта, он делал более точной правду характера. «Преображенная» поэзией героиня стала еще более собой, чем «непреображенная». Вот почему эта хорошая старуха и стала воспринимать «поэзию» как «правду».

Однако право на такое обращение с «правдой» дает только глубокое и доскональное знание ее и ощущение глубочайшей связи с «материалом», со всеми сторонами жизни той среды и народа, о которых идет речь.

Именно таковы взаимоотношения Брезана с его «малой родиной». Но эта глубокая связь отнюдь не ведет художника к узкой замкнутости, провинциализму. «Малая родина», ее пути и судьбы в его творчестве всегда соотнесены не только с «большой родиной» — ГДР, но и со всей жизнью нашей планеты.

Именно об этом говорил Брезан в той же речи на VI съезде писателей ГДР: «...в малое наше мы должны привнести великое наше, овладевая всем миром и его историей; все, что в мире сейчас есть хорошего,— это наше, все, что было хорошего,— это наша история... Из этого не следует, что, породнившись с нашим миром и историей, мы тем самым привнесем это свое и в рассказ о другом мире. Но где бы ни происходило действие нашего повествования — в деревне, например в Берқштедте, или в индустриальном комбинате, например в Биттерфельде,— где бы рассказываемые нами истории ни протекали, они должны быть причастны мировой истории, если мы хотим включить в повествование историю всего мира. Нам необходимо знать больше, чем мы знаем. Мы должны знать Беркштедт и весь мир, и прежде всего, как Беркштедт соотносится со всем миром».

Именно так соотносит Брезан в своем творчестве «малую родину» — сорбский округ, «большую родину» — ГДР и весь мир. Именно так построена его автобиографическая трилогия («Гимназист», «Семестр потерянного времени» и «Пора зрелости»), созданная между 1958 и 1964 годами, сочетающая в себе черты «романа воспитания» и «романа пути», столь традиционных для классической и современной немецкоязычной литературы.

Повествование во всех трех книгах ведется не от первого лица, но люди, события, конфликты тесно и неотрывно связаны с судьбой героя Феликса Хануша, и мир читатели видят преимущественно его глазами, хотя авторская рука и авторская воля порой вносят в повествование свои коррективы. Несмотря на живость некоторых действующих лиц, окружающих героя в деревне и городе, в школе, эмиграции, на войне (крестьяне сорбской деревни, рабочие, интеллигенты, коммунары и нацисты), они все же существуют скорее как подсобные средства для всестороннего раскрытия устремлений, замыслов, ошибок героя, нежели как самостоятельные носители различных исторических тенденций и конфликтов.

«Пора зрелости» — роман, созданный в 1964 году, шире по идейно-художественному охвату действительности, чем первые части трилогии. Герой его Феликс Хануш, если можно так сказать, «дорос» до своего создателя. И они вместе и в полном единении познают окружающий мир, оценивая людей и события той высочайшей мерой, какую дает человеку и художнику марксистско-ленинское мировоззрение, активное участие в строительстве нового, социалистического общества.

В этой последней части трилогии с большой силой звучит тема идейной борьбы, борьбы с буржуазно-идеалистической философией в сложных условиях освоения и построения нового. Роман «Пора зрелости» читатели и критика ГДР по праву считали наиболее значительным произведением Юрия Брезана до того, как в 1976 году вышла в свет его новая книга — «Крабат, или Изменение мира», встретившая всеобщее и горячее признание.

«Малая родина» Брезана богата традициями народного творчества. В песнях, сказках и сказаниях, героических и комических, живет душа трудолюбивого и вольнолюбивого народа. И в творчестве Юрия Брезана — во многих его стихах, пьесах, рассказах оживают эти традиции и герои народного творчества, по-своему обогащенные воображением автора, человека сегодняшнего дня.

Прежде всего это Крабат — дух сорбского народа, подобно тому как Уленшпигель

был духом Фландрии,—легендарный борец против феодального и национального гнета, защитник обездоленных и участник многих героических и комических приключений.

Обращение к фольклору, связь с народной фольклорной традицией в наши дни — не такое уж частое явление в литературах Европы, в том числе и в литературе ГДР. Но в многонациональной литературе Советского Союза обращение к фольклору — явление не только частое, но и закономерное. Первозданное поэтическое мироощущение, присущее народному творчеству, для младописьменных литератур нашей страны — совсем недавнее и еще живое прошлое, и оно, естественно, обогащает художественное мироощущение сегодняшнего дня, помогает глубинному и всестороннему познанию действительности.

Но не менее бесспорно входит «фольклорная поэтика» и в те национальные литературы, где лишь не так давно укрепились основы «широкоформатной» повествовательной прозы. Об этом свидетельствует, например, творчество Чингиза Айтматова, Гранта Матевосяна и многих других.

История западной литературы начала века знает немало примеров иронического, нарочито-наивного и, я бы сказал, снисходительного использования мотивов и героев национального и чужеземного фольклора. Юрий Брезан связан в своем творчестве с совсем другой, романтико-героической традицией восприятия народного творчества. И не случайно в начале разговора о герое его последнего романа Крабате в памяти возник образ бессмертного духа Фландрии— Тиля Уленшпигеля. Конечно, Юрий Брезан, как и Шарль де Костер, переосмыслил героя народных сказаний, дал ему во многом другую биографию и придал его решениям и поступкам ту целенаправленность и сосредоточенную силу, какими не обладает его фольклорный прообраз.

К теме «Крабат»—так, как она стоит в его последнем романе, — Юрий Брезан подошел не сразу. Первым подступом к ней был перевод сорбского сборника сказаний о Крабате, который Брезан издал в 1955 году. Второй подступ — повесть «Черная мельница» — книга, которую лишь формально можно числить по «ведомству» детской литературы. На деле же это книга и для детей и для взрослых — живая, занимательная и полная глубокого смысла.

...Однажды с неба упал камень и раскололся, начинает свое повествование автор. Из осколков вышел Крабат и пошел по земле. Когда-нибудь другой камень вознесется в небо, и в нем будет Крабат. Но в промежутке Крабат будет человеком и станет делать то, что должен делать человек.

А знаем ли мы, что должен делать человек?

Наверное, он должен дать имя своему «откуда» и своему «куда». И взять с собой первое, и всегда видеть перед собой второе...

Ребенок, естественно, будет с увлечением читать сказку о том, как храбрый Крабат, защитник обездоленных, боролся со злым мельником — владельцем «Черной мельницы», который ежегодно в определенный день на семижды семь часов оборачивается волком, а также прячет у себя ларь с семью замками, где лежат семь книг мудрости.

За этой сказочной символикой, за сложной цепью намеков и ассоциаций взрослый осознает общий смысл книги (ребенок впитывает его бессознательно), заключающийся в том, что самоосвобождение человека достигается только в борьбе за всеобщее освобождение, что борьба за свободу включает в себя и борьбу за право на знание — на семь книг мудрости.

Эта сторона борьбы за народное, а тем самым и свое счастье и свободу, по справедливому мнению, высказанному в критике ГДР, вводила в повествование о Крабате фаустовскую тему, которая годы спустя со всей силой прозвучит и в итоговом романе о Крабате.

Мотив захватчика — «потенциального» волка-оборотня, который в дни творения обвел вокруг пальца самого господа бога, присвоив все лучшее из созданного, встает и в чудесной истории «Конь и пес, корова и кошка», рассказанной Брезану-ребенку его дедом, сорбским крестьянином.

Роман «Крабат, или Изменение мира» стоит в ряду тех произведений социалистического реализма, авторы которых делали своим оружием и условные формы изображения, гротеск, гиперболические обобщения, сложную образность.

Прежде всего, когда происходит действие романа? В дни сотворения мира библейским богом? Или в годы Тридцатилетней войны? Наполеоновских войн? Или в наши дни, точнее, в 1973 году?

Ответить на такие вопросы не так-то просто. Все экскурсы в прошлое — историческое и «сказочное» — отнюдь не ретроспекция. События прошлого и настоящего, дела и приключения героев не то чтобы происходят одновременно, но порой как бы наплывают одно на другое. Так, вечный спутник и друг Крабата трубач и мельник Якуб Кушк (добрый мельник!) в 1908 году попал под суд, потому что ревом своей трубы напугал коня императора Вильгельма Второго. Впрочем, может быть, это был не конь Вильгельма, а белая арабская кобылка императора Наполеона? И судья, слушая рассказ об этом происшествии, вдруг чувствует, что с ним творится что-то странное. Он не знает, в какой он действительности — прошлой, в 1908 или 1813 году, или настоящей. Действительности наплывают одна на другую, смешиваются — «так бывает,— говорит автор,— когда щука-охотница сорвет с корней листья кувшинок и они, расходясь и сходясь, как бы становятся одним листом».

В романе сплетены, взаимно «пронизаны» две сюжетные линии. Главный герой первой из них — гениальный ученый, биолог-генетик Ян Сербин. Он открыл формулу жизни, применение которой дает возможность

Е. КНИПОВИЧ
«МАЛАЯ» И «БОЛЬШАЯ» РОДИНА ЮРИЯ БРЕЗАНА

«перестраивать» человеческую биологию, физиологию, психику, влиять на поведение человека. Эта «современная история» происходит в наши дни, в 1973 году, а действие ее развертывается в глухой деревеньке, в сорбском краю ГДР, затем в Швеции, где Ян Сербин получает Нобелевскую премию, в Риме, где он вступает в поединок с теми силами капиталистического мира, которые стремятся завладеть его открытием.

Второе повествование начинается с сотворения мира, с того дня, когда господь бог поделил (согласно сорбским легендам) землю и тварь земную между «знатным» и «мужиком».

Впрочем, в изложении Брезана день творения больше похож на аукцион, и участвуют в нем отнюдь не двое, и раздает бог (бесплатно!) очень широкий ассортимент всякой твари, вручая каждую из них тому, кто раньше других крикнул «мне!».

Когда же на аукционе дело дошло до пожеланий «знатного» (впоследствии он принял имя графа Рейссенберга) и «мужика» Крабата, «знатный» убедил простоватого господа бога в том, что все ценное — это его доля, а те крохи, на которые сможет прожить Крабат, он должен получить из рук «знатного». Для верности он тут же наложил свое клеймо — «волчья пасть, разверстая перед горой» — на домашний скот, а впоследствии — на землю, на плечо мужика и его жены Смялы.

Так Крабат познал страх и ненависть, ощутил как пылающую рану клеймо на своем плече и вступил в борьбу со «знатным» — волком Рейссенбергом.

«Раб, сознающий свое рабское положение и борющийся против него, есть революционер»[1]. Эта ленинская формула определяет глубинный смысл той борьбы против «волка», «знатного», «носителя власти», которую (с помощью доброго мельника) ведет Крабат.

Борьба эта носит былинно-сказочный характер и ведется, так сказать, с переменным успехом, потому что Крабат никак не может повесить на дереве волка Рейссенберга, но и волк Рейссенберг не может прикончить Крабата. Сказочная борьба вплетена в борьбу историческую, реальную — многовековую борьбу с графом Рейссенбергом крестьянского рода Сербиных — участников всех бунтов и восстаний, начиная с крестьянских войн XV века. Мартиролог колесованных, утопленных, повешенных, четвертованных повстанцев очень велик. Но Сербины не сдавались.

«Замок Рейссенбергов и двор Сербиных на холмике под липой во все времена смешно было бы называть двумя вражескими станами — слишком могущественен был первый и слишком убог второй. Но некий Каспар Сербин закричал однажды в лицо своему палачу Рейссенбергу: «Между нами положена вражда, и нам дана вечная жизнь до того часа, когда один из нас повесит другого на древе истории».

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., изд. пятое, т. 16, стр. 40.

Повесть о Крабате и повесть о Сербиных сближается все тесней и тесней. И вот уже наш современник — дед знаменитого ученого Яна Сербина — Петер Сербин, «дружка» на всех деревенских свадьбах, становится для народа двойником Крабата, а его друг мельник Кушк двойником другого мельника — того, кто появляется как спутник Крабата то ли в дни сотворения мира, то ли во время Тридцатилетней войны.

Но и маленький Ян, внук Петера, мечтает стать Крабатом, открыть «страну счастья», «страну, где нет страха». И его трудную и высокую судьбу предскажут многие конфликты, возникшие между носителями сказочно-фольклорной линии романа еще в дни сотворения мира. Прежде всего это недоверие к «чуду» — волюнтаристскому насилию над действительностью для осуществления личных, мелких целей. Люцифер, постоянно находящийся в оппозиции к богу и небесному синклиту, подверг резкой критике результаты божественного аукциона. И чтобы несколько умерить нанесенный интересам Крабата ущерб, он украл для него у господа бога одну из волшебных палочек, с помощью которой можно творить чудеса. Однако на деле занятие это становится весьма опасным, ведь палочка — дар Люцифера. Что, казалось бы, может быть невиннее «сотворения брусники», но вместо нее почему-то вырастает белена, вместо вишен — горькая калина. А когда Крабат пытается наколдовать себе помощников для расчистки места под жилье, из-под земли выходят целые роты латников Валленштейна, которые своими бессмысленными действиями превращают всю округу в бесплодную пустыню.

Тема обоюдоострой природы чуда, опасностей, какие таит в себе потенциальная власть над действительностью, со всей силой встанет в «современной истории» романа, в повествовании о судьбе Яна Сербина.

Один из любимых образов Юрия Брезана — он встречается и в его речах, и в книгах (в том числе в романе «Крабат») — голова Медузы на щите Афины Паллады. Власть над жизнью и смертью, отданная в руки мудрости. В романе об этом говорит Ян Сербин, отдавший жизнь ради защиты мудрости.

«Современная история» в книге вполне реалистична и отмечена самым острым и актуальным содержанием. Обратимость плодов научно-технической революции в условиях капиталистического общества, ответственность ученого, возросшая тысячекратно сейчас, когда то или иное открытие, попавшее в руки корыстных и бесчеловечных носителей власти, может стать угрозой для самого существования человечества, разоблачение всех форм насилия и агрессии — вот сущность «современной истории» в романе.

Нет, «формула жизни», которую открыл гениальный биогенетик Ян Сербин, как будто никому не грозит гибелью, а, напротив, сулит благодеяния для земли. С ее помощью, как мы уже говорили, можно «пере-

страивать» человеческую биологию, физиологию, психику, влиять на поведение человека.

Все дело только в том, кто и для чего будет это делать.

«Можно ли с ее помощью излечивать рак?» — спрашивает Яна Сербина Каминг, по прозванию «третий», он же глава — административный и идейный — засекреченного центра биологии, находящегося под эгидой самых черных сил милитаризма и реакции, он же бывший эсэсовец и убийца младшего брата Яна Сербина — двенадцатилетнего Маттиа (о чем Сербин не знает).

«Да»,— отвечает Сербин на его вопрос.

«А восстановить ампутированные конечности?»

«Да».

«А уничтожить наследственные заболевания?»

«Да».

«И ликвидировать дефекты мозга?»

«Да»,— в четвертый раз отвечает Сербин.

И Каминг, уже ранее предложивший Сербину в обмен на его формулу заключить с ним союз «знания и власти», с деланным удивлением спрашивает ученого, почему тот не принимает его предложения.

«Потому,— отвечает ученый,— что с помощью этой формулы можно делать обратное: то есть заражать людей раком, перекраивать мозг, создавать «сверхмозг» вне человеческого тела...»

Каминг содрогнулся.

«Какая жуткая идея,— сказал он.— Кто же способен на такое?»

«Вы, например»,— справедливо подчеркивает ученый.

Об опасности и обратимости всякого волюнтаристского «чуда», переделки мира, в основе которой не лежит уважение к человеку, народу, реальной жизни и действительности, и прежде всего об **активности** самих масс в сотворении «чудес» — вот о чем говорит «современная история» романа.

«Третий» с помощью формулы и ученых своего центра может создать, например, целые армии рабочих или солдат, безмозглых, покорных и притом «счастливых», то есть лишенных малейших внутренних поводов к конфликтам и недовольству.

Взрыв бомбы над Хиросимой побудил Бертольта Брехта дать новый и последний вариант пьесы об отце современной физики, а по существу не только об ответственности ученого, но и о «народности» науки. Пьеса «Жизнь Галилея» говорит не о «вульгарной» опасности научного своекорыстия, а, так сказать, о высокой опасности служения науке для науки, оторванной от подлинных интересов человечества.

Заключительный монолог Галилея обращен не только к его ученику Андреа Сарти — устами отца современной физики говорит с деятелями современной культуры мудрый и проницательный художник Бертольт Брехт.

«Я полагаю,— говорит Галилей,— что единственная цель науки — облегчить трудное человеческое существование. И если ученые, запуганные своекорыстными властителями, будут довольствоваться тем, что накопляют знания ради самих знаний, то наука может стать калекой и ваши новые машины принесут только новые тяготы. Со временем вам, вероятно, удастся открыть все, что может быть открыто, но ваше продвижение в науке будет лишь удалением от человечества. И пропасть между вами и человечеством может оказаться настолько огромной, что в один прекрасный день ваш торжествующий клич о новом открытии будет встречен всеобщим воплем ужаса».

Это мудрое брехтовское исторически точное понимание задач современной науки со всей силой звучит в романе Юрия Брезана.

До того как Ян Сербин вступит в поединок с властью капиталистического мира, сложит голову и победит в этой борьбе, Юрий Брезан расскажет о нем еще многое — о приключениях героя в Стокгольме, на севере Швеции, в Италии. Параллельно, а иногда и «наплывом» читателю откроются и приключения Крабата и Кушка в «безумном, безумном, безумном» мире современного капиталистического государства, чей образ к тому же окрашен в сатирически-сказочные тона.

Пойдет в «современной истории» речь и о родителях Яна — двух старых сорбских крестьянах, доживающих свой век в избушке на холме под липой. Дети — далеко, у сына и у дочерей своя судьба, но они живут в памяти стариков, в рассказах матери. И в этих главах Брезану удалось по-своему, высокопоэтично воплотить бессмертную тему Филемона и Бавкиды.

Но центральной линией «современной истории» остаются судьбы науки и ее носителей в современном капиталистическом обществе.

Проблема «формулы», которую нашел Ян Сербин, уже как бы «висела в воздухе». На пути к ней осуществлял свои работы старший по возрасту, опыту, стажу Линдон Хаулинг — ученый-гуманист, антимилитарист, защитник жизни, прямой, смелый, веселый, даже озорной.

Может быть всего на несколько шагов отстав от Яна Сербина, идет к тому же открытию испанец Лоренцо Цебалло — антагонист Хаулинга, потенциальный и опасный противник Сербина. Фашист, милитарист, опора реакционных сил старого мира? Нет, у Лоренцо Цебалло нет ни политических симпатий, ни убеждений. Для него существует только наука, «наука для науки». Но для того, чтобы беспрепятственно развивать потенциальные возможности своего огромного мозгового аппарата, он пойдет на союз с любой реакционной силой, потому что человек и человечество с его стремлениями, интересами, жизнью — это всего лишь помеха для осуществления сверхчеловеческих потенций оторванной от человечества и человечности науки.

Е. КНИПОВИЧ

«МАЛАЯ» И «БОЛЬШАЯ» РОДИНА ЮРИЯ БРЕЗАНА

Конечно, достижения биологии и генетики, показанные в романе Брезана, в действительности еще не существуют, но **направление** поисков бесспорно, и **опасности,** которые они в себе таят,—реальны. Характерная черта: в решающем разговоре Сербина и Цебалло последний с усмешкой говорит, что его боится даже сам Каминг — «третий», на службе у которого он состоит.

Каминг полагает, что, окружив находящегося за рубежом Яна Сербина «живыми» и механическими шпионами, он обманом завлек его в подземный «научный центр». На деле это не так. Ян Сербин сознательно пошел в ловушку, чтобы вступить в поединок с Лоренцо Цебалло — единственным, кто может рано или поздно пойти по его стопам к финишу.

Так в сказке поступал Крабат, борясь с волком Рейссенбергом. Так в истории поступал весь род Сербиных — род замученных и убитых, но непокоренных защитников народных прав.

И недаром дед Яна, «дружка» Петер Сербин (которого в народе отождествляли с Крабатом), научил внука любви и преклонению перед народным сказочным героем. Ян в детстве мечтал стать Крабатом, и в тяжелый час он становится им. С противником говорит Крабат, и это Крабат ценой жизни отстоит свое право не отдать «формулу» — народное достояние — во власть злу и насилию. И это Крабат своей сказочной властью и силой заклинает и уничтожает «сверхмозг Рейссенберга».

Может быть, перенеся победу «добра» и «правды» в область сказочной символики, Юрий Брезан чуть облегчил себе задачу разрешения конфликта между двумя равными по силе интеллекта и таланта деятелями современной науки.

В заключительных главках романа есть упоминание о том, что Лоренцо Цебалло отказался от поисков «формулы» и ушел из «научного центра» Каминга. Но в этом случае сила заклинания, произнесенного Крабатом—Сербиным, не очень в ладах с реальной действительностью. И вероятно, здесь не хватает какого-то промежуточного звена, которое раскрыло бы более земные причины поражения идеолога «науки для науки», волюнтаристски совершаемых «чудес».

Смысл и «сказочно-легендарной» и «современной» линии романа един. Изменить мир, повесить на древе истории волка Рейссенберга, принимающего все новые обличья, помогут не те или иные «чудеса» науки или техники, а переустройство мира, совершенного усилиями трудового человечества, покончившего с угнетением, войнами, поставившего науку, «чудеса» на службу всеобщему счастью.

◆

ГЕРХАРД ШТЕНГЕЛЬ. ГДР.
Египетский оазис.
Рисунок

Критика

ГЕОРГИЙ
АНДЖАПАРИДЗЕ

УТРАТА И ОБРЕТЕНИЕ ИСТОКОВ

Дэвид Стори и некоторые явления в английском романе о рабочем классе

Писательские судьбы складываются по-разному. Бывает, что первая книга так и остается самой сильной и значительной. Случается и наоборот: путем полууспехов писатель медленно и мучительно годами идет к главной, «большой» книге. У третьего в творческой биографии возникает несколько равновеликих вершин.

Дэвид Стори (род. в 1933) дебютировал на английском литературном поприще столь же стремительно и бурно, сколь и герой его первой книги Артур Мейчин—на спортивной площадке. Роман «Такова спортивная жизнь», увидевший свет в 1960 году, имел шумный и заслуженный успех: был сразу же несколько раз переиздан, в 1962 году экранизирован, переведен на многие иностранные языки, в частности и на русский[1].

В том же 1960 году вышел роман «Бегство в Кэмден». В 1963-м — роман «Рэдклифф». Во второй половине 60-х годов на сценах многих английских театров пошли его первые пьесы.

Словом, Стори, казалось, быстро занял свое место в современной английской прозе и драматургии. Спору нет, его романы и пьесы были профессионально добротны, но все же ни одному произведению до недавно появившегося романа «Сэвилл» (1976) не суждено было достичь уровня самой первой книги — безжалостно правдивого рассказа о жестокой жизни спортсменов. Поскольку Артур Мейчин был рабочим и сыном рабочего, английская критика зачислила Стори в «рабочие романисты».

Конечно, Дэвид Стори не создал ни одного романа, в котором изображался бы собственно производственный процесс или прямое столкновение рабочих с предпринимателями. Но в широком смысле этого термина Стори — именно «рабочий романист». Герои многих его книг — выходцы из рабочего класса, их социальные и духовные связи с отчим домом сложны, иногда трагичны. В целом главную тему произведений Стори можно определить как исследование судьбы человека из народа, получившего образование и оказавшегося в некоем промежуточном положении — оторвавшись от своего класса, человек этот не в силах стать полноправным членом так называемого среднего класса. Утратив чувство принадлежности к определенному социальному слою, он находится в разладе с обществом и самим собой, лишается четких нравственных ориентиров.

Собственно, романы Стори представляют собой разные варианты одной судьбы. Пути, которые выбирают герои, неминуемо ведут к единому результату: добытое ценой лишений и жертв образование не удается по-настоящему применить, работа не приносит удовлетворения, а жизнь в «среднем классе», которая кажется родителям героев идеалом и пределом мечтаний, на самом деле совершенно невыносима, ибо противна самой природе героев Стори. Ча-

[1] Дэвид Стори. Такова спортивная жизнь. М., «Молодая гвардия», 1967.

ще всего они не могут даже понять, почему им так трудно жить «наверху», почему они утрачивают способность работать, любить, дышать... Недаром в книгах Стори столь навязчиво возникает мотив бегства: от семьи, от налаженного быта, от работы, от рутины повседневности. Мотив бегства, по существу, в никуда...

Как и большинство «рабочих романистов», Стори родился в рабочей семье. Его отец был шахтером, они жили на севере страны, в Йоркшире. Сам Дэвид был работником на ферме, кондуктором автобуса, почтальоном, учителем начальной школы. Потом стал профессиональным регбистом, что дало ему возможность заработать деньги, необходимые для обучения в художественном колледже.

И очевидно, не зря Артур Мейчин неоднократно повторяет, что спорт как таковой его не слишком интересует, просто это самый для него надежный способ добывать хорошие деньги. Но очень скоро Мейчин начинает понимать, что и его «спортивная жизнь»—«вонючее болото», как и жизнь прошлая. Свобода и даже материальное благополучие иллюзорны — он всего лишь игрушка таких богатых меценатов, как Уивер и Слоумер, видящих в спорте выгодное помещение капитала. И в спорте правят деньги и власть имущие — горе тому «гладиатору», который не потрафил «патрицию» от спорта.

Зрителям с трибун Артур Мейчин кажется «гориллой», но он способен к рефлексии и обладает достаточно тонкой душой. Вместе с тем он откровенно невежествен, его запросы и интересы крайне ограниченны.

Однако если одаренному рабочему парню удастся получить образование, а потом и «чистую», хорошо оплачиваемую работу, то, может быть, жизнь его кардинально изменится?

Эта проблема станет центральной в романе «Сэвилл». Впервые она затрагивается в «Бегстве в Кэмден», хотя здесь на переднем плане — прежде всего история любви дочери шахтера Маргарет Торп к женатому мужчине. Писателя волнует проблема эмансипации женщины, поиски ею самостоятельности, борьба за право самой решать свою судьбу, исходя из побуждений души, а не из косных псевдовикторианских представлений о том, что «прилично», а что «неприлично». Человек, живущий так, как подсказывает ему сердце, оказывается в своей семье изгоем. Родители, по-своему нежно и преданно любящие дочь, не способны ее понять. Они мучительно переживают ее роман, поскольку для них совершенно неприемлема сама идея развода, разрушения одной семьи даже ради создания другой, даже ради любви.

Не менее напряженным оказывается находящийся на втором плане конфликт между старшим братом Маргарет, Майклом, преподавателем университета, и младшим братом, Алеком, не получившим образования. Майкл на собственном опыте прекрасно понял, что высшее образование, «чистая» работа вовсе не гарантируют спокойную и счастливую жизнь, как склонны считать его отец и брат. Но их спор беспредметен, ибо Майкл понимает, что не способен обрести духовную гармонию, а у отца и Алека его судьба вызывает зависть.

Стори настойчиво ищет объяснения психологическому кризису своего героя — выхода из рабочей среды. Но не находит его ни в «Бегстве в Кэмден», ни в следующем романе — «Пасмор» (1972).

Главный герой этой книги, Колин Пасмор, шахтерский сын, преподаватель истории в университете, отец троих детей и внешне, казалось бы, счастливый семьянин, переживает нервный срыв. Его начинает преследовать ощущение полной бессмысленности происходящего вокруг.

Быть может, острее других персонажей писателя Пасмор осознает свою классовую принадлежность: «Я происхожу из класса, в котором еще столетие назад только один из десяти доживал до тридцати лет». Глубоко символичен сон Пасмора: он принимает участие в соревнованиях по бегу, но все усилия тщетны — его обгоняют даже те, кто не бежит, а идет шагом.

Разочарован и отец, мечтавший, что сын его покорит мир. Обретение «места наверху» обернулось сокрушительным поражением. Пасмор перестал быть цельной, творческой личностью, ибо он не понимает, ради чего живет и трудится. Особую остроту его драме придает то, что родители вовсе не сочувствуют ему, поскольку они не в силах понять, почему вышло не так, как они рассчитывали.

В конце концов все, похоже, налаживается: Пасмор возвращается в семью и к работе. Но по ночам его мучает новый страшный сон: будто он завис в бездонной шахте и не может ни выбраться на поверхность, ни упасть вниз.

В романе «Временная жизнь» (1973) «жертвой» образования оказывается жена главного героя Колина Фристоуна, Ивонна. Она выросла в рабочей семье, отлично училась в школе, закончила университет. Дальнейшая ее судьба повторяет судьбу Пасмора, только итог более плачевен: с тяжелым нервным расстройством попадает она в психиатрическую лечебницу, и уже нет надежды, что когда-нибудь она станет полноценным человеком.

Тот же круг вопросов в центре внимания Стори-драматурга в одной из самых его известных пьес «Семейное торжество» (1969), которую он посвятил своим родителям. Действие происходит в маленьком, небогатом домике шахтерской семьи Шоу. Отпраздновать сорокалетие свадьбы родителей приезжают давно покинувшие отчий кров сыновья.

Наиболее удачно, с обывательской точки зрения, сложилась жизнь среднего сына, Колина: он занимает важный административный пост в фирме, производящей автомобили. Отец и мать, конечно, рады за него, но помощь от Колина принимают очень

неохотно и осторожно. Ирония, а быть может и логика, его судьбы в том, что именно ему, потомку рабочего, обычно поручают вести переговоры с забастовщиками.

Старший брат, Эндрю, получивший юридическое образование, оставил профессию адвоката и стал художником. Однако его картины не пользуются успехом, он бедствует. Не вполне благополучна и жизнь младшего сына — Стивена, который мечтает о литературном труде, но уже несколько лет так и не может написать роман о современной жизни. Примечательно, что замысел книги Стивена найдет свое отражение в романе самого Стори — «Сэвилл».

Эндрю и Стивен Шоу, так же как Майкл Торп и Колин Пасмор, не удовлетворены своей жизнью. Пожалуй, именно Стивен впервые улавливает одну из серьезных причин этой, общей для большинства героев Стори, неудовлетворенности: «Самое смешное в том, что он (отец — *Г. А.*) воспитал нас для лучшей жизни, которую сам в глубине души презирает еще больше, чем Эндрю... Во всяком случае, его работа имеет для него смысл... Тогда как работа, для которой он выучил нас... в лучшем случае времяпрепровождение».

Что ж, как будто напрашивается вывод, странный и парадоксальный: неужели Стори против того, чтобы дети рабочих получали высшее образование? Подобное заключение было бы преждевременно и неверно по сути, в чем убеждает, по-видимому, наиболее важный и значительный, из всего написанного Стори на сегодняшний день, роман «Сэвилл», кстати, удостоенный одной из самых авторитетных английских литературных премий «Букер прайз» за 1976 год.

Большинство тем и вопросов, затронутых в предыдущих романах, находят здесь свое развитие и более точно, социально мотивированно, раскрыты. Очевидно сходство центральной коллизии новой книги Стори и пьесы «Семейное торжество» (шахтерская семья, три сына, ушедшие из дома), есть и более частные параллели. Вспоминают герои и историю с бомбоубежищем, которое в первые дни второй мировой войны строит отец Шоу и которое оказывается бесполезным, поскольку в него просачиваются грунтовые воды. Эпизод с постройкой бомбоубежища из пьесы перенесен в роман.

И английские, и советские критики[1] уже отмечали, что «Сэвилл» по жанру очень близок к традиционному «роману воспитания», ибо в нем запечатлена история социального и духовного становления главного его героя Колина Сэвилла. Но не только его. В нем дана довольно широкая панорама жизни разных слоев английского общества с конца 20-х годов до середины 50-х. Здесь — и родители Сэвилла, и его братья, соседи по поселку, школьные товарищи.

Подробно, со знанием и вкусом писатель воссоздает быт шахтерской семьи, в котором раскрываются характеры людей, их привычки и интересы. Монотонное, почти навязчивое повторение деталей быта не случайно. Оно призвано дать читателю ощущение безнадежной рутины мелочных, повседневных забот — ходить за покупками, печь хлеб, убирать, стирать, недолгий отдых, прогулки и игры. Такая обыденная жизнь...

Тягучий, суховатый, несколько монотонный стиль Стори в «Сэвилле», нарочито замедленное развитие действия, множество на первый взгляд малозначительных эпизодов — все это кажется несколько «старомодным» для литературной техники XX века. Но нервные, динамичные диалоги многих его пьес порой прямо перекликались со стилем «рассерженных» молодых людей, порой — с произведениями абсурдистов. Роман «Рэдклифф», обращенный к судьбе человека с больным сознанием, написан сложным, вычурным языком, с использованием многочисленных психоаналитических символов. Однако после разного рода экспериментов Стори вернулся к манере простого, безыскусного письма, к достоверному изображению жизненной правды, всегда его волновавшей...

Писатель не дает непосредственного изображения в «Сэвилле» трудового процесса. Но несколько скупых фраз об усталости отца после смены, о том, что его глаза всегда «обведены каймой угольной пыли», характеризуют рабочую жизнь ничуть не хуже, чем подробное описание процесса добычи угля.

С высокой степенью достоверности воссоздана в романе атмосфера повседневного существования шахтерского поселка, состоящего из примыкающих стена к стене домишек. Жизнь проходит на виду у соседей — тонкие стены позволяют слышать все, что говорится в доме рядом. Вонь испарений, поднимающихся от канализационных отстойников, рядом с которыми приятели Колина выстроили себе хижину,— мрачный символ жизни в поселке.

Еще будучи мальчишкой, Колин замечает, как у него на глазах стареет отец, словно становится меньше ростом — так выматывает его шахта. Именно эта никогда не отпускающая усталость, вызванная изнурительным трудом, зарплата, которая едва позволяет сводить концы с концами, нежелание такой участи для сына заставляют отца требовать от Колина усидчивости и прилежания в учении.

Колин серьезен и трудолюбив. Ему с раннего детства слишком хорошо знакома «гордая бедность», когда в доме всего четыре стула, и не на что посадить одного гостя, и нет лишнего куска хлеба. В нем зреет желание как можно скорее выбраться из этого унизительного положения, уехать из поселка, где «духовная жизнь» сводится к посещению воскресной школы и прогулкам в парке.

Шагом вперед к освобождению кажется поступление в классическую гимназию в городе. Однако в Школе короля Эдуарда Колину приходится туго — много времени и

[1] См. рецензию И. Левидовой в «ИЛ» № 5, 1978.

сил отнимают уроки, дорога на автобусе, но ужаснее всего отношение учителей, особенно классного наставника Ходжеса, педагога старой имперской выучки, который в первые же дни начинает жестоко и последовательно третировать ученика только потому, что его отец — шахтер.

Ходжес чувствует в десятилетнем мальчике твердость характера, глухой протест против унижений. Он считает необходимым укротить, сломить Колина, ибо лишь таким образом, по его мнению, можно привить рабочему пареньку идеалы Империи.

В борьбе с Ходжесом Колину как будто удалось выстоять. Но у мальчика есть противник более могучий и страшный — рутина. Рутина поселковой жизни сменяется новой рутиной. Не случайно писатель не раз задерживает наше внимание на автобусных поездках Колина, которые служат символом постоянного монотонного движения туда-сюда, без продвижения вперед. За окнами в утренней дымке или в сумеречной мгле мелькает привычный пейзаж индустриального севера: заводские трубы, копры, терриконы...

Постепенно Колин утрачивает связь с поселком, но не укореняется и в городе. Его истинное место — в пути между городом и поселком. Он существует по инерции. Даже каникулы не вносят в его жизнь никакого разнообразия. Все лето он трудится на окрестных фермах, наравне со взрослыми мужчинами убирает хлеб. Здесь он, как всегда,— старательный работник и, как везде, не чувствует себя своим.

Подобное «инерционное» существование у героев Дэвида Стори всегда завершается бунтом. Будет бунтовать, конечно, и Колин. Как часто бывает у Стори, своего рода кульминацией романа станет бегство героя из поселка — от семьи, от возлюбленной, от учеников... В конечном счете от ответственности. Симво́лична связь, постоянно ощущаемая Колином, с умершим в семилетнем возрасте братом Эндрю: тот все время стремился убежать из дому. «Бегство в смерть» одаренного юного художника Эндрю и «бегство в никуда» Колина одинаково трагичны.

Отъезд Колина в Лондон — попытка окончательного разрыва с прошлым. Он бежит, отягощенный грузом разочарований и иллюзий, в надежде, что там, где он никого не знает и, как ему кажется, никому ничем не обязан, обретет наконец желанные свободу и покой. Но его протест в художественном отношении значительно обоснованнее и потому драматичнее бунта персонажей прошлых произведений Стори.

Для правильного понимания причин конфликта Колина с родителями, самим собой и в конечном итоге с обществом в целом очень важны его взаимоотношения с товарищем школьных лет Невиллом Стэффордом и родным братом Стивеном.

С Невиллом, отпрыском одной из самых богатых семей в округе, Колина связывает неожиданная и довольно длительная дружба. Их отношения отчасти напоминают отношения Толсона и Рэдклиффа в романе «Рэдклифф», поскольку Невилл также играет по отношению к Колину роль «злого гения». Но если власть Толсона над Рэдклиффом имеет мистический и патологический характер, то взаимное притяжение Колина и Стэффорда мотивировано социально и психологически.

Кстати, Невилл сам ищет расположения Колина. Все в Колине для него чуждо, удивительно и одновременно привлекательно: редкая в подростке твердость и основательность характера, молчаливое упорство и в учебе, и на спортивной площадке, вопиющая бедность, необходимость работать тогда, когда все другие отдыхают. Колин до поры до времени относится к своему приятелю как к ровне, словно бы не ощущая между ними никакой разницы. Но, когда Стэффорд впервые приезжает в дом Сэвиллов, Колин замечает, как побледнел отец, засуетилась мать, угощая его и явно смущаясь скудостью обстановки и стола.

Есть еще одна причина, заставляющая Стэффорда искать дружбы Колина. Материальное благополучие не спасает Невилла от одиночества. В его большой и безалаберной семье до младшего сына никому нет дела: у братьев свои занятия и интересы, мать проводит дни со своими светскими приятельницами, отец—в обществе... гусей и кабана. Но у Стори нет сомнений в том, что Колину Сэвиллу никогда и ни в чем не соперничать с Невиллом Стэффордом. Колин проигрывает первый же серьезный бой: Невилл легко, будто шутя, отбивает у него девушку Маргарет, на которой тот собирался жениться.

Колина Сэвилла, как и героев прошлых книг Стори—«Пасмора» и «Временной жизни», привлекают женщины, стоящие на несколько ступенек выше по социальной лестнице. Но эти связи никогда не кончаются удачно, и потому «путь наверх», которым в свое время воспользовался Джо Лэмптон из известного романа Джона Брейна, для них недоступен.

Неопределенность социальной перспективы Колина особенно ясна в сопоставлении с ближайшим будущим Невилла Стэффорда и Стивена Сэвилла. В том, как складываются их судьбы, есть некая предначертанность. Стэффорду, не слишком способному и прилежному ученику, не надо беспокоиться. Деньги родителей обеспечивают ему необходимое для благополучной карьеры образование Столь же предначертана судьба Стивена, но ему в силу происхождения уготован иной путь — шахта или в лучшем случае профессиональное регби. В этом и кроется ответ на вопрос Стэффорда: «А что, собственно, изменяют деньги?»

По мере развития действия драматизм конфликта нарастает.

Высокую и страшную цену заплатил Колин Сэвилл за свое образование: его, как потенциально пригодную заготовку, пропустили сквозь великолепно отрегулированный механизм буржуазной учебной системы. Герой сам заметил происшедшее с ним превращение: «Берут лучшее в нас и превращают во что-то совсем другое». Теперь уже ни занятия поэзией, ни даже несколько

поощряющих фраз по поводу его стихов в лондонской газете, ни преподавание не приносят, да и не могут принести ему удовлетворения.

В школе, где учатся дети рабочих, среди учителей господствуют настроения, в которых слышатся отголоски технократических идей об отмирании пролетариата в недалеком будущем. А пока рабочий класс «временно существует», учителя должны его «отвлекать» и не развивать никаких способностей. Еще более откровенно выражено это в позиции директора школы Коркорана: «От тебя одно требуется: научить их прочитать квитанцию, сосчитать недельную зарплату и написать заявление о приеме на работу». Коркоран боится, что ученики «станут до того утонченными, что вообще откажутся идти в шахту». Колину отвратительно участие в этом воспитании послушной «рабочей скотины». Его столкновение с Коркораном, быть может, последняя отчаянная попытка отстоять право учить прекрасному таких же рабочих пареньков, каким был когда-то он сам. Вглядываясь в заинтересованные лица, он видит в них товарищей своих детских игр и искренне готов помочь им. В то же время он мучительно пытается забыть собственное прошлое, раз и навсегда вычеркнуть из памяти угрюмый поселок. Но видения прошлого продолжают преследовать его. И становится понятно, что ответ Колина на вопрос Маргарет: «Разве ты не чувствуешь никакой ответственности перед своим классом?» — «Ни малейшей»,— всего лишь поза, очередное свидетельство его раздвоенности, разлада с самим собой.

Самое точное определение Колину дает его новая возлюбленная Элизабет: «В сущности, ты никуда не относишься. Ты не настоящий учитель. Ты, в сущности, ничто. Ты не принадлежишь ни к какому классу, так как живешь среди членов одного класса, реагируешь на жизнь как представитель другого и не чувствуешь симпатий ни к одному». Быть может, Элизабет несколько сгустила краски, ибо симпатии Колина, конечно же, не на стороне Стэффорда или Коркорана; но от искреннего сочувствия до поступка расстояние немалое. Тем более, что Колин все время это сочувствие старается в себе приглушить. И не зря честный и прямой Стивен бросает брату: «А ты лицемер. Предатель и лицемер».

Трагедия Колина Сэвилла — в утрате собственного лица. Такие, как Колин Пасмор и Колин Сэвилл, словно висят в бездонной шахте, и нет им пути наверх, как нет и пути вниз. Они потеряли себя, конечно, не потому, что получили образование, а потому, что не сумели применить его так, чтобы принести действенную пользу тем, кто остался стоять на низших ступенях социальной лестницы. Отталкиваясь в силу индивидуализма натуры от своего класса, Колин чисто формально, механически присоединяется к среднему классу, более всего заботясь о том, чтобы отстоять свое «я». Но именно это ему и не удается.

Острота социальной проблематики романа далеко не исчерпывается образом главного героя. К исходу своих дней начинает глубоко осознавать безысходность окружающей его жизни отец — «прямо проклятие на нас лежит». Не утратил чувства классовой принадлежности Стивен, ставший профессиональным регбистом. И как тут не вспомнить одного из самых привлекательных персонажей романа — деда Сэвилла, возмущающегося тем, что его, рабочего-социалиста, хотели заставить стрелять в русских рабочих, поднявшихся на революционную борьбу.

Последний роман Стори является еще одним серьезным свидетельством все возрастающего внимания английских писателей к значительной социальной проблематике. Думается — хотя сегодня и несколько преждевременно говорить о «новой волне» рабочего романа, сходной с той, что поднялась в английской литературе во второй половине 50-х годов,— в целой группе произведений, увидевших свет во второй половине 70-х годов, предстают перед нами разные «варианты судьбы» рабочего человека.

Характерно, что только в 1977 году три начинающих писателя выпустили романы, посвященные разным аспектам жизни английского рабочего класса в 30-е годы: Д. Тулмин — «Унесенное семя», А. Родс — «Крики на ветру» и Д. Эллиот — «Любящий взгляд».

Прямым подтверждением отмеченной тенденции может служить писательская биография Мелвина Брэгга (род. в 1939) — одного из самых популярных современных прозаиков Англии. Широкая известность этого сравнительно молодого писателя объясняется в немалой степени тем, что он довольно давно ведет еженедельные двухчасовые литературные программы по телевидению.

Из увидевших свет девяти книг Брэгга восемь повествуют о сельской жизни в Камберленде — графстве, расположенном на северо-западе Англии, в Озерном крае. Эта холмистая земля — вересковые пустоши с поросшими мхом валунами, древними как мир,— овеяна преданиями и легендами о призраках и вампирах, о давних битвах саксов с захватчиками-норманнами.

Тихая, спокойная красота сельской Англии, просторы полей и лугов, неказистые деревенские трактиры и многолюдные праздничные ярмарки в маленьких городках, петушиные бои и охота с гончими, размеренный уклад сельского быта — все это присутствует в книгах Брэгга и отчасти напоминает английский классический роман XIX века. Однако его книги, посвященные истории родного края, лишены налета идеализации патриархальной старины. У героев Брэгга, сельскохозяйственных рабочих, горестей и бед много больше, нежели радостей и удач. Именно эти люди, труженики, привыкшие работать в поле от зари до зари, и олицетворяют для автора высокий нравственный идеал.

Стремление рассказать правду о людях

ГЕОРГИЙ АНДЖАПАРИДЗЕ

УТРАТА И ОБРЕТЕНИЕ ИСТОКОВ

труда, которых до сего дня в Англии считают «второсортными», побуждает взяться за перо Дугласа Таллентайра — одного из центральных персонажей романа Брэгга «В Англии» [1]: он ставит своей целью «охватить жизнь трех поколений, в ней будет семья, похожая на его собственную. Читая, он все больше убеждался, что людей из его среды всегда изображают то шутами, то уголовниками, то чудаками, и это возмущало его до глубины души. Простой человек на экранах кино, телевидения, по радио—грубый, неотесанный малый, не обладающий ни тонкостью чувств, ни глубиной ума; женщины, такие, как мать, убирающие чужие квартиры,— всегда комические персонажи, у которых коротенькие, плоские мысли и под стать им язык. Он еще и поэтому хочет писать роман, восстановить справедливость». В этом и видит свой долг Дуглас Таллентайр, не утративший связи со своим народом.

Но Брэггу известен иной вариант судьбы. Очень напоминает Колина Сэвилла один из героев его романа «Осенние маневры» (1978), внук камберлендского шахтера Гарет Джонстон — преуспевающий радиожурналист. Утрата необходимого человеку чувства принадлежности к своему классу, своего места в жизни, знания, «откуда ты», помноженного на резкое неприятие современной буржуазной действительности, приводит Гарета в ряды левых экстремистов и впоследствии — к полному духовному и социальному краху.

Своеобразно решается тема «пути наверх» в первом романе молодого писателя Тома Уэйкфилда «Трикси Трэш, звезда восходящая» (1977). Это современный плутовской роман о девочке из шахтерского городка, ставшей кинозвездой. Мир телевидения, кино и поп-музыки изображен автором как мир фарсовый, гротескный и жестокий. Но у героини — природная сметка и сильный характер. Ради успеха она вовсе не намерена жертвовать усвоенными с детства принципами — честностью, порядочностью, трудолюбием.

Действие нового романа старейшей валлийской писательницы Кейт Робертс «В цепях» (1977) начинается в 1936 году и завершается в послевоенный период. Его герои — рабочие сланцевых рудников. В центре книги — фигура Оуэна, выходца из рабочей семьи, сумевшего получить хорошее образование. Именно образование позволяет Оуэну почувствовать себя ответственным за судьбы рабочих, вступить в открытую борьбу с хозяином.

Многие английские писатели обращаются сегодня к истории рабочего движения. Классовые битвы прошлого помогают им найти точку опоры в сложном, мятущемся мире наших дней. И во многих произведениях обозначены нравственные и социальные истоки идеалов и целей пролетариата. Для трудового человека совесть, высокое чувство собственного достоинства — непреходящие, вечные ценности, совладать с которыми не под силу манящим кажущимся изобилием витринам.

Верен рабочей теме Александр Корделл, создавший своеобразную сагу о жизни валлийских шахтеров и их борьбе. В 1977 году увидел свет его роман «Эта сладкая и горькая земля», повествующий о нелегкой доле тех, кто трудился в угольных шахтах и на сланцевых разработках в первое десятилетие XX века.

Не может не привлечь внимание тот факт, что в своем первом романе «Темное утро» (1975) безусловно одаренный прозаик Гордон Паркер (род. в 1940) обращается к жизни шахтерских поселков в середине XIX века. Герой его следующего романа, «Молния в мае» (1976), молодой врач Джон Кингхорн, гордится тем, что сам выбирает свою судьбу: он оказывается в тюрьме рядом с рабочими, которые принимали активное участие во всеобщей стачке 1926 года.

В 1976 году Мелвин Брэгг выпустил объемистый том «От лица Англии», в котором решил воссоздать историю своего родного городка Уайтон в Камберленде, охватывающую период с 1900 по 1975 год. Книга состоит из записанных автором рассказов жителей этого города, людей разных поколений и профессий, разных взглядов и ориентаций, разного имущественного и общественного положения. Все они органично объединены авторским комментарием и создают исторический и социальный портрет небольшого провинциального городка, в котором просматривается история всей страны. И вновь приходят на память вопросы, терзавшие Дугласа Таллентайра: «Можно ли сделать, чтобы история семьи отражала историю страны?», «Может ли тема труда проходить сквозь всю книгу, подобно любовной интриге?»

Может, отвечает на эти вопросы творческая практика Мелвина Брэгга, Александра Корделла, Гордона Паркера. Тема труда, ставшего обузой, не приносящего удовлетворения, явилась одной из главных тем «Сэвилла». Писатель сумел безжалостно и в высшей степени правдиво поведать о судьбах людей из народа, которым образование не принесло да и не могло принести счастья и духовной гармонии. Даже материальное благополучие, достигнутое некоторыми из них, не заслонило от острого писательского глаза социальную и психологическую трагедию существования таких, как Колин Сэвилл. Психологическую потому, что неотступное чувство неуверенности и одиночества постепенно подтачивает, разрушает изнутри человеческую личность; социальную потому, что именно из таких неуверенных ни в себе самом, ни в чем-либо, утративших общественные и нравственные ориентиры нередко рекрутируют своих сторонников как левые экстремисты, так и различные группировки правого толка.

Как сложится в будущем судьба Колина Сэвилла, сказать трудно. Найдет ли он свою жизненную стезю или же смирится с тем, что «никуда не относится»?

[1] М. Брэгг. В Англии. М., «Молодая гвардия», 1976, стр. 347.

Трибуна переводчика

ТВОРЧЕСТВО — ТРУДНОЕ, ОТВЕТСТВЕННОЕ, НЕОБХОДИМОЕ

В конце прошлого года за очередным «круглым столом» журнала «Иностранная литература» встретились советские и зарубежные переводчики и теоретики перевода, принимавшие участие в работе международного симпозиума «Новые достижения в области теории перевода», который проходил в Москве и Ереване по инициативе Совета по художественному переводу при Союзе писателей СССР.

Как отмечала «Литературная газета», публикуя отчет о симпозиуме, особый авторитет этому важному культурному событию придало участие представителей руководства Международной федерации переводчиков (ФИТ), в частности, ее президента, известного французского общественного деятеля Пьера-Франсуа Кайе.

Мы публикуем материалы состоявшейся в нашем журнале беседы. Среди зарубежных участников встречи — Анна Лилова (Болгария), Эвальд Озерс (Англия), Дёрдь Радо (Венгрия), Зигмунд Стоберский (Польша), Акира Такаяма (Япония), Клара Уинстон и Ричард Уинстон (США), Рене Хезерин (Бельгия).

К. Чугунов. Одной из главных фигур нашего журнала — это я могу сказать без преувеличения — является переводчик. На протяжении всех двадцати четырех лет существования журнала «Иностранная литература» переводчики оказывали и оказывают нам неоценимую помощь.

К сожалению, не всю литературу мы переводили достаточно хорошо. Не везло нам долгое время с переводами литератур народов Востока и Африки. Мастера художественного перевода неохотно брались за произведения азиатских и африканских писателей, вследствие чего издательства и журналы нередко вынуждены были пользоваться услугами непрофессионалов. Это не могло не дискредитировать в какой-то степени литературы стран Востока и Африки в глазах советских читателей. С точки зрения качества переводы восточной литературы (исключая, пожалуй, китайскую, японскую и отчасти турецкую), особенно прозы, уступали переводам европейской и американской литературы. Лишь после того, как за дело взялись настоящие мастера (это произошло в шестидесятые годы), читатели сумели по достоинству оценить и эту литературу.

По мере возможности мы всегда старались уделять на своих страницах внимание проблемам перевода. Мне особенно запомнилась статья присутствующего здесь Льва Эйдлина об Анне Ахматовой, которую мы напечатали несколько лет назад. Благодаря его статье мы смогли по достоинству оценить заслуги этой выдающейся поэтессы как переводчицы корейской и китайской поэзии. Не очень давно, откликаясь на просьбу читателей, журнал ввел новую рубрику «Трибуна переводчика». Под этой рубрикой печатаются статьи видных советских и зарубежных мастеров художествен-

В редакции «Иностранной литературы». Беседа за «круглым столом».

ного перевода о своей профессии. Так, в одиннадцатом номере журнала за прошлый год мы опубликовали статью известного португальского переводчика Мануэля де Сеабры. В этой небольшой работе поднято сразу немало важных проблем как социального, так и профессионального характера. Автор приводит курьезные примеры из практики перевода, которые объясняются тем, как он пишет, что переводчик (как, впрочем, и писатель), будучи поставлен в весьма невыгодное материальное положение, в погоне за заработком становится не художником, а ремесленником,— это приводит к тому, что португальские читатели, коих не так уж много (процент грамотности в этой стране не очень высок), получают искаженное представление о европейской и о русской классической литературе.

Мы надеемся, что сегодняшний разговор будет интересен и послужит материалом для публикации, которая, я уверен, заинтересует наших читателей.

И. Зорина. Вспоминается вступительное слово Миколы Бажана на открытии творческой дискуссии в Союзе писателей, который высказал мысль о том, что современный человек не может развиваться только в своем мире, отграниченном от остального человечества; или выступление Пьера-Франсуа Кайе, который подчеркнул всемирное значение перевода; выступления многих других участников дискуссии — они говорили о великой миссии переводчиков в наши дни...

В сущности, речь шла об одном и том же: интеллект XX века не может быть заключен в сугубо национальные границы, в неизмеримо большей степени, чем когда-либо прежде, он включает в себя необходимость познания богатств мировой культуры; это служит сближению народов, их лучшему взаимопониманию.

Все это, казалось бы, известные истины. Однако, прозвучав с высокой трибуны международного симпозиума переводчиков, они не могли не взволновать присутствующих, в частности нас, работников журнала «Иностранная литература», который призван обогащать читателя художественными достижениями современного мира, утверждать дух общения между людьми.

Так что же такое перевод и каковы качества человека, который является переводчиком? Что дает этому человеку, гражданину одной страны, возможность прокладывать мост между странами и народами — если прибегнуть к сравнению, ставшему едва ли не традиционным? Какова практика перевода в той или иной стране? В чем секреты мастерства? Хочется думать, что эти и другие вопросы, касающиеся труда переводчика, мы сможем затронуть сегодня в нашей беседе.

П.-Ф. Кайе. Что бы мне хотелось сказать? Прежде всего разрешите поблагодарить всех вас за сегодняшнюю встречу...

Перевод всегда служил общению культур. Вот, скажем, сейчас мы пьем чай. Как

вы знаете, само слово «чай» — китайское слово. Позднее оно вошло и в русский язык и во французский. Для того чтобы продавать и покупать чай, нужны были люди, знающие языки, переводчики. Эти переводчики увозили его с собой, но увозили они не только чай, но еще и книги, которые потом переводили у себя дома.

В этой связи мне хочется напомнить и о том, например, каким потрясающим открытием для французов в конце прошлого века было знакомство с великими русскими писателями: Толстым, Достоевским, Тургеневым, Гоголем, Лермонтовым и, разумеется, Пушкиным; и подчеркнуть, что они оказали огромное влияние на нашу литературу. Они обогатили наше представление о жизни и о человеке. Князь Андрей и княжна Марья, князь Мышкин и Акакий Акакиевич стали нам близки наравне с Жюльеном Сорелем, отцом Горио, Эммой Бовари и незабываемыми шекспировскими героями. И все это благодаря переводчикам. Так было во времена распространения книг Александрийской библиотеки, во времена Толедской школы, когда Аверроес (Ибн Рушд) переводил Аристотеля, в эпоху Возрождения и в эпоху Просвещения, когда создавались предпосылки такого события, как французская революция. А как необходимы переводчики в наш перегруженный информацией век! Особенно они нужны в развивающихся странах, где чрезвычайно остра потребность в обмене культурными достижениями — во всех его аспектах.

В бурном кипении идей, в столкновении разного рода направлений, взглядов переводчику принадлежит важнейшая роль — роль интерпретатора, толкователя, связного.

Наше будущее, наше бытие тоже в известном смысле слова находится у нас в руках — в руках переводчиков, которые призваны проникать в самые недра чужой мысли, чтобы сближать людей, разделенных пространством и временем, а нередко и идеологическими преградами. Как говорил венгерский романист Тибор Дери, писатель, позволю себе прибавить — переводчик, выполняет свою задачу лишь в той мере, в какой сквозь собственный внутренний хаос звуков слышит голоса вселенной.

Мне кажется, что для того, чтобы переводить, надо самому быть писателем. Я не говорю — творцом, потому что многие переводчики пытались сами писать и не всегда им это удавалось. И художественный перевод становился для таких людей своего рода прибежищем, возможностью проявить себя — ведь переводчику всегда присуща тяга, вкус к писанию. А что такое вкус к писанию? Это — ощущение точности слова, ощущение ритма фразы, стремление выразить ее изящество, и все это в сочетании с чрезвычайно широким диапазоном литературных возможностей. Тогда появляется то, что я назвал бы супружеством между автором и переводчиком.

Я полагаю, что все можно перевести, но не все можно перевести хорошо, потому что для того, чтобы понять писателя до конца, чтобы состоялось «супружество», о котором я говорю, надо проникнуть в самые тончайшие нюансы психологии творчества писателя.

Если вы не обладаете этими качествами, вы не сможете «передать» произведение, как бы ни старались, ведь оно не совпадает с вашим талантом, не может стать частицей вашей души.

Есть в переводе момент, я бы назвал его трагическим. Это момент мимикрии. Без подчинения переводчика тексту перевод получиться не может. Переводчик вынужден подражать, следовать тексту. Даже обладая необходимыми качествами, чтобы сделать хороший перевод, нужно, как любят говорить у нас во Франции, влезть в шкуру другого. А это не всегда легко.

По этому поводу в истории перевода существует немало разного рода случаев, порой даже курьезных. Скажем, в девятнадцатом веке появилась книга, которая была широко известна,—«Ночь и юнга». Мне довелось читать перевод, сделанный в то время. И, к своему великому изумлению, я увидел примечание переводчика: «Все то, что, как нам кажется, не укладывалось во французский язык, мы исключили или перевели в конце текста...» Здесь не было никакой мимикрии, не было никакого подчинения перевода тексту. Здесь было возмутительное «взламывание» текста.

Поделюсь с вами сокровенным. Когда я достигну преклонного возраста, хочу написать работу о психологии творчества переводчика. Боюсь, правда, что никогда ее не напишу. Но мне кажется очень интересным анализ созидательного акта переводчика, проникновение в сферу сознательных и бессознательных творческих импульсов.

С. Баруздин. Я могу лишь присоединиться к Константину Алексеевичу Чугунову: в журнале, который я представляю, «Дружба народов», фигура переводчика — тоже самая главная. Однако наша сложность, в отличие от «Иностранной литературы», состоит в том, что опыт взаимных переводов литератур народов СССР имеет у нас в стране, естественно, меньшие традиции, чем переводы зарубежной литературы. Я хочу отметить, что и до революции литература в России существовала более чем на двадцати языках. Но вот уже в 1934 году, когда состоялся первый съезд советских писателей, литература у нас издавалась на сорока двух языках. Сегодня она издается уже на семидесяти семи языках. Конечно, за этот короткий срок опыт перевода такого количества литератур — к тому же в пределах одной страны — мог накопиться не столь уж большой. Кроме того, надо иметь в виду, что переводы должны быть взаимными, то есть важно не только перевести на русский язык все лучшее, что создается в этих литературах, но жизнь требует, чтобы и на семидесяти семи язы-

ках было все, что существует лучшего в мировой литературе, и в частности в литературе русской. И когда мы слушали на симпозиуме нашего монгольского друга Шугэра, мы должны были не без оговорок воспринять некоторые положения его выступления. Шугэр, например, сказал, что монгольские писатели знакомятся по большей части с мировой литературой по переводам, сделанным с русского языка. С одной стороны, это прекрасно, но с другой — это, по-моему, ужасно: как бы ни был хорош мой родной язык, я не считаю, что всю мировую классику целый народ может познавать только в переводе с русского.

Я говорю об этом еще и потому, что на каком-то этапе и мы испытывали подобные трудности: мировая классика переводилась на языки малых народов нашей страны не с подлинника, а с русского языка. Так было, в частности, с переводами английской, французской и испанской литературы.

Решать все эти проблемы нам было непросто; они существуют еще и сегодня, и мимо них, видимо, нельзя проходить.

Есть и другая сторона вопроса. Мне кажется, что размах переводческого дела в нашей стране вступает в противоречие с уровнем и качеством самих переводов. В нашем журнале мы это особенно остро чувствуем. Увы, нередко нам приходится печатать талантливые произведения в весьма средних переводах. Однако в последнее время мы все чаще прибегаем к новому методу работы: перевод делается, как правило, в тесном контакте с самим автором. Сегодня практически человек любой национальности, живущий в нашей стране, хорошо знает русский, он становится для него как бы вторым родным языком. Поэтому при всем несовершенстве подстрочника, по которому часто осуществляется перевод, общение переводчика с самим автором помогает «вытянуть» из автора все, что нужно, все неясное в подстрочнике, все детали, все тонкости его произведения для того, чтобы наиболее точно передать на другом языке своеобразие оригинала.

Таковы некоторые проблемы, что встают перед нами в процессе работы.

А. Лилова. Мне хотелось бы тоже вслед за господином Пьером-Франсуа Кайе высказать свои соображения по поводу роли перевода в процессе общения культур. Литература, которая замыкается в себе, не может нормально развиваться. Один из главных уроков истории состоит в том, что любая национальная ограниченность противопоказана полноценному культурному развитию народов в такой же степени, в какой противопоказано пренебрежение национальной самобытностью и традицией.

Какова практика перевода в Болгарии? Вот некоторые данные: только в 1977 году в нашей стране вышло более 500 переводных книг. Одна только библиотека «Советские поэты» представила читателю свыше 140 авторов — факт, насколько мне известно, не имеющий равных себе ни в одном издательстве социалистических стран.

И это не случайно, это — результат культурной политики, покоящейся на нашей давней традиции. Начало традиции положила переводческая деятельность братьев Кирилла и Мефодия. Кроме того, надо иметь в виду, что в роли переводчиков всегда выступали самые крупные болгарские писатели и поэты. С творчеством Пушкина, Лермонтова, Толстого, Достоевского, Гоголя мы познакомились еще в период освобождения Болгарии от османского ига. Немецкие баллады переводил П. Р. Славейков; Н. Райнов — сказки других народов; европейскую литературную классику мы узнали благодаря Ивану Вазову, К. Величкову, Г. Михайлову, Н. Лилиеву; переводческий талант Гео Милева достиг своей вершины в 20-е годы — он перевел многие советские книги; Хр. Смирненский, Хр. Радевский, Л. Стоянов, Мл. Исаев, Ламар, А. Тодоров и другие писатели переводили советскую поэзию. Смысл и цель перевода — в о б щ е н и и. Общении людей и народов, разных культур, обмене творческим опытом.

Напомню слова нашего бессмертного Георгия Димитрова, который любил говорить, что в области культуры нет маленьких и больших народов. И это верно, это подтверждено историей. Есть писатели и произведения, которые своевременно надо заметить, оценить... и перевести. Ответственность переводчика перед культурой поэтому особенно велика.

Определение перевода как творческого процесса — сложная, неоднозначная задача. Конечно, сильнее всего творческая природа переводческого труда выражена в художественном переводе. Речь идет не только о языковом творчестве, но и об образном, художественно-эстетическом овладении материалом. Вообще, если подвести итог, то для того, чтобы быть хорошим переводчиком, нужно желание, квалификация, труд и... талант. Лучший переводчик — это талантливый переводчик. Перевод — это творчество, трудное, ответственное, необходимое.

Э. Озерс. У англичан есть пословица «Live dangerously» — «Живи с риском». Вот я, согласно этой пословице, хотел бы рискнуть и говорить по-русски.

Главным образом я занимаюсь переводами с немецкого и чешского. Хорошо помню время, когда у нас в Англии имена Гёльдерлина, Гейне, Гёте были почти не известны. Благодаря усилиям моих коллег творчество великих немцев стало доступно нашему читателю. До войны у нас были изданы «Похождения бравого солдата Швейка» да маленькая поэтическая антология — так вот была представлена тогда чешская и словацкая литература. Сегодня картина, разумеется, иная. Что касается меня, то я перевел несколько произведений чешских авторов. Но, конечно, надо еще многое сделать, чтобы литература не очень распространенных в Западной Европе языков — к примеру чешского, русского, болгарского — вошла в фонд духовного богат-

ства англичан. Это — моральная обязанность переводчика.

Кроме проблем общего характера возникают, естественно, частные, конкретные проблемы. К примеру, как переводить русские или чешские стихи на английский, если учесть, что английская и американская поэзия еще в начале XX века отказалась от малых метрических и ритмических структур. Рифма весьма существенна для русского языка, в котором разнообразие гласных окончаний предполагает богатое созвучие открытых слогов. Как переводить Пастернака и Ахматову, как сохранить их отличие от поэзии Маяковского? Или отличие лирического станса Пушкина от свободного стиха Евтушенко?

Мы идем на компромисс, используем «полурифмы», вместо «а — б — а — б» — «х — в — у — в», что меньше режет слух английскому читателю. Приведу пример из поэмы Александра Блока «Ты помнишь? В нашей бухте сонной...»:

Ты помнишь? В нашей бухте сонной
Спала зеленая вода,
Когда кильватерной колонной
Вошли военные суда.

Джон Столворти и Питер Франс перевели так:

Do you remember — the green water
Sleeping in the arms of our bay
And how, in line ahead, the warships
Sailed in from the sea that day?

Конечно, здесь нет и не может быть универсального рецепта. Освоив общую тактику, любой переводчик тем не менее всякий раз полагается на свою интуицию.

Р. Уинстон. Слушая господина Озерса, я думал о том, что и американцы впервые познакомились, скажем, с чешской поэзией лишь в 1938 году — по «Антологии чешской поэзии». Ее перевели с немецкого, потому что не оказалось ни одного человека, профессионально владеющего чешским!

Что касается мысли господина Баруздина, говорившего о содружестве переводчика и автора, о той пользе которую приносит эта дружба переводчику с языка малого народа, то я позволю себе с этой мыслью не согласиться. Исходя из собственного опыта, могу сказать, что, если писатель знает тот язык, на который его переводят, он вряд ли может оказать помощь, скорее вредит, вмешиваясь в работу переводчика.

К. Уинстон. Может быть, в вашей стране взаимоотношения между автором и переводчиком более идеальные, чем в нашей. Когда, к примеру, переводишь на французский и показываешь работу писателю, прекрасно владеющему французским, получается... катастрофа.

Р. Уинстон. То же самое и в переводах на английский. Прекрасный писатель, автор талантливого произведения, тонкий стилист, знающий английский, в таком содружестве превращается в сущего маньяка. Он полностью теряет чувство стиля, начинает настаивать на буквальном переводе. Он превращается в маньяка, даже если сам занимается переводом. Я не осмеливаюсь называть конкретные имена. Ведь наша сегодняшняя беседа будет опубликована. Но если кому-нибудь в частном разговоре захочется их узнать, я готов прошептать ему на ухо.

Т. Кудрявцева. Здесь правильно говорилось о сложностях, возникающих в том случае, когда автор знает язык, на который переводят его произведение. Никогда не забуду, как мы сражались с покойной Эльзой Триоле, решившей перевести на русский язык роман Луи Арагона «Богатые кварталы». Она настаивала на том, чтобы каждое слово Арагона было непременно воспроизведено на русском языке, а получался подстрочный перевод.

С аналогичным случаем столкнулась я недавно в разговоре с болгарской поэтессой Дорой Габе. Я читала ее стихи в русском переводе и выразила ей свое восхищение. «Что вы,— сказала Дора Габе,— ваши русские поэты плохо меня переводят». Ее претензии к переводчику тоже сводились к передаче слов, а не к передаче образного строя и музыки стиха.

В этой связи возникает еще один вопрос, с которым мне приходится сталкиваться и в моей переводческой и редакторской практике. Как известно, советская школа перевода и практика перевода, существующая на Западе, отличаются друг от друга. У нас художественную литературу переводят профессионалы, писатели-переводчики. На Западе же этим часто занимаются люди, просто знающие, скажем, русский язык. Поэтому нередко переводы там буквальны, подстрочны. Эта практика сказывается иной раз и на оценке того, что делается нашими переводчиками.

После того как мы подписали конвенцию об авторском праве, некоторые западные издатели, печатающие крупных писателей, получив от нас перевод того или иного произведения, отдают его на сверку у себя в стране, а потом присылают нам отзыв, что перевод-де сделан с отступлениями от оригинала, не точно. Да, с буквалистской точки зрения сверщик бывает прав. Но дело в том, что буквалистский подход к тексту не свойствен советской школе перевода. Мы стремимся своими переводами создать художественное произведение на русском языке, адекватное оригиналу не только по стилю, но и по ритму, по музыкальному звучанию фразы. И действительно, в тех случаях, когда образ, использованный иностранным писателем, не укладывается в стилистику русского языка, выглядит дико, «торчит», приходится искать эквивалент в русском языке, сознательно идти на то, что буквалист назвал бы отступлением.

Вопрос об адекватности перевода — во-

прос большой и серьезный, который еще долго будет обсуждаться на встречах переводчиков. К сожалению, критика во всех странах, в том числе и у нас, уделяет этой проблеме очень мало внимания: давая оценку той или иной книге, о переводе редко говорят.

Другая проблема, с которой сталкивается переводчик,— это проблема передачи изменений, происходящих в языке. Случается, что произведение, сугубо современное по языку, человек, находящийся вне языковой среды, склонен переводить, скажем, используя словарь начала века. Если, например, в романе Джона Апдайка тридцатилетняя героиня говорит: «Неу! Ні!» — и автор подчеркивает, что его героям свойственны «хипповые» выражения, то это никак нельзя переводить: «Здравствуйте! Послушайте», а надо искать смысловые, интонационные эквиваленты в языке нашей молодежи.

При том, насколько расширяются сейчас связи между странами и народами, будут расширяться и связи между культурами, и, будем надеяться, это приведет и к увеличению количества переводных изданий. Поэтому творческие встречи между переводчиками, обсуждение возникающих в связи с переводом проблем не только желательны, но и необходимы.

Р. Уинстон. Думается, переводчику надо бывать в той стране, с языка которой он переводит.

Р. Хезерин. Я хотел бы продолжить разговор о проблемах так называемых малых наций. На голландском языке, например, говорит небольшое количество фламандцев и небольшое количество голландцев. Наша задача — осуществление переводов классической нидерландской литературы на итальянский, русский и другие языки. Наиболее часто переводы с голландского осуществляются через посредство других языков, особенно немецкого.

Хотелось бы, чтобы как можно больше появлялось переводов произведений нашей литературы на русский язык. В Антверпенском университете есть отделение, где готовятся специалисты по славянским языкам, и мы стремимся обеспечить необходимое количество переводчиков с голландского на русский, и я надеюсь, что в Советском Союзе также будут воспитывать переводчиков с голландского на русский. Быть может, в недалеком будущем ваши и наши переводчики начнут работать вместе, что, конечно же, расширит круг переводимых произведений и поможет нашим народам лучше узнать друг друга.

Л. Мкртчян. Константин Чугунов упомянул о переводах Анны Ахматовой, в частности о ее переводах с китайского. Мне вспомнился в этой связи один интересный эпизод. Когда с китайского стали переводить синологи (Ахматова, как известно, китайским не владела), оказалось, что в их переводах заметно влияние... Анны Ахматовой. И конечно же, как говорил здесь господин Кайе, переводчик должен быть писателем, больше того, он должен быть яркой индивидуальностью в своей собственной литературе. При этом не обязательно, чтобы переводчик сам писал. Мы не знаем стихов Вильгельма Левика, не знаем прозы Николая Любимова, но по их переводам мы судим об их незаурядном писательском таланте. А как чисто и ясно (это сложная ясность и чистота) переводит китайскую классику Лев Эйдлин!

Мне близка и понятна мысль г-на Уинстона о том, что если автор оригинала знает язык перевода, то книгу такого автора трудно переводить, трудно с автором найти общий язык — он может потребовать буквалистских решений. Поэтому лучше, чтобы автор не знал языка перевода или же знал его в совершенстве. Когда однажды Александру Твардовскому принесли его поэму «Василий Теркин» на армянском языке, он сказал, как хорошо, что он не владеет армянским, ему кажется, что перевод сделан блестяще.

В свое время профессор Морозов, выступая как бы от имени Шекспира, требовал, чтобы Борис Пастернак исправил свой перевод «Ромео и Джульетты», сделал его более «точным». На это Пастернак отвечал, что «для каждого из замечаний Михаила Михайловича есть основания, но и только. Не мало ли этого для полного понимания двойной работы, которая ему кажется половинной и недоделанной»?

И, наконец, о культуре малых народов и проблемах перевода.

Наш друг Рене Хезерин выразил озабоченность численно небольших народов тем, чтобы их достаточно много и хорошо переводили. Приятно, конечно, когда нас переводят, когда нас читают на языках распространенных. Но куда важнее для нас и наших литератур, когда мы сами переводим с других языков на наши языки.

Сейчас в СССР пишут на семидесяти семи языках. Задача не только в том, чтобы со всех этих языков переводили на язык русский, язык межнационального общения. Очень существенно, чтобы на все эти языки переводилась мировая литература, существенно потому, что родной язык, школа, книги призваны развивать ребенка, его миросозерцание, мировоззрение. И без переводных книг тут не обойтись.

Как бы нас ни радовали переводы с армянского, для армянских детей очень важно иметь на родном языке Шекспира, Толстого, Достоевского, Шолохова, Хемингуэя. Без переводов не может развиваться ни одна, даже самая «старая» и богатая литература мира. Поэтому и считают, что перевод — защитная функция культуры и языка. Переводы дают возможность носителям того или иного языка быть, так сказать, на уровне, на уровне современной им мировой культуры. Вот почему мы придаем большое значение переводам на языки малочисленных народов.

Э. Озерс. Я думаю, что правы те, кто считает, что, хотя переводчик и должен

быть поэтом, он не обязательно должен быть крупнейшим поэтом, потому что крупнейший поэт может подавить своей индивидуальностью.

Л. Мкртчян. Но ведь без индивидуальности тоже нельзя...

Д. Радо. У международной федерации переводчиков есть свой журнал «Вавилон». Конечно, он не может сравниться с «Иностранной литературой», но тоже выполняет важные задачи. Остановлюсь на практическом вопросе — сотрудничестве нашего журнала с другими организациями, другими журналами. Мне, переводчику советской литературы, особенно дорого сотрудничество с советскими коллегами. И здесь, в Москве, я получил рукописи материалов, которые украсят «Вавилон». А в следующем году будет издан номер, посвященный вопросам мастерства перевода, организации этой работы в Армении, на Украине. Вот о чем бы я еще хотел сказать. У нас есть постоянная рубрика «Библиографические известия» и рубрика «Бюллетень Международной федерации». В последнем номере вы увидите сообщения из Австрии, Бельгии, Франции, ФРГ, Италии, Англии, Америки и Югославии. Пока сообщений подобного рода из Советского Союза мы не печатаем. Почему? Потому что в СССР нет такого бюллетеня, нет журнала. Я хотел бы вам предложить, чтобы в «Иностранной литературе», или в «Дружбе народов», или в любом другом журнале, который вам кажется более подходящим для этой цели, помещалась информация, касающаяся переводческих дел. Хотел бы попросить вас присылать подобного рода материалы в Будапешт.

И. Зорина. Постараемся учесть Ваше пожелание. И надеюсь, начнем с материалов «круглого стола», участниками которого мы сегодня являемся.

Л. Эйдлин. Я не очень собирался говорить, но меня вдохновило выступление Левона Мкртчяна, обладающего способностью зажигать сердца.

Мне очень приятно выступать среди коллег, прибывших к нам, среди тех, кто переводит и с русского языка, который на Западе, к сожалению, все еще известен меньше, чем западные языки у нас.

Здесь говорилось об Анне Ахматовой. Она — великий поэт, и переводы ее из китайской и корейской классической поэзии замечательны. Они не случайны: с юности в Петербурге Ахматова была окружена востоковедами, ее мужем был известный исследователь древнего Востока Шилейко. Переводы Ахматовой, конечно, несут на себе печать ее индивидуальности, заботилась же она прежде всего о том, чтобы передать мысль и образы оригинала. Перевод — это профессия, и если писатель хочет выразить на родном языке произведение иностранной литературы, он должен ощутить себя переводчиком, перед которым стоят присущие этой профессии задачи.

Индивидуальность переводчика. Разве она и не в том, чтобы забыть о себе? Споры на тему, как надо переводить, родились с первым переводом и никогда не будут иметь конца. Мы далеко не едины во взгляде на перевод. Существует, например, даже такая идея, что переводчик поэзии должен (или может?) вносить с в о е содержание в переводимые им стихи. Идея, на мой взгляд, странная, призванная служить завесой для собственного произвола. Переводчик талантливый и образованный делает все (и в этом его индивидуальность) для того, чтобы приблизить к читателю переводимый им оригинал, дать читателю понять и почувствовать ум и сердце переводимого им поэта Потому что в данном случае цель в том, чтобы точнее передать поэзию переводимого оригинала. И мы все понимаем, что при переводе поэзии потери неизбежны, но появляются и новые грани, которые тем интереснее и привлекательнее, чем талантливее переводчик. А если переводчик поэзии задачу свою видит в собственных домыслах, то пусть пишет собственные стихи. Это ведь никому не возбраняется, особенно, если он может сочинить хорошие стихи.

Тут говорили и о необходимости переводчику бывать в стране переводимой им литературы. Да, это так. Что может быть полезнее посещения страны поэта? Особенно если это касается современной переводчику литературы. Я, конечно, сторонник такой прекрасной практики, и нам нужно стремиться к ее осуществлению. Но и не отчаиваться при более длительных сроках перерыва в поездках: выдающийся английский переводчик китайской и японской классической поэзии Артур Уэйли никогда не бывал на Дальнем Востоке, как и наш академик Розен ни разу не посетил арабские страны, изучению культуры которых он посвятил свою жизнь. Оба они были незаурядными знатоками Востока.

Л. Мкртчян. Я согласен: переводчик должен себя забыть, но критики не должны забывать переводчика. Что касается переводчиков, которые не бывали в землях своих авторов, ведь мы знаем примеры, когда они вопреки этому достигали выдающихся результатов. Но следует ли отсюда, что знакомство со страной переводимого автора ничего не дает? Я был с Уильямом Сарояном в Ленинграде. Он ходил в тоненьком белом плаще, а на дворе был октябрь, солнечный, но холодный. Я сказал Сарояну: «Давайте купим вам пальто». «Нет-нет, что ты! — ответил Сароян.— По этим улицам Петербурга ходил в ветхой шинели Акакий Акакиевич Башмачкин. Я хочу понять Акакия Акакиевича».

Мы вышли на Невский. «Давай перейдем на солнечную сторону, — предложил Сароян,— Акакий Акакиевич в своей старой ши-

нели ходил в этот час по солнечной стороне». Мы перешли, и он сказал: «Теперь я понимаю Акакия Акакиевича — он мерз со спины».

Страна, в которой жили или живут герои переводимых нами книг, может многое дать, многое объяснить переводчику.

Т. Кудрявцева. Если у переводчика есть возможность побывать в стране, авторов которой он переводит, он совершенно по-другому все воспринимает, лучше знает реалии, способен лучше разобраться в намеках и аллюзиях.

З. Стоберский. Я работаю в журнале «Литература на свете», который по профилю своему подобен «Иностранной литературе». У нас, естественно, меньший тираж, но круг задач очень похож.

С. Баруздин говорил о качестве перевода. Могу сказать, что у нас в Польше уровень перевода со временем становится все выше и выше. Правда, теоретики продолжают находить новые ошибки...

Я перевожу с литовского, но, конечно, если бы не помощь моей жены-литовки, мне было бы очень трудно. До сих пор нет хорошего польско-литовского словаря, есть только один маленький словарь, изданный перед войной. Недавно вышел большой польско-русский и русско-польский словарь, правда, говорят, что он плохой. Я и сам убедился в этом — там нет многих слов. Вероятно, в будущем нам придется прибегать к помощи компьютеров.

И еще один вопрос, который я хотел бы затронуть. Бывают случаи (например, так было с одной из книг Авижюса), когда перевод с литовского на русский не во всем соответствует оригиналу. Мы сравнивали издание русское и литовское и обнаружили, что ряд мест вычеркнуто — впрочем, с этой правкой можно было согласиться. Но порой длинные фразы сделаны короче и так далее. По-моему, дело тут вот в чем. Когда автор проверяет перевод, зная русский язык, он начинает как бы заново, во второй раз писать ту же самую книгу. Но вы же понимаете, что, если автор пишет дважды, каждый раз он пишет по-другому. Тогда он начинает диктовать своему переводчику: ты это сделай так и так.

Р. Уинстон. И весь вопрос в том, кто кого победит: автор — переводчика или переводчик — автора.

З. Стоберский. В свое время у нас была школа для переводчиков, даже высшее учебное заведение. Затем кто-то решил, что это не нужно. Пусть будут филологи. Теперь мы опять вернулись к этому вопросу. Переводчиков нужно готовить, учить, к этому нас призывает и ЮНЕСКО. Перевод — это профессия.

В наше время назрела потребность готовить переводчиков не только в высших, но и в средних учебных заведениях. И знаете, у нас теперь даже старшеклассники занимаются переводами, и очень успешно.

Я хотел, чтобы мои дети тоже занимались переводом. Но они говорят, что этот каторжный труд их не привлекает.

В. Левик. В прежние времена, да иногда и теперь, многие, кто говорит о переводе с ухмылкой, повторяют одно, довольно пошлое, но кажущееся им неоспоримым положение: «Перевод как женщина: если он красив, то неверен, если верен, то некрасив».

Времена изменились. Эволюция переводческого искусства вызвала к жизни другой афоризм: «Перевод только тогда и верен, когда он красив». Однако что такое в искусстве красота? Не может же она ограничиваться благозвучностью, гладкостью, приятностью стиха, на которые, очевидно, и намекает автор старинного афоризма. Все эти понятия могут оказаться полной противоположностью истинной красоте, тем более что красота существует и в обратном. Подлинный художник даже в изображение безобразного вкладывает ту красоту, без которой нет искусства. Вспомним Гойю, Домье, Бодлера, да и многих других: от Босха до художников и писателей современности. И если переводчик не передаст эту красоту подлинника, в чем бы она ни выражалась, не передаст запечатленное в слове вдохновение, то грош цена его переводу, как бы он ни был точен. Такая точность лишена жизни, да и стремиться к ней не стоит, ибо точность тоже понятие диалектическое и могут существовать на равных правах много разных точностей.

Здесь я должен поспорить с нашим дорогим коллегой и гостем Пьером-Франсуа Кайе. Он сказал, что необходимость подчиняться воле оригинала — трагедия для переводчика.

П.-Ф. Кайе. Трагедия в том, что надо передать... автора.

В. Левик. Но ведь для писателя-реалиста не трагедия, если он подчиняет свое описание объективно существующему типу человека. И для настоящего переводчика следование чужой воле не такая уж трагедия, не большая, чем для актера необходимость «влезать в чужую шкуру», на какое-то время делаться другим человеком. Настоящий переводчик именно тогда, когда он заразился чужой мыслью, чужим вдохновением и почувствовал их своими, начинает ощущать истинную свободу, а значит, и радость творчества. Тогда ему не страшны ни произвольные, ни вынужденные отступления от оригинала. Все они будут звучать в том же ключе, что и оригинал. Все они будут дополнять, или развивать сказанное автором, или показывать то же самое с новой, неожиданной стороны. Сказал же Гёте о переводе «Фауста», созданном молодым Жераром де Нервалем: «Он показал мне моего «Фауста» таким, каким я его доселе не видел».

С этим связан еще один момент, о котором не надо забывать, анализируя творче-

ский процесс перевода. Это роль воображения или личного знакомства с тем, о чем ты пишешь, безразлично, создаешь ли ты оригинал или перевод. Кто-то из ныне дискутирующих сказал, что переводчику не обязательно видеть то, о чем написано в оригинале, или непосредственно с этим знакомиться. Дескать, достаточно и одного оригинального текста. Странно слышать это из уст специалиста, размышляющего над проблемами перевода. Конечно, личное знакомство с предметом не сделает слабого переводчика сильным. Конечно, и сильный переводчик, узнав на личном опыте предмет, о котором пишет автор, может сделать слабый перевод. И, безусловно, большую роль играет воображение, помогающее увидеть не видя. Но ведь недаром народная мудрость гласит, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Сколько бы фотографий мы ни посмотрели, сколько бы книг о данном предмете ни прочли, все это не может сравниться с собственным впечатлением.

Я уже писал о том, какой импульс для перевода гейневской «Лорелеи» я получил, когда собственными глазами увидел на Рейне скалу, на которой, по преданию, сидела знаменитая волшебница. Когда узнал, что никаких «дальних гор» отсюда не видно, но зато ее скала возвышается над всеми остальными прибрежными утесами и долго остается озаренной закатом уже после того, как все окружающее погасло. И признаюсь я уже несколько десятилетий не рискую браться за некоторые стихи Ронсара только потому, что не был в его родных краях и не знаю, какой вид имеет (или могло иметь) его поместье. Если бы я стал переводить эти стихи, то должен был бы (что самое вредное!) следовать за французским текстом вслепую. А мне бы не хотелось уподобиться французскому переводчику «Горя от ума», который под строкой «А все Кузнецкий мост и вечные французы» сделал сноску: «Мост через реку, называемую Москва, на котором постоянно гуляют москвичи». Уж если мы говорим, что перевод должен воссоздавать не только текст, но и действительность, стоящую за этим текстом, то непрофессионал не может себе представить, какую свободу стиха, направленную на верное (если хотите, точное) воссоздание оригинала, дает переводчику доскональное знание действительности.

Э. Озерс. Я полностью согласен с тем, что сказал Вильгельм Левик. Думаю, что переводчик, увидев название «Лорелея», должен постараться узнать, как выглядит эта скала на карте или на фотографии, иначе могут произойти глупейшие ошибки.

Т. Кудрявцева. Хотя, разумеется, одного этого недостаточно.

А. Такаяма. Мне думается, многие знают, какое огромное влияние оказали переводы русской литературы на современную японскую литературу. «Свидание» Тургенева, рассказ из «Записок охотника», который перевел на японский в 1888 году Фтабатэй Симэй, произвел сенсацию в японском литературном мире начала эры Мэйдзи. В том же году Фтабатэй перевел рассказ «Три встречи», а спустя восемь лет повесть Тургенева «Ася». Фтабатэй приобрел авторитет как переводчик, влияние его переводов на молодых писателей становилось все более явным. Например, в сборнике рассказов «Мусасино» Куникида Доппо, в книге «Сидзен то Дзинсэй» Токутоми Рока («Природа и человек»), которую недавно перевела Е. Пинус на русский язык, и в некоторых произведениях писателей японской натуралистической школы, в том числе Таяма Катай, Симадзаки Тосон и других, мы ясно видим влияние произведений Тургенева, переведенных Фтабатэем.

Эти писатели впоследствии стали ведущими деятелями японской литературы эры Мэйдзи, поэтому не будет преувеличением сказать, что Фтабатэй был предшественником современной японской литературы, он показал своими переводами путь, по которому надо было идти японской литературе в новое время.

Будучи сам писателем, Фтабатэй работал над переводами с предельной добросовестностью: ни одной буквой, ни одной фразой он не пренебрегал, хотел точно воссоздать каждую запятую и точку, чтобы верно передать ритм оригинала. Конечно, это было не только трудно, но и невозможно. Но ему нужен был такой поиск, чтобы найти новый стиль.

Приведу один такой пример: говорят, что Фтабатэй два-три дня мучился, не находя способа перевести слово «люблю». Потому что в японском языке даже в разговорах между юношами и девушками это слово никогда не употреблялось. Поэтому он перевел фразу Аси: «Нет, я никого не хочу любить, кроме тебя...» на японский язык: «ия, ия, вагаси-ва аната-но хока-ва дарэ-но кото-о омоу-но мо ия» — «Нет, нет, я ни о ком, кроме тебя, не хочу и думать...». Выражение чувства любви у японцев слишком сдержанное и теперь, а в период феодализма совсем не было языковых средств откровенно выражать свою любовь не только между юношами и девушками, но даже между родителями и детьми. Тем более нельзя было сказать в лицо слово «люблю».

Нечего и говорить, что теперь переводчикам русской литературы не нужно затрачивать столько усилий. Это, во-первых, объясняется тем, то европейская культура достаточно внедрилась в японскую культуру за прошедшие сто лет. Во-вторых — еще и тем, что связи между всеми странами становятся теснее и, следовательно, упрощается взаимопонимание, соприкосновение разных культур. Можно сделать вывод, что увеличение случаев соприкосновения различных культур, дальнейшее рас-

пространение информации и тому подобное, по-видимому, повышают возможности перевода.

Исходя из этого, можно предположить, что будущее перевода имеет многообещающие перспективы. А в Японии? Не уверен.

Некоторые причины этого заключаются в следующем: во-первых, работая над переводом, переводчик должен верить в то, что данное произведение необходимо культуре его страны. Он должен правильно выбирать произведения для перевода. Но в Японии и в области литературного перевода также господствует коммерческий дух. Издатели, заботящиеся только о сбыте продукции, хотят издавать лишь известные произведения известных писателей. Поэтому случается, что разные переводчики переводят одновременно одно и то же произведение.

Коммерческий подход заставляет переводчиков выполнять работу в кратчайшие сроки. Перевод наспех — один из смертельных врагов художественного перевода.

Если скорость представляет собой большую ценность, то, естественно, гораздо лучше делать перевод машиной. Но я — сторонник тех, кто отрицательно относится к будущему машинного перевода. Потому что художественный перевод — один из труднейших творческих процессов, и машине невозможно выполнить столь трудную роль.

Таким образом, говоря о будущем перевода, нам особенно надо обращать внимание на следующее: быть точным в критериях выбора произведения, не унижать себя до уровня машины, не становиться рабом коммерческого духа. Если развитие перевода будет удовлетворять этим условиям, тогда, возможно, и японским переводам русской литературы предстоит большое будущее.

И. Зорина. Итак, выступление господина Акира Такаяма словно бы завершило нашу беседу. Думается, сегодня в той или иной степени нам удалось коснуться очень многих вопросов. Здесь и роль перевода как средства общения культур, и практика перевода в различных странах; здесь и проблемы переводимости, точности, и перспективы, которые открываются в области перевода. Но главный вывод, который хочется сделать, состоит в утверждении мысли о том, что труд переводчика знает все муки подлинного творчества, что вершинные достижения здесь возможны тогда, когда работа эта делается по призванию души, по призванию сердца. Об этом мы можем судить, общаясь со многими переводчиками, сотрудничающими в журнале «Иностранная литература», об этом говорит и сегодняшняя наша встреча.

◆

ГЕРХАРД ШТЕНГЕЛЬ. ГДР.
Долина Эльбруса.
Эскиз

Культура и современность

Заметки на полях

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО И МИРОВОЗЗРЕНИЕ

Народная Венгрия движется к очередному, XII съезду ВСРП. Подводятся итоги, достигнутые страной в строительстве материальной и духовной базы развитого социализма, укреплении позиций социалистической демократии. Стремление оценить сделанное, наметить новые задачи ощущается и в области партийного руководства культурой; в этом плане обращают на себя внимание опубликованные в журнале «Таршадалми семле» статья члена Политбюро ЦК ВСРП, заместителя Председателя Совета Министров ВНР Дёрдя Ацела «Политика, искусство, творчество» и подборка материалов под общим названием «За социалистическое искусство».

Вполне естественно, что в данных публикациях эффективность и правильность политической линии партии в сфере культуры — культурной политики (если пользоваться не очень правильным с точки зрения русского языка, но кратким и потому уже завоевавшим права гражданства в лексике термином) — измеряется тем, насколько она, эта политика, способствует развитию социалистической культуры, социалистического искусства, обретению ими новых качественных признаков, черт, не известных культуре, искусству эксплуататорских общественных формаций.

Мы подняли бы слишком большую тему, если бы попытались выделить — хотя бы только на основе взятых материалов — все или многие из новых критериев искусства, развивающегося в условиях социализма. Поэтому остановимся лишь на одном таком критерии: повышении роли сознания, мировоззрения в художественном творчестве, который, может быть, в наибольшей степени выражает новый характер художественного мышления и делает искусство эпохи социализма социалистическим искусством.

Как известно, в условиях строительства развитого социализма сознание, передовое мировоззрение играют все более значительную роль и в сфере культуры и искусства. Едва ли не самым показательным в этом плане является то возрастающее значение, которое при социализме приобретают продуманные, с научной тщательностью разработанные и сформулированные принципы партийного руководства развитием культуры, литературы, принципы культурной политики.

В социалистической Венгрии уделяется очень большое внимание вопросам культурной политики. Руководство ВСРП привлекает к разработке этих вопросов самых подготовленных ученых, специалистов в различных сферах культуры и, определяя свой курс, стремится учитывать и особенности национального культурного наследия, и современную ситуацию в стране, и опыт братских партий, и дальние перспективы и цели социалистического строительства.

Но какими бы ни были конкретные обстоятельства, главным из методов воздействия, с помощью которых партия, чувствующая себя ответственной за построение в стране социализма и основ коммунизма, старается повлиять на литературно-художественный процесс, остается стремление, избегая нажима, убеждать художников, писате-

лей в исторической закономерности и неизбежности перехода к социализму. То есть, иными словами, воспитание сознания, заботливое, тактичное, но упорное «выращивание» нового мировоззрения, опирающегося на научный социализм.

Подобная нацеленность четко сформулирована в названной статье Дёрдя Ацела, в которой автор подводит итоги деятельности венгерских коммунистов в области культуры за двадцать лет, с 1958 года, когда ЦК ВСРП принял постановление о принципах культурной политики. Подчеркивая важность убеждения, аргументированной дискуссии в формировании у творческой интеллигенции нового, соответствующего историческому моменту мировоззрения, венгерские коммунисты, пишет Дёрдь Ацел, принимали во внимание и уроки предыдущего периода:

> «Стало несомненным, что хотя административными мерами и можно на какое-то время оттеснить, заглушить справедливое недовольство, иные мнения, равно как и неверные, ложные взгляды, однако таким путем невозможно выработать у художника мировоззрение, которое стало бы органической частью его индивидуальности; таким путем не добиться подлинного, охватывающего все источники его творческой энергии единства».

Возобновляя после кризисного 1956 года работу по созданию социалистической культуры, устраняя последствия допущенных прежде ошибок, венгерские коммунисты отдавали себе отчет в том, что нескольких лет социалистического строительства слишком мало, чтобы переделать сознание, сложившееся в условиях эксплуататорского строя, что в стране еще очень много художников, «в произведениях которых пока имеют место определенные элементы буржуазного и мелкобуржуазного миросозерцания».

> «Есть у нас верующие писатели, поэты и художники, другие руководствуются отвлеченными гуманистическими идеалами; есть и такие, кто склонен к философскому пессимизму, рассматривающему негативные, низменные стороны бытия как вечные и не поддающиеся изменению».

Таким деятелям культуры, если они не питали враждебных социалистическому строю намерений, а всего лишь по той или иной причине оказались неспособными понять и принять правду коммунистов, в Венгрии считали необходимым дать возможность работать, писать, издаваться.

> «Их творческая деятельность важна для нас: пусть с других позиций, но, ведомые жизнью, логикой действительности, они могут создавать и создают гуманистические ценности. Важно дать им слово и потому, что с молчащими направлениями нельзя вести идейную борьбу».

Такая позиция характерна не только для первых после кризисного 1956 года лет: она определяет культурную политику в Венгрии и сейчас. Потому что и двадцати и тридцати лет недостаточно, чтобы полностью изменить, перестроить всю ту систему старых ценностей, которая за тысячелетнюю историю основанного на несправедливости общественного уклада въелась в души людей, соперничая по силе с инстинктами и мешая укорениться в сознании новым, научным представлениям о мире. Но в данном случае речь идет не об этом — речь идет о том, какую важную роль играет теоретическая мысль в отношениях между ведущей силой общества — партией и творческой интеллигенцией. Смысл, цель культурной политики коммунистов в том, чтобы, ценя и оберегая талант, усилить его передовым, позволяющим глубже увидеть суть вещей мировоззрением.

Таким образом, вся работа венгерских коммунистов в области культуры и искусства противостоит тем (может быть, в сфере «чистой теории» до конца еще и не опровергнутым) утверждениям, будто великий и загадочный процесс художественного творчества, таинство рождения художественного произведения не только не нуждаются в участии сознания, но более того, участие сознания (в любых его формах: идейная направленность, «социальный заказ» и т. п.) профанирует, разрушает искусство. В культурной политике ВСРП всегдашнее заботливое отношение к таланту последовательно сочетается с требованиями идейного воспитания и самовоспитания художников.

Эта мысль заложена и в часто звучащем в партийных документах, в выступлениях руководящих деятелей ВСРП тезисе о пользе и даже насущной необходимости конструктивных, товарищеских, аргументированных дискуссий. Ведь если встать на точку зрения тех, кто недооценивает роль идейного, сознательного элемента в художественном творчестве, но ни дискуссии, ни убеждение не нужны: гений художника-де сам по себе проникнет в суть явлений и покажет то, что нужно и важно. Однако история литературы и искусства и особенно их сегодняшнее развитие убедительно свидетельствуют о том, что талант способен создавать великие, непреходящие ценности искусства лишь сообща с разумом.

В связи с этим обращает на себя внимание решение вопроса о наследии филосо-

фа и эстетика Дёрдя Лукача, который, как известно, был одним из активных противников тезиса о важной роли передового мировоззрения в творчестве современного художника. По этому поводу Дёрдь Ацел пишет:

> «...политика — как и любая творческая деятельность — никогда не может быть продиктована узколобым стремлением оправдать себя: она может опираться только на смелый и честный самоанализ, на самопознание, которое дает силы даже для самых трудных переоценок, на конструктивную критику самых разных заблуждений. Мы в свое время критиковали некоторые ошибочные политические взгляды крупного представителя марксистской мысли Дёрдя Лукача. Значительная часть наших критических замечаний утратила свою актуальность, утратила в положительном смысле этого слова. В ходе последующих событий Дёрдь Лукач понял и признал правильность политической линии партии, убедился, что эта политика способна ликвидировать ошибки, связанные с культом личности, и продолжать строительство социализма на более высоком уровне. Остаток своей творческой жизни он провел как участник нашего движения и снова как член нашей партии, создав ряд новых, значительных произведений. Его богатое творческое наследие мы должны осваивать критически — такого отношения он и сам всегда требовал от других».

Итак, идейная вооруженность, научный подход, спокойная, конструктивная, доказательная дискуссия (все это в целом и есть повышенная роль сознательного начала) — таковы основные критерии, которыми ВСРП руководствуется в своей деятельности по развитию культуры и воспитанию талантов. Уже более десяти лет назад в Венгрии выдвинут лозунг «трех т» (от венгерских слов «támogatás» — «поддержка», «tűrés» — «терпимость», «tiltás» — «запрещение»), подразумевающий: а) активную поддержку явлений, социалистических по своей идейной сути, б) терпимость по отношению к писателям, не успевшим или не сумевшим еще подняться до социалистического мировоззрения, но и не настроенных враждебно к социализму, в) запрещение вредных для народного строя или для формирующейся социалистической морали произведений.

Сама эта тройственная позиция подразумевает постоянную активность, строго дифференцированный и сугубо научный подход. Причем обязательно в сочетании друг с другом, так как перевес того или другого привел бы или к волюнтаризму, или к хаосу, беспринципности или к пассивности. А пассивность грозила бы сползанием даже социалистических по своему мировоззрению художников в разряд «терпимых»: ведь не всякий устоит перед соблазном прослыть «оппозиционером», «нонконформистом» и заработать на этом дополнительный моральный капитал. Но венгерское руководство культурной политикой стремится проводить в жизнь этот тройственный лозунг на научной основе, диалектически. Дёрдь Ацел так пишет о лозунге «трех т»:

> «Мы не считаем его какой-то социалистической магией, не хотим думать и внушать другим, что достаточно затвердить схему — и успех обеспечен. Эту формулу мы употребляем лишь для того, чтобы обозначить разные принципы подхода к разным явлениям».

Не магия — это и значит научный подход. Это значит, в частности, что партийное руководство в культуре не просто относится со снисходительным терпением к тем, кто не может постигнуть истины научного социализма, но и терпеливо, последовательно стремится доказать правильность этих истин. Ведь только при таком условии торжество социализма, передового мировоззрения станет полным, необратимым, охватив не только сферу хозяйства, но и сферу духа и тем самым создав предпосылку для перестройки человеческого сознания. Процитируем еще раз статью Дёрдя Ацела:

> «В нашей духовной жизни, в том числе в литературе и искусстве, достигнута гегемония марксизма-ленинизма. Этот факт, однако, предполагает, что нужно вновь и вновь отстаивать позиции марксистской мысли, бороться за их расширение. В частности, потому, что до сих пор существуют, возрождаются, оказывают влияние и немарксистские взгляды; а также и потому, что меняется сама действительность».

Очевидно, именно действительность, новые факты заставляют в последнее время обратить особенно пристальное внимание и на принцип (способы, практику) «поддержки» социалистического искусства. Этот вопрос поднят среди прочих в упомянутой выше подборке «За социалистическое искусство». Особенно интересно выступление Лайоша Мештерхази, одного из тех художников нынешней Венгрии, кого без малейшего сомнения можно отнести к представителям социалистического искусства. Он защищает социализм, коммунизм страстно, заинтересованно, умно, смело (смелость, принципиальность в отстаивании идеалов коммунизма нужна ведь не только в капиталистических странах). И если он возражает против упрощенного понимания поддержки, — значит здесь действительно нужно что-то исправить. «...Что касается меня, то я поддержки просто-таки

боюсь»,— пишет Мештерхази в обычном для него ясном, откровенном стиле. И далее продолжает:

«...я боюсь, как бы зависть и ревность не разрушили достигнутого с таким трудом взаимопонимания между художниками с различными взглядами; как бы в результате поддержки ангажированность не становилась беспринципной; как бы партийное искусство не превратилось в какую-то секту, в подозрительный комплот «любимчиков», «придворных поэтов».

Поддержка требует очень много такта и ума. Больше, чем запрет и терпимость,— а там ведь такта и ума тоже требуется немало! Неуклюжая поддержка способна нанести куда больше вреда, чем отсутствие таковой».

Эти слова парадоксальны лишь на первый взгляд. Мештерхази — за поддержку партийного, социалистического искусства, но за поддержку, выражающуюся не в раздаче привилегий, а в воспитании читательского сознания, в подготовке почвы для понимания тех мыслей, идей, которые высказывает в своем произведении художник. Об этом Мештерхази говорит не менее четко:

«...пусть никто не думает, что социалистическое по духу произведение встречает в общественном мнении более благоприятный прием — тот, кто так думает, подменяет все общественное мнение очень узким его слоем. Социалистическое произведение в самом себе содержит как бы полосу препятствий. Оно страстно, оно накаляет страсти, оно задиристо и неуживчиво. Одним словом, оно ангажированно. И потому с заведомо большим трудом проходит через разного рода фильтры, чем то, которое «нравится беспристрастно». И отклик на него часто неоднозначен, порой на удивление неадекватен. Поддержка, таким образом, должна была бы означать прежде всего доброжелательное понимание...

Самая же эффективная поддержка — это сформулировать и высказать общественную потребность. Внимательное отношение, точная реакция — вот то, в чем есть необходимость, вот то, что больше всего нужно».

Невольно вспоминаются слова Ленина, сказанные им в свое время о книге Горького «Мать»: «Очень своевременная книга». Едва ли можно вообразить более существенную поддержку художника со стороны партийного деятеля.

Обращает на себя внимание, что, требуя более разумного, более рационального подхода к руководству культурой, искусством со стороны партии, Лайош Мештерхази не отделяет этот вопрос от требования большей сознательности со стороны писателей, в том числе молодых.

Он требует от писателей не просто сознательности, но сознательности в высшей ее форме, в которой понимание передовых общественных целей и перспектив сочетается с готовностью к конкретной борьбе за эти цели,— это красноречивее всего характеризует самого Лайоша Мештерхази, коммуниста и в творчестве и в жизни.

О том, насколько сложным и тонким делом является поддержка социалистического искусства даже в условиях социализма, свидетельствует выступление критика и эстетика Эрвина Дертяна, опубликованное в той же подборке.

Уже самим названием своего выступления — «Культура социализма и социалистическая культура» Эрвин Дертян подчеркивает, что два эти понятия — по крайней мере, в данных условиях и в данный исторический момент — не тождественны. Критик приходит к выводу, что в сфере культуры, искусства марксистско-ленинское мировоззрение, может быть, занимает пока даже менее прочные позиции, чем в идеологии в целом:

«...ведь в виде понятий мировоззрение легче поддается усвоению, чем в эстетических аспектах, в своем эстетическом приложении... К немарксистским веяниям, поступающим по каналам искусства, часто оказываются восприимчивыми даже те, кто решительно отверг бы открытое выражение тех же веяний на языке теории».

Но тем более важную и ответственную роль играет поддержка тех явлений, которые, без сомнения, выросли на идейной почве социализма. Дертян подходит к вопросу несколько с иной стороны, чем Мештерхази: он видит возможность такой поддержки прежде всего в обеспечении для явлений социалистической культуры широкой сферы восприятия, осуждая ту, имеющую пока место практику, когда борьба за чистоту социалистической культуры приводит к тому, что некоторые произведения просто не доходят до массового читателя и зрителя, поскольку он-де недостаточно созрел в идеологическом и эстетическом отношениях.

«Нельзя,— пишет Э. Дертян,— отказываться от того социального понимания культуры, которое рассматривает уровень ее достижений и степень ее восприятия в единстве. Ведь только при наличии обоих этих факторов можно говорить о подлинной гегемонии».

Вероятно, неправильно было бы, размышляя о партийном руководстве культурой, о воспитании передового сознания, о защите уже существующих ценностей социалистической культуры и искусства и подчеркивая во всех этих сторонах духовной жизни социалистического общества сознательное, научное начало, выпустить из поля зрения тот канал, через который партия проводит в жизнь свои идеи и принципы, то орудие, с помощью которого она осуществляет поддержку передовых, социалистических явлений, ту сферу, в которой наиболее интенсивно и эффективно идет переубеждение художников-немарксистов. Это орудие, этот канал, эта сфера — критика. Причем критика марксистская — и потому наиболее научная, наиболее чуткая, наиболее принципиальная.

«Новые задачи требуют, чтобы реально была достигнута ведущая роль марксистской критики... Прогрессивные художники, создающие духовные ценности, и критики, с марксистских позиций оценивающие художественную продукцию, лишь вместе, на одной стороне баррикад могут бороться за то, чтобы привлечь к подлинным ценностям культуры симпатии как можно большего числа людей, чтобы как можно больше художников поняли и усвоили правду социалистических идей, марксистско-ленинского учения... Задача критики в том, чтобы по-товарищески, поощряя и споря, оберегать искусство от сдерживающих развитие, тянущих назад идей, которые проникают порой и в выдающиеся произведения».

В этих словах Дёрдя Ацела содержится ответ и на многие вопросы, волнующие литераторов и художников социалистической Венгрии.

Ю. ГУСЕВ

◆

ГЕРХАРД ШТЕНГЕЛЬ. ГДР.
Хермсдорф.
Рисунок

Публицистика

ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ, ПРОБЛЕМЫ ЖИЗНИ

По страницам зарубежных изданий

ПЬЕР ГАМАРРА

Французский писатель. Автор многих романов, сборников, рассказов, очерков, репортажей. На русский язык переведены его романы «Дети нищеты», «Розали Брусс», «Школьный учитель», «Пиренейская рапсодия» («ИЛ» № 7, 1964), несколько сборников рассказов.

ПИСАТЕЛЬ, СОФИЯ, КУЛЬТУРА, МИР

К годовщине Софийской международной встречи писателей. Опубликовано в болгарском еженедельнике «Народна култура» № 38, 1978 г.

Этим, телеграфным по стилю, заглавием я стремился выразить свои впечатления о поездках в Софию, где мне довелось участвовать в двух встречах, на мой взгляд, весьма родственных по духу — конференции писателей в защиту мира и встрече критиков. В порядке дня последней было обсуждение двух тем: роль критики во взаимоознакомлении культур и попытка дать какое-то определение шедевру литературного искусства.

Спор или, вернее, споры, развернувшиеся вокруг этой последней темы: рождение шедевра, его оценка, восприятие публикой, были особенно жаркими, мнения — что вполне закономерно и даже желательно — противоречивыми. Может ли шедевр быть вечным, долговременным или это категория преходящая? Или это шедевр только для породивших его общества и эпохи?

Поверьте, я отнюдь не собираюсь сейчас, напрягая свои слабые возможности, вновь поднимать дискуссию, ценность которой, по моему мнению, скорее в том, что она — итог деятельности всех ее многочисленных участников, в данном случае критиков и писателей, собравшихся со всех концов земли. Потому что шедевр — это, без сомнения, произведение, которое можно определять самым различным образом, но которое независимо от этого обладает одним отличительным качеством — оно по самой своей природе способно вызывать восхищение многих. Не может произведение быть шедевром, если им восхищается всего один ценитель. Лишь с той минуты, как оно про-

буждает общий интерес, общий восторг, дает выход накопившимся страстям, оно становится шедевром. Шедевр должен вызывать единомыслие и согласную реакцию. Несомненно, каждый из нас в своих сокровенных мечтах, в личных раздумьях может привязаться к тому или иному произведению, к тому или иному фрагменту... Но в таком случае нужно говорить не о шедевре, а об индивидуальном удовольствии, которое можно уважать, но которое трудно принимать в расчет — нет ему точного словесного эквивалента. Однако, как только я рассказал своему соседу о взволновавшем меня произведении, как только, стремясь приобщить его к этому волнению, посоветовал ему прочесть его, начинается то движение единомыслия и приобщения, которое может охватить — не надо только идеализировать и думать, что оно бесконечно,— более или менее многочисленную человеческую общность.

И что же открывается нам в этом слиянии интересов и страстей? По-моему, среди всех прочих здесь можно выделить два основных момента. Это, с одной стороны,— элементы сходства и узнавания, а с другой — открытия, исследования с новой стороны, то есть различия. Если я, как французский писатель, читая Толстого или Вазова, переживу мгновения общечеловеческих чувств: любви, горя, разлуки, скорби, ревности, ненависти и пр.,— я их познаю. При этом оказывается, что гений Толстого или Вазова помогает мне особенно глубоко и проникновенно почувствовать, познать, проанализировать эти эмоции... Кроме того, благодаря Толстому и Вазову я открою для себя существенные элементы русской и болгарской культуры, которые окажутся мне близкими по духу или, может быть, не очень близкими, но которые я пойму. Причем я имею в виду не только нравы и обычаи той или иной страны, того или иного народа. Это тоже важно, но здесь есть и нечто другое. Великие писатели раскрывают перед нами историю не так, как историки. Благодаря им мы познаем историю не только через важнейшие события и фигуры выдающихся личностей, но и всей глубиной разума и сердца, с помощью чувств, присущих людям всех времен. Это та же история, но история, если можно так выразиться, близкая к земле, близкая сердцу, «пропущенная» через сердце, история людей обычных, не великих, неведомых, угнетенных...

■

Да, я думаю, что писатель помогает нам не только почувствовать, но также и понять. Писатель — это и историк и географ, но идет он *своим путем*. Подчеркиваю последнее выражение, потому что оно важно. Писатель, забывший об этом, запутается сам и разочарует читателя; я говорю о писателе, превратившемся в историка или географа и забывшем о своих обязанностях, о своих возможностях творца и художника. Необходимо ли мне, писателю, рассказывая о взятии Бастилии, подобно историку, раскрывать причины и движущие силы Французской революции, приведшие ко всем известным событиям дня 14 июля? Нет. Скорее я расскажу об этом дне, показав читателю сапожника, чинившего старую обувь и увидевшего на своей улочке весь Париж, который ринулся в атаку на старую крепость, охраняемую отрядами швейцарских гвардейцев...

С этими правами и обязанностями романиста нас познакомит критик. Он постарается расширить их, дав тем самым новый толчок вдохновению художника. Поэтому так велика роль критики в процессе взаимоознакомления и взаимообмена культур, в познании все новых и новых земель, во взаимном узнавании людей и народов.

Можно не добавлять, что такое знание необходимо для мира. Его недостаточно, но мир без него сохранить нельзя.

В настоящее время во Франции чувствуется острый интерес к произведениям, рассказывающим об истории, о человеческом многообразии. Все больше появляется обращенных к широкой публике сборников исторических рассказов, наглядно демонстрирующих разнообразие культур. Некоторые произведения, посвященные давней и не очень давней истории Бретани, жизни эскимосов Гренландии, лангедокских крестьян или Греции, имели неожиданный, поразительный успех. Все это серьезные, написанные с большой эрудицией и в то же время понятные произведения, богатые историческим и человеческим материалом, свободные от какой бы то ни было сухости и отвечающие интересам современного читателя.

Этот интерес, который порой считают интересом к увлекательному повествованию,

удовлетворяют далеко не все современные произведения. Можно вспомнить и стилистические искания, оттолкнувшие и обескуражившие читателя, побудившие его обратиться к другим формам повествования, которые кажутся ему более богатыми и доступными. Стараясь не впадать в схематизм и упрощенчество, я все же думаю, что читатели любой страны еще сохранили свой старый вкус к «жили-были...», к повествованию, где человек находит себя самого и вместе с тем узнает и открывает нечто новое. Шахразада живет в душе читателей всего мира. Все мы похожи друг на друга, и все мы разные. У нас одни и те же страсти, те же любовь и ненависть, все мы создаем культуру и историю своих стран. И писатели во многом могут способствовать нашему сближению.

■

Вот почему на этой болгарской земле я был счастлив дважды участвовать во встречах с писателями мира, встречах, которые останутся в истории...

Здесь, в Софии, встретились писатели тридцати стран. Увидели лица друг друга, вслушались в звуки чужой речи. До этого они были только собратьями по перу. Я далек от того, чтобы преуменьшать значение бумаги и текста. И все же мы не знали глаз и голосов друг друга. А это прекрасно — знать их. Прекрасно, открыв потом книгу, увидеть между строк живое и светлое лицо друга. Точно так же мы должны, читая книгу о каком-нибудь народе, увидеть этот народ его глазами, услышать его голос, представить его живым...

Если абстракция и нужна, она все же никогда не должна становиться господствующей, мы должны как можно скорее перейти к конкретной жизни, к ее плоти и крови. Узнать и по-настоящему понять это — и значит перейти от абстрактного к конкретному.

Я связываю мир и культуру с лицами друзей, с деревьями болгарской земли, с весенним небом Софии, с памятниками, пейзажами, розами, черешнями, древними курганами и современными жилыми домами, где голоса поэтов всего мира могут быть услышаны и поняты.

Перевод Л. ЛИХАЧЕВОЙ

ХУЛИО КОРТАСАР

Известный аргентинский прозаик, живет в Париже, его книги переведены на многие языки. На русском произведения Х. Кортасара впервые опубликованы в «Иностранной литературе» (№ 1, 1970, № 9, 1978), затем вышли сборник рассказов «Другое небо» (М., 1971), а также «Избранное» (М., 1976) в серии «Мастера современной прозы».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПИСАТЕЛЯ

Текст выступления на конференции ПЕН-клуба, опубликованный мадридской газетой «Эль паис» под названием «Читатель и писатель в условиях диктаторских режимов Латинской Америки».

Я очень редко принимаю участие в работе писательских конференций, так как не слишком в них верю. И если я сегодня здесь, то лишь для того, чтобы авторитет этого собрания придал больший вес моим словам. Мое выступление обращено главным образом не к тем, кто сидит в зале. С вами я могу и хочу вести другой тип диалога, иметь другой тип контактов. Сегодня же, воспользовавшись теми преимуществами, что дают нам средства массовой информации, хочу обратиться отсюда к читателям Латинской Америки, и в первую очередь Аргентины.

Несколько месяцев назад мне довелось присутствовать на международной встрече писателей, которая ежегодно проводится в Монреале. На этот раз она была посвяще-

на проблеме «Писатель и читатель». Но мне лично кажется единственно возможной обратная формулировка: «Читатель и писатель». Почти все значительные мысли находят путь к сердцам людей, будучи изложены в письменной форме; и нам, писателям, полезно и необходимо обсуждать эти проблемы между собой. Но гораздо большее значение в современной исторической обстановке имеет то, каким именно образом эти мысли отражаются и постепенно закрепляются в сознании тех, кто по хорошо известным и достаточно печальным причинам составляет что-то вроде «третьего мира» в интеллектуальном отношении. Наличие этого «третьего мира» взывает к моей совести латиноамериканца — ощущение, знакомое многим моим коллегам. От него нельзя избавиться, встречаясь и споря с собратьями по перу. В то же время я знаю, что и участие в политической борьбе не решает этой проблемы, потому что для писателя поэзия, вымысел и эксперимент в области формы являются смыслом его работы и дают пищу его уму. Достичь равновесия, гармонического сочетания между этими двумя позициями трудно, подчас требуется огромное напряжение. Неудивительно поэтому, что в большинстве случаев писатели делятся на тех, кто выбирает политическую литературу, и тех, кто замыкается в чистом искусстве. Но в Латинской Америке, в первую очередь я имею в виду страны южной части континента, возможность подобного выбора еще более затруднена: лишь незначительная группа читателей воспринимает политическую или «чистую» литературу как результат соответствующего выбора. Наряду с ними существует огромное количество тех, кто ждет от литературы глубокого, непреходящего смысла и — одновременно — способности служить сиюминутным задачам: утверждению человеческого достоинства, свободы для себя и для общества, в которой им так часто отказывают.

Это общая ситуация для читателей и писателей многих стран в разных уголках земного шара, но наиболее критического положения она достигла в южной части Латинской Америки. Насильственно отчужденные от самих себя как личности и как сообщества, народы Аргентины, Чили, Уругвая, Парагвая, Боливии и Бразилии, столько лет живущие с кляпом во рту, находятся в положении узников, которым запрещено общаться не только с внешним миром, но и с товарищами по заключению. Поэтому, помня о том, что проблема эта касается сегодня миллионов людей на планете, а среди них — тысяч писателей, живущих у себя на родине и в эмиграции, я все же в первую очередь имею в виду участь моего народа. Как многие другие латиноамериканцы, живущие в эмиграции, я не могу и не хочу продолжать свою работу, забывая об этом повседневном аде. В течение более двадцати лет я жил в Европе по своей воле. Такое существование означало для меня полную самореализацию, и в то же время связь с родиной не прерывалась. Тот факт, что сегодня я оказался в положении насильственного эмигранта, ни в чем не меняет ни моего поведения, ни моей работы. Как многие латиноамериканцы, которые писали и пишут по-испански на расстоянии тысяч километров от родной земли, я поддерживаю контакт с теми, кто находится в застенках, с теми, кто унижен. Я пишу для них, потому что пишу на их языке, который всегда будет моим. Как и многие другие, я стремлюсь дать им глоток свежего воздуха, помочь их освобождению. Сегодня я выступаю здесь в первую очередь ради них, поскольку читатели всегда будут значить для меня гораздо больше, чем писатели.

■

Не нужно строить иллюзий относительно общего числа латиноамериканских читателей. За счастливым исключением Кубы, оно незначительно по сравнению с огромными массами населения, полностью или частично неграмотного. Но эта более чем неутешительная картина в последние двадцать лет меняется: увеличивается, и подчас очень резко, количество читателей, пристально следящих за произведениями наших писателей. Среди них уже давно преобладают те, кто в чтении ищет не только развлечения или забвения. С каждым разом отношение читателей к литературе становится все более критическим и требовательным. Они стремятся объединить ее с конкретным жизненным опытом, сделать частью своего существования. Когда они читают книгу, они сопоставляют ее со своей душой и с окружающим миром. Закрывая книгу, такой читатель просыпается, как Старый моряк Колриджа, «другим — умней, грустней». Грust-

ней — из-за хорошо всем известных политических причин и умней — так как наша литература с каждым разом становится все более способной помочь ему осознать эти причины и противостоять им. В подтверждение своей мысли приведу лишь один простой пример, хотя их количество, к сожалению, можно увеличить до бесконечности. В 1977 году я опубликовал в Испании сборник рассказов [1], одновременно он должен был выйти в Аргентине. Но так называемое «правительство» моей страны уведомило издателя, что книга может быть опубликована только в том случае, если я соглашусь изъять два рассказа, которые были расценены как направленные против режима. В одном из них, не содержавшем ровно никаких политических аллюзий, говорилось о человеке, неожиданно исчезнувшем в каком-то из учреждений Буэнос-Айреса. Этот рассказ показался опасным военной хунте, потому что ежедневно в Аргентине исчезают люди, о которых потом уже никому не удается что-либо узнать. Подобные исчезновения, так «удачно» придуманные, сменили убийства посреди улицы. Правительства Чили и Аргентины и солидарные с ними режимы довели до совершенства технику демагогии и обмана, которая, с одной стороны, позволяет им делать вид, что и они ничего не знают о судьбе исчезнувших, с другой — самым жестоким образом поддерживать надежды родственников и друзей. Если говорить о писателях, то именно такова судьба аргентинских романистов Гарольда Конти или Родольфо Уолша. Но цитировать известные имена — все равно что цедить по капле воду в сосуд, полный до краев. Он полон других имен, почти всегда неизвестных в наших кругах,— имен рабочих, политических и профсоюзных лидеров, к ним добавляется нескончаемый перечень имен адвокатов, врачей, психиатров, инженеров, физиков. Те случаи, о которых рассказывается на страницах европейских газет,— лишь капля в море по сравнению с действительностью. Их количество может уменьшиться под напором международного давления, но конца им еще не видно, так как существуют условия, вызвавшие их к жизни. Достаточно сказать, что руководители военной хунты подали в отставку, чтобы иметь возможность как гражданские лица возглавлять правительство еще до 1981 года. Но независимо от того, надета на них форма или нет, у власти по-прежнему те же люди, и именно они несут за все ответственность.

Второй запрещенный рассказ говорит о моем тайном посещении в 1976 году общины в Солентинаме, в центральной части Никарагуа. В рассказе нет ничего, что касалось бы впрямую правителей аргентинской хунты, и тем не менее они почувствовали себя задетыми правдой о том, что происходит сегодня в латиноамериканских странах. Кроме того, рассказ этот оказался печально пророческим: год спустя после того, как он был написан, войска диктатора Сомосы разрушили и сровняли с землей эту необыкновенную христианскую общину, во главе которой стоял один из крупнейших латиноамериканских поэтов, Эрнесто Карденаль. Я не приношу извинения за то, что в качестве примеров ссылаюсь на собственный опыт: это лишь зеркальное отражение множества других запретов, от которых страдают читатели и писатели в странах Латинской Америки.

Несмотря ни на что, мы всегда найдем возможность писать и даже печатать свои книги. Но по другую сторону стены находятся люди, которые, читая наши книги, подвергаются опасности. По другую сторону стены находятся те, у кого один источник информации — официальный. По другую сторону — поколение детей и подростков, из которых, как это происходит в Чили, стремятся вырастить образцовых фашистов, фанатично распоряжающихся высокими словами, такими, как «родина», «национальная безопасность», «дисциплина», «порядок», «бог», список можно продолжить,— словами, призванными укрыть подлинную реальность. О рыбаках и крестьянах Солентинаме, чилийских детях, замученных и пропавших без вести в Аргентине и Уругвае — о каждом по отдельности и всех вместе,— именно о них, а не об интеллектуалах думаю я прежде всего сегодня, о кругах ада, каким является сегодня южная часть Латинской Америки. И конечно, для меня это не просто литературная тема, а единственный глубинный смысл и оправдание моей миссии писателя — чувствовать себя ближе к людям, чувствовать себя не совсем бесполезным.

■

К сожалению, мы знаем, сколь относительна эффективность писательского труда

[1] Рецензию Е. Огневой на сборник «Тот, кто здесь бродит» см. в «ИЛ» № 8, 1978.

перед лицом безграничной власти в любом из ее проявлений. Я хочу поглубже разобраться в диалектике взаимоотношений писателя и читателя как неотъемлемой части нашего ремесла. Некоторое время назад наряду с другими мифами гуманизма было распространено достаточно оптимистическое убеждение, что культура может быть отождествлена со свободой и счастьем. Но это не сняло с нас, писателей, ответственности перед читателем. Мы уже не соответствуем романтическому представлению о писателе как о мессии, уже никто не верит Шелли, что поэт — первый законодатель. Наша работа теперь лишена ореола, но — почему бы не признаться в том? — стала более сложной и неопределенной. Читатель теперь предстает перед нами как расплывчатая смесь ума, чувствительности, исторической и политической причастности, отчуждения, молчаливого ожидания и требовательности.

Раньше читатель ждал, пока случай пошлет ему в руки книгу. Сегодня с помощью множества прямых или косвенных способов он ее в состоянии потребовать. Латиноамериканский писатель, достигший определенной популярности и известный своими демократическими убеждениями, живет, осаждаемый почтовой корреспонденцией, чаще всего содержащей гораздо больше просто критического комментария. Она отражает настойчивое желание диалога, ничего общего не имеющего с пассивным восхищением, столь знакомым писателям в другие периоды истории и литературы. Многие из нас ежедневно сталкиваются — иногда с радостью, подчас с тревогой и смятением — с тем, что читатели обращаются к писателю с требованиями, выходящими за рамки литературы. У нас уже нет читателей наподобие тех, кто умолял Чарльза Диккенса оставить в живых любимую героиню. Требование латиноамериканского читателя носит в первую очередь личный характер, он ждет от писателя ответственности. Например, в ряде случаев речь может идти о вовлечении его в политическую борьбу. Но гораздо большее значение имеет настойчивое желание читателей увидеть в поведении писателя нечто сближающее их. Опубликовав произведение, писатель сделал первый шаг к тому, чтобы его политические симпатии были достаточно прояснены. Читатель знает, к кому он обращается. Очевидно, что аргентинец, хорошо представляющий, что значит режим военной хунты, не будет тратить деньги на марку, чтобы отправить письмо Хорхе Луису Борхесу [1]. Но этот первый шаг к тому, чтобы выразить свои политические взгляды, никогда не удовлетворяет большинство наших читателей. Их письма и вопросы отражают такое требовательное стремление к общности, выходящей за рамки литературы и культуры, что судьбы писателя и читателя оказываются связанными воедино. Нетрудно догадаться, что эти поиски контакта читателей с писателями своего континента умножают ярость и недоверие диктаторских режимов по отношению к тем и другим. Когда хунта Пиночета сжигала тысячи книг на улицах Сантьяго, она сжигала не просто бумагу, не просто романы или стихи. На свой лад она сжигала читателей этих книг и тех, кто их написал.

■

Эти жадные и неуверенные поиски общности между латиноамериканским читателем и писателем, это бросающееся в глаза ожидание чего-то сверх литературы отягощают нашу совесть до такой степени, что максимальной отдачи наших творческих возможностей сегодня уже недостаточно. Одним из результатов этого в Латинской Америке стали заявления деятелей культуры, выступающих за «простую» литературу для «простых» людей. Да, читатель ждет от нас других, внелитературных форм присутствия в современном мире. Было бы легко ответить на эту надежду литературной демагогией, патернализмом, возомнить себя духовным пастырем своего народа. Но ведь речь идет не о пассивных читателях, подписчиках «Ридерс дайджест», безропотно поглощающих очередной ежемесячный бестселлер. Даже самые простые читатели, самые неискушенные из них, интуитивно чувствуют, что литература нечто большее чем просто развлечение. Они ждут книг, способных поразить их, заставить по-иному взглянуть на мир, по-иному чувствовать. Кроме того, если авторы — их соотечественники, они хотят, чтобы те были им близки и в историческом смысле, они хотят видеть в них братьев.

В Мексике, Венесуэле, Коста-Рике я читал лекции о литературе перед широкой аудиторией

[1] Хорхе Луис Борхес (род. в 1899 г.) — крупный аргентинский писатель, входивший за последние годы в контакты с военными режимами Латинской Америки.

торией, состоявшей главным образом из университетских студентов и молодых писателей. А когда наступало время, отведенное для бесед, каждый из них обращался ко мне как читатель, неудовлетворенный и ищущий, для которого литература — часть жизни, а не досуга, часть политики и истории. И пожалуй, никогда я с большей силой не чувствовал разницы между этим типом латиноамериканского читателя и читателями тех стран, где еще сохранилось отношение к литературе только как к искусству. Для Латинской Америки такое занятие, как писать романы и читать их, с каждым днем все больше приобретает характер внелитературной деятельности, хотя наиболее удавшиеся наши произведения и не отражают прямо идеологическую или политическую платформу. Писать и читать становится способом существования, поскольку в диалектике отношений читателя и писателя, которую я пытался обрисовать, читатель настолько глубоко воспринимает полюбившуюся книгу и настолько глубоко переживает ее, что произведение становится частью его личного жизненного опыта. В последние двадцать лет литература наших стран получила довольно обширную читательскую аудиторию, что далось не просто. В произведениях Неруды, Астуриаса, Карпентьера, Аргедаса [1], Карденаля, Гарсиа Маркеса, Варгаса Льосы и многих других читатель увидел не только литературу, хотя их книги не всегда содержат ярко выраженную идеологию. Читатель нашел в них скорее вопросы, чем ответы, но вопросы, обнажающие нашу действительность; нашел отражение своей самобытности, как воду для питья и тень деревьев на выжженной зноем дороге. Кроме того, он нашел писателей, в которых увидел братьев и нашел возможность контакта, столь необходимого ему. Все это ему дали и продолжают давать писатели — названные мною и многие другие,— поскольку они как латиноамериканцы чувствуют свою ответственность перед обществом и перед искусством и не стремятся уклониться от нее.

■

Писателю нет нужды искать ситуации, когда бы он мог заявить о своей ответственности. Слишком часто ему приходится сталкиваться лицом к лицу с унижением, насилием и даже геноцидом, физическим и культурным. В эти дни газеты сообщают, что посол Соединенных Штатов передал военной хунте Аргентины список политических заключенных, составленный информационными службами этой страны. Он насчитывает десять тысяч человек. Здесь уместно вспомнить об иронии, одном из наиболее сильных литературных приемов. Действительно, разве не исполнен иронии тот факт, что этот огромный список составлен империалистической страной, чье стремление подавить и подчинить Латинскую Америку хорошо известно? Разве не исполнено иронии то, что государственная система, оказавшаяся способной сыграть решающую роль в падении демократического правительства Народного единства в Чили, теперь стремится пролить свет на чудовищное убийство Орландо Летельера [1] и после открытой поддержки стольких военных диктатур возмущается количеством политических заключенных в Аргентине? Наверное, процесс забывания является не только гигиенической необходимостью человеческой памяти, но и может служить бессовестному искажению правды. Слишком забывчивых я хотел бы отослать к материалам Второго трибунала имени Бертрана Рассела [2], который в течение нескольких лет собирал неопровержимые свидетельства американского вмешательства в дела стран Латинской Америки. Я напоминаю об этом еще и потому, что хочу сказать: очень часто писатели реально могут ответить на исходящее от их читателей требование внелитературной деятельности, о котором я говорил раньше. В работе этого трибунала приняли участие три латиноамериканских писателя, чьи произведения ничего общего не имеют с политической литературой. Я говорю об Армандо Урибе, чилийском поэте и дипломате, Г. Гарсиа Маркесе и о себе. Думаю, что для многих из наших читателей эта длительная работа собирания обличающих свидетельств и документов стала проявлением той активности, какой они ждут от нас—помимо наших книг. В любом случае я знаю, что могу продолжать писать самые утонченные произведе-

[1] Хосе Мария Аргедас (1911—1969) — известный перуанский писатель.

[1] Орландо Летельер — министр труда в правительстве Сальвадора Альенде, убитый в США в 1978 г.

[2] Международный трибунал по расследованию военных преступлений во Вьетнаме создан в Лондоне в 1966 г. (почетный президент — Бертран Рассел). В 1973 г. в Брюсселе был создан Второй международный трибунал («Рассел II») — для расследования преступлений США в Латинской Америке.

ния и не бояться, что читатели обвинят меня в эскепизме. И все же моя совесть не может быть спокойной, ибо возможности писателя — ничто по сравнению с той атмосферой ужаса и террора, в которой живут сегодня страны южной части континента. Тем не менее мы должны продолжать неустанно искать новые средства интеллектуальной борьбы. Эта конференция ПЕН-клуба позволяет мне передать сейчас послание, которое будет тщательно изучено цензурой моей страны и стран, соседних с ней, однако же — как это всегда бывает — оно пробьется к тем, кто любит литературу, читает наши книги и ждет от нас чего-то большего, чем прекрасные истории, изысканные стихи и неопубликованные произведения.

Перевод с испанского Н. МАТЯШ

ЭРВЕ БАЗЕН

Известный французский прозаик и поэт. Президент Академии Гонкуров. Лауреат многих литературных премий. Советскому читателю знаком по переведенным на русский язык романам «Гадюка в кулаке», «Смерть лошадки», «Встань и иди», «Ради сына», «Супружеская жизнь». В «Иностранной литературе» напечатаны романы «Крик совы» (№ 9—10, 1974) и «Анатомия одного развода» (№ 2—3, 1977).

ВО ЧТО Я ВЕРЮ

Фрагменты книги. Перевод с французского и вступление Льва Токарева.

Творчество Эрве Базена, одного из ведущих писателей современной Франции, хорошо известно советским читателям и в рекомендациях не нуждается. Мы знаем разного Базена — острого прозаика-реалиста, оригинального поэта, блестящего эссеиста, крупного — он президент Академии Гонкуров — общественного деятеля, который не жалеет своего драгоценного писательского времени на самое благородное дело эпохи — борьбу за мир. Писатель, по его словам, это «офицер армии, сражающейся за мир», он не имеет морального права погружаться в изыски «искусства для искусства», потому что сегодня слишком велика мера его ответственности перед обществом и будущим. Не случайно, что именно Э. Базену выпала честь произнести вступительное слово на международной встрече писателей в Софии, проходившей под девизом «Дух Хельсинки и долг мастеров культуры».

Эрве Базен — художник на редкость постоянный в своих темах: это семья и проблемы воспитания молодого поколения (красноречивы сами названия его романов — трилогия «Семья Резо», «Супружеская жизнь», «Анатомия одного развода», «Ради сына», эссе «Конец приютов»). Буржуазная французская критика, признавая силу и своеобразие его таланта, причисляет Базена к писателям «семейной темы» и, устами критика Пьера де Буадефра, объявляет его «успокаивающим». Опровержением этой попытки выхолостить социальный критицизм Базена служит его книга «Во что я верю», где писатель со страстью публициста размышляет о главных проблемах, возникающих в современную эпоху перед человеком Запада. Читая ее, мы открываем нового Базена — писателя большой философской и научной культуры, стоящего «в просвещенье с веком наравне» и рисующего убедительную картину кризиса капиталистической цивилизации.

«Никто больше по-настоящему не верит в западный капитализм»,— заявляет Э. Базен, утверждая, что «движение к социализму захватывает всю планету». «Социалистом я был,— пишет он,— социалистом остаюсь. Я настолько убежден в социалистическом будущем мира, что оно у меня не вызывает никаких сомнений...» Следует по достоинству оценить гражданское мужество Эрве Базена, выступающего против «самых скандальных» изъянов буржуазного общества — голода, неуверенности в будущем, невежества, нищеты, несправедливости. Весь буржуазный миропорядок писатель обвиняет в несправедливости.

Эрве Базен много писал и пишет о семье и молодежи (здесь он наиболее компетентный судья, и поэтому мы решили предложить читателям эти главы из книги «Во что я верю»), об освобождении женщины, о космической эпопее человечества и проблемах социального будущего Европы. «...Семья,— писал Фридрих Энгельс в книге «Происхождение семьи, частной собственности и государства»,— дает нам в миниатюре картину тех же противоположностей и противоречий, в которых движется общество, разделенное на классы со времени наступления эпохи цивилизации, и которые оно не способно ни разрешить, ни преодолеть»[1]*. Справедливость мысли Ф. Энгельса особенно ярко оттеняется рассуждениями современных буржуазных социологов и публицистов о «кризисе семьи». Но суждения их не выходят, как правило, за рамки капиталистических отношений.*

Анализируя «кризис семьи», отмечая те многочисленные перемены, которые в ней сейчас происходят, Эрве Базен приходит к выводу, что «кризис семьи следует из кризиса общества». Он не говорит, что лишь социалистическое общество способно создать подлинно человеческую семью, но внимательный читатель, познакомившись с меткими наблюдениями Эрве Базена, сумеет прийти к этому заключению.

Необходимо особо сказать об одном весьма важном качестве мировоззрения Э. Базена — его вере в разум и науку. В наши дни, когда множество западных философов, публицистов и писателей пытаются убедить человечество в бессилии интеллекта и тщете научного знания, Э. Базен слагает настоящий гимн разуму и прогрессу. Вопреки мрачным пророкам, предсказывающим скорую гибель мира и человека, писатель утверждает: «Я действительно не верю в мировую катастрофу. Не верю я также в наступление какого-то научно-фантастического мира, населенного управляемыми человекоподобными существами. Если я неточно представляю себе третье тысячелетие, столь близкое и все-таки обрисованное футурологами на сотни разных ладов, то я думаю вместе с Дени Ружмоном[2]*, что это неважно, так как «мы должны не гадать о своем будущем, а работать ради него»*

Книга эссе Эрве Базена «Во что я верю» пронизана пафосом будущего, истинным демократизмом и глубокой убежденностью в громадных возможностях человека и творческого труда.

Это краткое предисловие хочется закончить словами Эрве Базена из выступления на Софийской встрече писателей. «Мы — друзья читателей, доверенные народа,— сказал он.— Никто не находится в более выгодном положении, чем мы. И как ни опасно подорвать это положение, мы не можем не рассматривать его как боевой пост, как обязательство бороться против всего, что порождает ненависть, взять слово от имени тех, кто страдает молча. Наша миссия — мандат, благодаря которому писатель, даже второстепенный, будет щедро вознагражден, внезапно вознесшись на такие высоты, где решаются судьбы Вселенной».

В джинсовой униформе

Я знаю, что в наши дни звание отца еще не дает права судить о проблемах молодежи. Если даже (вот именно «если», скажут некоторые) вам повезло и у вас нет причин чувствовать себя перед ней виноватым, вас сразу же заподозрят в неискренности или слепоте, вам заявят, что исключение подтверждает правило, что ваша личная удача не должна делать вас глухим к крикам поколения, которое впервые (?!) в истории уже не ограничивается конфликтом со старшими, а полностью отвергает их наследие.

Тут можно было бы многое возразить. Прежде всего, что всех сбивают с толку шумные выступления многочисленных групп, которым вторит лживая болтовня средств массовой информации, что следовало бы узнать и точку зрения «молчаливого большинства». У каждого чуткого родителя есть на этот счет кое-какие мысли, почерпнутые не из теории, а из практического опыта. Неужели наши дети асоциальны? Я так не считаю. Они принадлежат к другому обществу или о нем мечтают. Доктор Мендель утверждает: в подсознании наших сыновей авторитет и власть не олицетворяются больше в образе «отца-миротворца» — символе защитника жизненных ценностей, а, наоборот, предстают в образе «матери — технологической мощи, создающей «новую природу», перед которой человек чувствует себя столь же беспомощным, как дикарь в джунглях каменного века». Это поспешное и соблазнительное, хотя и несколько упрощенное объяснение. В нем одновременно содержатся и угроза возврата к варварству (которое наши дети будто бы предпочитают цивилизации), и вызов (обладатель скромного родительского опыта мог бы заметить его даже в рамках семьи).

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 21, стр. 70.

[2] Дени де Ружмон (род. в 1906 г.) — швейцарский эссеист и общественный деятель, автор книги «Любовь и Запад» (1939). Проблемам будущего посвящены книга Д. де Ружмона «Судьба западного человека» (1957) и ряд других.

Но пусть бархатные рукавицы, в которых держат молодежь, облекают живые человеческие руки, а не железные! Пусть воспитание, внушающее молодежи идеи общности (сначала семейной, потом — социальной), с раннего возраста прививает ей чувство ответственности и критический дух! Не прибегая ни к наукообразной терминологии, ни к примерам из времен неолита, все родители, достойные этого имени, скажут то же самое.

■

Родители (по крайней мере, самые смелые) также отметят, что тенденция к «ниспровержению устоев» родилась не вчера и что во Франции она стала отчетливо заметной с 1789 года и сделалась постоянно действующим фактором, несмотря на периоды застоя и спадов; что, пока существует несправедливость — это воплощение лернейской гидры с обрубаемыми и вновь вырастающими головами, всегда найдутся причины для социального протеста; что, подобно Гераклу, нынешнее молодое поколение жаждет покончить с гидрой и одним махом снести все ее головы. Это поколение противостоит нам, взрослым, потому что мы в свое время только ранили чудовище, а потом лишь вяло от него оборонялись... Хотя такая позиция и раздражает, но что может быть привлекательнее? И более оправдано? Протест молодых вызван не просто их великодушным возмущением при виде современного мира, где три четверти населения земного шара затягивают пояса, с горечью глядя, как объедаются остальные. На этот протест молодежь толкает само ее положение, которое, несмотря на предоставленные людям моложе 25 лет льготы (а часто благодаря этим льготам, плохо распределяемым, недостаточно продуманным), с каждым днем усложняется. «Надо сказать молодым: их роль состоит в том, чтобы учиться, а следовательно — ждать»,— высокомерно изрек один из моих собратьев, чьего имени я из милосердия не назову. Чему учиться, чего и до каких пор ждать? Кто сегодня может игнорировать споры о содержании образования, ставшего частью сомнительным, частью устаревшим, в котором, словно в толще пустой породы, погребены от десяти до сорока процентов, в зависимости от научной дисциплины, подлинного знания? Кто может отрицать, что нам не хватает научно-технических кадров, между тем как мы выпускаем тысячи молодых людей с дипломами, не имеющих никакой надежды найти работу по специальности, соответствующую их образованию? Кому неведома растерянность молодежи, неспособной обрести свое место (как находили его в свое время мы) в обществе, где круги клерикалов, корпорации, сложившиеся в сферах искусства и мысли, забивают все вакансии «полутрупами»?..

Никогда ранее молодежь не была вынуждена так резко трясти дерево, и никогда за него так крепко не цеплялись...

Движения, подобные «ювентизму» или бунту 1950 года, могли показаться несерьезными. Совсем иначе они выглядят сегодня, когда презрение молодежи к родителям возросло: в их глазах они прежде всего — преграда. А презрение порождает дерзость, подрыв основ. И отказ приобретать традиционный социальный опыт, узаконивающий нынешнее статус-кво. И отрицание устоявшихся ценностей, а с ним и дополнительную причину для пренебрежительного отношения к их носителям. Этим же объясняется и безумный успех любой новинки в надежде на ее «подрывную силу», и восторженный прием, оказываемый талантам прежде всего спорным, но содержащим «свежие нейроны»...

■

Стремительное изменение изучаемых дисциплин сравнимо только с общеизвестной нестабильностью самой системы образования, которая без конца (метод быстрого «обзорного» чтения, современная математика, форма сдачи экзаменов) перестраивается, над которой без конца и с полной безответственностью экспериментируют, словно над морской свинкой. Среднее и высшее образование, широко доступное (лицемерно доступное) для всех, превращается в систему тупиков, куда заталкивают всех подряд с расчетом на худший вид отбора — упадок духа и фабрикуют там на всех уровнях полчища озлобленных людей, которые не скоро простят обществу, что потратили так много усилий ради того, чтобы в конце концов примириться с положением, далеко не отвечающим их запросам.

Но больше, чем образования (оно полно недостатков, но хотя бы существует), сегодняшней молодежи не хватает воспитания. Курс гражданского воспитания исчез из программ. Семье следовало бы взять его на себя! Между тем семья продолжает просто растить детей (то есть поднимать от 50 см — рост младенца — до 1 м 75 см). Воспитывать детей — совсем другое дело. До сих пор воспитание основывалось на своего рода бухгалтерии, часто двойной: добро и зло, иметь и быть должным. Во имя свободы совести (разумеется, собственной: речь не шла о свободе совести ребенка) родители считали естественным внушать своему потомству смесь неразличимых для ребенка убеждений и познаний, которые делали из него духовного наследника. В ослабленной форме

это еще существует в религиозных семьях (и в некоторых других, где можно говорить о политическом воспитании). И все-таки родители все чаще склоняются к тому, чтобы снабжать ребенка только пищей, жильем, карманными деньгами и скудным набором понятий, где гигиена занимает куда больше места, чем мораль.

Нет сегодня «великой книги», где были бы записаны обязанности и права, при том что в глазах мало понимающих молодых людей последние стали преобладать. Доверять мне всегда казалось прекрасным. Но сегодняшние родители уже не колеблются, как прежде, в зависимости от своего темперамента, между недоверием и доверием, они делают выбор между доверием и сдачей позиций. То, что они не способны точно определить для самих себя, они так и оставляют нерешенным. Они довольствуются тем, что делают ставку на поддержание привычек, на заразительность личного примера, на «узы нежности». Они опасаются проявлять требовательность, радея о сохранении покоя в семье, и случается, что простачки, «удачные дети» подтверждают их правоту. Однако молодые люди часто оказываются более восприимчивыми к воздействиям того параллельного воспитания, которое ежесекундно радио, телевидение, иллюстрированные журналы, кино, реклама, афиши, пластинки, компания приятелей, пляж, метро, улица осуществляют с агрессивной настойчивостью и с презрением к терпимости, щедро изливая на них пеструю мешанину идей, восхваляющих молодость, сексуальность, независимость.

Принимая эти надменные «молодость, сексуальность, независимость», молодежь — что бы там ни говорили — очень редко переживает их под знаком вызова обществу! А мы, считающие себя терпимыми, обращаемся к нашим воспоминаниям, старым запретам, сдерживавшим нас в свое время, и утверждаем, что молодежь их нарушает. Она, естественно, делает то, что нам запрещали обычаи и нравы, которых мы и не узаконили, и не защитили. Молодежь не знает колебаний, а значит, и никакой благодарности нам за нашу уступчивость. Кто удивляется этому, те забывают, что молодые люди верят, будто они сами выдумали свои свободы и тем самым их заслужили. Они забывают также, что современная молодежь быстрее созревает, но дольше зависит от старших из-за удлинения срока обучения, и потому их независимость относительна, ограничена самой несносной из всех видов зависимости — материальной. Самые ловкие ее представители прекрасно понимают, что проповедующее терпимость современное общество предлагает четыре возможные позиции.

Первая, официальная, прокламирует необходимую либерализацию.

Но вторая о ней умалчивает: ведь легче и спокойнее закрывать на все глаза, чем осуществлять контроль и навязывать молодежи, что ей делать.

Третья скромно признается: все, что мы позволяем молодежи, мы, разумеется, вправе позволить и себе.

Четвертая таится в подсознании, но, без сомнения, она наиболее действенная. Речь идет о сделке: «Этот мир перенаселен, дорогие детки! Не надо конкурировать друг с другом. Оставьте нам проблемы действительности, должности, звания, банковские счета. Себе же возьмите красоту, здоровье, приключения, удовольствия и любовь. Пойте, кричите, танцуйте, катайтесь на лыжах, бегайте, флиртуйте, надейтесь — все это заполнит ваше время, скрасит вам ожидание».

■

Я не утверждаю, что молодежь всегда права. Или что она решительно во всем неправа... Я думаю, что ей щедро льстят, одновременно пренебрегая. С притворной улыбкой смотрят на дерзкие выходки молодых людей и реагируют на их беспорядочные половые связи мнимым спокойствием и противозачаточными пилюлями, тогда как главная проблема в том, чтобы включить молодежь в общественную жизнь, дать ей средства, работу, вернуть ей чувство ответственности и достоинство.

Поколение переходной эпохи пытается найти свое место между двух миров, уходящего и нарождающегося: оно должно приспосабливаться в одиночку, под ударами коренного изменения идей и нравов, отношений между девушками и юношами, детьми и родителями, учителями и учениками. Оно бесстрашнее нас, людей, которые в подобных условиях наверняка добились бы меньших успехов.

Разумеется, на молодежь нужно смотреть трезво. Ей в самом деле часто не хватает серьезности, скромности и даже чувства юмора (о чем только не разглагольствуют они без тени улыбки!).

Да, они не поняли (а поняли ли мы? — перечитайте по этому поводу Камю), что не все позволено, так как возмездия почти не осталось в этом мире и совсем не осталось в мире ином; что мера человека есть человек, что свобода обязывает и ценна лишь дисциплиной, которую мы налагаем на себя добровольно.

Да, молодежь сильно ошибается, полагая, будто настоящее ничем не обязано прошлому и имеет дело только с будущим.

Да, следовало бы помешать им с доверием относиться к губительным соблазнам разрушения. Эволюция — это цепь. То, что разрушают (вместо того чтобы усовершенствовать), возрождает-

ся еще труднее, чем вырубленный тропический лес, почва которого сразу же латеритизуется. Не существует познания и культуры, способных полностью отбросить предшествующую инфраструктуру (здесь прав Маркс, а не Маркузе).

Да, молодым людям свойственны странные иллюзии. Новизну, к которой они фанатично привержены, они путают с модой и изменчивостью. Природа, к которой они без конца взывают, — это не тихое прибежище: человек уже необратимо преобразовал ее, а она не желает человеку ничего — ни добра, ни зла; она будет такой, какой ее сделает человек, а не наоборот. Жестокость, насилие — не выход, потому что оно влечет за собой новое насилие. Праздник — это не образ жизни, ибо нас радует только контраст.

Да, своими вытертыми, заштопанными джинсами с бахромой молодые люди (как монах своей рясой) симулируют бедность, имея в действительности уровень жизни и питания, перед которым бледнеет от зависти «третий мир». Да, они носят эту униформу так же, как усваивают особый язык, лозунги (с неизменным «против»), предрассудки (вывернутые наизнанку), порывы, манеры, благодаря чему они узнают друг в друге верных адептов обширного сообщества, чем-то похожего и на лигу взаимопомощи, и на буйную толпу, и на театральную труппу.

Да, молодость страдает от сознания своей недолговечности и заранее себя жалеет (до сих пор это было свойством старости). Когда я был юным, я чувствовал себя почти виноватым в этом; я убеждал себя: «Это трудное время надо перетерпеть. Потом я стану сам себе хозяин, заживу полной жизнью» (так оно и случилось). Сегодня молодые люди думают совсем иначе. Они чисты, ни в чем не погрешили против общества, они его архангелы, обреченные загубить себя и, став взрослыми, быть низринутыми с небес; им ненавистен тот облик (наш), который они неотвратимо обретут через двадцать лет.

Однако не будем преувеличивать. У нас нет причин ни слишком гордиться собой, ни, впрочем, чрезмерно себя стыдиться, ведь наши промахи порождены условиями нашего бытия. Но нам еще случается поздравлять себя с тем, что они суть тоже наши дети, сегодняшний этап бесконечной молодости человека, требующий от них такого терпения (действительно, полезно вспомнить, что двадцать лет — это возраст старой лошади и два собачьих века). Воспитывая своих шестерых детей, я сталкивался и буду еще сталкиваться с общими трудностями, смягченными долей удачи и накопленным умением. Я опасался, что узнаю себя в своих детях. Но этого не случилось. Среди них нет ни одного бунтаря! Мои дети — это всего лишь шесть образчиков того, что может предложить лотерея характеров. Общение с моими детьми, а также с их сверстниками убеждает меня в одном: молодые люди не более трудновоспитуемы, чем когда-то были мы сами; они — иные, и, как всегда, им присущи все достоинства их недостатков.

Прежде всего они намного проще нас, откровенны, искренни. Они владеют даром слова и играют в открытую. Будучи при этом сдержанными и не мелочными, они умеют молчать, но почти не способны лгать. А лицемерие у них совсем исчезло.

Они подлинные эгалитаристы без малейшего насилия над собой, они равнодушны к званиям, связям, престижу высокородности и тем шелковым коконам, которые заботливо ткут вокруг них наши семьи и которые они с удовольствием разрывают. В бережливости они видят не больше смысла, чем в скупости: они с легкостью делятся всем, что имеют, и не питают никакого уважения к деньгам. Их интересует не обладание, а бытие, не престиж, а полнокровная жизнь.

Молодежь упрекают в чувстве стадности, а я склонен видеть в ней открытость, интерес к окружающим, ко всему, что они могли бы дать друг другу. Определенную роль здесь играет их долгое пребывание в учебных заведениях, равно как совместное обучение объясняет простоту в отношениях между девушками и юношами, для которых больше не существует «противоположного пола». Я не уверен, что они спят друг с другом намного чаще, чем взрослые[1]. Я сомневаюсь, что они видят в этом, как уверяют неисправимые аналитики, «освобождающий акт» или «обряд инициации». Мне кажется очевидным, что они предаются этому простодушно, освобождая половое общение от излишнего на их взгляд драматизма (миф о Дон Жуане умер), предпочитают жить вместе по взаимному влечению, узаконивая или нет в конце концов свои попытки (я пишу это слово во множественном числе, хотя оно все еще, и очень часто, остается в единственном).

Но больше всего мне кажется симптоматичным в нынешней молодежи, что почти вся она стоит на стороне справедливости. Каким бы естественным это им не казалось, но у детей состоятельных родителей появилось новое чувство — они, за редким исключением, стыдятся своих преимуществ и объединяются с

[1] Не следует доверять предвзятым идеям. Недавно в одном американском университете в стенном шкафу был обнаружен труп новорожденного. В поисках детоубийцы все студентки были подвергнуты медицинской экспертизе. Поразительная вещь! Две трети из них оказались девственницами.

бедными и эксплуатируемыми против своих же интересов. Пусть для некоторых это просто выигрышная поза, последствие моды или осторожности. Но это — особые случаи. Если такое широкое движение, не имеющее ничего общего со случайными и разрозненными взрывами, объединяет столько длинноволосых голов, принадлежащих ко всем социальным слоям страны, то оно не только предвещает падение общества, порицаемого молодежью, оно доказывает также, что несмотря на свои недостатки, несмотря на зубовный скрежет тех, кого она тревожит, эта молодежь ничуть не хуже любой другой, что ей можно передать эстафету будущего.

Иметь семью!

Подобно всем людям, я знал два вида семьи — ту, где я родился, и ту, что я создал. В авторитарную эпоху, когда родители обладали еще божественным правом, мне, подростку тридцатых годов, довелось испытать жесткую требовательность родной семьи. Семья, созданная мной, перевернула это положение, и, будучи отцом уже во второй половине XX века, я познал на опыте, сколь мало почтения внушает это звание. Обманутый и в родительской семье, и в своей собственной, я должен был бы утратить вкус к «семейному счастью». Все же, невзирая на весьма скромные природные способности к нему, я трижды пытался преуспеть, терпел неудачи, начинал сначала, и в итоге все не так уж плохо сложилось. Более того! Взгляды В. Рейха[1], который карикатурно изображает семью как порочный источник всякого угнетения, или Олвина Тоффлера[2] и его соперников, пророчащих распад семей и появление «лоскутных семей», не вызывают у меня ни малейшего желания с ними соглашаться.

■

Что же такое семья? Я не силен по части восхваления добродетелей семьи. Однако следует сразу же сделать оговорку в ее пользу: если брак является государственным институтом, то семья имеет совсем иные истоки. Ее структура двойственна, в ней присутствуют два начала — животное и человеческое.

Первая по времени и уже предсоциальная животная структура освящала господство примата-самца над самкой и ее потомством. Позже возникшая человеческая структура — моногамная, полигамная, полиандрическая — была многообразной, знала сотни форм; на Западе долгое время она была христианской и феодальной; теперь мы имеем буржуазную семью, которая в силу связанных с ней факторов: имущества, общего хозяйства, уровня культуры, занятости и связей — стала одним из главных устоев, отрицать этого нельзя, классовой системы.

Протест против семьи направлен, следовательно, по двум руслам: перестройки ее человеческой сущности путем устранения экономических придатков и реформы животной структуры, сохраняющейся с эпохи антропоидов, путем постепенного перехода от иерархии к равенству. Реформа вовсе не противоестественна, поскольку эволюция — закон природы — для нас стала психосоциальной, а «поиск иной организации» есть не что иное, как история.

Напомним все же противникам семьи, что она никогда не смешивалась со своими различными вариантами: племенной семьей, патриархальной, родовой, кланом — средоточием перекрещивающихся поколений, семьей-общиной, ячейкой, состоящей из пары и ее детей. Существуют семьи без женщин и семьи без мужчин: для образования семьи достаточно усыновления; семья возникает с того момента, когда одно поколение воспринимает и воспитывает следующее.

Напомним также, что если животному (зяблику, тигру, жабе, человеку...) необходима территория, то есть определенное жизненное пространство, различное в зависимости от вида и служащее основой собственности (или, точнее, обладания) и сосуществования (речь идет о минимальной потребной территории, которая не может распространиться на чужую), семье необходимо определенное жизненное время, потребное для воспитания потомства. Это жизненное время у человека весьма продолжительно (от трех до двадцати раз больше, чем у других млекопитающих); по-видимому, это и способствовало очеловечиванию, освоению языка и постепенному приобретению знаний. Время это не только не сокращается, но продолжает удлиняться. В средние века взрослыми становились в пятнадцать лет (помните песенку: «Я девушка на выданье, четырнадцать годков...»?). Теперь нужно вдвое больше времени, чтобы подготовить, например, врача, и закон обязывает родителей в отдельных случаях содержать совершеннолетнего отпрыска до двадцати пяти лет. Плодовитая семья несет бесконечную ответственность, и это обеспечивает ее устойчивость.

Между тем в то время как в нашем «обществе потребления» (то есть обществе наслаждения для привилегированных) ширится тенденция к отказу от каких бы то ни было принуждений и обя-

[1] Вильгельм Рейх (1897—1957) — австрийский психиатр, создатель так называемой «сексуально-экономической социологии», теоретик «сексуальной революции», оказавшей сильное влияние на идеологию «новых левых».

[2] Олвин Тоффлер — американский социолог и публицист, автор нашумевшей книги «Столкновение с будущим» (см. фрагменты в «Иностранной литературе» № 3, 1972).

занностей, в частности семейных, психоаналитики и воспитатели в противоречии с ней настойчиво подчеркивают важность наличия в семье обоих родителей как гарантии полноценного и гармоничного воспитания ребенка и его приобщения к миру. «Я слишком изголодался по родителям»,— признался мне однажды приютский ребенок.

Семья сама по себе не более буржуазна, чем дыхание! Когда она обретает независимость от своих экономических форм, можно предвидеть, чем станут родители в условиях растущей разобщенности в городах и централизованных форм обеспечения общественной безопасности. «Семьи, я ненавижу вас!» —восклицал Андре Жид (одну семью он все же завел). Скажем проще: семья — это данность, отрицать которую бессмысленно. Люди не могут без нее существовать и продолжать свой род. Единственно важное заключается в том, чтобы семья не оставалась основной ячейкой неравноправного и несправедливого общества, которое использует ее для самосохранения.

При этом ее внутренняя структура видоизменяется — процесс этот совершается буквально на наших глазах.

В самом деле, почему семья уже не дает полного удовлетворения всем ее членам? Потому что она переживает период ломки, а всякая ломка тяжела.

Тому есть причины общего порядка: стремление буржуазной цивилизации отдавать предпочтение отдельной личности, падение роли религии (ценности религиозного мировоззрения не были заменены другими); миграция сельских жителей, покидающих уютные деревенские общины и тонущих, растворяющихся в массе горожан; неизбежное расщепление семьи (осталось лишь 5% семей, проживающих вместе с дедушками и бабушками); оглушительный натиск рекламы и соблазн богатых витрин при огромной «сексплуатации», которая каждого вынуждает возвращаться домой на «трамвае желания»; вторжение в дом (то есть разрушение интимности быта) посторонних (телевизор), завладевающих вниманием в ущерб сохранности семейного союза; трудность несения культурной и моральной миссии, некогда лежавшей на родителях (сами они больше не убеждены в ее необходимости); сведение роли родителей к обеспечению материального и душевного комфорта; наконец, иная концепция брака, который стал одновременно и подлиннее, и требовательнее к партнеру; наряду с этим почти полностью исчез брак по расчету, уже не кажущийся людям разумным. В прошлом брак, основанный на деторождении и семейных интересах, мог заключаться по взаимной склонности (или, как говорила моя бабушка, «любовь приходила на подушке»), но часто обходился без любви, не подвергаясь при этом сомнению. Сегодня брачный контракт, посещение мэрии, церковный обряд представляются всего лишь внешней оболочкой, а содержанием должна быть любовь, и охлаждение супругов чревато серьезной угрозой отчуждения.

Однако у мужчины, женщины, ребенка, помимо перечисленных общих, существует множество частных причин. Положение мужчины — главы семьи пошатнулось больше всего, потому что он утратил тот ореол святости, какой придавала ему причастность к триаде высших авторитетов (бог, король, отец). Ведь он уже не единственный кормилец (женщина тоже работает); различные виды социального обеспечения, страхования жизни, государственные семейные пособия, детские учреждения снижают его роль. Он перестал быть Глаголом домашнего очага (учитель, радио, телевидение рассказывают детям о мире гораздо больше отца; и если он не обогащает непрерывно свой багаж, то знает меньше своих детей). Полдня отец отсутствует, домочадцы не приобщаются к сфере его занятий, не представляют уровня его профессиональной компетентности (исключения составляют крестьянин и ремесленник), он просто приносит деньги, отвлеченные «денежные знаки». Его физическая сила уже не производит никакого впечатления в эпоху, когда любой мотор сильнее его. Он, как и другие, должен участвовать в домашних работах: мыть посуду, подметать пол. Понимая все это, мужчина часто уклоняется от семейных обязанностей или, ворча, смиряется со своей долей. Он спрашивает сам себя, есть ли у него еще какая-то власть, нужно ли ею пользоваться и если да, то как. Он чувствует себя обделенным, вместо того чтобы ощущать готовность к новой роли и волнующему призванию — стать новым типом мужчины, который обретает самого себя, по-настоящему пытаясь «изгнать» того застарелого беса отцовства и сексуальности, который все еще в нем сидит.

Но, по правде сказать, и женщина в семье тоже еще не та, кем призвана, кем должна стать. Она слишком робко вступает в свои общественные и гражданские права, удивляясь недостаточности своего освобождения; в собственной семье ее положение служит эхом не только справедливых женских требований, но и злопамятности. В политическом и тем более экономическом плане она остается слабой. Женщина как личность прогрессирует, и вместе с тем она остается женой и матерью, что не совсем ясно для ее мужа и, безусловно, совсем неясно для ее детей. По любому поводу она еще чувствует себя виноватой (читайте женские еженедельники); к нынешней «сексуальной свободе» она

приобщается скорее не путем любви, а вызывающим поведением, эротикой, экзистенциальным самоутверждением, выражающим себя подчас просто-напросто в отказе от своего материнского призвания. Женщине нашей переходной эпохи приходится совсем не легко. В своих «сестрах» ее постоянно задевают пассивность одних и нарочитые крайности других.

Повседневные заботы и трудности до такой степени поглощают женщину, что ее размышления о своем уделе между покупками, пишущей машинкой и чисткой картошки принимают форму абстрактных жалоб на судьбу или приобщения к модным лозунгам женского движения. В семье ее место, по сути, не только в объятиях супруга, но и в четырех стенах своей квартиры, она живет со смутным чувством, что нельзя обладать всем сразу, что следует считать себя довольной этим, даже если за любовь и семейный очаг приходится платить, становясь их пленницей. Она ведь знает: сколь бы соблазнительными ни казались иные «возможности», на деле они ненадежны, способны погубить все, чем она дорожит и что одновременно держит ее «в плену». И, наконец, в эпоху, когда обязанности жить также и для себя противостоят тягостные жертвы временем, деньгами, свободой, каких от нее требуют дети, женщине нужно беспрерывно идти на уступки, вечно оказываясь недовольной то одной, то другой половиной своего существа.

Разумеется, и ребенок — сегодня это всем бросается в глаза — не более родителей удовлетворен семьей. Пока он мал, его чаще всего балуют, словно котенка (так легче), и он быстро замечает, что отсутствие твердости (на это указывают и психиатры) есть недостаток внимания к нему. Даже если он растет в семье, где скрытое соперничество полов не разрушило согласия супругов, он будет удивляться тому, что увидит за пределами своего дома: не встречая в большинстве случаев перед собой никаких преград, он привыкает отметать любые преграды, включая и те, которые могли бы послужить ему опорой. Стремление «быть новым в новизне», о чем небескорыстные наставники прожужжали ему уши, с самого детства сделают его требовательным в жизни, при том что конкуренция становится все более свирепой, а сам он не соглашается стать жертвой замкнутого общества, в конце концов состоящего из родителей...

Ясно одно: кризис семьи в частной жизни непосредственно следует из кризиса общества, и оба они должны иметь общее разрешение...

Но самым важным станет то, как отныне поймет свою роль семья: семья, состоящая из равных во всем женщины и мужчины, привыкших к этому равенству, считающих глупостью любой другой тип отношений, не требующих никаких льгот в пользу своего пола, а значит — свободных, дополняющих друг друга, объединившихся без всяких помыслов о классовых и имущественных интересах, спокойных поклонников Венеры, избавленных от противозачаточных проблем и имеющих столько детей, сколько они захотят.

Конечно, трудно предсказать заранее, какими окажутся эти дети: как и теперь, они будут зависеть от темпераментов родителей, ситуаций, событий и т. п. Семья создает растение, заранее обусловленное характером ухода и методом выращивания.

Наше человеческое семя, в силу непредсказуемых комбинаций наследственных и социальных факторов, бесконечно прихотливее, сложнее, непредсказуемее. Не зря поговорка гласит: «сажает, кто хочет, растит, кто может». И все же в какой-то степени мы способны «вычислить» наших детей. Вначале они всегда будут такими, какими их создала природа, — беззащитными, требовательными, нежными и ленивыми, агнцами и волчатами, склонными настраивать папу против мамы и наоборот и в то же время создающими себе идиллическую концепцию родительского союза, потому что он — залог и условие их благополучия. Позднее, после кори и свинки, им предстоит переболеть эмансипацитом, неизбежной и необходимой инфекционной болезнью, против которой, к счастью, нет прививки.

Драма родителей (впрочем, драма ли это? Не будем преувеличивать) заключается не только в том, что они ничего не знают о своем предназначении, о своем родительском ремесле (и это — серьезный пробел в нашем воспитании, такой же, впрочем, как отсутствие всякого соответствующего предварительного образования и квалификации у людей, которым мы вручаем власть в обществе). Эта драма — в наше время, когда любой авторитет предполагает выборность,— сводится к тому, что родители не выбираются детьми, а навязываются самим фактом появления на свет. Это порождает необходимость, с каждым днем все более явную, как бы усыновления родителей детьми. Недостаточно просто носить звание родителей, нужно, чтобы родители были приняты, узаконены собственными детьми. Дети признают нас в отроческие годы; и тогда горе той привязанности, что не основана на уважении!

Откуда же берется это уважение? Законы воспитания, если таковые имеются, казались бы мне отвратительными, если бы я должен был верить Монтескье, утверждающему, что они различны в зависимости от того, преследуют ли они цель развить честь, добродетель или страх. На деле есть только один закон воспитания, уже сформулированный Монтенем: «Того, чего нельзя добиться

разумом... никогда не добьешься силой». К этому, несомненно, следует прибавить, имея в виду родителей, которые слишком многое позволяют своим детям: «Уважайте себя, уважая детей».

Короткая фраза, требующая долгих усилий! Она возбуждает массу противоречий, психологических трудностей. Недавно я нашел в старом номере журнала «Эхо домашнего очага» потрясающие «Десять семейных заповедей», от чтения которых я вас избавлю, но позволю себе опровергнуть их по пунктам. Моя скрижаль заветов для отцов и матерей выглядела бы так:

I. **Каким бы ни был ребенок, он — твой.** Красивые, сильные, умные, здоровые, равно как и те, кто являет собой их противоположность (они-то и бывают часто самыми милыми, самыми дорогими),—все дети для нас одинаковы. Гордость, которую они нам порой внушают, никогда не идет от сердца (и часто дорого оплачивается). Сверх того, избегайте слепо веровать в клише: «Каков отец, таков и сын».

II. **Никогда не приказывай из прихоти.** Не надо бесцельных приказаний. Малыш, который всегда стремится пойти как можно дальше, испытывает абсолютную потребность в авторитете: это — его перила. Не вмешиваться в жизнь ребенка столь же опасно, как и вмешиваться непрестанно. Изводить малыша по пустякам — значит «набивать себе цену», оглупляя ребенка: он уже не сможет отличить мелочи от серьезного проступка. И в то же время пройти мимо этого проступка — означает пренебрегать ребенком: разве без шкалы поступков, как и без указателя цен на рынке, выработаешь мысль о ценностях?

III. **Никогда не принимай решения в одиночку.** Золотое правило семейной жизни: диархия. Когда отец и мать противоречат друг другу — для ребенка это занимательное зрелище! Ребенок словно разрублен на две, правую и левую, половины; внезапно у него возникает ощущение, что он был создан только одним человеком. Это он прощает меньше всего.

IV. **Сохраняй доверие к тому, кто будет тебе противоречить.** Если семья — первая среда приобщения к социальной жизни, то она, следовательно, должна также быть местом первых конфликтов. Необходимо, чтобы подросток в них проверял себя на прочность и укреплял свою свободную волю. У высокомерных, которые вообще не желают слышать никаких возражений, вырастут достойные их наследники. Они вызовут к себе ненависть; дети их могут оказаться жестокими, грубыми; дети всем довольных могут превратиться в ничтожества.

V. **По части подарков — никаких излишеств.** Поскольку реклама—этот бич—осаждает нас, наши дети в свою очередь осаждают нас, требуя всего того, чем она их приманивает. В итоге мы разучились отказывать детям. Хотя отказ — тоже дар, более трудный, потому что он нас унижает, он приносит больше пользы, потому что учит отличать необходимое от излишнего. Общество не делает подарков, а мы наполняем мир молодыми людьми, которые рассчитывают на него, как на своих родителей, и которых оно неизбежно оттолкнет.

VI. **Во всем действуй собственным примером.** Добиться можно лишь того, что делаешь сам. У меня есть друг-протестант, который никогда не ходит в церковь, довольствуясь тем, что посылает туда своих детей. Его удивляет, что они этим недовольны! Личный пример, зовущий к подражанию (то есть «незаданное» послушание, позволяющее не прибегать лишний раз к власти),— это единственный способ завоевать уважение.

VII. **Говори обо всем без боязни.** Речь — золото, а молчание — свинец. Единственный способ соперничать с телевидением или транзистором — стать тем, чем они стать не могут: всегда готовыми к общению собеседниками. Поразительно, как много молчат в семьях! Когда-то молчали из осторожности, сегодня — из лени. Однако именно о семье можно сказать: «Вначале было Слово». Если в этом призрачном мире, где со всех сторон звучат голоса, ваш голос умолкает, то в своей семье вы будете иметь только «герцеанцев» — детей радиоволн с воспаленным, но разбросанным умом. Разговаривайте, вызывайте детей на разговор: о вашей работе, об их труде, о домашних счетах, о беременности кузины... Спорьте, ссорьтесь, не избегайте никаких тем...

VIII. **Объединяйся со своими.** Семья— это частная республика. Все должно делаться сообща: домашние поделки, мытье посуды, покупки, уборка, выбор развлечений и маршрутов поездок. В случае необходимости голосуйте: пусть побеждает большинство (если возникнет разочарование, не вы будете его виновником). Вы получаете тем самым мандат, необходимый для «исполнительной» власти, и возможно раньше предлагаете Пьеру или Мартине взять на себя ту же ответственность. Это самый верный способ для того, чтобы они чувствовали себя не в гостях у родителей, а у себя дома.

IX. **Держи дверь открытой.** Долгое время мы предпочитали держать открытыми глаза. Закрывать их, конечно, не следует, но нет ничего хуже, чем взгляд, привязывающий словно веревка. Уберите веревку. Рано или поздно она все равно порвется. Вы не сохраните детей, подростков, молодежь в доме-

чреве. Они созданы для того, чтобы каждый день заново рождаться через дверь — этот символ второй жизни, которую им придется прожить одним. Никогда не рано учиться свободе.

X. **В положенное время устранись.** Эта заповедь неизменно навевает грусть! Если присутствие близких есть драгоценнейшее наше достояние, то, скажу я, мы еще при жизни должны отдавать наше наследство. В наше время, когда семья сузилась до супружеской пары и ее детей, самую мучительную боль приносит ей уверенность, что рано или поздно родители останутся в одиночестве. Ничего тут не поделаешь: любая родительская карьера предполагает эту жертву.

■

Между тем, осмеливаясь говорить о «вредности» семьи, ей ставят в упрек совсем иное! Те, кто пишет об этом, никогда не перестанут меня удивлять. Вместо того чтобы создать новые представления и поддержать эту новую ссмью — тоже основную ячейку, но уже демократического общества, которое окажет ей доверие, поручив воспитание людей в тот решающий момент, когда «познание другого» может осуществиться только в присутствии любящих друг друга мужчины и женщины, вместо того чтобы считать нынешний кризис семьи простым периодом ее адаптации к новым условиям, эти люди предпочитают, беря за образец лозунг «бог умер», утверждать: «семья умерла» — таково название бредового сочинения Дэвида Купера.

Странная мания нашего века! Кассандры рассыпают свои пророчества, орудуют аналитическим методом, выдают крайние случаи за типичные и содействуют насаждению черного мировосприятия — не более чем просто вывернутое наизнанку розовое вероучение XIX века — сторонников (еще до его создания) метода Куэ[1] — наивного прославления добрых примеров. Сегодня бытует нигилистическое лицемерие, с этакой священнической благостью вещающее о том, что ни одна ценность не способна устоять перед критическим рассмотрением. Здравому сознанию есть отчего прийти в отчаяние.

Что же касается семьи, то они яростно обличают ее консервативную роль, притворяясь, будто видят в ней лишь охранительницу благ и предрассудков (таковой она была в прошлом, но все менее таковой остается), и забывая прибавить, что она также выступает хранительницей (на сей раз в благородном смысле слова — то есть защитницей) чувств, обязанностей и живого их следствия — детей. Не осмеливаясь ни нападать на детей (они — последнее табу), ни отрицать за ними право рождаться для счастья, нам дают понять, что уж во всяком случае родители произвели их на свет только ради собственного блага. Что до детей, то испытываемая ими потребность в вышеназванных родителях, мол, отнюдь не имеет столь решающего значения, как обычно думают; следовало бы, наверное, «сузить отношения с индивидуализированными отцом и матерью» с целью смягчить Эдипов комплекс и «трагедию», якобы с этим конфликтом связанную. Спекулируя на подобных рассуждениях, где, как правило, все крайне преувеличивается, всерьез предлагается (Бенсаид) проведение «эксперимента с детьми, растущими и развивающимися вне полярности мать — отец».

Просто диву даешься! Если родители рождают детей ради собственного счастья, то неужели они делают это для того, чтобы их не воспитывать? И разве исчезнет вышеназванный «конфликт» (к которому человечество, само того не подозревая, приспосабливалось на протяжении трех миллионов лет)? Он просто будет перенесен на усыновителей (усыновительниц) и воспитателей (воспитательниц), что ничего не изменит, только лишит ребенка великого бескорыстия родительской любви. Или следует решать его в специализированных учреждениях, в больших предприятиях по выращиванию молодняка? Ну что же здесь скажешь! Ведь такие учреждения существуют под именем сиротских приютов, и они, даже при самых благих намерениях, всегда давали лишь то, что в состоянии дать. В условиях современной жизни, говорят нам, когда ценится одно только новое, когда любая прочность семейных уз могла бы послужить дурным примером, вот якобы худший вид отчуждения: «пассивная покорность вторжению посторонних, которые являются всего лишь членами семьи». Само собой разумеется, что в супружеской паре все оказывается «невротичным: выбор партнера, зачастую необъяснимый, продолжение любовных отношений, их узаконение в браке, иными словами, стремление к искусственному продлению страсти». С сожалением признают, что если все-таки союз выживает и торжествует, то потому, что «он остается единственным доступным выходом в борьбе против одиночества и смерти, единственной подходящей средой для воспитания детей». Но умалчивают о том, что мы живем в браке (как и в свободном союзе) не по тем причинам, какие привели нас к нему; что супружеские отношения разрастаются как дерево, все глубже пуская корни в почву, неуклонно вздымая свои ветви в небо. Наоборот, находят забавным и даже многозначительным, что какие-то манифестанты, случайно встретив на своем пути свадебную про-

[1] Эмиль Куэ (1857—1926) — французский фармацевт и психотерапевт, создавший так называемый «метод самовнушения», который должен, на основе «добрых примеров», привести личность к гармонии.

цессию, бросились в церковь с воплями: «Освободите новобрачную!» Это стремление к необратимому ужасает. Долой любые узы — твердят нам. И толпа подхватывает: зачем они? Обратите внимание, сколько стало разводов! Принимая в расчет только следствия и пренебрегая причиной, делают вывод: дабы потом не разлучаться, лучше не жениться...

Как это глупо и недальновидно! Я не стал бы распространяться на эти темы, если бы реальные трудности семьи (повторяю: нельзя сказать, что я когда-либо курил ей фимиам) не усугубились под напором подобной рискованной диалектики. Абстрактная проповедь на все случаи жизни «лечения уничтожением» потакает безответственным решениям, сдаче позиций. Философия иррациональности прокламируется в ущерб «старым» понятиям «природного равновесия», для которого не предлагается пока никакой замены. Завоевание подлинной открытости, оставляющей за каждым выбор своего отношения к другому, не требует ни грубого вторжения в жизнь тех, кто предпочитает брачный контракт, ни модной, вызывающей иронии по отношению к ним. Да, число разводов растет и составляет трудную проблему. Количество разводов во Франции еще относительно невелико; в США оно более чем втрое выше; в СССР — почти вдвое, хотя в этой стране, как и во всех социалистических странах, супружество полностью освобождено от буржуазных структур брака, то есть имущественных и классовых уз. Именно там, при реально достигнутом равенстве полов, можно отчетливее видеть, что супружеский разлад проистекает из формирования семьи нового типа, где роли мужа и жены еще не вполне определены, не всегда выполняются понастоящему. Процесс становления новой семьи, одинаковый повсюду, потребует немало времени. Конечно, число разводов растет, но при этом сразу же выясняется, что развод вовсе не является бунтом против супружества; он всего лишь констатирует неудачу с партнером. Лучшим тому доказательством служит то, что, за вычетом женщин среднего возраста, повторный брак остается самым частым решением разведенных и что, по признанию вторично вступивших в брак, их новая семья, как правило, оказывается удачнее первой.

Действительно, у развода много общих точек с браком, который он разрушает. Подобно браку, который определяется не свадебным обрядом, а последующей долгой повседневностью, развод представляет собой не только разрыв, засвидетельствованный судебной процедурой (правильно поступили, пересмотрев ее, потому что она была абсурдной и оскорбительной); развод — это также определенное положение, особенно для имеющих детей бывших супругов, ибо связь благодаря ребенку, что бы мы ни делали, неразрывна. Это положение длится долго и очень часто характеризуется превращением любви в ненависть, мелочными спорами об алиментах, месте проживания детей и их посещении, борьбой за влияние на них, исчезновением и искажением воспоминаний о первой семье. Юристы неохотно берутся за послеразводные дела (в одной лишь Японии создана система, направленная на умиротворение этих нескончаемых тяжб), поскольку им хорошо известно — в этой сфере все решается «по доброй воле сторон».

Без всякого сомнения, существуют ситуации, от которых может избавить только развод: исчезновение одного из супругов, тяжкое преступление, неисправимый алкоголизм, неизбывное несогласие по любым поводам и пустякам, держащее супругов и детей в атмосфере криков и ссор, более вредной, чем добровольная разлука. И все же нужно подчеркнуть, что, хотя развод необходим и дает возможность избегать трагедий, какие переживала Италия до референдума, он не разрешает проблем семьи! Еще до развода трудно примирить интересы между родней по отцовской и материнской линии. В случае вторичного брака разведенных супругов возникает четыре семьи, между членами которых устанавливаются сложные взаимоотношения.

Уязвленный (и не без основания) в двадцать лет, я по наивности тоже стал сторонником уничтожения семьи. В дальнейшем опыт убедительно показал, что замена семьи временными или коллективными союзами способна привести лишь к случайному смешению кровей и небезопасному разгулу эмоций. Для человека нет ничего более важного, чем возможность жить на своем месте и со своими. В среде разведенных (где для каждого следовало бы заново написать «Без семьи») семьи — такого места, которое укореняет человека,— ничто не создаст. А что до «неврозов», то они со всех сторон расцвели бы в ущерб обществу, которое к тому же оказалось бы весьма неуверенным в своем обновлении...

■

Тут я уже слышу негодующие восклицания: на кой черт сдалось нам обновление этого общества? Как всякая глупость, это сказано не подумавши. Каким бы ни было наше нынешнее общество — согласен, оно не слишком привлекательно,— оно представляет собой дурную мать грядущего. Нельзя, чтобы в своем неистовом индивидуализме мы полностью утратили чувство долга перед жизнью, присущее всякому живому

существу, оплачиваемое зарождением новой жизни. Не забыли ли мы, что в двадцатом поколении у нас был миллион предков, а в двадцать пятом — все французы XIV века (общество — это тоже наша очень расширенная семья, но все же более близкая любому из нас, чем Луи-Филипп — Гуго Капету). Мы забываем, наконец, что закон дифференцированной рождаемости ответствен за успехи процесса эволюции в живой среде; но в человеческой среде, в силу добровольной низкой рождаемости элитарных прослоек общества, этот закон оборачивается в пользу менее развитых и гораздо более плодовитых, в результате прогресс странным образом тормозится из-за своей недостаточной реализации.

■

Итак, подведем итоги. Любая совместная жизнь—в семье, на заводе, в конторе, в стране — трудна. Однако семья обладает преимуществом, каким не обладают другие социальные группы, оно зовется любовью. «Ад,—говорил Сартр,— это другие». Это справедливо, если человек отвергает всех других людей, противопоставляя им ничем не ограниченную свободу, не стараясь устранить или хотя бы ослабить взаимную вражду. Но согласиться с такой позицией неправильно. Союз двух существ не воссоздает рай земной. В любой форме он представляет собой лишь благоприятный случай превратить неизбывное соперничество в согласие и избавить тех, кто добавится к этому союзу, от грозной агрессивности мира...

Зло нынешней эротизированной (из-за засилья скверных фильмов) и драматизированной эпохи заключается в том, что она отдает предпочтение наслаждению и свободному действию, отбрасывая все то, что не несет новизны и перемен. И все-таки надо верить, что мужчины и женщины нашего времени не так уж испорчены жаждой наслаждений, что они видят, подобно Шардону [1], суть брака не в одном только «примитивном порыве, исконном и неизменном», но в «долгой привязанности, обогащенной совместной жизнью, которая выделяет скрепляющий ее цемент». Ведь очевидно: в разгар кризиса супружества и семьи девять десятых людей продолжают жить ими, а подобное единодушие — немалое дело...

---

[1] Жак Шардон (род. в 1884 г.) — французский романист и эссеист.

◆

Антирубрика

ВУДИ АЛЛЕН

Воспоминания о двадцатых

■

Перевод с английского ЮРИЯ ЗАРАХОВИЧА

В Чикаго я впервые попал где-то в двадцатых годах и только для того, чтобы посетить боксерский матч. Со мною приехал Эрнест Хемингуэй, и мы с ним остановились в спортлагере Джека Демпси. Хемингуэй только-только закончил два коротких рассказа о профессиональном боксе, и, хотя мы с Гертрудой Стайн единодушно их одобрили, мы все же решили, что ему над ними еще работать и работать. Я начал подкалывать Хемингуэя насчет его романа, вскоре выходящего в свет; мы здорово посмеялись и повеселились от души, а потом натянули боксерские перчатки, и он разбил мне нос.

Той зимой Алиса Токлас, Пикассо и я сняли виллу на юге Франции. Я тогда работал над вещью, которой по моим предчувствиям суждено было стать крупнейшим американским романом, но машинка мне попалась с больно уж мелким шрифтом, и я так и не смог довести дело до конца.

После обеда мы с Гертрудой Стайн обычно охотились по местным лавкам за антиквариатом, и я, помнится, спросил ее однажды, стоит ли мне становиться писателем. В свойственном ей загадочном стиле, который так чаровал нас всех, она ответила: «Нет». Я понял, что она имела в виду «да», и на следующий же день отбыл в Италию. Италия во многом напоминала мне Чикаго, особенно Венеция, поскольку в обоих городах есть каналы, а на улицах полно статуй и соборов, воздвигнутых величайшими скульпторами Возрождения.

В том же месяце мы посетили мастерскую Пикассо в Арле, который тогда назывался то ли Руан, то ли Цюрих, пока французы не переименовали его в 1589 году, в правление Людовика Смутного (Людовик был незаконнорожденным королем шестнадцатого века, который пакостил всем, кому мог). Пикассо тогда как раз начинал то, что в дальнейшем стало известным как его «голубой период», но мы с Гертрудой Стайн выпили с ним кофе, так что он начал его на десять минут позже. Но, поскольку этот период длился целых четыре года, десять минут особой роли не играли.

Пикассо был низкорос и обладал занятной походкой — ставил одну ногу перед другой, прежде чем сделать то, что он именовал «шагом». Его очаровательные чудачества приводили нас в восторг, но в конце тридцатых годов, во время подъема фашизма, было не до восторгов. Мы с Гертрудой Стайн тщательно рассмотрели последние работы Пикассо, и Гертруда Стайн пришла к заключению, что «искусство — все искусство — есть не более чем выражение чего-то». Пикассо не согласился с этим и зая-

вил: «Катитесь отсюда, дайте спокойно поесть». Лично я считаю, что Пикассо был прав. Он ведь действительно ел, когда мы пришли.

Мастерская Пикассо очень отличалась от мастерской Матисса тем, что Пикассо был неряшлив, а Матисс поддерживал безукоризненный порядок. Но что странно, на самом-то деле все было как раз наоборот.

В сентябре того года Матисс получил заказ написать аллегорию, но из-за болезни жены не смог ее закончить, и вместо аллегории пришлось клеить обои. Я так четко помню подробности, потому что все это случилось как раз накануне зимы, которую мы все вместе провели в дешевой квартирке на севере Швейцарии, где временами дождило, а временами также неожиданно переставало дождить.

Хуан Грис, испанский кубист, уговорил Алису Токлас позировать ему и в полном соответствии со своими абстракционистскими концепциями принялся разбивать ее лицо и тело на основные геометрические формы, пока не появилась полиция и не уволокла его. Грис был испанцем из глубинки, и Гертруда Стайн говаривала, что только истый испанец может вести себя так, как он,— то есть говорить по-испански и время от времени возвращаться в Испанию к своей семье. Потрясающее было зрелище.

Как-то, помнится, сидели мы в одном теплом кабачке на юге Франции, уютно поставив ноги на подножки табуретов, и вдруг Гертруда Стайн заявила: «Меня тошнит». Пикассо нашел ее заявление забавным, а мы с Матиссом истолковали его как намек, что нам пора подаваться в Африку. Семь недель спустя мы наткнулись в Кении на Хемингуэя. Он покрылся загаром и бородой, и вокруг глаз и рта уже начала складываться его характерная плоская проза. Здесь, в сердце неизведанного черного континента, Хемингуэй сотни раз совершал героические поступки с риском расквасить себе губы.

— Как дела, Эрнест? — спросил его я.

Со своим неповторимым красноречием он начал повествование о смерти и доблести, и, когда я проснулся, он уже разбил лагерь и сидел у огромного костра, готовя на нас на всех ужин из отменнейшей кожи. Я начал подкалывать Хемингуэя насчет его бороды, мы от души посмеялись, попили коньячку, а потом натянули боксерские перчатки, и он разбил мне нос.

В том же году я снова приехал в Париж, чтобы потолковать с тощим и нервным европейским композитором с орлиным профилем и примечательно быстрым взглядом, которому было в дальнейшем суждено стать Игорем Стравинским, а затем и его лучшим другом. Я поселился у Мана, к нам не раз заходили ужинать Стинг Рэй и Сальвадор Дали. Дали решил устроить персональную выставку, и эта выставка удалась как нельзя лучше, потому что ее посетила только одна персона. А вообще тогда стояла веселая и прекрасная французская зима.

Помню, как-то апрельским вечером вернулись домой с новогодней вечеринки Скотт Фицджеральд с женой. Последние три месяца они питались исключительно шампанским, а на предыдущей неделе с чьей-то подачи разогнали свой лимузин и на полном ходу въехали в океан с тридцатиметрового обрыва. В Фицджеральдах было что-то удивительно настоящее — их моральные ценности сводились к самым основным. И оба такие скромные! Я помню, как они были польщены, когда Грант Вуд уговорил их позировать для своей «Американской готики» [1]. Зельда потом рассказала мне, что Скотт на каждом сеансе обязательно ронял вилы.

В течение последующих нескольких лет я все ближе и ближе сходился с Фицджеральдом, и многие наши друзья считали меня прототипом главного героя его нового романа. Другие же считали, что я построил свою жизнь по образу и подобию главного героя его предыдущего романа. Кончилось все это тем, что один из вымышленных им персонажей подал на меня в суд.

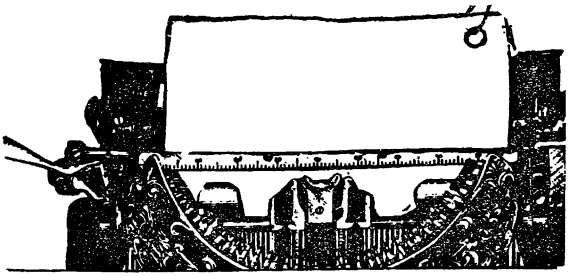
Скотту не хватало самодисциплины, и, хотя все мы обожали Зельду, мы не могли не прийти к мнению, что она плохо влияет на его работу. Из-за нее его производительность упала с одного романа в год до нерегулярно публикуемого рецепта блюд из даров моря да строчки запятых.

Наконец, в 1929 году мы все вместе отправились в Испанию, где Хемингуэй представил нас тореро Манолете, который был настолько чувствителен, что его чувствительность где-то граничила с женственностью. Большой был артист. И такой виртуоз, что, не стань он тореадором, вполне мог бы стать всемирно известным счетоводом-бухгалтером.

Мы великолепно провели время в Испании — путешествовали, писали. Хемингуэй взял меня на ловлю тунца. Я поймал четыре консервные банки, мы смеялись, и Алиса Токлас спросила меня, влюблен ли я в Гертруду Стайн (я посвятил Гертруде сборник стихов, хотя стихи были не мои, а Т. С. Элиота), и я признался, что действительно люблю ее, но из этого ничего не выйдет, потому что я недостаточно для нее умен. Алиса Токлас со мной согласилась, а потом мы натянули боксерские перчатки и Гертруда Стайн разбила мне нос.

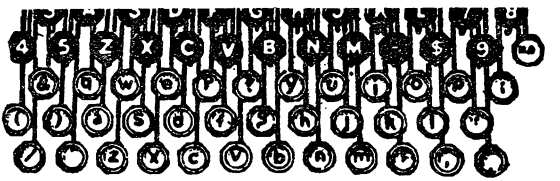
---

[1] «Американская готика» Гранта Вуда — одно из наиболее значительных и известных произведений в истории американской живописи. На первом плане изображены фермерша и фермер, держащий в руках вилы. Успех работ Вуда во многом определяется его творческой манерой — сочетанием реалистического изображения действительности с элементами откровенной иронии *(прим. перев.)*.



В двадцатые годы три записных острослова поэты Юлиан Тувим, Антоний Слонимский и Ян Лехонь сочиняли первоапрельские приложения к популярным варшавским газетам. Было это отличной забавой и отменным издевательством над газетными штампами и читательской всеядностью. Абсурд и мистификация, поданные в виде газетных сообщений и соответственно набранные, становились правдоподобными и — как оказалось! — мало чем отличались от каждодневной газетной продукции. В послевоенные годы Тувим собрал давние эти выдумки в отдельную книжку, по материалам которой и составлена предлагаемая первоапрельская «газета», названная нами на свой страх и риск «Быль в глаза».

АСАР ЭППЕЛЬ



ПЕРВОАПРЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА

БЫЛЬ В ГЛАЗА

№ ☐ ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В ГОД ☐ №

ОТКРЫТИЕ ЗОЛОТА ПОД ВАРШАВОЙ!!!

!ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
!ВОЙСКА И ВЛАСТИ НА МЕСТЕ!
!ЖИТЕЛИ БРВИНОВА — МИЛЛИАРДЕРЫ!

БРВИНОВ. 11 утра (по телефону). Сегодня в 9 утра брвиновский крестьянин, тридцатилетний Ян Каня, копая землю, напоролся на груду величиной с человеческую голову. Груда звенела и блестела, как золото. Вызванный купец Михаил Скропаткин оценил самородок в шестьдесят тысяч злотых. Вручив Кане тридцать злотых аванса, купец взял золото и исчез, обещая остальные деньги прислать из-за границы.

ПОДКОВА (тел. собств.). Весть о золоте разошлась по деревне, и деревня разошлась по полям, копая их. Всюду открыто множество золота, как в грудах или рудах, так и в старинных монетах.

ПРУШКОВ (по телеграфу). Жилы, набухшие золотом, достигают здешних мест. Опасаются склероза. Местный житель Игнаций Бёрнештерн ушел с утра в рваной одежде на выгон, а два часа спустя вернулся на собственном автомобиле, в пальто, в короне и с любовницей. Малый разбогател в две минуты.

Наш календарь

апрель

Месяц апрель—уже весенний месяц. Пословица «Год в апрель, а мы в постель» полностью оправдывается. Что может быть милее сердцу крестьянина, чем засесть в этакий слякотный весенний день у камина с хорошей книжкой или сыграть партию в вист? Даже природа улыбается ему! Спозаранку наблюдает он, как подымаются из-под снега цветочки майорана и головки подсолнуха, а после милой беседы приятно проводит несколько минут за доением. Доение в четыре руки сейчас выходит из моды и кое-где считается дурным тоном. Лучше выдоить на несколько капель больше, чем таким образом экономить время.

МЕНЮ НА АПРЕЛЬ:

Бульон из валуев.
Большой горячий гриб.
Мороженое
с шампиньонами.

Со всего света

НАУЭН (по радио из Нью-Йорка). Известный географ, профессор Колумбийского университета Мак-Черняк заявил, что ему удалось искривить Гринвичский меридиан настолько, что путешествие из Европы в Америку будет продолжаться теперь не более четырех дней.

ПАРИЖ (Соб. корр.) Парижская премия присуждена некоему Вильяму Гронде, который родил младенца мужского пола. Ребенок чувствует себя хорошо. Его вес три с половиной фунта стерлингов. Вильям Гронде — первый мужчина, без посторонней помощи родивший ребенка.

Хроника

ОПАСНЫЕ ЧАСЫ

В результате взрыва карманных часов серьезно пострадал промышленник В. С. Мы уже не раз предостерегали от слишком интенсивного накручивания часов. Цепочка, разумеется, тоже была металлической!

АВТОМОБИЛЬНАЯ КАТАСТРОФА

Шестнадцатилетний беспризорник пан Б. В. снова испугал своим криком мчавшийся на большой скорости автомобиль, каковой, отпрыгнув в сторону, врезался в кондитерскую по уши. Куда смотрит полиция?

Из зала суда

СЛУЧАЙ С ПОКОЙНИКОМ

Недавно перед судом предстал нарушитель общественного порядка пан Б. Как показали свидетели, он устраивал сборища и смешил публику. Б. подстерегал прохожих, выскакивал из-за угла, бегал на четвереньках по проезжей части и кривлялся до тех пор, пока не доводил беспомощного прохожего до состояния смеха. Иногда Б. прибегал даже к щекотанию упиравшихся, а также грустных или чем-то озабоченных. Кого ему удавалось рассмешить, он откладывал в сторону и ждал следующую жертву. Такое бы продолжалось долго, если бы не случай. По улице, на которой промышлял Б., шла похоронная процессия. Когда Б. принялся за свою работу, выступил один из родственников покойного и, сославшись на то, что он юмора не понимает, потребовал у пана Б. удовлетворения. Б. немедленно согласился с требованием оскорбленного родственника и угостил его сигарой, каковую тот и выкурил с удовлетворением. Суд приговорил обвиняемого к двум месяцам ареста.

В последний час

В последний час

ИЗЪЯТИЕ ДОЛЛАРОВ

Америка изымает 5, 10 и 20-долларовые банкноты. Вмешательство иностранных правительств.— Паника в дипломатических кругах.— Что делать?

НЬЮ-РИМ (телефон чужой). Улицы здесь напоминают газоны. Доллары, улегшиеся на тротуарах, выглядят в точности как трава. Полиция косит косами и серпами. После прибытия Америки началось изъятие. Доллары идут по шестеро.

БОСТОН. 1.4.1924. Внезапная пропажа денег принудила людей к бегству. Америка предлагает вернуть доллары, но люди тоже не дураки. Они находятся уже довольно далеко от города.

ПАРИЖ. Большие неприятности с портретом на однодолларовых банкнотах. После изъятия портреты попрыгали с банкнотов и хотят жить. У многих растут ноги. Появились миллионы одинаковых президентов Линкольнов. Они ходят, крича: «Хотим есть!..» Рузвельты поспокойнее.

БАЛТИМОРА. I.VVV.9421. Сюда прибыла делегация фунтов и швейцарских франков во главе со своим председателем — стофранковым банкнотом Л 1897742. Банкнот принял представителя изъятых долларов мистера А 8313974. Вечером главный доллар устроил обед, за который заплатил коллегами. Банкет банкнотов, как утверждают, игра слов. Считаются с возможностью возникновения новых каламбуров.

В последний час

Уголок врача

НА ЗАМЕТКУ МОЛОДЫМ МАТЕРЯМ

Ребенок приучается

плакать	на 3 — 4 неделе
смеяться	на 3 — 4 неделе
выговаривать согласные	на 5 — 7 неделе
поднимать головку	в 2 месяца
хватать предметы	в 3—4 месяца
узнавать людей	в 4 — 5 месяцев
хватать людей	в 6 месяцев
ходить на горшок	в 12 месяцев
занимать деньги	в 42 месяца
играть на биллиарде	в 95 месяцев

Нормальные сроки появления молочных зубов

2 средних нижних резца	между 6 и 9 месяцами
2 средних верхних резца	» » »
2 боковых верхних резца	между 8 и 12 месяцами
2 верхних клыка	между 18 и 24 месяцами
2 нижних клыка	» » »
Хобот	между 36 и 194 месяцами

Уголок врача

О ВРЕДЕ ПЬЯНСТВА (ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ)

В. К. Брюнет из Ломжи. Я никогда не пил. После смерти жены начал. В тот же год у меня украли ценные памятные часы и полупальто.

Вдова Г. В. 54 года. С тех пор как я начала пить (полынную), каждые несколько недель у меня появляются легкие непродолжительные боли в области желудка. Сейчас я не пью, боли, однако, не прошли, хотя становятся слабее и слабее.

СОВЕТЫ ДОМОХОЗЯЙКАМ

Взять два фунта телятины, встряхнуть, помыть, заправить и сделать эскалоп. Для вкуса можно добавить соли.

■

Приближается лето, а вместе с ним невыносимая жара. Нашим хозяйкам наверняка понравится нижеприведенный способ утоления жажды. Наливаем в обычный стакан немного воды (около трех четвертей) и подносим его ко рту. Потом короткими глотками вводим жидкость в пищевод, а затем дальше. Перед употреблением взбалтывать.

■

Загрязненную скатерть посыпать азотнокислым висмутом и намочить в отваре из чабреца, разведенном пополам с медным купоросом ($H_2C_8O_0$). Затем сушить на солнце, пока пятно не пожелтеет. Тогда потереть кристалликами магнезии и покапать обычным оксигеноидом поташа (35%-ный раствор). Потом пропарить, обработать досуха щеткой и отнести скатерть в химчистку.

Обо всем понемногу

АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Календарный год состоит из 365 дней, пятидесяти двух недель, двенадцати месяцев и четырех времен года, причем дни недели, месяцы и времена года имеют названия, в чем легко убедиться из прилагаемой таблицы:

1. **Воскресенье**
2. **Вторник**
3. **Понедельник**
4. **Пятница**
5. **Среда**
6. **Суббота**
7. **Четверг**

Итого: 28

1. **Август**
2. **Апрель**
3. **Декабрь**
4. **Июль**
5. **Июнь**
6. **Май**
7. **Март**
8. **Ноябрь**
9. **Октябрь**
10. **Сентябрь**
11. **Февраль**
12. **Январь**

Итого: 78

1. **Весна**
2. **Зима**
3. **Лето**
4. **Осень**

Итого: 10

Время от времени год бывает високосным и начинает состоять из 366 дней. Это происходит из-за февраля (см. табл. месяцев, одиннадцатый месяц), который удлиняется по невыясненным причинам на один день.

Солнце, на вид небольшое, в действительности гораздо больше Земли и даже больше самого себя. Согласно подсчетам американского астронома Розенталя, отношение объемов Солнца и Земли можно представить следующим образом: если бы двенадцатилетняя девочка стала произносить число, выражающее это отношение, то закончила бы произносить его, имея правнуков и внучку тоже двенадцати лет плюс 230 072. Меньшая величина Солнца, видимая с Земли, является результатом оптического обмана, а также игры слов.

Разные объявления

ДУЮ на кашу и горох. По воскресеньям выезжаю в Прушков. Берусь за любые поручения, входящие в мою компетенцию.

ПО СЛУЧАЮ ПЕРЕЕЗДА прощаю всем знакомым неприятности и обиды, которые

РЕКЛАМА

ФИРМА
«СОДОМ И ГОМОРРА»
ПРОДАЕТ КАЖДОГО
И ВСЯКОГО,
ОБМЕНИВАЕТСЯ
ЛЮБЫМИ
ОСКОРБЛЕНИЯМИ,
УКЛАДЫВАЕТ
НОГУ НА НОГУ.
ПРИНИМАЕМ
И ОТПУСКАЕМ

от них претерпел. Копытовский. Воломин, 2.

НУЖЕН мальчик для поливки искусственных цветов. Может быть левша. Предложения в редакцию.

РАБОТАЮ в государственном учреждении, при этом ищу занятия, даже бесплатного, в рабочее время. Предлагать «Желающему» в «Курьер».

ОХОТНО превращусь в большого лохматого пса. Могу в мопса. Лешно, 1.

ЗАИКАЮСЬ ежедневно от 8 до 12 и от 4 до 6 вечера. По пятницам и вторникам для дам. Волчья, 2.

РЕКЛАМА

Долой ноги!
Хватит с нас этого дела
КЛАВИТОЛ
заменяет
самые запущенные ноги
в довольно приличные
руки.
Там же
меняем ношеные
перчатки на старые носки

КУПЛЮ новый торпедный катер с двумя гребными винтами, водоизмещением 15—30 тыс. тонн. Цена не играет роли. Гусиная, 24, кв. 4. Предложения оставлять у дворника.

НУЖНА Каролина. Может быть Марыля. Срочно. Булыжная, 6.

НУЖНО выйти. Предложения на имя «Валтасар».

ЕСЛИ кто-либо имеет сведения о сыне моем, пусть оставит их при себе. С благодарностью, Левкония.

КУПЛЮ что-нибудь, продам, заработаю и схожу поужинаю. Адольф Собеданек. Лешно, 2.

ПОЛНЕЮ на глазах и в талии. По вторникам для дам. Госпитальная, 32.

РЕКЛАМА

ЦИРК АВРОРА И АВРЕЛИЯ

Настоящие трупы в одних корсетах на мотоциклах.
!!!Кроме того, шикарная апрельская программа!!!
МЕЖДУ ПРОЧИМ
!Человек — осел!!!
Несмолкаемый смех!!! Лошадь, играющая
в шахматы без коня!
!Джентльмен-баллон!
!Поднимается в воздух!
!И остается там!

Начало в 8 часов.
Каждый может прийти с дамой, каждая дама с ребенком, каждый ребенок с собачкой; каждая собачка лает.

РЕКЛАМА

ТОВАРИЩЕСТВО «АМЕРИКПОЛЬ»

поставляет сгущенное молоко для коров,
которые не могут кормить сами;
свозит древесину в сосновые леса;
строит железобетонные
картофельные поля.

ЭКСПОРТ, ИМПОРТ, АПОРТ и РАППОПОРТ

!!! Специализируемся
в выдаче аттестатов зрелости
кормовой свекле!!!

ВАЖНО для бреющихся. Намыливаю перед бритьем. Парикмахер на той же самой улице. Большая экономия. Мышиная, 13, корпус 3, 5 этаж. Если заперто, звонить 189-39 насчет ключа.

ЕДУ в Ригу всякий раз, когда обедаю дома. Беру любые поручения.

УДАЛЯЮ ковры и рояли раз и навсегда. Убираю владельцев. Кованович.

БРЮКИ-САМОГУДЫ продам. Петрашек. Повод — одиночество.

ГОВОРЮ а...а...а... показываю язык и глубоко дышу. Важно для врачей! Броварная, 6, кв 9.

ГАНС ВЕРНЕР РИХТЕР

Сражение у Кошачьего ручья

РАССКАЗ

Перевод с немецкого Е. МАРКОВИЧ

Ночью они форсировали реку. Собственно, не реку, а всего лишь ручей. Для них это был Кошачий ручей[1], хотя в действительности он назывался иначе.

Комитет «Спасите войну!» назвал его так, отдавая дань истории. Чтобы проявить себя и дать пример своей деятельности, комитет организовал это сражение, навербовал добровольцев и поставил под ружье две тысячи человек, которые сейчас, в предутреннем тумане, занимали позиции по обоим берегам ручья.

Генерал Ревач лично руководил всеми операциями. В предрассветных сумерках, окруженный офицерами комитета, он спокойно шагал к холму, на котором должен был разместиться командный пункт.

— Это не маневры, господа! Стреляя холостыми, солдатскую доблесть сохранить не удастся. Для этого надо, чтобы солдат рисковал жизнью. Согласно приказу, сегодня будет открыт ожесточенный огонь.

Офицеры комитета дружно закивали. Генерал пребывал в наилучшем расположении духа.

Комитет обратился в ООН с просьбой о содействии в подготовке и проведении небольших войн местного значения с целью сохранения солдатской доблести и поддержания боевого духа. Обращение должно быть подкреплено «веским примером».

Генерал приказал принести карты.

Сражение началось ровно в 5 час. 45 мин. Кавалерия, вырвавшаяся из рощи на противоположном берегу, преодолела ручей. В лугах ей навстречу захлопали отдельные выстрелы. Лошадь, лишенная всадника, галопом поскакала обратно к берегу. Сражение энергично развертывалось по эту сторону ручья. Вот уже первый адъютант побежал через поле к командному пункту: он принес донесение о первом убитом. Генерал пропустил это сообщение мимо ушей, он был всецело погружен в свои карты.

В 6 час. 25 мин. некий штатский, приехавший в город, принес тревожное известие в городскую комиссию по расследованию убийств.

Первая городская комиссия по расследованию убийств выехала в 6 час. 45 мин. на поле сражения. Она прибыла на место как раз в тот момент, когда кавалерия вторично пошла в атаку.

Прокурор Плахер в полной растерянности глядел на мчащихся ему навстречу всадников. Он поднял руку: «Стой, во имя закона!..» Однако ни лошади, ни всадники не обратили на него никакого внимания. Не помня себя он побежал перед мордами галопирующих лошадей, сопровождаемый одним советником юстиции, двумя его помощниками по уголовным делам и тремя полицейскими вахмистрами. Попавшие в тиски между атакующей кавалерией и обороняющейся пехотой, они рысцой устремились к стоящей посреди поляны одинокой ели и вскарабкались на нее.

Генерал Ревач был возмущен: «Что это за штатские затесались на поле боя?» «Должно быть, крестьяне»,— предположил один из офицеров комитета.

Генерал откашлялся и отдал приказ усилить боевые действия.

Тем временем на поле сражения прибыла вторая городская комиссия по расследованию убийств, вызванная другим штатским, и случилось это, когда пехота со штыками наперевес контратаковала кавалерию.

Прокурор Майер, возглавлявший вторую городскую комиссию по расследованию убийств, был офицером запаса; сразу же оценив обстановку, он приказал сопровождавшим его советникам юстиции, помощникам по уголовным делам и полицейским вахмистрам занять позицию и открыть огонь. Члены второй городской комиссии дружно упали в сырую луговую траву и стали палить из своих пистолетов.

Уши генерала Ревача, способные тонко различать выстрелы разного рода,

[1] По-немецки Кацбах — река в Пруссии. Здесь во время Освободительных войн 1813 года произошло знаменитое сражение, в котором прусские и русские войска одержали победу над войском Наполеона *(прим. перев.)*.

сразу же уловили пистолетную пальбу, не предусмотренную программой. «Кто там стреляет из пистолетов?» — возмущенно вскричал генерал. «Должно быть, крестьяне»,— отозвался один из офицеров комитета.

Тогда генерал приказал кавалерии спешиться и любой ценой оборонять Кошачий ручей.

В перестрелку включились и члены первой городской комиссии, засевшие на ели. Раздраженный еще и выстрелами с дерева, генерал Ревач приказал доблестной кавалерии атаковать ель.

Было 8 час. 11 мин., когда бывший унтер-офицер Френцель согласно приказу пошел в атаку на ель. На некоторое время ель стала центром сражения. Напрасно прокурор Плахер пытался удержаться на дереве. Под натиском превосходящих сил противника и в страхе перед обнаженными штыками он потерял равновесие и свалился прямо на лошадь унтер-офицера Френцеля, который тотчас же объявил его взятым в плен. Прокурор Плахер энергично протестовал и, в свою очередь, объявил это действие противозаконным. Однако бывший унтер-офицер Френцель без церемоний перекинул его поперек седла и поскакал с ним обратно к Кошачьему ручью, а за ним двинулись шесть боевых коней, на каждом из которых лежали пленные: советник юстиции, помощники и полицейские вахмистры.

Генерал Ревач равнодушно выслушал донесение о семи вооруженных штатских, взятых в плен и доставленных для допроса. Битва, охарактеризованная им пока что как «стычка», поглощала все его внимание. Один из офицеров комитета назвал захваченных штатских партизанами, но генерал резко возразил, что в его плане партизаны не предусмотрены.

«Тогда это, должно быть, крестьяне»,— ответил офицер комитета.

Генерал приказал пехоте перейти Кошачий ручей и загнать кавалерию обратно в рощу. Адъютанты помчались через поле.

Когда прокурор Майер из второй городской комиссии увидел, как прокурора Плахера из первой комиссии взяли в плен, в нем взыграла гражданская сознательность. Он послал полицейского вахмистра к близлежащему шоссе с приказом объявить по радио тревогу и поднять в городе всех, кого можно, включая пожарных.

Затем, чтобы освободить из плена прокурора Плахера — главу первой городской комиссии, он дал приказ к атаке. Советник юстиции, помощники по уголовным делам и полицейские вахмистры из второй городской комиссии, рассыпавшись цепью, двинулись на пехоту, которая в пылу сражения безуспешно пыталась форсировать Кошачий ручей.

Снова адъютант поспешил через поле на командный пункт на холме. Он сообщил о трех убитых, и генерал пробурчал что-то об умеренных потерях. Но вдруг генерал, на сей раз с возмущением, заметил атаку второй городской комиссии, которую он никак не мог себе объяснить и классифицировать. Он не отдавал приказа о фланговой атаке, сказал он.

«Должно быть, это крестьяне»,— ответил офицер комитета.

Генерал Ревач, раздосадованный несносным вмешательством штатских, приказал пехоте, занятой форсированием ручья, немедленно и без колебаний подавить непредусмотренную атаку с фланга.

Было 9 час. 32 мин., когда пехота, совершив резкий поворот, бросила кавалерию и со штыками наперевес выступила против второй городской комиссии. Кавалерия, спешившаяся для обороны, не могла понять этот маневр и, вновь перейдя Кошачий ручей, на сей раз без приказа атаковала пехоту с тыла.

Члены второй городской комиссии, расстреляв все свои патроны и не располагая оружием для штыкового боя, дружно пустились наутек. За улепетывающей второй городской комиссией погналась пехота, за пехотой погналась спешившаяся кавалерия. Чем быстрее бежали члены комиссии, тем быстрее бежала за ними пехота и преследовавшая пехоту кавалерия.

Сражение стремительно удалялось из поля зрения генерала, продвигаясь в направлении близлежащего шоссе. Это непредусмотренное движение сильно обеспокоило генерала. Он отдал приказ адъютантам немедленно нагнать кавалерию, а когда они не возвратились, послал за ними офицеров комитета, чтобы передвинуть поле сражения обратно.

Но было уже поздно. Пехотинцы стремились догнать членов второй городской комиссии, спешившаяся кавалерия гналась за пехотинцами, адъютанты бежали за кавалерией, а офицеры комитета — за адъютантами. Однако вторая городская комиссия, во главе с прокурором Майером, бежала так быстро, что пехотинцы не могли их догнать; пехотинцы бежали так быстро, что спешившиеся кавалеристы не могли их догнать; кавалеристы бежали так быстро, что адъютанты не могли их догнать, а адъютанты в свою очередь бежали так быстро, что офицеры комитета уж совсем не могли их догнать.

Тогда генерал Ревач решил самолично последовать за офицерами комитета, и таким образом все поле сражения быстро перемещалось в направлении с севера на юг в следующем порядке: члены второй городской комиссии, пехота, спешившаяся кавалерия, адъютанты, офицеры комитета и сам генерал.

Было 10 час. 13 мин., когда из города прибыли два первых отряда полиции основного состава. Полицейские, трени-

рованные на подавление беспорядков, вытащили свои резиновые дубинки и двинулись на катящееся навстречу поле сражения. В полном неведении того, что происходит, они начали избивать дубинками сначала прокурора Майера, затем принялись за членов второй городской комиссии, затем за пехотинцев, затем за спешившихся кавалеристов, затем за адъютантов, офицеров комитета и самого генерала.

Под их натиском все участники сражения резко повернули назад и стремительно побежали в направлении с юга на север в следующем порядке: генерал, офицеры комитета, адъютанты, спешившиеся кавалеристы, вторая городская комиссия, полицейские.

Вслед за полицейскими основного состава на место действия прибыла пожарная команда; она погрузила концы своих шлангов прямо в Кошачий ручей и направила их на поле сражения, окатив струями холодной воды сначала генерала, затем офицеров комитета, затем адъютантов, затем кавалерию, затем пехотинцев, затем членов второй городской комиссии и, наконец, два полицейских отряда, с боем пробивавшихся вперед со своими дубинками.

Под напором воды все участники сражения сделали еще один крутой поворот и снова помчались с севера на юг, причем впереди на этот раз бежали полицейские, молотившие в пустоту своими дубинками.

В 10 час. 43 мин. на место действия прибыли части вспомогательной полиции в количестве одного батальона и тотчас же пошли в атаку на катящееся навстречу поле сражения в целом. Под этим встречным напором был сделан еще один поворот, причем на этот раз и пожарная команда была увлечена общим потоком. Все поле сражения в целом вновь стало перемещаться в направлении с юга на север в следующем порядке: пожарная команда, генерал, офицеры комитета, адъютанты, спешившаяся кавалерия, пехота, вторая городская комиссия по расследованию убийств, полиция основного состава и вспомогательная полиция.

В 10 час. 57 мин. на место сражения прибыл судебный следователь, в 10 час. 59 мин.—следователь по особо важным делам, в 11 час. 01 мин.—председатель городского суда, а в 11 час. 02 мин.—сам обер-бургомистр.

Тогда генерал, мчавшийся вслед за пожарной командой и впереди офицеров комитета, решил отдать наконец приказ о прекращении боя. Но напрасно он стал искать кого-нибудь, кто передал бы его приказ. Адъютанты, офицеры, пехота и спешившаяся кавалерия, зажатые между пожарной командой и полицейскими, были слишком поглощены бегом, а два трубача, находившиеся в его распоряжении, сидели на другом берегу в роще и охраняли вверенных им пленных: прокурора Плахера и членов первой городской комиссии, а также боевых коней, принадлежавших спешившейся кавалерии.

Тогда генерал решил просто-напросто остановиться. Вслед за ним сразу же остановились офицеры комитета, за офицерами комитета — адъютанты, за адъютантами — спешившаяся кавалерия, за кавалерией — пехота, за пехотой — члены второй городской комиссии по расследованию убийств, за ними — полицейские, за полицейскими — вспомогательная полиция, за вспомогательной полицией — судебный следователь, за ним — следователь по особо важным делам, за следователем — судья, за судьей — сам обер-бургомистр.

Только пожарные впопыхах не заметили внезапной перемены и все быстрее удалялись в северном направлении, в дымке еще не рассеявшегося лугового тумана.

К этому моменту прокурору Плахеру удалось убедить охранявших его трубачей, что им всем следует делать одно общее дело, и прокурор Плахер, со всеми конями спешившейся кавалерии, с членами первой городской комиссии и с двумя трубачами, переправился через Кошачий ручей и приказал трубить к атаке.

Но председатель суда потребовал от подчиненного ему прокурора Плахера прекратить атаку, ведь сражение, по всей видимости, уже окончено.

Плахер тотчас же с радостью согласился, и теперь все участники сражения стояли неподвижно, за исключением пожарной команды, которая все еще бежала на север и возвратилась несколько позже, когда генерал Ревач снова занял свой командный пункт на вершине холма.

Его плотным кольцом окружили судебный следователь, следователь по особо важным делам, судья, офицеры комитета, советники юстиции и их помощники, а ниже, на склонах, до самого луга, расположились солдаты-добровольцы, полицейские основного и вспомогательного состава и только что возвратившиеся члены пожарной команды.

Генерал с готовностью дал ответы на все вопросы следователя: «...**для того чтобы сохранить политическое равновесие, нам необходимо сохранить армию; чтобы сохранить армию, нам необходимо сохранить солдатскую доблесть; чтобы сохранить солдатскую доблесть, нам необходнмо сохранить войны, хотя бы небольшие, местного значения, но ожесточенные. И наоборот: если исчезнет солдатская доблесть, придет конец армии; если исчезнет армия, придет конец политическому равновесию,**

если исчезнет политическое равновесие, придет конец всякой политике, а если придет конец всякой политике, погибнет весь мир».

Эту логику все, и в особенности обербургомистр, сочли вполне убедительной. Сражение у Кошачьего ручья, сказал обер-бургомистр в своей короткой речи, неопровержимо доказало правильность военно-стратегического мышления нашего времени. Но несмотря на это, прокурор Плахер дал своим подчиненным указание надеть на генерала наручники и попросил его проследовать вперед по образовавшемуся в толпе проходу в направлении близлежащего шоссе.

Затем он прихватил с собой плакат «Командный пункт комитета «Спасите войну!» в качестве вещественного доказательства и направился следом за генералом Ревачем, а за ним двинулись обер-бургомистр, судья, следователь по особо важным делам, просто следователь, офицеры комитета, адъютанты, пехотинцы, кавалеристы, вновь севшие на своих коней, полицейские основного и вспомогательного состава и пожарная команда.

ФРЭНК САЛЛИВЕН

Признание

РАССКАЗ

Перевод с английского ВИКТОРИИ КОСТЫЛЕВОЙ

Меня зовут Фрэнсис Оккль. Я убил Билла-Потрошителя из Техаса, отравителя цианидом. Я отравил его. Так ему и надо! Он первый пытался отравить меня. Я рад, что сделал это. Это был не человек, а чудовище. Он получил по заслугам.

В ночь убийства я находился в своей квартире и занимался своим делом. Свернувшись калачиком, я устроился у камина с книгой. Книга была ужасная. В дверь позвонили.

— Фу,— так я, кажется, сказал. Я открыл дверь. На пороге стоял мужчина.

— Я пришел починить радио,— сказал он.

Я захлопнул дверь у него перед носом. А потом в голову мне пришла идея, и я снова открыл дверь:

— Вы что, чините радиоприемники?

— Да, это моя работа.

С минуту я смотрел ему прямо в глаза.

— А вы можете... ну... не починить радио?

И я позволил слегка, почти незаметно подморгнуть своему левому глазу.

— Что вы имеете в виду?..— спросил он.

— Скажу без обиняков. Вы можете сломать этот радиоприемник?

— Ну,— засомневался он,— вряд ли это будет этично.

— К черту этику,— прохрипел я,— можете или нет?

— Это было бы предательством по отношению к Грэму Маккейми, Этуотеру Кенту и Амосу и Энди.

— Ваше предательство я постараюсь оценить по заслугам.

Я бросил ему кошелек с золотом.

— Это не все,— добавил я многозначительно.

— Я сломаю вам радио,— уступил он.

— Заходите, молодой человек,— сказал я,— но помните, его нужно не просто поцарапать, его надо сломать. Взорвать. Безвозвратно разрушить, исковеркать, уничтожить и...

Я замолчал. Во взгляде юноши что-то было. В том, как он стоял и смотрел на меня. Я бросил ему еще один кошелек с золотом. В ответ он только рассмеялся. Слышать это было ужасно.

— Ломай радио,— скомандовал я. Теперь я в самом деле был взволнован и бросил ему еще два кошелька с золотом.

— Я не мастер,— сказал он.

— Тогда кто вы?

— Увидите.

Он достал из кармана маленький пакетик. Растворил содержимое в стакане воды. Вдруг до меня дошло. Я регулярно читаю газеты.

— Господи! — вскричал я.— Вы...

— Я кто? — Он улыбался.

— Билл-Потрошитель из Техаса, отравитель цианидом? — в моем голосе был ужас.

Он поклонился.

— К вашим услугам,— вежливо сказал он.

— Но вы же не собираетесь отравить меня?

— А почему бы и нет?

— Почему, почему, не знаю. Никто не пытался этого сделать. Мне **не нравится** яд.

— Оливы вам сначала тоже не нравились.

— Они мне до сих пор не нравятся.— Это я сказал назло.

— Вы почти уговорили меня не давать вам яд...— сказал Техасец-Билл.— Я тоже терпеть не могу оливы.

— Нет, вы не отравите меня, Техасец-Билл. Это невозможно. Я слишком молод для смерти. Я слишком красив. Представьте, что это прекрасное тело пойдет на корм червям, и так рано. Сохраните меня, Техасец-Билл. Я не хочу умирать, я хочу любить, познать радость и горечь жизни. Я так талантлив. Сколько людей будет тосковать по мне. О Билл, это не должно случиться. Разве в вас нет чувства сострадания, бессердечный вы человек?

— Нет,— ответил он.

Так мы долго уговаривали друг друга и туда и сюда. Я — с неистовством и отчаянием пойманного в капкан зверя, он же играл со мной как кошка с мышкой. В конце концов, нетерпеливо махнув рукой, он прервал меня.

— Хватит,— вскричал он,— это начинает мне надоедать. Вы просто зануда. Приятно некоторое время послушать вопли своих жертв. Вместо закуски к тому, что последует. А теперь я хочу посмотреть, как ты будешь крутиться. Вот тут-то я получаю истинное наслаждение: смотрю, как мои жертвы извиваются и корчатся, когда яд начинает действовать. Это я обожаю. Обожаю. На, прими-ка яд. Хватит глупостей.

Я подумал о Мерле, мальчике-лифтере.

— Мерль! — заорал я.— Мерль, Мерль, Мерль, Мерль, Мерль!

Билл только улыбнулся.

— Я отравил его по дороге,— сказал он.

— Так надежды нет?

— Никакой.

— В таком случае я покажу тебе, как умирают Оккли. Давай яд.

— С удовольствием,— ответил Билл.

— И я обещаю корчиться как можно меньше.

— В конце концов,— сказал Билл вкрадчиво,— я ваш гость. А любезный хозяин сделает для гостя все.

— Давай стакан, исчадие ада,— приказал я.

Он протянул мне стакан.

— Пью, глядя прямо тебе в лицо; а это, надо сказать, не подарок.

— Успеха,— вежливо сказал Билл, проигнорировав оскорбление.— Bon voyage [1].

Я выпил. Билл-Техасец поудобнее устроился в кресле, чтобы наблюдать представление.

Прошло несколько минут. Ничего не происходило. Ни единой судороги.

— Очень весело,— протянул Билл.

— Это ожидание ужасно,— сказал я.— Когда яд начинает действовать?

— Ничего не понимаю,— сказал Билл.— Это цианид лучшего качества. На этом я никогда не экономлю.

— Еще,— сказал я, протягивая стакан.

— Ты настоящий Оливер Твист,— сказал Билл.

— На этот раз побольше цианида и поменьше воды,— приказал я.

— Пьяница! — Билл погрозил мне пальчиком.

Новая доза подействовала не больше первой. Ничего не происходило. Билл сам немного разволновался и начал брюзжать.

— Ты меня расстраиваешь,— сказал он,— сильно расстраиваешь.

— Откуда я мог знать,— сказал я.— Я цианида никогда не пил.

— Незнание закона — не оправдание,— сурово произнес он.— Я мог бы сейчас заняться кем-нибудь другим и не терять с тобой времени.

— Лично я,— сказал я ему,— даже рад, что оно не подействовало. Бедный Мерль. Ладно, в знак примирения давай выпьем виски.—При упоминании о виски он побледнел, глаза его вылезли из орбит, с минуту он смотрел на меня не в силах вымолвить ни слова.

— Вы... пьете... шотландское виски? — наконец дрожащим голосом проговорил он.

— Конечно. Обожаю его. Нет ничего лучше, чтобы слегка встряхнуться.

— Это не то, которое привозят на кораблях?

— Никакого другого я никогда и не думал покупать.

Он застонал:

— Какой ужас. Неудивительно, что не подействовало.

— Что не подействовало?

— Я должен был догадаться,— простонал Билл.— Должен был догадаться по вашему носу.

---

[1] Счастливого пути *(франц.)*.

Я чувствовал себя в приподнятом и даже немного воинственном настроении. Может, он имел в виду два стакана цианида.

— А что там такое с моим носом? — потребовал я ответа, наступая на Бияла. Я не люблю, когда интересуются моим носом.

— Ничего, ничего,— сказал он устало.

— Ну и нечего тогда болтать глупости о человеческих носах,— выпалил я.— Давай еще яду.— Я протянул ему стакан.

— Я не могу вас отравить,— признался Билл.— Цианид не действует на тех, кто пережил десятилетнее употребление купленного в Нью-Йорке шотландского виски. На таких людей не действует ни один яд.

— Так ты не можешь меня отравить, а?

— Вы сами в этом убедились.

— А ты пьешь шотландское виски?

Билл в ужасе посмотрел на меня:

— Господи, конечно нет.

— Ты хотел меня отравить, признавайся?

— Ну...

— И не желал слушать мои мольбы о сострадании, а?

— Нет...

— Ну а теперь моя очередь. Чистого или с содовой?

— Неужели вы можете заставить меня пить виски? — вскричал Билл, вскакивая. Он был бледен как мел.

— Нет ни малейшего сомнения в том, что это именно то, что я хочу тебе предложить.— Я чувствовал, что цианид прочищает мозги закоренелому потребителю виски.

Он попытался вырваться. Начал биться в дверь.

— Мерль,— кричал Техасец-Билл.— Мерль, Мерль, Мерль!

— Ты забыл, что отравил Мерля,— я наслаждался, наблюдая, как он мечется в агонии.

— О, что же мне делать,— зарыдал он.— Пожалейте меня, мистер Оккль. Пожалуйста, не давайте мне виски. Я молод. Я хорош собой. Я еще не хочу умирать. Я хочу жить, угощать людей ядом и наслаждаться.

— Чистого или с содовой? — Я налил ему хороший стакан крепкого виски.— После этого ты наконец перестанешь болтать,— сказал я игриво.

— Вы гугенот, вы Франкенштейн,— продолжал плакать он, а потом бросился на меня с кулаками.— Неужели ничто не может вас разжалобить?

— Как ты мне, так и я тебе,— сказал я.

— Пожалейте меня. Я все для вас сделаю. Я буду давать яд только тем, на кого вы укажете.

— Когда стороны меняются местами, это только справедливо. Ну, давай опрокидывай — и проснешься в лучшем мире.

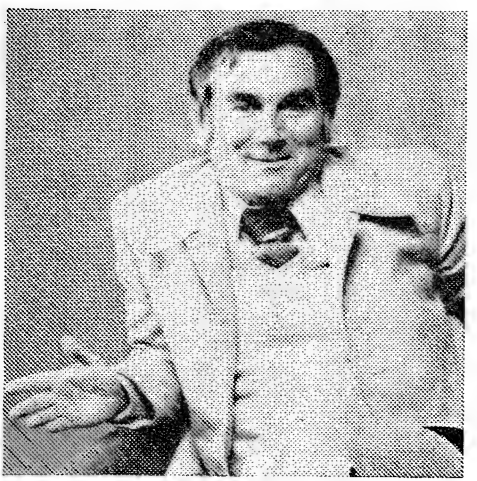
Я налил себе еще яда. Пусть Билл пьет виски.

— О, дьявол из дьяволов! — завизжал Билл, и, озверело взглянув на меня, он схватил стакан с виски и выпил его до дна. Виски было свежее, только что из порта, поэтому минут через пять Билл перестал сопротивляться. Я накрыл его скатертью, налил себе еще цианида, разбавил его виски и пошел гулять.

Вот и вся история, прошу, помогите мне. Я рад, что отравил его. То, что для одного виски, для другого — цианид.

◆

Наши гости



Думитру Раду Попеску

РУМЫНИЯ

Слушая Думитру Раду Попеску, я вспоминала давнее и самое сильное впечатление от его писательского таланта, связанное, как это ни странно, с Кишиневской ветеринарной лабораторией, где работает моя старинная знакомая Зинаида Михайловна Димитрова. Возможно, кто-нибудь удивится: какое отношение имеет ветеринарная лаборатория к румынскому писателю? Самое прямое. Зинаида Михайловна была первой русской читательницей переведенной мной повести Думитру Раду Попеску «Королевская охота». Однажды, когда я зашла к Зинаиде Михайловне, она, оторвавшись от колб и пробирок, порылась в шкафу и протянула мне историю болезни человека, умершего от укуса бешеной лисицы. Я листала «историю» этой страшной болезни и невольно выверяла, взвешивала правду и вымысел в повести Попеску «Королевская охота». Меня поразила тогда писательская осведомленность, знание предмета, я бы сказала — научный подход к художественной прозе, сочетающийся со смелым, порою безудержным вымыслом и фантазией. Описание бешенства в повести точно совпадало с сухой историей болезни, зафиксировавшей смерть пораженного бешенством.

Успех повести «Королевская охота» и одноименного романа (написанного на основе этой повести и опубликованного в Румынии в 1973 году) — в его обнаженной правде. Попеску изображает непростой для Румынии переходный период, когда страна была освобождена от фашистского ига, но монархия еще не пала, обострилась классовая борьба в деревне, буржуазия и реакция стремились подорвать изнутри зарождающуюся народную власть, ослабить влияние коммунистов.

Бешенство, будто шаман, кружило по деревне, било в бубен горя. Вирус бешенства тождествен вирусу страха, вирусу недоверия к новому. Симптомы подозрительности разъединяли людей, сеяли смуту в умах — такова суть повести. Надо очень любить землю, людей, чтобы писать так, как пишет Думитру Раду Попеску. Жестоко и мужественно, трагично и оптимистически — ради грядущего, ради победы благородных идеалов человечества.

В ином ключе написан роман «Двое под Цебой-горой». Его можно было бы условно назвать пасторальным, не будь в нем трагического фона — войны. Юные герои Илона и Илие бегут от ужасов войны, от жестокосердия темных, забитых крестьян, которые не в состоянии разобраться в событиях, понять, где своя власть, а где чужая, кому надо помогать, а кого убивать (тут и не убранные с поля боя мертвецы, и распятые на крестах попы, и надругательство

на потеху селу над одноногим калекой, привязанным к ослу). Влюбленные скрываются в лесу и переживают счастливые дни первой любви. Они питаются грибами, купаются в реке, рвут цветы, слушают пение птиц, радуются солнцу. Они забыли о войне, о людях. Но влюбленных настигает брат Илоны, который хочет убить Илие за то, что он обесчестил сестру. А решает все война: на глазах Илоны взрывом убивает обоих.

— Расскажите, над чем вы сейчас работаете?

— Мой новый роман называется «Хромой заяц». Главный его персонаж — писатель, роман этот как бы диалог с автором-героем, который повествует о создаваемых книгах, о творчестве, о проблемах эстетики, о понимании и толковании современности. Я беру за основу миф «молодость без старости». Герой его пускается в путь, чтобы завоевать бессмертие, познать изначальный смысл жизни, суть земного мира, иного, отличного от того, где время как бы остановилось навечно и где счастье статично. Он попадает в запретную зону, потому что в сказках, как и в действительности, тоже бывают запретные зоны, бредет по долине слез и вспоминает о покинутых краях, о людях, с которыми жил раньше. В странствиях герой не продает душу дьяволу. Его пленяет и снова влечет земная жизнь. Герой отказывается от вечного счастья, которое сулила ему фея, сопровождавшая его в странствиях и полюбившая его, и возвращается в родные края, где умирает. Но и сама смерть становится как бы возвращенным ему достоянием, так как человеку не должно быть чуждо ничто человеческое. И ему не о чем жалеть. Он возвращается в родную обитель, познав мир, познав себя самого...

Я очень упрощенно рассказал замысел романа и не знаю, донес ли мой рассказ до вас хотя бы одну из идей книги. Я использовал в романе миф. Этому мы учимся у великих писателей, которые брали для своих книг мифы и сказки, чтобы с их помощью лучше и образнее отразить современность. Пока что мною написано 600 страниц.

А когда-то Думитру Раду Попеску собирался стать врачом. На филологический факультет Клужского университета он поступил в 1956 году после трех лет учебы в мединституте. Об этой поре своей жизни он рассказал в интервью бухарестскому еженедельнику «Лучафэрул»:

«— Вы пришли в мир литературы, потерпев неудачу с медицинской карьерой?

— Я ушел до неудачи... Я поступил в мединститут по конкурсу. До третьего курса, пока я не покинул его, я сдал все экзамены, не блестяще, но сдал. Я отказался от медицины, потому что не мог притворяться до бесконечности, а объем работы в мединституте очень велик, и у меня оставалось очень немного времени для письма и чтения.

— Когда вы сдавали вступительные экзамены в медицинский институт, разве вы не думали о том, что вас ждет, если вы пройдете по конкурсу?

— Я не хотел поступать в мединститут. Опыт войны заставил моего отца верить в то, что врачи устраиваются лучше других. О филфаке не могло быть и речи. Мои родители, учителя, считали свое положение далеко не блестящим... В конце концов, была и моя «воля» стать врачом, хотя меня прельщала мысль о режиссуре в театре, об актерстве, но... на факультеты, где талант — это условие, поступать было рискованно: неизвестно, совпадает ли твое желание, хотя бы частично, с подлинным талантом. Я поступил в мединститут, и хотя на первом курсе я не боялся трупов в анатомичке, на третьем я делал все, чтобы «передавать» уколы, которые я должен был делать больным, моим прилежным сокурсницам. Короче, в 1956 году я отказался от медицины».

Окончил университет Думитру Раду Попеску в 1961 году. Однако этот выпускник филфака отнюдь не был новичком в литературе. Дебют его состоялся в 1953 году, когда были опубликованы первые стихи, а в 1958—1959 годах вышли книга новелл «Бегство» и роман «Дни недели». Сегодня он один из крупнейших прозаиков и драматургов, автор свыше полутора десятка книг прозы, нескольких широко идущих на румынской сцене пьес и киносценариев, лауреат ряда литературых премий.

Д. Р. Попеску—заместитель председателя Союза писателей Румынии, первый секретарь Клужской ассоциации писателей, кандидат в члены ЦК РКП, депутат Великого Национального Собрания. Только за последние годы у него вышли романы «Лето в Олтении», «Ф». «Королевская охота», «Пиво для моего коня», «Дожди по ту сторону времени», «Император облаков». Корни жизненности прозы Д. Р. Попеску, истоки его мастерства — в густом, сочном реализме, любовно впитавшем в себя румынский фольклор: поверья, присказки, поговорки, прибаутки, острые, а порою и «соленые» народные словечки.

Немало произведений этого талантливого румынского писателя переведено на различные языки мира. Советским читателям имя его хорошо известно по опубликованным у нас на русском языке сборнику рассказов «Белый дождь» (Москва, «Молодая гвардия», 1964), повести «Королевская охота» («Дружба народов» № 9, 1970) и «Скорбно Анастасия шла» (журнал «Иностранная литература» № 2, 1977), переводам на украинский, литовский и эстонский языки.

Выясняется, что наш гость внимательно следит за этими переводами:

— Я благодарю вас за мою повесть «Скорбно Анастасия шла» и новеллы. Публикации в «Иностранной литературе» завоевали мне много друзей, и вообще я хочу сказать, что быть опубликованным в вашем журнале — это большая честь для писателя.

Его «Анастасия», которая творит погребальный обряд, хоронит партизана-серба, несмотря на запрет убивших его фашистов, стала в Румынии хрестоматийной. Этот образ перекликается с другим его прекрасным женским образом — Марией из пьесы «Гномик в летнем саду». Коммунистка-подпольщица, казненная легионерами летом 1944 года, незадолго до освобождения Румынии от фашистского ига, поднимается над физическими страданиями, стойко перенося пытки и издевательства палачей. Короткая жизнь Марии трагична и светла. Молодая румынка отстояла свое человеческое «я», не предала товарищей по оружию, осталась верна партии. Ее моральное и интеллектуальное превосходство над мучителями придает пьесе напряженно-оптимистическое звучание. В финале пьесы одному из тюремщиков чудится, будто расстрелянная Мария взмахнула руками и обратилась в птицу. Это символ духовного вознесения, победы над телесными страданиями, над самой смертью. Накал трагизма, состояние предельного напряжения, физического и духовного, сила воли и присутствие духа, победа над злом, стихийным или организованным, умение жертвовать собой и, наконец, победа разума объединяют эти такие разные, но светлые образы Анастасии и Марии, пополнившие золотую сокровищницу современной румынской литературы.

— Что интересного появилось за последние два-три года в румынской литературе?

— В последние годы появилось много книг. Перечислить все, никого не обидев, невозможно. Назову, например, «Книгу миллионера» Штефана Бэнулеску, «Непослушного ученика» Джордже Бэлэцэ, очень удачную пьесу Марина Сореску «Третий кол». Ожидается выход в свет нового поэтического сборника Никиты Стэнеску. То, что я читал из этой книги,— это прекрасные, превосходные стихи. Марин Преда опубликовал «Жизнь как добыча» — своеобычное автобиографическое произведение, отражающее становление личности писателя. Эуджен Барбу работает над серией книг «Инкогнито». Это цикл романов, вышло уже два тома.

— Вы живете в Клуже, и поэтому, надо полагать, знаете и любите трансильванскую литературу. Не могли бы вы нам что-нибудь рассказать и о ней?

— Вышла новая книга Иштвана Силади «Камень, падающий в колодец», пользующаяся большим успехом и в Будапеште. Я бы назвал также роман Андраша Шютё «Колыбель в небе». Автор использовал много интереснейших документов и автобиографического материала, своего собственного и своей семьи, отрывки из писем, рассказы людей, их впечатления и воспоминания. Хороша книга Фодора Шандора «Плаксивая обезьянка», рассказывающая о жизни городской окраины.

— А что нового в жанре рассказа?

— Очень трудно писать рассказы, гораздо легче писать длинные произведения. В румынской литературе наблюдается своего рода «кризис малого жанра». Сейчас все писатели создают килограммы прозы. Лет десять — двадцать назад автор мог опубликовать три-четыре рассказа, и, если они были удачными и принимались читателями, этого было достаточно для приобретения писательского имени. Сейчас писателей выдвигают не журналы, а издательства. А там любят романы, потому что романы любят читатели. И еще одно: у нас бытует предрассудок, будто тот, кто не пишет романов,— несерьезный писатель.

— Пользуются ли у вас популярностью документальная проза и публицистика?

— Документальная проза пока еще не очень популярна у нас, потому что подчас используется поверхностно, и в такой прозе не отражается истина. Более серьезное и основательное преломление нашел у нас документ в обычной художественной прозе и даже в драматургии. У Камила Петреску есть пьеса «Дантон». Автор одним из первых использовал документ. Это длиннейшая пьеса. Лет сорок она не ставилась на сцене, а потом у нее был необычайный успех. Документ все больше используется у нас писателями и в прозе, и в драматургии, и я полагаю, что в будущем появятся хорошие книги документальной прозы, хотя критики убеждены, что такой тип литературы несколько ущемляет литературу вымысла. С другой стороны, писатели, которые не пользуются в своем творчестве жизненным материалом, далеко уходят в своих вымыслах от действительности, отрываются от земли.

В Румынии выходит много, очень много очерков и путевых заметок. Наша публицистика использует лучшие достижения поэзии и прозы и даже приближается к поэмам и эссе. Ощущается более активное отражение современного мира, чем прежде. А читатели любят литературу, из которой можно почерпнуть в достаточной мере информацию.

Гость рассказывает о своей первой в творческой биографии книге очерков, эссе, критических раздумий «Запятые», опубликованной в клужском издательстве «Дачиа» в 1978 году.

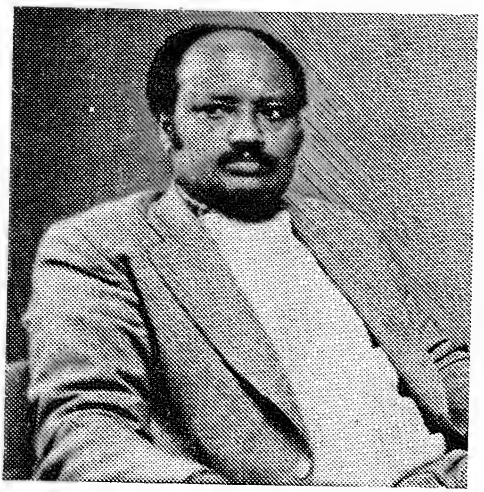
— Это книга очерков о тех местах, где жили писатели или герои их произведений. Я побывал там, где протекала их жизнь, и написал о некоторых героях книг крупных писателей. Это просто как бы «запятая», которая ничего не дает прозе.

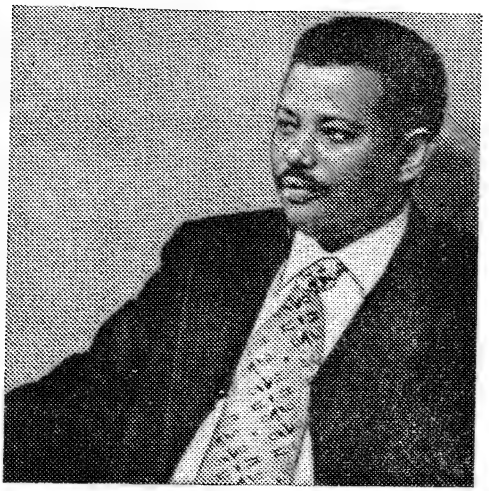
«Самоотзыв» очень скромный. А вот что писал о «Запятых» в еженедельнике «Ромыния литерарэ» В. Сильвестру: «...причудливая книга, трудно поддающаяся классификации. Я назвал ее книгой публицистики, потому что в ней есть очерки, репортажи, воспоминания, но это в равной мере и волнующий творческий дневник».

Это четвертый приезд Думитру Раду Попеску в нашу страну. После первого путешествия по Советскому Союзу писатель

опубликовал в газете «Скынтейя» прекрасный очерк о Сибири и сибиряках. Бывал он потом в Ленинграде, на Кавказе. На этот раз по приглашению Союза писателей СССР отдыхал с женой и сыном в Пицунде. По возвращении в Москву мы говорили о кавказской природе, о море, а потом... вдруг выяснилось, что Думитру Раду Попеску написал в нашем Доме творчества целую главу нового романа.

Л. ДОЛГОШЕВА





Ассефа Гебре Мариам
ЭФИОПИЯ

Асфау Теферра

Эфиопские литераторы не частые гости в нашем журнале, поэтому понятен интерес, с которым мы отнеслись к встрече с генеральным секретарем Союза писателей Эфиопии, поэтом и переводчиком Ассефа Гебре Мариам и с членом исполкома Союза, издателем Асфау Теферра. Вот что они рассказали:

Асфау Теферра.

Моя родина — страна самобытной культуры, уходящей корнями в тысячелетние пласты истории. Во всем мире хорошо известны стелы Аксума, ровесника Древнего Рима, высеченные в скалах церкви Лалибелы, замки Гондара. Но немногие за границей знают о том, что у нас свой, оригинальный алфавит — слоговое письмо с двухтысячелетней историей, своя, оригинальная традиционная живопись, оригинальная система записи музыки и еще многое такое, что говорит о своеобразии культуры нашего народа. Конечно, сейчас Эфиопия живет не только традициями. Современность уже давно властно стучится к нам в дверь, и я думаю, что она не в меньшей степени, чем классическое наследие, определяет теперь наше развитие.

В городах, и прежде всего в столице, литература, театр, живопись, скульптура во многом освоили достижения европейской культуры, не потеряв при этом национального своеобразия. Конечно, еще далеко не все, что у нас создается, может вызвать интерес за границей, но, скажем, своей живописью и поэзией мы определенно можем гордиться.

Ассефа Гебре Мариам.

Вот уже несколько лет в нашей стране происходят воистину исторические перемены. Монархия и феодализм сдерживали наше развитие, в том числе и в области культуры. Но революция 1974 года порвала социальные путы. Теперь перед нами стоят фактически те же задачи, что в свое время перед революционной Россией,— в области культуры это прежде всего ликвидация неграмотности. Еще недавно свыше 90 процентов населения не умели ни читать, ни писать. В этот решающий период нашей истории на писателей ложится особая ответственность. Мы объединились в Союз не только для того, чтобы совместно решать собственно литературные проблемы, но и чтобы лучше служить народу.

Союз насчитывает пока только около пятидесяти членов, у нас еще много разных организационных трудностей. Но они вполне разрешимы. К тому же мы рассчитываем на помощь наших друзей из Советского Союза и других социалистических стран. История создания и деятельность Союза писателей СССР могут служить нам хорошим примером.

Приезд в Советский Союз мы активно использовали для изучения вашего опыта: знакомились с издательским и журнальным делом, с переводом на амхарский язык русской и советской литературы, с театральными новинками. Особенно меня интересовал театр. Я люблю и, как мне кажется, неплохо знаю русское театральное искусство и по мере сил пытаюсь познакомить с ним эфиопскую общественность. Я несколько лет прожил в Ленинграде, где преподавал в университете амхарский язык, а по вечерам изучал русский. В Ленинграде у меня родился сын, мой первый и единственный мальчик; все остальные — дочери. Так что город на Неве стал мне еще дороже — у меня появилась к нему и семейная привязанность.

Так вот, я перевел на амхарский язык комедию Гоголя «Ревизор», которая с успехом идет на сцене драматического театра Аддис-Абебы. Сейчас думаю перевести инсценировку романа М. Горького «Мать». Для нас этот роман очень актуален. Думаю, что мои соотечественники познакомятся с ним с большой пользой для себя. Я смотрел инсценировку «Матери» в Театре на Таганке и невольно представлял ее на сцене нашего театра.

Вообще сотрудничество наших стран, наших народов — это особая тема. Она всегда меня очень волновала. Мне кажется, наши народы близки друг другу по духу. Дело не только в религии (эфиопов обратили в христианство еще в IV веке, и влияние в стране монофизитской церкви, очень близкой по догматам православной, было очень велико): Эфиопия традиционно тянулась к России и, мне кажется, всегда находила здесь понимание и поддержку. У нас знают, что самую могучую пушку, бившую по штурмовавшим крепость Магдала колоннам английского карательного корпуса генерала Нэпира в 1868 году, император Теодрос назвал «Севастополь». А тысячи наших раненых после первой войны с Италией, выражая признательность русским врачам, как молитву шептали: «мескоб», что значит — русский, Россия. Символами нашей дружбы стали советский госпиталь Красного Креста в Аддис-Абебе, политехнический институт в Бахр-Даре, нефтеперерабатывающий завод в Асабе.

Сейчас, после революции 1974 года, наши страны близки как никогда. Общность идейных устремлений сделала нашу традиционную дружбу еще крепче. Она прошла самое трудное испытание: в период сомалийского вторжения на нашу землю помощь СССР и Кубы позволила нам быстрее изгнать агрессора, спасти материальные ценности и тысячи человеческих жизней.

Я считаю, что между нашими странами существует и духовное братство. Символ его — гениальный Пушкин, прадед которого Ибрагим Ганнибал был выходцем из наших земель.

АСФАУ ТЕФЕРРА.

Нас, эфиопских литераторов, особенно интересует сотрудничество в области культуры, и я хотел бы отметить ту огромную популярность, которой пользуется в нашей стране русская и советская литература. Насколько я знаю, этим мы обязаны московскому издательству «Прогресс». За последнее десятилетие на амхарский язык им были переведены и уже нашли массового эфиопского читателя произведения Пушкина, Толстого, Горького, Шолохова, Айтматова и многих других авторов.

Знакомство с богатой русской и советской классикой не могло не повлиять в лучшую сторону и на наших писателей, и на наших читателей. Я думаю, что по-настоящему это глубокое воздействие еще только начинает сказываться. В свою очередь на русском языке вышел роман Гырмачоу Текле Ховариата «Арайя», повести и рассказы других эфиопских писателей, произведения нашего фольклора. Надеюсь, что в будущем у нас появится еще больше произведений, которые бы заслуживали внимания советских читателей.

В. ПЕРЕХВАТОВ
Фото А. Рикельмана

◆

Среди книг

Издано в СССР

КАТАСТРОФА ПО ИМЕНИ УСПЕХ

Теннесси Уильямс. Римская весна миссис Стоун. Рассказы. Эссе. Составление и перевод с английского С. Митиной. Предисловие Г. Злобина. Москва, «Художественная литература», 1978.

Время безжалостно и время милосердно. Безжалостно к тем, кто жил только для себя, и милосердно к тем, кто чем-то обогатил, украсил общую жизнь. Время может продлить жизнь человеческую, если сохранит добрую память о ней, и сделать человека мертвым при жизни, если она бесцельна, никчемна, суетна. Время ограждает истинно ценное и низвергает временное, эфемерное, случайное.

Об этом «коварстве» времени — коварстве, отражающем содеянное самим человеком,— настойчиво размышляет Теннесси Уильямс.

Знакомясь с пьесами, включенными в книгу «Стеклянный зверинец и еще девять пьес», смотря недавний телефильм по пьесе «Сладкоголосая птица юности», мы отчетливо ощущали эту беспокойную и гуманную мысль драматурга: невозвратимость времени; надежность нравственных ориентиров, проверяемая временем; истинные ценности, противостоящие времени.

И вот теперь вышел томик избранной прозы Уильямса, раздвинувший наши представления об этом талантливом художнике. Читая томик, куда вошли рассказы, эссе и повесть «Римская весна миссис Стоун», видишь, что лучшие пьесы Уильямса возникали не случайно, не по счастливому озарению, а в результате напряженных и непростых раздумий о времени, о смысле и ценности человеческой жизни. Вспоминаем знакомые нам пьесы — и многое в них осознаем заново благодаря вроде бы мимоходом брошенным репликам: время «торопится к нам с набором разнообразнейших наркотиков», время «смывает и бесславно уносит прочь бессчетное число жертв», «каждого из нас преследует поистине ужасающее чувство преходящести всего сущего»...

Порой бывает очень поучительно наблюдать, как повторяются мотивы, образы, характеры в творчестве одного писателя; далеко не всегда такие повторения идут от бедности, чаще — от желания лучше разобраться, взглянуть с новой стороны, осветить дополнительный аспект.

Повесть «Римская весна миссис Стоун» в какой-то мере перекликается с пьесой «Сладкоголосая птица юности»: в обоих случаях — стареющая и сорвавшаяся на роли молодой героини актриса, в обоих случаях — состоящий при ней молодой любовник, надеющийся таким путем приобщиться к успеху, к роскошной жизни. Только в повести настойчиво проходит образ не сладкоголосой, а хищной птицы: и апартаменты миссис Стоун высятся над крышами города как одинокое гнездо хищной птицы, и из ее фиалковых глаз глядит хищная пти-

ца, и смеется она «жестким смехом — такой звук мог бы издать ястреб, готовясь к броску».

В сущности, нам следовало бы жалеть стареющую актрису, на которую почти одновременно обрушилось столь многое: «уход со сцены, смерть мужа и наступление климакса». Жалеть и желать, чтобы здесь, в Риме, для нее хоть ненадолго наступила весна и она смогла бы отдохнуть от душевных травм, забыться в любви к молодому итальянцу. Почему же так настойчиво — почти навязчиво — напоминает нам автор о хищной птице?

За этим образом стоит человеческая судьба. Если в «Сладкоголосой птице юности» Уильямс сочувствует своей героине и дарует ей надежду на будущий актерский успех — уже в подобающих ее возрасту ролях, то здесь он честен до конца, не оставляет иллюзий: сцена была для Карен Стоун, средней актрисы, лишь средством выбиться в люди, и там она также старалась «закогтить» всех, кто мог помешать ей. И замуж она вышла за немолодого, но очень богатого человека для того, как угадали знавшие ее люди, «чтоб избежать супружеских отношений» — избежать всего, что могло расслабить ее, и чтобы в то же время приобрести богатство, помогающее удержать «достигнутые в жизни высоты». И молодого Паоло на роль любовника она покупает осторожно, скупо, опасаясь переплатить. Эта душевная скупость, стремление только урвать, «когтить» — в работе, в замужестве, в любовных утехах — и объясняет нам, почему возник образ хищной птицы.

А в рассказе «Вверх и вниз» тип стареющей богатой женщины появляется еще в одном облике. Это слывущая меценаткой миссис Гофорт, которой пошел уже восьмой десяток и которая «любила время от времени окружать себя блестящими молодыми людьми». Но и ее меценатство было своеобразным вложением денег в доходное дело: она помогала не тем, кто нуждался в ней, а тем, в ком нуждалась сама. Для тех же, к кому пропадал интерес, существовал на отшибе убогий домик со знаменательным именем «Забывальня».

Склонный порой к натуралистическим эффектам, Уильямс создает в рассказе нарочито острую ситуацию. Тридцатитрехлетнего Джимми, ищущего благосклонного внимания меценатки, сначала проводят через испытание голодом: ему благородно предлагают чашечку кофе, но она вызывает лишь спазмы в его давно уже пустом желудке. А потом его позвали в библиотеку, где стареющая миссис внезапно предстала пред ним обнаженной. «Не признаю никаких условностей»,— сказала она растерявшемуся посетителю. А после сказанного ею за чашкой кофе под отказом от условностей следовало понимать не только физическую, но и душевную наготу: стоит ли церемониться, стоит ли прикрывать тело одеждой, а помыслы словами. Не подготовленного к такому стремительному стриптизу поэта-неудачника безжалостно изгоняют.

Недолго ведь горевала и миссис Стоун, когда ее Паоло перешел к другой американке, показавшейся ему более щедрой. Там, внизу, тоже дожидался своего часа молодой, совсем уж нищий итальянец — а миссис Стоун тоже не любила условностей. И еще она не любила пустоту: «Что угодно — только не это затянувшееся ничто». И словно объясняя свой интерес к образу богатой стареющей американки, испугавшейся надвинувшегося пустого времени, Уильямс пишет в автобиографическом эссе, выделив эти слова курсивом: «*Сверхбогачи так трогательно верят в спасительное действие мелких сумм!*»

Так, и в пьесе, и в повести, и в рассказе, и в эссе проходит один образ, одна идея, одна ситуация. Наверное, можно определить это как типично американскую ситуацию: верить в безусловную силу денег, на которые можно все купить, поскольку нынешние обладатели денег сами всегда за них продавались. А выбрал Уильямс эту ситуацию потому (более привычно, когда молодых женщин покупают старые богачи), что стареющая женщина и продающийся молодой человек гораздо острее обнажают всю противоестественность происходящего.

И нельзя забывать, что в этой типично американской ситуации есть и второй образ — продающегося молодого человека: Чанс Уэйн в пьесе, Паоло в повести, Джимми в рассказе. Все они считают естественным этот путь: выбиться в люди, схватить удачу или просто пожить с шиком возле богатой старухи.

Сначала может показаться, что писатель изображает жертв — неудачника Джимми, не готового принять такую наготу; Паоло, которому недоплачивает миссис Стоун, Чанса Уэйна, который хотел лишь на время воспользоваться благами «принцессы». Но опять конечный, прямой ответ — в автобиографическом эссе, симптоматично названном «Как я выжил: нечто о прошлом».

И сам Уильямс в юности был жесточайше беден, и он мечтал выбиться в драматурги, схватить свою удачу, и он нестерпимо голодал. Но он карабкался, карабкался, карабкался — сторожил ферму с цыплятами, работал ночным лифтером в отеле, официантом в забегаловке и тоже однажды пробыл четыре месяца в доме процветающего сочинителя поп-музыки. Вот откуда идет и его знание типично американской ситуации, и неоднозначность судеб молодых искателей счастья в его пьесах, и неприятие этого пути к успеху. Отсюда его горькое презрение к людям, поставившим только на этот способ, и частые слова о человеческом достоинстве. Достоинстве, соотнесенном с идеей времени: «Великое и единственно мыслимое достоинство человека состоит в том, что он волен сам выбирать себе идеалы и жить, не поступаясь ими,— так, словно он, подобно действующему лицу пьесы, надежно огражден от растлевающего натиска времени».

И еще одна перекличка: «Трамвай «Желание» — так названа пьеса. «Трамвай «Успех» — так названо эссе, не имеющее прямых аналогий с ситуациями пьесы, но связанное с ней общей мыслью. Успех, вроде бы увенчавший желание,— это и есть главное испытание человека. Трамвай добрался не до вершины, а до крутого поворота. И не каждый умеет с достоинством «выйти целым и невредимым из катастрофы, имя которой — Успех». Ибо успех обнажает и цели, и средства, и запас душевных сил, и способность оставаться личностью. Не стану пересказывать основные мысли эссе. Приведу лишь одну: «Я отчаянно карабкался вверх по отвесной скале, обламывая ногти, и если мне удавалось забраться хоть на дюйм выше, чем я был вчера, изо всех сил вцеплялся в камень голыми руками, и все же это была настоящая жизнь, ибо именно на такую и рассчитан человеческий организм».

Но есть и третий тип характеров, проходящий через большинство рассказов сборника: не те, что вскарабкались, не те, что карабкаются, а те, что не могут вскарабкаться, ибо не в силах совладать с «ранящими осколками действительности» — девушка из рассказа «Лицо сестры в сиянии стекла», рабочий-итальянец Лючио из рассказа «Проклятье», студентка Флора из рассказа «Самое важное». Ко всем этим людям в той или иной мере приложимы горькие слова автора о Флоре: «Беглянка, которой некуда бежать». Они вызывают у автора чувство глубокой симпатии и сострадания.

Сострадание, без которого не может быть настоящего писателя, чувство достоинства, пробивающееся сквозь самые мрачные и жестокие картины, образуют своеобразный контрапункт прозы Уильямса. Контрапункт, сливающийся в одну грустную и светлую мелодию, за звучание которой мы готовы простить и мелодраматичность иных эпизодов, и излишнее «договаривание» очевидного, и некоторую сентиментальность интонации.

Так трогательна эта мелодия...

А. БОЧАРОВ

КОГДА ГОВОРИТ СМЕХ

Сигбьерн Хельмебак. Андерсенам — ура! Повесть. Перевод с норвежского Н. Крымовой и Ю. Поспелова. Предисловие М. Кнутсена Послесловие автора. «Роман-газета» № 6, 1977.

Жизнь полна случайностей. Однажды молодой норвежец по имени Карл Альфред ехал на машине; у дороги, возле брошенного на землю велосипеда, сидела девушка и, судя по всему, ждала попутную машину. Молодой человек остановил свой «бьюик». Автомобиль не стронулся с места до самого утра. А утром молодые люди, Карл Альфред и Хильдур Софи Эвансен, так звали девушку, забросили велосипед на заднее сиденье старого «бьюика» и поехали дальше. По случаю Карл Альфред купил мелочную лавку разорившегося торговца в небольшом пригородном поселке. Молодые люди поселились в этой лавке и до сих пор живут там. Вокруг возник кооперативный поселок банковских служащих.

Обо всем этом мы узнаем на первых же страницах повести Сигбьерна Хельмебака «Андерсенам — ура!». На обложке книги Сигбьерн Хельмебак изображен с трубкой в руке, в уголках его рта застыла усмешка, портрет автора на обложке обещает нам веселое чтение.

«Я написал «Андерсенов» набело за десять дней,— рассказывает Хельмебак,— и такая быстрота объясняется тем, что писать было весело. Если читателю передастся хотя бы десятая доля того веселья, которое владело мной, то цель книги достигнута».

Итак, настроимся на волну норвежского писателя.

Хельмебак дебютировал более двадцати пяти лет тому назад сборником рассказов, затем писал романы и произведения для театра и кинематографа. Это были далеко не веселые истории о человеческой жизни, о борьбе за существование, о тяжком времени гитлеровской оккупации. Роман Хельмебака «Камень-коляска» был признан в Норвегии лучшим за 1975 год.

«Я очень привязан к родным местам и большую часть материала для своих книг почерпнул там — в Вестагдере, в Южной Норвегии. Я не буду пытаться описывать тамошнюю природу, набросаю только несколько штрихов: узкие фьорды, отвесные скалы и пустоши на плоскогорьях. Хутора отделены друг от друга многими километрами. Две-три коровы в хозяйстве да несколько овец. Места очень красивые...» — пишет Хельмебак.

Что же до книги «Андерсенам — ура!», то тут нет ни красивых фьордов, ни открытых глазу пространств. Действие повести разворачивается в пригородном поселке. Где-то поблизости, можно доехать на велосипеде, шумит большой город, промышленный и финансовый центр. Там и работают главные действующие лица повести — служащий банка Хермансен и рабочий фирмы по сносу старых домов — сорокадвухлетний Андерсен. В поселке у всех стандартные дома с коммунальными удобствами, лужайкой перед окнами и живой, аккуратно подстригаемой изгородью. В поселке есть кооперативный магазин, есть почта, на случай бомбежки — убежище со спецоборудованием, построена детская площадка со скульптурными изображениями двух хохлаток и петуха — в бронзе, разумеется, тут есть и песочницы, и лозунг «Игра дает

здоровье и чувство единства». За исключением Андерсенов, которые продолжают жить в своей мелочной лавке, в окружении преследуемых кооперативом домашних животных, все обитатели поселка оплачивают свое благосостояние в кредит. Рассрочка — двигатель прогресса! И конечно, некоторые берут работу домой, чтобы оплатить покупку машины или модной жаровни. Тут проживают скромные банковские служащие. Председатель правления кооператива Хермансен, ведущий борьбу с Андерсенами, размышляет: «Все это были простые люди, вышедшие из низов. Так и он сам: отец был водителем грузовика и не имел возможности дать своим детям образование, лишь он сам сумел выбиться, окончить среднюю школу, потом торговую школу и наконец поступить в банк. Было нелегко этого добиться. Так и другие, кто приехал с мелких хуторов, из маленьких городков, с дальнего севера, а теперь живет здесь, у каждого свой дом, палисадник, машина, холодильник».

Возникает вопрос: почему же Хельмебак с издевкой описывает весь уклад жизни в поселке, благосостояние простых в общем-то людей, скромных служащих, почему ему больше по душе неприбранный участок вокруг старой лавки, в которой живет семья Андерсенов? Почему писатель провозглашает лозунг «Андерсенам — ура!»? Ведь, в самом деле, лавка и забор возле нее портят общий вид поселка, куры Андерсена мешают уличному движению, есть еще и поросенок, и кролики — вопреки принятым в кооперативе правилам не разводить домашних животных. Андерсены отказываются не только ликвидировать кошку, но и не хотят получить уютный и комфортабельный дом, живут себе в лавке, словно где-нибудь на хуторе.

Дело в том, что Хермансен, предлагая от имени кооператива улучшить быт Андерсенов, хочет привести их жизнь к некоему общему знаменателю — принятому стандарту жизни. За модернизацию своего жилья и подключение к коммунальному водопроводу и канализации Андерсены должны заплатить своей индивидуальностью. И если представить стандартизированный поселок банковских служащих в виде пустыни, то старая лавка Андерсенов, окруженная садом, который так любят соседские дети, будет оазисом.

Положение Андерсенов в этой однообразной пустыне сложное: имея четырех детей, старшая дочь — невеста, они не удосужились оформить свой брак, живут по любви, но любовь для правления кооператива не является документом. (Фру Андерсен объясняет это так: во-первых, ей не хотелось спугнуть свое счастье законным браком, в наше время брак никого не в силах удержать, во-вторых, она мечтала о настоящей свадьбе, с хорошим пастором, ибо ей не нравилось сидеть в ратуше «под ужасной картиной Мунка» в ожидании, пока их брак будет зарегистрирован). Что ж, для председателя правления Хермансена такое супружество — сожительство, а сожительство — безнравственно, аморальное поведение Андерсенов позволит кооперативу избавиться от них. Одним словом, тучи сгущаются.

Идет борьба разноликой, многоцветной жизни со стандартом мышления и поведения, а в конечном счете — с серостью и однообразием.

Стандарт хорошо организован, на его стороне финансы, он оснащен политической демагогией, он сулит равенство, а на самом деле — несвободу. Сын водителя грузовика Хермансен, оказавшись во главе кооператива, «руководит многогранной деятельностью здешнего населения», издает циркуляры, проводит «мероприятия». Хельмебак очень точно показывает, во что может превратиться такое демократическое начинание, как кооператив, если внести в его жизнь элементы бюрократического управления.

По мнению Карла Альфреда Андерсена, вся эта кооперативная возня, которая идет вокруг их лавки, не стоит любимой кошки, которую им предлагают отдать на сторону. Андерсенам, взрослым и их детям, нравится жить так, как они живут, как жили, наверное, их предки. Андерсены счастливы тем, что они родились, выросли, встретились, родили детей,— остальное приложится. Его Величество Случай руководит нами, и будем на него полагаться! Случай свел Карла Альфреда с женой. Случай помог им (когда они искали пристанище для своей любви) купить лавку, наконец, тот же Случай спас их, когда все складывалось плохо — монтер отключил дом от электросети за неуплату, и Хермансен явился с очередным требованием,— и тут почта доставляет Андерсенам чек на 70 995 крон, выигранных в спортлото... Потом была пышная свадьба с пастором, восхитительное свадебное путешествие и, конечно, долги...

Вся эта цепь чудесных обстоятельств была бы просто невозможна в «обычной» прозе, такая проза не выдерживает нагрузки удач и чудес. Но тут говорит смех! Со смехом, потешаясь над своими героями, любя одних и презирая других, можно говорить все, можно и не оглядываться на строгого критика, который стоит с литературным аршином в руках. И это прекрасно знает усмехающийся с обложки книги Сигбьерн Хельмебак.

Свое послесловие писатель заканчивает призывом:

«Будем же радоваться жизни, как пытается это делать семья Андерсенов, просто и бесхитростно. Пусть горе никогда не убьет радости жизни».

Призыв Сигбьерна Хельмебака услышан.

МИХАИЛ АНДРАША

Издано за рубежом

ПУТЬ К ПЕРЕВОДУ

МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ ИЛИ ВОЛЬНОЕ ПОДРАЖАНИЕ?

Ľubomír Feldek. Z reči do reči. Bratislava, «Slovensky spisovatel», 1977.

Любомир Фельдек. С одного языка на другой. 1977.

Перевод — это любовь. Любовь к труду, любовь к своему языку и литературе, любовь к чужой стране, чужому языку, чужим писателям и даже... к чужим мыслям. Эту статью меня, переводчика, побудил написать интерес к мыслям о переводе, высказанным словацким поэтом, драматургом, детским писателем и переводчиком Любомиром Фельдеком в его книге «С одного языка на другой».

Сейчас уже нет необходимости доказывать, что перевод, и тем более поэтический перевод,— искусство. Как в любом виде искусства, в переводе существуют школы и течения, характерные для конкретной эпохи, иногда для какой-то группы переводчиков, и определенные общие тенденции, проявляющиеся на всем протяжении истории художественного перевода. Так, одни литераторы, обращаясь к переводу, занимались им из желания самоотверженно служить автору, раствориться в нем, с максимальной точностью воссоздавая оригинал. Нередко это приводило к буквализму. Другие видели в произведении иноязычного поэта прежде всего импульс для самовыражения и рассматривали перевод как форму своеобразного соперничества с автором подлинника. Такой перевод порой превращался в вольное подражание. В XX веке наметилось два подхода к переводу — говоря условно, объективно-научный и субъективно-авторский. При первом подчеркивается научная основа перевода, принцип функционального перевода, учитывающий, что в процессе перевода всегда взаимодействуют две разные языковые и художественно-стилистические системы и исследовательский поиск максимально соответствующих эквивалентов. Сторонники такого подхода опираются на данные сопоставительной грамматики и сопоставительной лингвистической стилистики, сопоставительной поэтики и сопоставительной теории стиля художественного произведения. При втором подходе акцентируется субъективно-творческое, интуитивное начало, ставка делается на художественную индивидуальность переводчика. Сознательными или бессознательными сторонниками такого подхода чаще всего бывают профессиональные поэты, выступающие в роли переводчиков. На одном международном переводческом семинаре мне довелось слышать выступление польского поэта, который с известной даже гордостью заявил, что понятия не имел и не имеет о теории перевода, а вот ведь переводит, и вроде бы неплохо.

Как я уже сказал, Любомир Фельдек — тоже поэт. Более того, он требует, чтобы поэзию переводили именно поэты. Тем не менее ему хорошо знакома современная теория перевода, в частности книги его соотечественников — чеха Иржи Левого и словака Антона Поповича. Поэтому, опираясь в своих суждениях о проблемах поэтического перевода на собственный переводческий опыт, он не открывает заново Америк, а выдвигает определенную переводческую концепцию, отстаивает свой переводческий метод, впрочем никому его не навязывая.

Лучший словацкий переводчик Маяковского Фельдек и как поэт, и как критик, и теоретик перевода выступил в конце 50-х годов с дерзостью и провокативностью, напоминающими резкость первых деклараций великого русского поэтического бунтаря. Он одновременно ополчился и против беззаботной импровизации в переводе, и против переводческой безликости и архаичности, против переводов, наводящих на подлинник музейную патину. В то время, когда широко практиковались переводы, осуществлявшиеся без какой бы то ни было творческой установки, Фельдек выдвинул принцип модернизирующего перевода.

Что имелось в виду? Может быть, вольный перевод или перевод, при котором автором владеет стремление «улучшить» подлинник? Отнюдь нет. Фельдек выступил за такой перевод, который представлял бы читателям наших дней поэтов прошлого такими же новаторами, какими они были в восприятии своих современников. Впоследствии он разовьет эту мысль и будет различать перевод информативный и перевод эстетический. (Пример для русского читателя: «Фауст» Гёте в переводах Холодковского и Пастернака.— **О. М.**). Во втором случае переводчик ставит своей целью не только информировать читателя о явлениях иноязычной поэзии, но и вмешаться с помощью этой информации в современную отечественную эстетическую ситуацию, стремится перенести на почву своей страны не только нового автора и новое произведение, но и новый стиль, который им в сущности заново создается. «Чужое» при этом должно выглядеть как «свое» и вместе с тем как «новое». Информативные переводы (по мнению Фельдека, их обычно создают специалисты по данной литературе) тоже нужны. Но они недодают читателю эстетическую информацию. Только переводчик-поэт, идя по стопам своих предшественников, может сделать переводимое произведение достоянием поэзии того народа, на язык которого оно переводится. Любой перевод, несущий содержательную или

эстетическую информацию, выполняет и еще одну функцию — функцию полемическую. Поэтому вполне оправдано существование множества разных переводов одного и того же произведения: они дополняют друг друга, каждый из них вносит в прочтение подлинника нечто новое.

Сущность своего метода, ориентированного прежде всего на выполнение эстетической и полемической функций перевода, Фельдек и раскрывает в книге.

Вот, к примеру, Маяковский. Некоторые произведения его переводились в Чехословакии неоднократно. Особенно много как переводчик Маяковского сделал чешский поэт Иржи Тауфер. Фельдек не скрывает, что именно переводы Тауфера заставили его вступить в творческую полемику, искать еще нерешенные художественные проблемы. Остановимся только на одной из них... Для поэтики Маяковского в равной мере важны новаторская метафора и новаторская рифма. Предшественники Фельдека стремились как можно более точно передать метафору, порой жертвуя новизной рифмы. Фельдек решает отдать предпочтение рифме, а метафору, когда нельзя передать ее точно, переводит метонимически (то же самое — другими словами) или метафорически (близкое по смыслу — другими словами). Причем, учитывая специфику русского и словацкого языков и специфику русской и словацкой рифмы, с одной стороны, и ситуацию в современной словацкой поэзии — с другой (длительное господство свободного стиха и ассонансов сделало актуальным возрождение точной рифмы), он добивается совпадения звуков не только в ударных слогах, как у Маяковского, но и в безударных. Я не буду здесь говорить, как подходит Фельдек к проблеме инверсии у Маяковского, к проблеме передачи его ритмов и размеров, к проблеме воспроизведения особенностей его поэтического словаря. Важно, что поэт-переводчик последовательно и сознательно исходит из принципа функционального перевода, из вдумчивого сопоставления двух языковых и поэтических систем.

Этот же принцип лежит в основе рассуждений Фельдека, когда он говорит об особенностях перевода чрезвычайно далекой от нас поэтической системы (например, малайской народной поэзии) или поэзии для детей. В обоих случаях оказывается более важным передать поэтический прием, на котором держатся стихи, чем само их конкретное содержание. Поэт-переводчик получает большее право на поэтическую свободу, перевод неизбежно приближается к вольному переложению, становится авторским. Чрезвычайно интересна глава «Перевод с очень близкого языка», в которой Фельдек анализирует свой перевод баллады чешского поэта-романтика Карела Яромира Эрбена «Золотая прялка». Для примера взяты первые две строфы. Словацкий язык настолько близок чешскому, что при пассивном, механическом переводе их можно было бы просто переписать с незначительными фонетическими изменениями. Но, стремясь создать перевод творческий, ориентированный на современного словацкого читателя, поэт, как это ни парадоксально, должен был все более удаляться от «буквы» оригинала. Эту главу Фельдек и завершает парадоксом: «Те, кто переводит для избранных... могут позволить себе школярский, рабский перевод. Но у тех, кто переводит для обычного читателя, забот куда больше».

В искусстве перевода, может быть, более чем в каком-либо ином роде литературы, приходится ставить «ремесло» «подножием искусству», наперед поверять «алгеброй гармонию». И мы видим, что автор своей книгой призывает поэтов предварять акт творчества серьезной аналитической работой.

Мне доводилось слышать и читать, как сравнивают перевод с решением головоломок, увлекательной игрой, искусством музыкального интерпретатора, актера, режиссера. Если мы еще больше расширим сферу сравнений и привлечем на этот раз несколько неожиданную область... фигурное катание, то можно сказать, что сейчас становится очевидной простая истина: каждый переводчик первоначально должен овладеть «школой» объективно научного, «лингвистического» и «литературоведческого» подхода к оригиналу и уже только на этой базе может выводить пируэты «произвольной программы», проявляя свою поэтическую индивидуальность и поэтическую изобретательность.

Любомир Фельдек убедился в этом на собственном многолетнем опыте. Вот почему я придаю большое значение его небольшой книге, написанной к тому же чрезвычайно живо, конкретно и остроумно.

ОЛЕГ МАЛЕВИЧ

МЕТОДОМ СОТРУДНИЧЕСТВА

30 poetas soviéticos. Nota de presentación de Eliceo Diego. Havana, Arte y literatura, 1977.

30 советских поэтов. Предисловие Элисео Диего. 1977.

Творчество кубинского поэта и переводчика Элисео Диего хорошо известно в нашей стране: его стихи и рассказы неоднократно публиковались в периодической печати и в различных сборниках. Сам поэт не раз бывал в Советском Союзе, он хорошо знает и любит русскую литературу, о чем свидетельствуют, в частности, и его стихи о Пушкине, Тургеневе, Достоевском. В последнее время Элисео Диего успешно переводит произведения многих советских поэтов.

Мы публикуем статью Элисео Диего, в которой он рассказывает, как шла работа

над сборником стихов советских поэтов, вышедшим в Гаване.

В наше время проблема перевода переросла узкоспециальную сферу культурных отношений и превратилась в жизненно важный вопрос. В современной цивилизации система технических средств уже не просто служит общественной системе, а пронизала ее насквозь, наступая даже на природу, так что приходится говорить о принципиально новом мире. В такой обстановке становится совершенно необходимым взаимное познание культур разных народов как социалистических, так и капиталистических стран. А поскольку мысли и чувства, свойственные разным народам, яснее всего проявляются в литературе, проблема их выражения средствами другого языка приобретает ныне исключительную важность.

Что же такое перевод? Разумеется, это не просто автоматическое перенесение словосочетаний из одного языка в другой. Сложности, с которыми встречается переводчик, огромны Есть слова, семантика которых более или менее идентична во всех языках: таковы, например, слова, выражающие основные человеческие переживания. На каком языке слово «любовь» не имело бы радостного звучания, а слово «смерть» — трагического и скорбного? И тем не менее даже эти слова на разных языках имеют различную цепь ассоциаций. Это и представляет наибольшую сложность для перевода. Но даже когда мы сталкиваемся при переводе с, казалось бы, непреодолимыми препятствиями, перевод все-таки возможен. Так, например, если все элементы стихотворения создают определенное впечатление в памяти читателя, то вполне возможно подобрать на другом языке такие элементы стиха, которые в памяти уже другого читателя, посредством другого идиоматического оборота создадут идентичное впечатление. Никто не помнит «Дон Кихота» или «Гамлета» наизусть, но мы не можем забыть неповторимый дух этих произведений. Отбор необходимых и потому законных эквивалентов и составляет поистине творческий труд в самом высоком смысле слова. Неверно недооценивать этот труд, ссылаясь на якобы рабскую зависимость от оригинала; на самом деле существуют лишь добровольно принятые ограничения. И прежде чем рассуждать о переводе, надо признать, что это творческий процесс, по природе своей подобный другим творческим процессам.

Поясню свою мысль. У меня лично стихотворение, прочитанное на чужом языке, способно вызвать в сознании образ столь же сильный и яркий, что и стихотворение, прочитанное на родном языке. Можно сказать, что слова, образы, ритмы этого «чужого» стихотворения оседают в глубинах моего сознания, создавая определенные ощущения. И тогда я уже стараюсь представить: а как эти ощущения передал бы автор стихотворения, если бы он писал по-испански?

То же самое, по-моему, происходит и при создании собственных стихов. Когда поэт чувствует, что стихотворение уже живет в нем, он начинает поиски его контуров на бумаге.

Конечно, идеальным переводчиком является поэт (каким бы малоизвестным он ни был), который переводит с языка, известного ему до мельчайших оттенков значения слов. Но и в этом случае необходимо, чтобы переводчик чувствовал духовное родство с автором. Можно заранее считать обреченным на неудачу всякий перевод, за который человек берется без желания, любви, интереса.

Но так велика необходимость и срочность взаимного познания, что появились абсурдные на первый взгляд попытки перевода с незнакомого языка. Разумеется, этот метод предполагает сотрудничество с посредником между автором и поэтом-переводчиком. Идеальным будет вариант, в котором посредник тоже является поэтом и берет на себя первоначальный перевод со своего родного языка на язык поэта-переводчика. У нас на Кубе была предпринята успешная попытка применить эту систему на практике (я имею в виду наш опыт перевода современной советской поэзии). Нашу работу положительно оценили известные советские испанисты и некоторые поэты, владеющие испанским языком, чьи стихи были у нас переведены.

Около двух лет Союз писателей СССР и Союз писателей Кубы вместе работали над составлением антологии современной советской поэзии «30 советских поэтов», которая вышла к 60-й годовщине Октябрьской революции. Я полагаю, что будет небезынтересно показать на примере, как действовала система сотрудничества поэта и переводчика, о которой говорилось выше. Пусть мне простят, что использую для этой цели свой переводческий опыт.

Среди подстрочников, полученных нами еще в самом начале работы, была поэма Павла Антокольского, посвященная сыну, погибшему во время Великой Отечественной войны, когда тому было 18 лет.

Нам было известно, как высоко оценивают эту поэму советские критики и писатели, но никто из нас долгое время не принимался за ее стихотворный перевод. Дело в том, что стилю Антокольского присущи строгость и благородная простота — качества, которые очень трудно уловить по подстрочнику. На человека, не владеющего языком, такой стиль может произвести противоположное впечатление, показаться банальным и примитивным. Было бы несправедливо обвинять автора подстрочника: строгий, сдержанный стиль всегда подвержен такой опасности, если его лишить ритма, живости, а слова лишить каких-то оттенков звучания.

Мы, испаноязычные читатели, склонны излишне увлекаться неожиданными, даже резкими образами, словами, употребленными в символическом значении, или потоком слов, способным «смыть» читателя вниз по странице последовательными волнами, каж-

дая из которых повторяет одно и то же с небольшими вариациями. Мы стали нечувствительны к краскам и даже к музыке значения слова.

Короче, перевод поэмы Антокольского никак не давался и был отложен на некоторое время. Но во время моего пребывания в Москве в октябре 1976 года мне посчастливилось вернуться к работе над этим текстом вместе с Ниной Булгаковой, которая читала мне прекрасные русские строфы, искала и находила испанские слова, чтобы лучше выразить тот или иной оттенок, который я интуитивно предполагал, пока наконец сдержанная, строгая и трагическая страсть поэта не стала мне близкой. Ключом к пониманию этого стиля стал последний фрагмент поэмы:

Прощай, мое солнце. Прощай, моя совесть.
Прощай, моя молодость, милый сыночек.
Пусть этим прощаньем окончится повесть
О самой глухой из глухих одиночек.

Ты в ней остаешься. Один Отрешенный
От света и воздуха. В муке последней,
Никем не рассказанный, не воскрешенный.
На веки веков восемнадцатилетний.

О, как далеки между нами дороги,
Идущие через столетья и через
Прибрежные те травяные отроги,
Где сломанный череп пылится ощерясь.

Прощай. Самолеты туда не летают.
Прощай. Никакого не сбудется чуда.
А сны только снятся нам. Снятся и тают.
Прощай. Поезда не приходят оттуда.

Мне снится, что ты еще малый ребенок,
И счастлив, и ножками топчешь босыми
Ту землю, где столько лежит прогребенных.
На этом кончается повесть о сыне.

В этом фрагменте мне открылись два момента: во-первых, звучала прорывающаяся в начале строк нежность. Особенно это уменьшительное «сыночек», которое звучит резким диссонансом общему сдержанному стилю поэмы. В современной латиноамериканской и испанской поэзии, за редким достойным похвалы исключением, нежность, мягкость отвергаются: как видно, мы опасаемся оказаться на грани дурного вкуса — этого бича испаноязычного населения. С годами я убеждаюсь, что единственная стоящая поэзия — это поэзия, способная заставить нас смеяться или плакать. И мне не стыдно признаться, что поэма Антокольского тронула меня до слез.

Вторая поразившая меня особенность — отрывочность речи. Есть в ней резкие остановки и рывки вперед, а затем повествование опять начинает плавно и торжественно струиться, рождая сумрачные образы. Я понял, что поэма — трагический разговор с самим собой. Такой беседе подходил сдержанный тон. Необходимо было следить за малейшими оттенками самых обиходных выражений. Например, прием, который поэт использует, чтобы передать непоправимость последней разлуки, достигает очень сильного эффекта. Это происходит потому, что используется чистый, искренний образ, такой естественный для отца: сын навсегда останется для него ребенком. Эта искренность задевает душу сильнее благодаря троекратному повторению «Прощай» и ожившему в снах босому мальчугану, находящемуся в таком резком контрасте с вечным покоем земли и сухой горечью последней строчки. Не знаю, удастся ли мне передать мое глубокое «ощущение» большого поэта, каковым, без сомнения, является Павел Антокольский.

Из всего вышесказанного должно быть ясно, что перед нами было много трудностей, но, несмотря на возможные неудачи, мы, кубинские писатели, работая над переводами советских поэтов, приложили все наше усердие, терпение и любовь.

г. Гавана

ЭЛИСЕО ДИЕГО

КАК Я СТАЛ ПЕРЕВОДЧИКОМ

Pauline Annenkova. Souvenirs. Une française dans les bagnes sibériens. Traduit du russe par Max Heilbronn. Paris. Les Editeurs Français Réunis, 1975.

La Princesse Troubetskoi. Textes réunis et traduits du russe par Max Heilbronn. Paris, Les Editeurs Français Réunis, 1977.

Полина Анненкова. Воспоминания. Перевод с русского Макса Эльброна. 1975.

Княгиня Трубецкая. Подготовка публикации и перевод с русского Макса Эльброна. 1977.

Первая встреча с Советским Союзом

Январь 1944 года. Лагерь в Бухенвальде. В блоке № 63 нас несколько сотен. Вот уже три недели мы проходим здесь карантин, прежде чем нас определят на постоянную работу. Если повезет, то в тихое бюро, а скорее всего — на строительство, откуда мало шансов выбраться живым. В ожидании назначения мы работаем в карьере, и вот как-то вечером в блоке я случайно знакомлюсь с одним из заключенных — он оказывается советским учителем. На плохом немецком мы обмениваемся парой слов. Теперь, несмотря на языковой барьер, мы беседуем с ним каждый вечер. Однажды он рассказывает мне о Днепрострое. С какой гордостью описывает он мне это сооружение! В другой раз говорит о том, как растет жизненный и культурный уровень рабочих в его стране. И я с сожалением думаю, что ничего подобного не существует у нас, во Франции. Должен признаться, что до войны для обычного француза воплощением Советского Союза служил образ большевика с ножом в зубах. Благодаря моему товарищу у меня совершенно изменилось представление о его родине — высокоразвитом государстве с передовым общественным строем.

Вторая встреча с Советским Союзом

24 декабря того же года. Я уже нахожусь в другом лагере. Вечер, на темном небе красные всполохи. Мы возвращаемся с работы. Вместе с товарищами я пытаюсь вообразить, как празднуют рождество в освобожденной Франции. Мы думаем о наших семьях, о нашей родине, о победе, в которой мы не сомневаемся, но которую, быть может, нам не суждено увидеть. Мы мечтаем...

Колонна медленно движется вперед. Тьма сгущается. Я шагаю в первом ряду крайним. Мы бредем как во сне. Навстречу нам идет другая колонна. Я различаю советских пленных. Вдруг, когда колонны поравнялись, я получаю удар в грудь. Пытаюсь загородиться — и в руках у меня оказывается большая буханка хлеба. Вечером за ужином все, кто поделил между собой этот хлеб, с благодарностью думали о советских товарищах.

Рейс Братск — Иркутск

И вот пришел мир. Для меня он ознаменовался моими «советскими встречами». Советская страна, исполненная мощи и благородства, неудержимо влекла меня к себе. Юношей, затем студентом, я любил русскую музыку: Мусоргского, Чайковского, Римского-Корсакова. Теперь я берусь за изучение русского языка и каждый вечер часами просиживаю над стареньким учебником. Позже я знакомлюсь с послом СССР во Франции Виноградовым, и он помогает мне посетить Советский Союз.

1974 год. Мы с женой совершаем уже наше одиннадцатое путешествие по Советскому Союзу и садимся в самолет, который доставит нас из Братска в Иркутск. Я смотрю в иллюминатор: Ангара, тайга...

В Иркутске, до отъезда в Братск, мы посетили Исторический музей, где больше всего меня поразил зал, посвященный декабристам. Их лица, портреты их жен, вдохновлявшие их идеалы, каторга, которую лишь немногие из них вынесли, — все это потрясло меня. В особенности карта, где отмечены места отбывания ссылки — более чем за тысячу километров к северу от Иркутска.

Удобно устроившись в кресле на борту «Як-40», который за час доставит нас из Братска снова в Иркутск, я не могу не думать о декабристах. Как же передвигались они по тайге, по бездорожью, как спускались в те времена по Ангаре? Как удалось им вместе с маленькими детьми выжить в этих заброшенных местах, как удалось им без всякой медицинской помощи выдержать эти бесконечные зимы, пятидесятиградусные морозы, знойные летние месяцы, мошкару? Образы декабристов, их революционные идеалы глубоко запали мне в душу.

Возвращение в Москву

В Москве во время разговора с членом редколлегии «Литературного наследства» И. С. Зильберштейном я поделился мыслями и чувствами, которые вызвали у меня декабристы. Он ответил, что восстание декабристов — совершенно особый момент в русской истории, и пообещал мне подарить свою книгу об акварельных рисунках Н. Бестужева, созданных им в изгнании. К моему удивлению, мой собеседник добавил также, что среди одиннадцати жен декабристов, которые разделили с мужьями их горькую участь, некоторые имели французское происхождение.

У княгини Трубецкой, урожденной де Лаваль, отец был французом. Француженками были также Камилла Ивашева (урожденная Ле-Дантю) и Полина Анненкова (урожденная Полин Гебль). Отец последней служил офицером в армии Наполеона. Превратности судьбы заставили девушку стать продавщицей в модной парижской лавке, а затем перебраться в Москву. Свою юность, любовь к блестящему лейтенанту Анненкову, его арест, приговор, попытки разыскать его, брак с ним и жизнь на каторге она описала затем в книге воспоминаний.

В Париже

Через месяц, листая у себя дома книгу о рисунках Бестужева, я наткнулся на надпись под портретом И. А. Анненкова: «Из собрания мадам де Блюмер. Париж». Из любопытства я заглянул в телефонный справочник и уже через минуту говорил с мадам де Блюмер, которой объяснил цель моего звонка.

Спустя неделю эта приветливая дама угощала нас с женой чаем в гостиной, украшенной безделушками и картинами, на которых запечатлена дореволюционная Русь. Среди них хозяйка показала нам портрет своей прабабушки — Полины Анненковой, после чего преподнесла томик ее воспоминаний.

Книга эта буквально захватила меня. С этого момента свои ежедневные занятия русским языком я посвятил переводу воспоминаний Полины Анненковой. И спустя несколько месяцев уже держал в руках эту книгу, опубликованную на французском языке издательством «Эдитер Франсе реюни».

Княгиня Трубецкая

Еще в Москве И. С. Зильберштейн попросил меня разыскать для него оригиналы писем княгини Трубецкой, жены руководителя восстания 14 декабря 1825 года, отправленных ею из сибирской ссылки княгине Лебцельтерн, жене австрийского министра, пребывавшего в то время в Санкт-Петербурге. По предположению И. С. Зиль-

берштейна, письма эти должны храниться у отцов иезуитов в Институте славистики в Париже. Я поспешил связаться с ними. После долгих поисков они обнаружили не сам оригинал, а три номера журнала, издававшегося в Париже в 1936 году, где публиковалось исследование некоего священника об этих письмах. Однако меня больше интересовал оригинал. Святые отцы возобновили свои поиски и в конце концов нашли записную книжку, где на одной из страниц было помечено карандашом: «Письма княгини Трубецкой». А рядом — имя маркизы Н. и дата. Запись эта была сделана отцом иезуитом, умершим несколько лет назад.

Оставалось только разыскать маркизу и проверить, не хранятся ли у нее эти письма. После того как мне удалось познакомиться с ней, она пригласила меня в свой загородный дворец и разрешила подняться на пыльный чердак, заваленный старой мебелью. В груде архивов я наткнулся на несколько связок бумаг, которые сразу же привлекли мое внимание. Однако в этот момент за мной пришли: маркиза торопилась в Париж и просила покинуть дом. По сути это был вежливый отказ предоставить мне архивы для глубокого изучения. И все-таки нам с женой удалось уговорить маркизу выдать на одну ночь заинтересовавшие меня документы. Мы обязались снять с них фотокопии в течение ночи и к утру вернуть владелице.

К сожалению, это оказались не сами письма, а их копии, сделанные рукой княгини Борх, сестры княгини Трубецкой, и княгини Лебцельтерн. Здесь же находились и другие важные документы, в том числе отказ от всех прав, подписанный княгиней Трубецкой в Иркутске в 1826 году, и письмо князя Трубецкого, написанное княгине Лебцельтерн в 1854 году после смерти жены.

Снова Иркутск

Париж — Москва: три часа лета. Москва — Иркутск: семь часов. Однако для нас это не препятствие. Нас с женой так поразила красота Ангары, Байкала, Иркутска, что мы мечтали вернуться в эти края.

И вот мы снова здесь и вместе с сопровождающим нас М. Сергеевым, автором книги «Подвиг любви бескорыстной», посвященной женам декабристов, посещаем дом князя Трубецкого, превращенный сейчас в музей декабристов, и дом Волконского.

Позже, еще раз побывав в Иркутске, мы проследовали «дорогой каторжников» до места ссылки — села Александровское, побывали в Урике, где несколько декабристов вместе со своими семьями прожили в изгнании долгие годы, поклонились могиле Никиты Муравьева, вспомнили М. Лунина, доктора Вольфа. И двинулись еще дальше — в деревню, где жили Волконские. На обратном пути в Иркутск посетили Знаменский монастырь, где вместе с тремя детьми похоронена княгиня Трубецкая.

Вернувшись в Париж, я вновь взялся за работу: за перевод и монтаж раздобытых мною документов и свидетельств. В результате появилась книга «Княгиня Трубецкая».

...В заключение

Вот как случилось, что в возрасте семидесяти трех лет, не будучи ни историком, ни литератором, ни специалистом по русскому языку, я открыл для себя новое призвание и стал переводчиком — так увлек меня подвиг декабристов и их жен.

г. Париж

МАКС ЭЛЬБРОН

От редакции. Эта статья была уже набрана, когда пришло письмо от автора, в котором он сообщает что в одном из частных архивов ему удалось обнаружить тридцать оригинальных писем княгини Трубецкой, отправленных ею сестре из Читы, с Петровского завода и Иркутска в период с 1826 по 1840 г.

◆

Из месяца в месяц

АВСТРАЛИЯ

«ДОЛГОНОСИКИ В МУКЕ»

Так называется книга, которая представляет собой запись устных воспоминаний людей, переживших экономический кризис 30-х годов в Австралии.

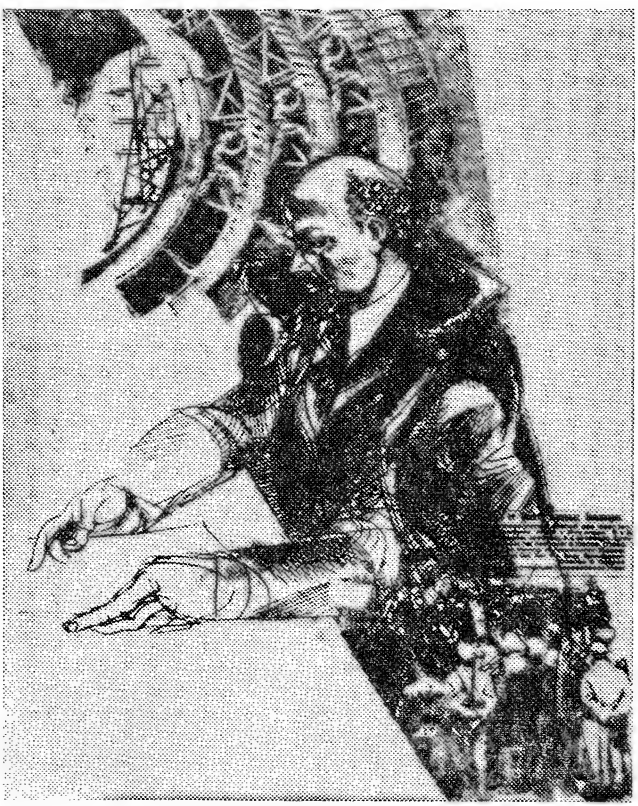
Автор, Уэнди Ловенстайн, взяла интервью у двухсот человек самых разных профессий, живущих в самых разных частях континента, у тех, кто испытал на себе всю тяжесть «великой депрессии».

Для читателей, и особенно для молодых людей, отмечает критик журнала «Соушелист», эта книга представляет большой интерес и приобретает особую важность, особенно теперь, в условиях постоянно растущей безработицы.

На снимке: автор книги «Долгоносики в муке» Уэнди Ловенстайн.

(Журнал «Соушелист»)

БОЛГАРИЯ



На снимке: офорт Петра Рашкова «Кремлевский мечтатель».

(Журнал «Изкуство»)

На снимке: картина Владимира Гоева «Ленин».

(Журнал «Изкуство»)

БОЛГАРСКИЕ ХУДОЖНИКИ — ЛЕНИНУ

Одна из основных тем в современном изобразительном искусстве Болгарии — историко - революционная. Творческие усилия художников направлены на правдивое и полное отображение революционных событий в России. Художники увлеченно работают над созданием образа Владимира Ильича Ленина. Болгарская Лениниана включает большое число произведений живописи, графики и скульптуры, значительных по идейным и художественным достоинствам.

В своих произведениях художники стремятся наряду с величием образа вождя революции подчеркнуть человечность, теплоту и искренность Владимира Ильича Ленина. В монументальных композициях и произведениях портретного характера наряду с фигуративным решением широко используются подробности обстановки, точные и убедительные детали. Примерами подобных решений могут служить работы Дечко Узунова, Светлина Русева, Владимира Гоева, Стояна Венева и многих других художников разных поколений.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

НОВЫЙ РОМАН ПАМЕЛЫ ХЭНСФОРД ДЖОНСОН

Новый роман Памелы Хэнсфорд Джонсон «Хороший муж» является продолжением предшествующего романа писательницы «Особый дар» («ИЛ» № 1, 2, 1979). Энн Дюшен, рецензент «Таймс литерари сапплмент», пишет: «П. Х. Джонсон, несомненно, сделала весомый вклад в литературу сегодняшней Великобритании. Ею созданы яркие, надолго запоминающиеся образы, она всегда умела понять и передать страдания простых людей, задыхающихся в рутине быта и в беспросветности серой, тусклой жизни». В центре внимания по-прежнему находится фигура Тоби Робертса, молодого выходца из среды английского среднего класса, получившего благодаря своей деловой хватке выгодное место в банке.

Тоби теперь женат, и его избранницей (читатель помнит из предыдущего романа, что молодой человек никак не мог жениться из боязни ошибиться в выборе партии) стала женщина, которая много старше его, но которая устраивает Тоби своим положением в обществе.

На страницах книги появляются и другие персонажи романа «Особый дар»: товарищи Тоби по университету, знакомые, которых он завел в обществе. Умирает мать Тоби, талантливая художница, нравственно значительно превосходящая своего сына-карьериста. За судьбами отдельных людей, пишет рецензент, постепенно возникает картина общества, которая густо населена многочисленными персонажами Памелы Хэнсфорд Джонсон.

ВЕНГРИЯ

МИХАЙ ВАЦИ — САТИРИК

Творчество известного венгерского поэта Михая Ваци (безвременно скончавшегося в 1970 г.) хорошо знакомо советским любителям поэзии по многочисленным публикациям в периодической печати.

Но до сих пор Ваци был известен в нашей стране лишь как поэт «ораторского», политико-гражданственного склада и как лирик; мало кто знал его как талантливого сатирика. Между тем многие годы, начиная с 50-х, Ваци писал и сатирические стихи, хотя публиковал их весьма редко. В 1978 г., после его смерти, они вышли в издательстве «Магветё» отдельной книгой под заглавием «Путешествие в Бюрокранезию». Предисловие к книге написал известный венгерский поэт Габор Гараи. Он отметил, что Михай Ваци как поэт-гражданин продолжает традиции Миклоша Зрини, Шандора Петефи, Аттилы Йожефа, Эндре Ади.

Бюрокранезия — не вымышленная страна, она как бы существует внутри сегодняшней Венгрии, символизируя оставшиеся от старого мира угодничество, круговую поруку, низкопоклонство, бюрократизм, нерадивость — все то, что является инородным телом в социалистическом обществе или, по образному выражению самого Ваци, «атеросклерозом, стоящим на пути нашей живой истории».

Высокую оценку получила эта книга на страницах журнала «Критика». Тамаш Йожеф Ремени пишет, в частности, что Ваци в своих сатирических стихах ставит вопросы, которые ставила перед ним жизнь, литература и деятельность депутата парламента.

ВЬЕТНАМ

Большим успехом пользуются у вьетнамского зрителя фильмы, рассказывающие о строительстве новой жизни, о проблемах, которые стоят перед страной.
На снимке: молодая популярная актриса Ча Зианг, героиня многих вьетнамских фильмов.

(Журнал «Фильм»)

ГДР

«ЕТТА ИЗ ДРЕЗДЕНА»

Известная писательница, лауреат премии имени Генриха Манна, Хельга Шюц в своем новом романе возвращается к серии произведений, начало которой положил ее прозаический сборник «Предыстории, или Прекрасный край Пробштайн» (см. «ИЛ» № 5, 1975 и № 12, 1976). Читатель вновь встретится с уже знакомыми героями, которых вторая мировая война разбросала по всему свету. И судьбы их еще не раз, по-видимому, привлекут внимание писательницы.

В центре нового романа «Етта из Дрездена» — судьба девочки Етты, оказавшейся сразу же после войны в разрушенном Дрездене. Она живет у своей бабушки, бывшей упаковщицы сигарет. Взаимоотношения девочки и бабушки с окружающими людьми, с детьми и их родителями, с учителями, соседями по дому — обо всей этой повседневной действительности первых послевоенных лет Хельга Шюц рассказывает тонко и с большим знанием жизни.

«Писательнице очень удаются детали, помогающие ей воссоздать правдивую картину, казалось бы, обычных будней,— пишет рецензент газеты «Нойес Дойчланд».— Но за этой картиной проступают и важные исторические моменты — те изменения и преобразования, ко-

торые начались тогда в стране. Книга написана сдержанно, с мягкой иронией и очень поэтично. Прочтя ее, читатель будет ждать новых встреч с полюбившимися ему героями».

ПРЕМИЯ ИМЕНИ Г. ГЕЙНЕ

Премия имени Генриха Гейне за 1978 год присуждена известному писателю и публицисту Эгону Рихтеру. Как сказано в решении жюри, Эгон Рихтер получил премию «за свое творчество, являющееся ценным вкладом в развитие социалистической немецкой национальной литературы».

С приветственной речью на торжественной церемонии выступил лауреат премии имени Г. Гейне за 1976 год Жан Виллан. Он высоко оценил творчество Э. Рихтера, отметив наряду с романами и рассказами, его путевые репортажи, среди которых наиболее известны «Тоска по солнцу» и «Город и десять обликов».

АЛЬФРЕД ВЕЛЬМ ЧИТАЕТ СВОЙ НОВЫЙ РОМАН

На традиционных чтениях Немецкой Академии искусств выступил известный писатель Альфред Вельм, автор романов «Пауза для Ванцки» и «Пуговица, или Серебряные часы» (см. «ИЛ» № 2, 1969; № 10, 1969; № 9, 1975).

Рабочее название нового романа, отрывки из которого прочитал писатель,— «Мориско». Как отмечает рецензент газеты «Берлинер цайтунг», по тем главам, которые прочитал Вельм, еще нельзя составить себе полного представления о книге; ясно только, что это будет интересное, значительное произведение.

Повествование ведется от первого лица. Герой романа, архитектор, работающий над восстановлением старинного замка, рассказывает о своей работе, о своем окружении, вспоминает годы учебы и трагическую судьбу студента, с которым учился, рассказывает о любимой девушке, с которой ему пришлось расстаться. «Присутствующие с захватывающим интересом слушали чтение отрывков из романа,— пишет рецензент.— За последнее время имя Альфреда Вельма все чаще упоминается читателями среди самых любимых авторов. Его книги рассчитаны и на юного и на взрослого читателя. Манера его письма — немного грустная, иногда шутливая, несколько мечтательная и в конечном счете жизнеутверждающая. Мы будем с нетерпением ждать появления новой книги».

На постоянной выставке галереи «Юнге кунст» во Франкфурте-на-Одере демонстрируются картины, посвященные молодежи.
На снимке: картина художника Гаральда Метцке «Политехническое обучение».
(Журнал «Нойе берлинер иллюстрирте»)

ГРЕЦИЯ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ЭЛЛИ АЛЕКСИУ

Афинское издательство Т. Кастаниотиса приступило к выпуску собрания сочинений старейшей греческой писательницы Элли Алексиу. Первые тома уже поступили в продажу. В интервью газете «Ризоспастис» Элли Алексиу подчеркивает, что не рассматривает это событие как завершение своего творческого пути: «Лучше назовем это упорядочением своего книжного хозяйства. Я продолжаю работать, продолжаю стремиться к чему-то лучшему, и желания остановиться, отдохнуть у меня пока еще не возникало».

Первый рассказ «Франческо» писательница опубликовала в 1922 году, позднее он вошел в сборник ее рассказов «Жестокая борьба за маленькую жизнь» (1931). В основу этих рассказов, а также повести «Третья женская начальная школа» (1934) легли впечатления учительской практики Элли Алексиу. «Я работала тогда учительницей в начальной школе на бедной окраине Ираклиона,— рассказывает автор,— среди детей, ставших жертвами социальной несправедливости. И я почувствовала себя обязанной рассказать об их трагической судьбе. Потом я писала о других униженных и угнетенных. Все мои книги обличают несправедливость и угнетение».

ТРИЛОГИЯ ЗИСИСА СКАРОСА

Афинское издательство «Синхрони эпохи» выпустило в свет трилогию Зисиса Скароса «Корни реки», посвященную судьбам народного движения в Греции на протяжении целого столетия.

Первая часть трилогии — роман «Рабы и батраки» — повествует о крестьянских восстаниях в Фессалии во второй половине XIX в. Второй роман — «Буржуа и рабочие» — рассказывает о становлении рабочего движения в Греции. И, наконец, заключительная часть, роман «Сопротивление и война», воссоздает эпопею национального Сопротивления в период второй мировой войны. Действие романа начинается в канун войны. Писатель подчеркивает, что для Греции сопротивление фашизму началось еще раньше, в период диктатуры генерала Метаксаса.

В интервью корреспонденту газеты «Ризоспастис» З. Скарос сообщил, что издание трилогии он посвящает шестидесятилетию Коммунистической партии Греции.

ИРАК

ПЕРВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПИСАТЕЛЕЙ-ПРОЗАИКОВ

В курортном местечке Салах-эд-Дин (губернаторство Эрбиль) на севере Ирака состоялась Первая конференция иракских писателей-прозаиков. Журнал «Афак арабийя» опубликовал отчет своего корреспондента Саада аль-Баззаза об этом форуме под заголовком «Конференция иракских прозаиков — шаг в верном направлении».

В конференции приняло участие около 60 человек, среди них такие видные писатели, как Абд аль-Малик Нури, Фуад ат-Текерли, Абд аль-Маджид Лютфи. Выступавшие затронули важные проблемы современной иракской новеллы и романа, вопросы литературной критики, творчества молодых писателей.

На открытии конференции выступил генеральный директор по делам культуры писатель Мауфик Хидр, предложивший, в соответствии с высказанными пожеланиями, превратить в будущем конференции писателей-прозаиков во всеарабские. Затем состоялось вручение премий. В качестве «пионера и новатора в области иракской новеллистики» премию за творчество в целом получил Абд аль-Малик Нурн.

Слово для доклада было предоставлено писателю-ветерану Абд аль-Маджиду Лютфи, призвавшему писателей не забывать об уроках литераторов старшего поколения, творчески осмысливать их опыт в новых условиях. «Секретами» своего мастерства поделился видный иракский прозаик Фуад ат-Текерли. В связи с тем, что ат-Текерли, Нури и некоторые другие прозаики с начала 60-х годов почти перестали писать, на конференции развернулась оживленная дискуссия: одни из участников защищали право писателей на «молчание», другие оспаривали его.

Значительный интерес участников конференции вызвали доклады литературоведов и критиков — «О романе и некоторых проблемах арабского общества» доктора Али Аббаса Альвана, «Новелла после революции 17 июля 1968 года» Абд аль-Хамида Хамуди, «Проблемы критики рассказов» Абд аль-Джаббара Дауда аль-Басри, «Реализм курдского рассказа» Хусейна Арефа, «Рассказ и социальные преобразования» Фадыля Самира, а также доклад Амджада Тауфика о творчестве молодых новеллистов. Состоялось также обсуждение книги литературоведа доктора Абд аль-Иляха Ахмада «Художественная проза в Ираке».

В декларации, принятой участниками конференции, намечаются дальнейшие пути развития иракской прозы и литературной критики.

ИРЛАНДИЯ

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПОЛОТНО ШОНА ХЕРРОНА

«Он — Мак-Доннел» — роман Шона Херрона — воскрешает сложный период в жизни Ирландии с 1865 по 1886 год.

По мнению рецензента «Таймс литерари саплмент» Ч. Дэвидсона, роман значителен как художественное толкование ирландской истории.

В книге воссоздан период борьбы против Унии, отражены политико-религиозные разногласия католиков и протестантов, формирование и деятельность Гэльской Лиги, деятельность Парнелла, его требования самоуправления страны.

Книга представляется рецензенту достойной внимания еще и потому, что в ней Шон Херрон мастерски показывает разные точки зрения четырех главных персонажей, от имени которых ведется повествование, и тем самым дает возможность читателю получить многостороннюю, объективную картину истории семьи Мак-Доннелов, в судьбе которой, как в зеркале, отразились наиболее существенные моменты всей ирландской жизни описанного периода.

ИСПАНИЯ

ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИИ «ПЛАНЕТА»

Одной из трех крупнейших литературных премий Испании наряду с премией имени Надаля и Национальной является ежегодная премия издательства «Планета». Лучшим среди 242 произведений, представленных на конкурс в 1978 г., жюри признало роман каталонского писателя Хуана Марсе «Девушка в золотых штанишках».

Хуан Марсе (род. в 1933 г.) вырос в рабочем квартале Барселоны в семье республиканцев-коммунистов. Довольно рано он был вынуж-

ден пойти работать, так и не получив высшего образования. Свой первый роман писатель опубликовал в 1961 г., но настоящую известность ему принесла книга «Последние вечера с Тересой», вышедшая в 1965 г. Свой предпоследний роман «Если тебе скажут, что я погиб» (1973) Хуан Марсе впервые опубликовал в Мексике, так как в Испании он был запрещен цензурой. Только в конце 1976 года эта книга увидела свет на родине писателя. Роман имел огромный успех и в 1977 г. занял первое место среди испанских бестселлеров.

Герой новой книги Хуана Марсе «Девушка в золотых штанишках» — респектабельный каталонский буржуа Луис Форест. Он ведет уединенную жизнь в своей вилле на берегу моря и пишет там мемуары. Его заставляет это делать неспокойная совесть: за плечами Фореста бурное фалангистское прошлое — пролитая кровь друзей, доносы, интриги. Тщательно «переоценивая» свое прошлое, герой старается приукрасить его, обелить себя. Работая над книгой, Луис хочет доказать — в первую очередь самому себе,— что его вина за содеянное не столь уж велика, а в исторической ретроспективе вполне объяснима и извинительна. Спокойное и размеренное существование героя нарушает приезд 27-летней Марианны, дочери его старой знакомой. Девушка приехала отдохнуть на вилле Фореста. Между нею и героем романа завязываются любовные отношения, которым кладет конец мать Марианны, сообщая Форесту, когда-то бывшему и ее любовником, что Марианна — его дочь.

Две линии — воспоминания о прошлом, где в центре события политические, и личная драма Фореста — тесно переплетаются в романе. Трагедия героя становится как бы естественным итогом его жизненного пути, постоянных сделок с совестью, моральной деградации, итогом прошлого, которое неотступно вмешивается в его настоящее и изменить которое нельзя.

В интервью еженедельнику «Камбио-16» в связи с присуждением роману «Девушка в золотых штанишках» премии «Планета» Хуан Марсе сказал: «Если человек начинает писать, значит, он хочет что-то изменить в жизни. Это своего рода реванш, который мы берем у действительности». Именно литература, ее нравственная сила и могут, с точки зрения каталонского писателя, реально способствовать изменению действительности.

Свои книги Хуан Марсе пишет по-испански. Однако действие его романов всегда происходит в Каталонии, чаще всего в Барселоне. Проблемы, которые он поднимает в своих произведениях, их оценка также неразрывно связаны с современной каталонской действительностью. В статье, опубликованной газетой «Эль паис», крупный литературовед Рамон Баккли пишет: «Никому из каталонских писателей, кроме Марсе Родореды, не удалось так точно схватить и передать жизнь Барселоны последних тридцати лет, как это сделал Хуан Марсе в своих произведениях. Испанский язык, на котором пишет Хуан Марсе, конечно же, не тот испанский, на котором пишет Мигель Делибес, это скорее смесь испанского и андалузского, насыщенная каталанизмами. Присуждение премии «Планета» роману Хуана Марсе должно способствовать сближению тех, кто пишет по-каталански, и тех, кто, используя диалектологическое многообразие испанского языка, отражает жизнь существенной части современного населения Каталонии».

ИТАЛИЯ

НОВАЯ РОЛЬ ИРЕНЫ ПАПАС

Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли собирается ставить фильм о Марии Каллас, безвременно

На снимке: Ирена Папас в роли Марии Каллас.

(Газета «Паэзе сера»)

скончавшейся в сентябре 1977 г., выдающейся греческой певице, творчество которой было тесно связано с итальянской сценой, со знаменитым миланским театром Ла Скала. На роль Марии Каллас режиссер пригласил прославленную греческую актрису Ирену Папас (см. «ИЛ» № 11, 1976).

В беседе с корреспондентом итальянской газеты «Паэзе сера» о предстоящей работе с Дзеффирелли Ирена Папас сказала, что создатели фильма ставят своей задачей не только воссоздать биографию такой замечательной певицы, какой была Мария Каллас, но и «раскрыть человеческие качества ее богатой и щедрой души».

КУБА

ЮБИЛЕЙ ЖУРНАЛА «БОЭМИЯ»

Исполнилось 70 лет со дня основания кубинского общественно-политического и литературного журнала «Боэмия». Этому событию было посвящено торжественное заседание, состоявшееся в столице Кубы. С речью, посвященной истории журнала, выступил его главный редактор Анхель Герра.

О роли «Боэмии» в революционной борьбе кубинского народа за свое освобождение и месте журнала в печати страны в наши дни рассказал член Секретариата ЦК Компартии Кубы Антонио Перес Эрреро. Выступившие отметили, что еще до революции, когда подавляющее большинство периодических изданий страны отражало идеологию и интересы господствующих классов, «Боэмия» стояла на либерально-демократических позициях, часто предоставляла свои страницы прогрессивным журналистам и литераторам, революционно настроенным деятелям культуры, представителям передовой интеллигенции. Начав с общедемократических позиций, журнал постепенно приобретал все более выраженную антиимпериалистическую направленность, а позднее вступил в открытое столкновение с диктатурой Батисты, навязанной кубинскому народу с марта 1952 г. В «Боэмии» печатались статьи тогда еще совсем молодого Фиделя Кастро, разъяснявшие проблемы национального самосознания и классовой борьбы, задачи и стратегию революционного движения. Широкое и правдивое освещение получали в журнале животрепещущие внешнеполитические проблемы: гражданская война в Испании, приход фашизма к власти в Германии и ряде других стран Европы, вторая мировая война и разгром гитлеровской армии, осуждение тирании Трухильо в Доминиканской Республике, защита народного правительства Арбенса в Гватемале и другие.

В 50-е годы журнал «Боэмия» сумел стать самым влиятельным и наиболее широко распространенным печатным органом Кубы. К 1958 г. один номер журнала приходился на 21 жителя страны. Это показывает, что идеи, пропагандировавшиеся на страницах «Боэмии», проникали во все слои кубинского населения.

После победы революции на Кубе журнал стал активным пропагандистом идей социализма, он знакомит читателей с событиями в стране и за рубежом, с лучшими образцами национальной и мировой культуры.

ПОСВЯЩЕНА ДНЮ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ МЕКСИКИ

Очередной годовщине провозглашения независимости Мексики от Испании (1821 г.) была посвящена прошедшая с большим успехом на Кубе Неделя мексиканского кино. Впервые кубинский зритель столь полно познакомился с лучшими фильмами, созданными во второй половине 70-х годов кинорежиссерами — представителями «нового мексиканского кино», которые обратились к актуальным политическим и социальным проблемам современной Мексики. В рамках Недели были показаны художественные полнометражные ленты «Гремучая змея» Рауля Арансы, «Изморось» Серхио Оловича, «Каменщики» Хорхе Фонса («ИЛ» № 8, 1978), «Каинаеа» Марселы Фернандес Виоланты, а также открывший программу кинопросмотра фильм Хесуса Сальвадора Тревиньо «Кровные узы».

Родившийся в Техасе (США), Хесус С. Тревиньо начал свою кинематографическую карьеру на телевидении в Лос-Анджелесе в качестве режиссера-документалиста и приобрел известность фильмами, рассказывающими о горькой доле латиноамериканцев, живущих в США. Посвященная этой теме лента «Одиночество», «Тропическая Америка», открывшая зрителю одну из малоизвестных страниц творчества выдающегося мексиканского художника Давида Сикейроса, и некоторые другие его короткометражные фильмы, были отмечены премиями.

В фильме «Кровные узы» затронуты, по словам Тревиньо, насущные проблемы жизни и мексиканцев, и других латиноамериканцев, живущих в США. Не случайно события картины развертываются на фабрике одного из городов, расположенного невдалеке от американо-мексиканской границы. Здесь как бы сфокусировались узловые проблемы простых тружеников, живущих по обе стороны пограничного рубежа, но одинаково подвергающихся жестокой эксплуатации американских промышленных компаний.

Фильм Х. С. Тревиньо адресован и мексиканскому и американскому зрителю: его герои говорят то на английском, то на испанском языке, а также на диалекте, употребляемом латиноамериканцами США.

Особое внимание кубинского зрителя привлекли фильм «Каменщики» Хорхе Фонса, удостоенный приза Серебряный медведь на Международном кинофестивале в Западном Берлине в 1976 году, и кинолента Рауля Арансы «Гремучая змея».

Р. Аранса снискал широкую популярность у себя на родине, в Мексике, многолетней работой на телевидении, где он осуществил постановку исторических фильмов «Буря», «Главари», «Конституция», «Экипаж». Его новый фильм «Гремучая змея» обличает демагогический характер средств массовой информации, способствующих расовой дискриминации мексиканских индейцев. Образ гремучей змеи, которая в финале картины угрожает жизни одного из главных ее героев — отсюда и название фильма,— становится, по словам режиссера, как бы символом хищнических устремлений капиталистического государства, систематически уничтожающего не только самобытную древнюю культуру индейцев, но и само коренное население американского континента.

Своеобразие замысла обусловило переплетение в композиции фильма художественных и документальных кадров. Главные роли исполнили мексиканские актеры Эрнесто Гонсалес Крус, Рауль Рамирес, Сильвия Марискаль.

Неделя мексиканского кино, сопровождавшаяся широкой демонстрацией в кинотеатрах и по телевидению художественных и до-

кументальных лент мастеров киноэкрана Мексики, привлекла интерес кубинской общественности, вызвала многочисленные отклики прессы. Газета «Хувентуд ребельде», отмечая достижения мексиканского киноискусства, подчеркивает важность дальнейшего расширения творческих контактов между кинематографистами обеих стран.

В связи со стопятидесятилетием со дня рождения Л. Н. Толстого на мексиканском телевидении была осуществлена экранизация романа «Анна Каренина». На снимке: исполнители главных ролей, популярные актеры мексиканского кино и телевидения Сильвия Пиналь (Анна Каренина) и Карлос Врачо (Вронский).

(Газета «Эль Соль де Мехико»)

МАЛАЙЗИЯ

ФЕСТИВАЛЬ ПОЭЗИИ

Шестой фестиваль поэзии состоялся в малайзийском городе Куантане (Паханг). В качестве организатора фестиваля выступил Институт малайской литературы. По традиции в фестивале приняли участие и представители других искусств, поскольку некоторые видные поэты (например, Латиф Мохиддин) успешно совмещают поэзию с живописью. В дни фестиваля художники экспромтом создали несколько произведений изобразительного искусства, а актеры местной любительской труппы «Лягушки» и столичной студии «Акраф» поставили две пьесы малайских драматургов.

Среди иностранных участников фестиваля была советская дагестанская поэтесса Фазу Алиева.

МЕКСИКА

ФЕСТИВАЛЬ ПОЭЗИИ

Впервые в 1978 г. национальную литературную премию страны получила зарубежная писательница. Ею стала Элена Хордана аргентинская поэтесса, проживающая в эмиграции в Мексике. Премия присуждена ей за книгу «Неотправленные стихи».

Это второй сборник писательницы. Несколько лет назад она опубликовала книгу «SOS. Здесь Нью-Йорк», в которой отразились мысли и ощущения, сложившиеся у Э. Хорданы за то время, что она провела в Соединенных Штатах. Отчуждение, равнодушие и даже жестокость определяют взаимоотношения людей в этой стране, холодным и бездушным предстает перед читателем город Нью-Йорк.

В новую книгу вошли стихи, написанные Эленой Хорданой в последние годы, когда она переселилась в Мексику. Лирический герой «Неотправленных стихов» — человек, обремененный будничными, повседневными заботами: маленьким заработком, дороговизной, равнодушием подрастающих детей, болезнью жены и т. д. Книга проникнута теплотой и сочувствием к герою, стремлением его понять и помочь ему.

НИГЕРИЯ

«САГА ОЗИДИ»

Известный нигерийский поэт, драматург, журналист и собиратель фольклора Джон Пеппер Кларк издал книгу под названием «Сага Озиди», представляющую собой устный эпос народа иджо. «Впервые,— говорится в журнале «Уэст Африка»,— этот видный африканский писатель выступает как ученый-филолог, обращаясь к устной традиции не только для того, чтобы использовать ее в качестве источника для своих собственных произведений, но и чтобы представить ее образцы как своеобразные литературные шедевры».

ПЕРУ

МАРИО ФЛОРИАН — ЛАУРЕАТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ

Известный перуанский поэт и ученый-литературовед Марио Флориан удостоен Национальной премии в области литературы. В связи с этим событием выходящий в Лиме журнал «Ойга» взял интервью у М. Флориана, в котором лауреат поделился своими соображениями о современной поэзии. На вопрос о том, каковы истоки его творчества, Марио Флориан ответил, что в основе его стихов лежит живая поэзия народа, языковые формы и образы, характерные для фольклора индейских племен кечуа и аймара.

Передаваемая из поколения в поколение устная народная поэзия доиспанских времен, баллады современных крестьянских трубадуров, устраивающих импровизированные поэтические состязания, бесхитростные песнопения влюбленных — вот основные источники, которыми питается поэтическое творчество М. Флориана. Анды с их бескрайними заснеженными вершинами, родная земля, суровая и в то же время ласковая к тем, кто отдает ей все свои силы, трудолюбивые и гордые крестьяне, из среды которых вышел поэт, тяготы их повседневной жизни, вековые обряды и народные гулянья — этот круг тем постоянно привлекает к себе внимание поэта. По мнению М. Флориана, фольклорная поэзия является ярким свидетельством неиссякаемой творческой мощи перуанского народа, отражает его боевой дух, чувства товарищества и взаимопомощи, столь характерные для простого люда страны.

Отвечая на вопрос о том, как он, представитель фольклорных традиций в литературе, относится к течению «индеанизма», Марио Флориан ответил, что «индеанизм», отражающий социальные проблемы индейского населения Латинской Америки, наиболее яркое воплощение получил в творчестве выдающегося перуанского писателя Хосе Марии Аргедаса, показавшего всю сложность человеческого существования современного индейца, жертвы всевозможных социальных, политических и экономических преград. Однако в Перу, как и в других странах континента, эксплуатации подвергаются не только индейцы, но все беднейшие слои населения, поэтому М. Флориан считает, что «индеанизм» в настоящее время потерял свое остросоциальное значение. На его место в латиноамериканской литературе пришел революционный гуманизм, отстаивающий идеалы всего трудового народа. Сам поэт ощущает себя человеком новой эпохи, предвестником грядущих перемен, нашедшим свое призвание и с помощью искусства борющимся за собственное освобождение и освобождение своего народа.

ПОЛЬША

КЛАССИК РЕПОРТАЖА

Издательство «Чительник» в серии «Литература факта» выпустило книгу Рышарда Капусцинского «Футбольная война», в которую вошли репортажи, опубликованные ранее отдельными книгами: «Черные звезды», «Киргиз сходит с коня», «Если бы вся Африка», «Христос с винтовкой на плече», «Один день жизни» и другие.

Эти репортажи, отмечает рецензент «Жице Варшавы» Беата Совинская, известны многим польским и зарубежным читателям, поэтому большой заслугой издательства является включение в сборник работ, нигде ранее не публиковавшихся. По форме это «заметки на полях», представляющие своеобразный дневник репортера, в котором отражены его впечатления, чувства, опыт. Они как бы показывают «кухню» репортерской работы, связанные с нею различные ситуации и степень риска, с чем сталкивался Капусцинский, который всегда находится в самых горячих точках земного шара. Он был во время гражданской войны в Нигерии, в Анголе (фрагменты его книги «Немного об Анголе» напечатаны в «Иностранной литературе» в № 8 за 1977 год), в Эфиопии.

«Капусцинский принадлежит к авангарду нашего репортажа,— пишет Беата Совинская.— Его работы имеют неоспоримую познавательную ценность и в то же время написаны увлекательно, они сразу же приковывают к себе внимание читателей, развивают его воображение. При чтении репортажей иных авторов создается впечатление, что они писались за письменным столом при помощи энциклопедий, словарей, путевых справочников. Капусцинский же относится к тому типу журналистов, которые должны все испытать на себе... В его репортажах вы никогда не встретите прописных истин, трюизмов, славословия, никаких красивостей, никаких штампов. Его стилю чужда вычурность, усложненность, простота его стиля доведена до совершенства, язык гибкий, живой, сочный... Книги Капусцинского расходятся мгновенно, они уже стали классикой нашего репортажа».

С большой рецензией на книгу «Футбольная война» выступил в еженедельнике «Культура» Войцех Гелжинский.

«Капусцинский является классиком репортажа, но даже это определение не вмещает то, что представля-

Выдающемуся польскому писателю Ярославу Ивашкевичу в феврале этого года исполнилось восемьдесят пять лет. Польская общественность широко отметила знаменательную дату, а известный польский режиссер Анджей Вайда подготовил к юбилею экранизацию рассказа Ивашкевича «Панны из Вилько». Советскому зрителю широко известна экранизация рассказа Ярослава Ивашкевича «Березняк», фильм под этим же названием с успехом прошел на советском экране. «Экранизация рассказа «Панны из Вилько», — сказал Вайда корреспонденту журнала «Фильм», — является для меня самым трудным фильмом».
На снимке: популярные польские актеры Даниель Ольбрыхский и Анна Сенюк в фильме «Панны из Вилько».

(Журнал «Фильм»)

ет его творчество. В новом сборнике опубликованы самые лучшие работы, они очень разнообразны не только по содержанию, но и по манере исполнения, здесь и короткие заметки, полные драматизма (много войны, смертей), и очерки, написанные в манере исторического эссе и политического рассказа, говорящие о событиях прошлого, в которых Капусцинский не всегда участвовал лично. Это рассказы о Бумедьене, о Лумумбе и об апартеиде в ЮАР».

ИНТЕРЕСНОЕ ИЗДАНИЕ

Издательство «Чительник» выпустило в свет поэтический сборник «Линии и звуки» Марии Конопницкой (1842—1910) — одной из крупнейших представительниц польской реалистической литературы.

Книга иллюстрирована рисунками выдающегося художника и поэта Станислава Выспянского (1869—1907).

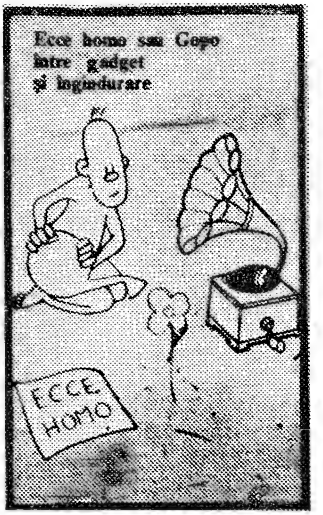
В сборнике одиннадцать поэтических циклов. Как пишет рецензент «Трибуны люду», «изысканные цветы Выспянского как нельзя лучше гармонируют с тонкой лирикой поэтессы, дополняя ее пластическим изображением».

Эта публикация, так интересно представляющая двух классиков польской литературы, по мнению рецензента, «является уникальной».

РУМЫНИЯ

«СЕ — ЧЕЛОВЕК!»

Известный румынский кинодеятель, автор знаменитого рисованного «человечка» Попеску-Гопо выпустил новую серию приключений своего любимого героя. На этот раз человечек встречает посланцев внеземных цивилизаций и радостно показывает «земные» чудеса, созданные гением человека. Однако в ответ инопланетяне дают ему понять, что им известно и о других «достижениях» человечества — о войнах и их последствиях, о преступлениях, оружии массового уничтожения, о нищете, голоде, загрязнении среды. И улетают, оставив человечка в плену раздумий о судьбе человечества...



На снимке: кадр из нового мультипликационного фильма Попеску-Гопо «Се — человек!»

(Еженедельник «Ромыния литерарэ»)

Э. Опрою, рецензентка журнала «Чинема», называет премьеру фильма «Се — человек!» «событием, незаурядным в культурной жизни СРР».

СИНГАПУР

СЪЕЗД ПИСАТЕЛЕЙ НУСАНТАРЫ

Нусантарой нередко называют близкие в культурном отношении страны Юго-Восточной Азии, где ведущую роль играет малайский (индонезийский) язык. Именно этот смысл вложили в понятие «Нусантара» писатели Индонезии, Малайзии, Сингапура и Брунея, собравшиеся недавно в Сингапуре по инициативе местной литературной организации «Поколение 50-х годов».

Участники этого первого в своем роде съезда уделили основное внимание проблемам сохранения культурных традиций своего региона, испытывающих натиск со стороны «коммерческой культуры», импортируемой с Запада и производимой на местах. Была выражена озабоченность судьбой малайской литературы в Сингапуре, представляющей здесь в настоящее время литературу национального меньшинства. Следующую встречу писателей Нусантары намечено провести в столице Брунея — Сри Бегаване.

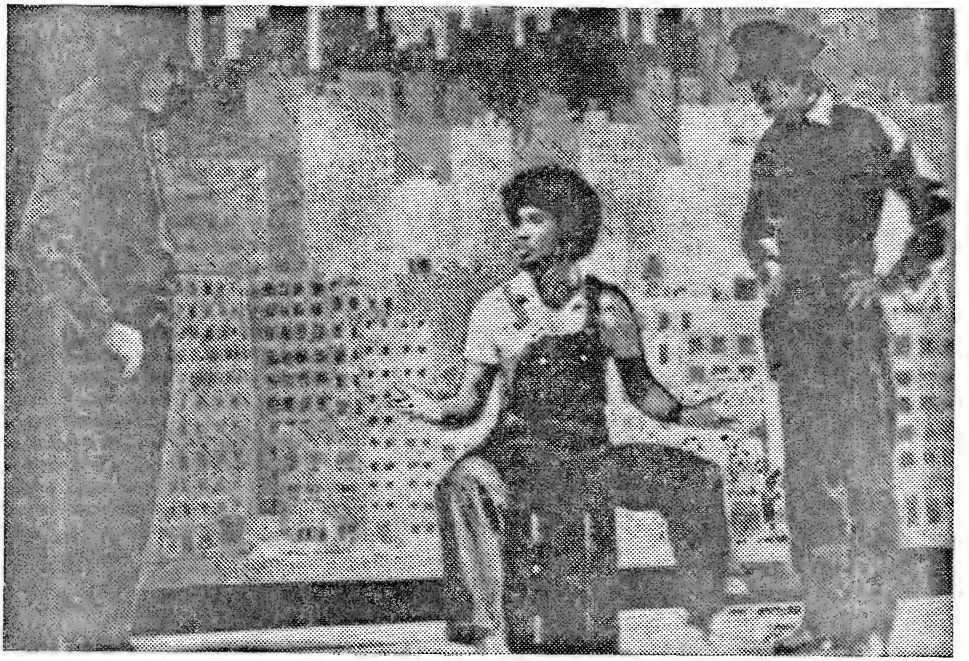
США

ПЕРЕЧИТЫВАЯ РЭНДОЛЬФА БОРНА

Под заглавием «Радикальная воля» издательство «Юризен букс» выпустило сборник избранных произведений Рэндольфа Борна (1886—1918) — выдающегося публициста и критика начала нынешнего столетия, сыгравшего большую роль в развитии демократических и социалистических традиций американской литературы. Книга подготовлена к печати литературоведом О. Хансеном.

Творческое наследие Борна долгое время игнорировалось буржуазными историками литературы. Борн принадлежал к поколению Джона Рида, и его идейное развитие, оборванное ранней смертью, шло в том же направлении. Активно сотрудничая в прогрессивных изданиях, Борн затрагивал в своих статьях самые острые социальные вопросы, волновавшие тогда общество. Он выступил убежденным пацифистом, за что подвергся травле со стороны официозной американской печати.

Публицистическая деятельность Борна была проникнута желанием разрушить те кастовые и расовые барьеры, те основы экономического неравенства, которые порождали социальные язвы американского общества и препятствовали свободному и полноценному развитию личности. В Борне соединялись чуткий социальный критик и пла-



С 1975 г. в одном из рабочих кварталов Нью-Йорка действует Народный латиноамериканский театр (Театр-4), руководимый аргентинским режиссером Оскаром Сикконе. В состав его труппы вошли молодые непрофессиональные актеры, выходцы из Латинской Америки, живущие в Нью-Йорке и получившие театральную подготовку под руководством Джэка Агероса, одного из основателей театра «Орилья». В репертуар театра включены сценические композиции, монтажи, спектакли-документы, живо откликающиеся на злобу дня и обличающие социальную несправедливость, с которой ежедневно приходится сталкиваться в Америке беднякам и людям с темным цветом кожи.
На снимке: сцена из сатирической музыкальной комедии «Что я увидел в Нью-Йорке», рассказывающей об истории эмигранта, натурализовавшегося в США.

(Журнал «Конхунто»)

менный романтик, неизменно отстаивавший принцип духовной независимости человека от господствующих в обществе представлений и норм. Романтический характер во многом носила и его критика общественных институтов США, ставшая намного более действенной в конце жизни Борна, когда он принялся за серьезное изучение марксизма.

В своих статьях о литературе Борн горячо поддерживал социальные и реалистические тенденции американского романа и поэзии тех лет. Он одним из первых оценил истинный масштаб дарования Драйзера, высоко отзывался о творчестве молодых в ту пору Эптона Синклера и Карла Сэндберга.

Почти шестьдесят лет статьи и рецензии Борна оставались несобранными и неизвестными новым читательским поколениям. Выход книги «Радикальная воля» обусловлен тем интересом к демократическому наследию американской культуры, каким отмечены последние годы. Как пишет рецензент «Нью-Йорк ревью оф букс», «поучительно видеть, как много дал Борн тем современным критикам американского общества, к которым, даже с ними не соглашаясь, нельзя не относиться серьезно».

СОБРАНИЕ РАССКАЗОВ ИРВИНА ШОУ

«Рассказы за пять десятилетий» — так называется сборник рассказов известного американского прозаика Ирвина Шоу (книга вышла в нью-йоркском издательстве «Делакорт пресс»). Шоу начал свою писательскую карьеру как автор коротких рассказов, но приобрел широкую известность среди читателей лишь после выхода романа «Молодые львы» (на русский переведен в 1962 г.). С тех пор за Шоу прочно укрепилась репутация одного из самых читаемых в США писателей. Вместе с тем американская критика относится к Шоу несколько прохладно. И в этом есть доля справедливости — порой писатель «подыгрывает» своему читателю, что сказывается отрицательно на достоинствах его прозы. И все же, отмечает рецензент еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью», сборник «малой прозы» Шоу, куда вошли 64 его рассказа, свидетельствует об истинном таланте писателя.

Главная отличительная черта Шоу-новеллиста — это исключительная увлекательность и динамичность его сюжетов. Шоу, по словам рецензента, «может писать практически обо всем — в его рассказах мы встречаемся с бруклинскими гангстерами, с шерифами из южных штатов, с завсегдатаями провинциальных кабачков, с бродягами и бизнесменами». Этим Шоу напоминает классика американской новеллы О. Генри: для него также характерна широта показа американской действительности, умение живописать быт и проникать в психологию самых различных слоев американского общества. В то же время высокое стилистическое мастерство Шоу, по мнению рецензента, говорит о том, что писатель прошел школу Фицджеральда-новеллиста: «в новеллах Шоу вы не найдете ни одного лишнего слова, ни одной «корявой фразы».

ФРАНЦИЯ

ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРОВАНСАЛЬСКОГО ТЕАТРА

Трубадуры, Мистраль... Вот кого прежде всего вспоминают, когда говорят о культуре и литературе Прованса. Но все это — далекое прошлое. А существует ли провансальская культура сегодня? На этот вопрос постарался дать ответ журнал «Франс нувель», поддерживающий национальное возрождение французских провинций. (В частности, предыдущий номер журнала был посвящен бретонской культуре, интерес к которой значительно возрос в последнее время.)

Бурное наступление цивилизации, осуществляемая долгие годы политика нивелирования всего национального привели к разрушению и забвению многих старейших традиций, характерных для каждой французской провинции. Май 1968 года, пробудивший политическое и национальное сознание масс, послужил толчком и для возрождения националь-

ТУРЦИЯ

В Стамбуле открылся новый Экспериментальный театр на Тэпэбаши, который сразу же обратил на себя внимание поисками новых выразительных средств и стилем работы. Театр помещается в бывшей столярной мастерской, которую актеры оборудовали своими силами, при помощи пожертвований и любителей театра. Руководит театром Беклан Алган. В его постановке большой интерес зрителей вызвал спектакль по пьесе Бертольта Брехта «Мамаша Кураж».
На снимке: сцена из спектакля «Мамаша Кураж».

(Журнал «Сцена»)

ных культур: в стране началось движение за восстановление в правах бретонского, провансальского и других языков и диалектов, на которых никогда не переставал говорить народ, появился интерес к историческому прошлому и сегодняшним явлениям местных культур и литератур.

Одно из таких явлений — провансальский театр, тесно связанный с устным народным творчеством. Возникшие за последние годы театральные коллективы (наибольшей известностью среди них пользуется театр, руководимый Клодом Альранком) во многом отталкиваются от традиций любительских театров, по сей день широко распространенных в южных районах Франции, где пьесы местных авторов играют виноградари и рыбаки, то есть «маленькие люди, одаренные большим талантом», как выразился Клод Альранк в интервью, опубликованном в «Франс нувель». Современный провансальский театр, заметил режиссер, обращается не только к сердцу и чувствам своих зрителей, но и к их сознанию. «Несмотря на финансовые трудности, наш театр завоевывает все большую популярность. И это исторический факт, с которым нельзя не считаться. Составляя единую общность с другими народами, живущими в нашей стране, мы хотим в то же время сохранить и присущие только нам этнические особенности»,— сказал в заключение Клод Альранк.

ФИЛЬМ «ПЕСНЬ О РОЛАНДЕ»

В основу этой картины, снятой французским режиссером Франком Кассанти, положен средневековый французский эпос. Однако режиссер не просто перелагает на язык кино историю о подвигах Роланда, племянника императора Карла Великого, во время битвы в Ронсевальском ущелье, когда «добрые христиане выступили на борьбу с сарацинами...». Он сопоставляет средневековое эпическое со-

На снимке: кадр из фильма «Песнь о Роланде».
(Еженедельник «Юманите диманш»)

знание, запечатленное в литературном памятнике, и исторические факты. Воссоздавая колорит эпохи. Кассанти останавливает внимание на личности Турольда и труппы его певцов—то есть на тех, кому приписывается дошедшая до нас редакция «Песни о Роланде». По мнению обозревателя «Юманите диманш», успех фильма определен органическим единством эпического охвата изображаемых событий и философских раздумий о средневековье.

ФРГ

ПРОШЛОЕ В НАСТОЯЩЕМ

Один из самых известных западногерманских драматургов Рольф Хохгут впервые выступил с большой прозаической работой. Действие его книги «Любовь в Германии» происходит в годы второй мировой войны. Это история трагической любви польского военнопленного и немецкой женщины. Конец ее ужасен: героиня попадает в концлагерь, ее возлюбленный — на виселицу.

Однако при всей «классической простоте» сюжета, пишет в западногерманском еженедельнике «Ди цайт» критик Фриц Раддац, книга Хохгута не просто рассказ о «запретной любви, раздавленной колесами безжалостного механизма... это рассказ о повседневном фашизме».

Роман построен в технике «монтажа»: повествование о давно минувших днях прерывается документами, рассказом писателя о поисках материалов, погребенных в архивах. Автор размышляет не только о прошлом, но и о современности: ведь многие из тех, кто был ответственен за трагическую гибель несчастных, ни в чем не повинных людей, продолжают жить и активно действовать в ФРГ. В этой связи Хохгут вспоминает о скандальном «деле Фильбингера», видного деятеля христианско-демократической партии, который совсем недавно был разоблачен как гитлеровский палач.

Но ведь Фильбингер был не один, пишет «Ди цайт», «существовало много больших и малых фильбингеров».

Рольф Хохгут резко отвергает вечные ссылки соучастников преступных дел на свое неведение или бессилие. «Фраза: «Я ничего не мог поделать»,— пишет он,— несомненно, принадлежит к числу наиболее часто звучавших на немецком языке после смерти Гитлера».

Рецензент отмечает высокое мастерство Хохгута-прозаика, его умение «строить сцены, изображать судьбы, делать людей живыми». В своей новой книге он предстает также как «эссеист высокого уровня, мастер морализующего памфлета; его проникновенный призыв, даже если он негромок, не оставляет никого безразличным». Фриц Раддац называет Рольфа Хохгута писателем, который, пожалуй, «как никто другой, способен оказывать политическое воздействие на читателя».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ЖИВОЙ ГОЛОС ИСТОРИИ

В связи с исполняющимся в этом году 500-летием со

Влияние идей Великого Октября на политическую и духовную жизнь Европы нашло свое отражение в творчестве прогрессивных художников Чехословакии. Альбом «Вихрь надежды», изданный пражским издательством «Одеон», включает более сорока репродукций с работ ведущих чешских и словацких художников, отражающих революционную и антифашистскую борьбу народов Чехословакии.
На снимке: бронзовый бюст В. И. Ленина работы Яна Лауды.

(Альбом «Вихрь надежды»)

дня смерти чешского короля и римского императора Карла IV в Пражском граде развернута монументальная выставка «Эпоха Карла IV в истории народов ЧССР». В исторических документах, предметах материальной культуры, произведениях искусства она отражает историю чешского и словацкого народов от первых зачатков государственности — государства Само, Великоморавской державы — до современности.

Ядро выставки составляет эпоха Карла IV. Существенной частью этого раздела стал сам Старый дворец, отстроенный при Карле IV на месте разрушенных войнами и междоусобицами «дворов» чешских князей. Здесь впервые представлены статуи, перенесенные со староместской мостовой башни. Экспонируются коронационные королевские регалии — корона, скипетр, держава, множество документов, освещающих деятельность Карла IV: государственные акты, обновление Пражского града как резиденции чешского короля и римского императора, основание старейшего в Центральной Европе университета, закладка Нового места пражского, начало строительства храма святого Вита и другие.

Многообразны и материалы, характеризующие состояние чешской и словацкой культуры того времени: статуи святых, иллюстрированные рукописи («Велиславова библия», «Мисал Яна из Стржеды» и др.), иконы работы придворного художника Карла IV — мастера Теодорика. Ряд экспонатов, относящихся к той эпохе, поступил из ГДР, Венгрии и Польши.

Последний раздел выставки наглядно раскрывает решающую роль народных масс в создании ценностей материальной и духовной национальной культуры и их многовековую борьбу за свои социальные права и справедливость. В выразительном сопоставлении здесь соседствуют первая запись гуситского хорала «Кто вы, божьи воины?» и рукопись «Репортажа с петлей на шее» Ю. Фучика, свидетельства о жизни и гибели словацкого борца за справедливость начала XVIII века Юрая Яношика и материалы о Словацком национальном восстании 1944 г., документы о крестьянских мятежах феодальной поры и о Майском восстании пражан в 1945 г.

Завершающая часть выставки посвящена 30-летию строительства социализма в Чехословакии. Центральное место здесь занимают Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Советским Союзом 1943 и 1970 годов и другие материалы, характеризующие дружеские связи между двумя странами.

Раскрывая многообразное содержание выставки, «Руде право» пишет, что она представляет собой «не только нагляднейший учебник истории чешского и словацкого народов, но одновременно и ворота в современность, и ключ, открывающий возможность заглянуть в будущее».

УРУГВАЙ

«ДНИ И НОЧИ ЛЮБВИ И БОРЬБЫ»

Новая книга известного уругвайского писателя и журналиста Эдуардо Галеано «Дни и ночи любви и борьбы», удостоенная литературной премии «Каса де лас Америкас», построена как серия фотоэтюдов. Каждая часть книги фиксирует какой-либо момент социально-политической ситуации в странах Латинской Америки (иногда определенной страны континента). В основном события отражают тот период истории Уругвая, когда в стране установился и начал укреплять свои позиции диктаторский режим Бордаберри (1973—1976).

На страницах «Дней и ночей» воссоздана атмосфера террора и страха, зверских расправ и трагических самоубийств. Однако в сборник вошли не только рассказы «жестокости и насилия», но и лирические новеллы-воспоминания, повествование в которых ведется либо от лица автора, либо от лица вымышленного персонажа. И в том и в другом случае такие новеллы автобиографичны. Основное достоинство книги Э. Галеано, считает обозреватель журнала «Каса де лас Америкас»,— ее исключительная правдивость. По тематике и стилевому строю «Дни и ночи любви и борьбы» перекликаются с предыдущим произведением писателя — «Открытые вены Латинской Америки», где читателю предстала «панорама эксплуатации континента с эпохи колониальных завоеваний и до сегодняшнего дня»— процесс непрекращающегося вмешательства империализма во внутренние дела латиноамериканских стран.

Авторы этого номера

ЯРОСЛАВ ИВАШКЕВИЧ — JAROSŁAW IWASZKIEWICZ (род. в 1894 г.).

Польский поэт, прозаик, драматург и общественный деятель, лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами», государственных премий ПНР, председатель Союза польских писателей, главный редактор журнала «Твурчость».

Советские читатели хорошо знакомы с творчеством Ярослава Ивашкевича. В русском переводе вышли эпопея «Хвала и слава», исторический роман «Красные щиты», две книги о Шопене. Неоднократно выходили сборники его избранной прозы и поэзии. В настоящее время издательство «Художественная литература» выпускает восьмитомное собрание сочинений писателя. Проза и стихи Я. Ивашкевича не раз печатались в «Иностранной литературе».

Опубликованный в этом номере цикл стихов «Горсть ивовых листьев» взят из сборника «Карта погоды» («Mapa pogody», Warszawa, Czytelnik, 1977).

ВИНЦЕНТ ШИКУЛА — VINCENT ŠIKULA (род. в 1936 г.).

Словацкий писатель. Окончил Братиславскую консерваторию, преподавал в Народной школе искусств в Модре, работал редактором. Начинал литературную деятельность как поэт в конце 50-х годов. Как прозаик дебютировал в 1964 г. двумя сборниками рассказов: «Не аплодируйте на концертах!» и «Может, я построю себе бунгало» Оба сборника переведены на русский язык. В русском переводе выходили также и последующие книги В. Шикулы — повести «Не на каждом пригорке трактиры стоят», «С Розаркой», сборник рассказов «Воздух», книжка для детей «Каникулы с дядюшкой Рафаэлем».

В последние годы Винцент Шикула опубликовал роман «Мастера» («Majstri». Bratislava, Slovenský spisovatel, 1976), отмеченный первой премией Союза словацких писателей, роман «Герань» («Muškat», 1977), повесть «Иволга» («Vlha», 1978).

Предлагаемый вниманию читателя роман «Мастера» печатается с небольшими сокращениями.

ШУЛЬГИНА НИНА МИХАЙЛОВНА.

Советский переводчик, филолог. Переводила в основном современных чешских и словацких писателей: В. Ржезача, И. Кршенека, П. Францоуза, Л. Новомеского, А. Плавку, В. Шикулу, М. Фигули, Я. Паппа и других. Автор ряда статей по современной литературе Чехословакии.

АТ-ТАХИР ВАТТАР (род. в 1936 г.).

Алжирский писатель. Многие годы работал учителем в школе. В настоящее время один из видных деятелей партии Фронт национального освобождения. Первый сборник рассказов Ваттара «Дым моего сердца» вышел в свет в 1962 г. Затем появились сборники рассказов «Жалящие удары» (1971), «Жертвы возвращаются на этой неделе» (1974), пьеса «Беглец» (1974), романы «Ал-Лаз», «И содрогнется земля...» (Бейрут,

изд-во «Дар уль-ильм лиль-маляиин», 1974), публикуемый в этом номере.

■

ШАГАЛЬ ВЛАДИМИР ЭДУАРДОВИЧ (род. в 1925 г.).

Советский переводчик, филолог-арабист, кандидат филологических наук. Автор ряда работ по проблемам арабского языка, литературы и культуры. Переводил с арабского произведения Нагиба Махфуза, Юсуфа Идриса, Абд ар-Рахмана аш-Шаркави (Египет), Ханны Мины, Гады ас-Самман, Закарии Тамера (Сирия), Ат-Тайиба Салиха (Судан), Гаиба Туама Фармана, Зун-Нун Айюба (Ирак), Михаила Нуайме (Ливан) и др.

■

КАРЛО БЕРНАРИ — CARLO BERNARI (род. в 1909 г.).

Итальянский писатель. Литературную деятельность начал в 1928 г. Автор многих романов и сборников рассказов. В 1934 г. опубликовал роман «Трое рабочих» («Tre operai») — одну из первых книг об итальянском рабочем классе. В послевоенные годы вышли романы: «Сперанцелла» («Speranzella», 1949) — о современной Золушке, отмеченный премией Виареджо, «Везувий и хлеб» («Vesuvio e pane», 1952), «Завтра, послезавтра» («Domani e poi domani», 1957), «Был год спокойного солнца» («Era l'anno del sole quieto», 1964), «Дыра в ветровом стекле» («Un foro nel parabrezza», 1971) и др.

На русском языке рассказы К. Бернари печатались в «Иностранной литературе» (№ 1, 1960) и в книге «Итальянская новелла XX века» (1969).

Мы предлагаем вниманию читателя повесть Карло Бернари «Горькая любовь» («Amore amaro». Firenze, Vallecchi Editore, 1958).

■

ВЕРШИНИН ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. в 1926 г.).

Советский переводчик с итальянского языка. Переводил романы Альберто Моравиа, Васко Пратолини, Итало Кальвино, Леонардо Шаши, Карло Монтеллы, Карло Мандзони, пьесы Эдуардо Де Филиппо, Джузеппе Кассьери и др.

■

ВАН МИН (Чэнь Шаоюй, 1904—1974).

Китайский политический деятель. Окончил Уханьский университет. В КПК вступил в 1925 г. В 1931 г.— член ЦК, член Политбюро ЦК и секретарь ЦК КПК. В 1932—1937 гг.— представитель КПК в Коминтерне, в 1932—1943 гг.— член Президиума Исполкома Коминтерна. На VII (1945) и VIII (1956) съездах КПК избирался членом ЦК КПК. Автор работ «О событиях в Китае» (1969), «Ленин, ленинизм и китайская революция» (1970).

О поэтическом творчестве Ван Мина см. статью В. Сорокина, предваряющую подборку стихов.

■

КНИПОВИЧ ЕВГЕНИЯ ФЕДОРОВНА.

Советский литературовед. Лауреат премии имени Н. А. Добролюбова АН СССР. Автор книг «Генрих Гейне» (1931), «В защиту жизни» (1958), «Разгром» и «Молодая гвардия» Александра Фадеева» (1964), «Сила правды» (1965), «Художник и история» (1968), «Мужество выбора» (1975) и многих статей по советской и зарубежной литературе. Работы Е. Книпович неоднократно публиковались в «Иностранной литературе».

■

ВУДИ АЛЛЕН — WOODY ALLEN (род. в 1935 г.).

Американский писатель-сатирик, актер и режиссер. Его юмористические рассказы и пародии регулярно публикуются в журнале «Нью-йоркер». Вуди Аллен поставил несколько фильмов, в которых он — автор сценария, режиссер и исполнитель главной роли.

Рассказ «Воспоминания о двадцатых» («A Twenties Memory») взят из сборника рассказов В. Аллена «Сводя счеты» («Getting Even», 1966).

■

ГАНС ВЕРНЕР РИХТЕР — HANS WERNER RICHTER (род. в 1908 г.).

Западногерманский писатель, организатор «Группы 47» и Грюнвальдского кружка (1956), оказавших значительное влияние на становление антифашистской и антимилитаристской литературы ФРГ в 50—60-е годы.

Перу Г. В. Рихтера принадлежит несколько романов. На русский язык переведены романы «Не убий» (М., 1960) и «Линус Флек, или Утраченное достоинство» (М., 1965).

Публикуемая сатирическая миниатюра взята из сборника «Люди в дружественном окружении» («Leute in freundlicher Umgebung. Sechs Satiren». Berlin, Verlag Klaus Wagenbach, 1965).

■

ФРЭНК САЛЛИВЕН — FRANK SULLIVAN (род. в 1892 г.).

Американский писатель-юморист. С 1926 по 1972 г. в США и в Англии вышло двенадцать сборников рассказов и юморесок Ф. Салливена. Ряд переводов его юмористических рассказов публиковался в советской периодической печати.

Рассказ «Признание» («The Confession») взят из сборника «Всякая всячина» («Broccodi and Old Lace». New York, Horace Liveright Inc., 1931).

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Н. А. АБАЛКИН, Л. А. ГВИШИАНИ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ (зам. главного редактора), **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, Л. З. ЭЙДЛИН.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**

Адрес редакции: 109017. Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

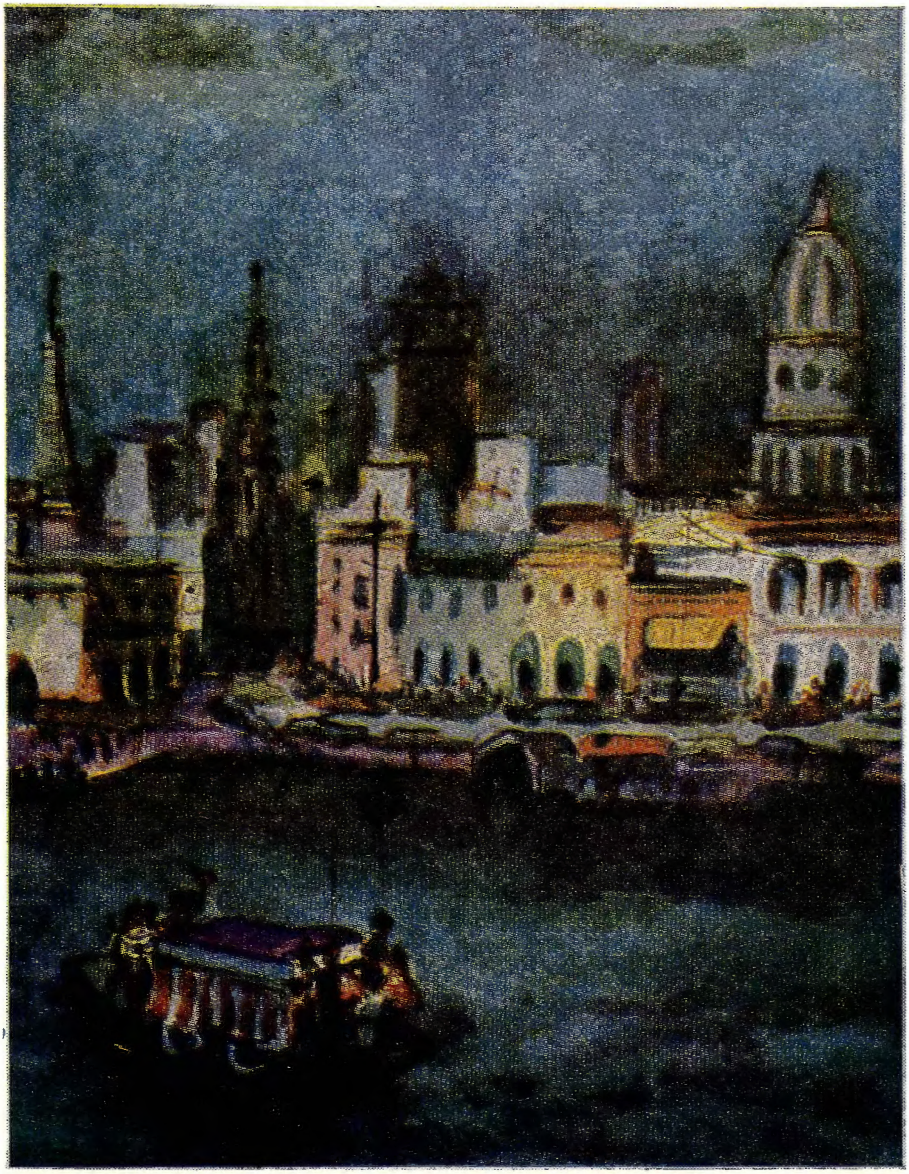
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

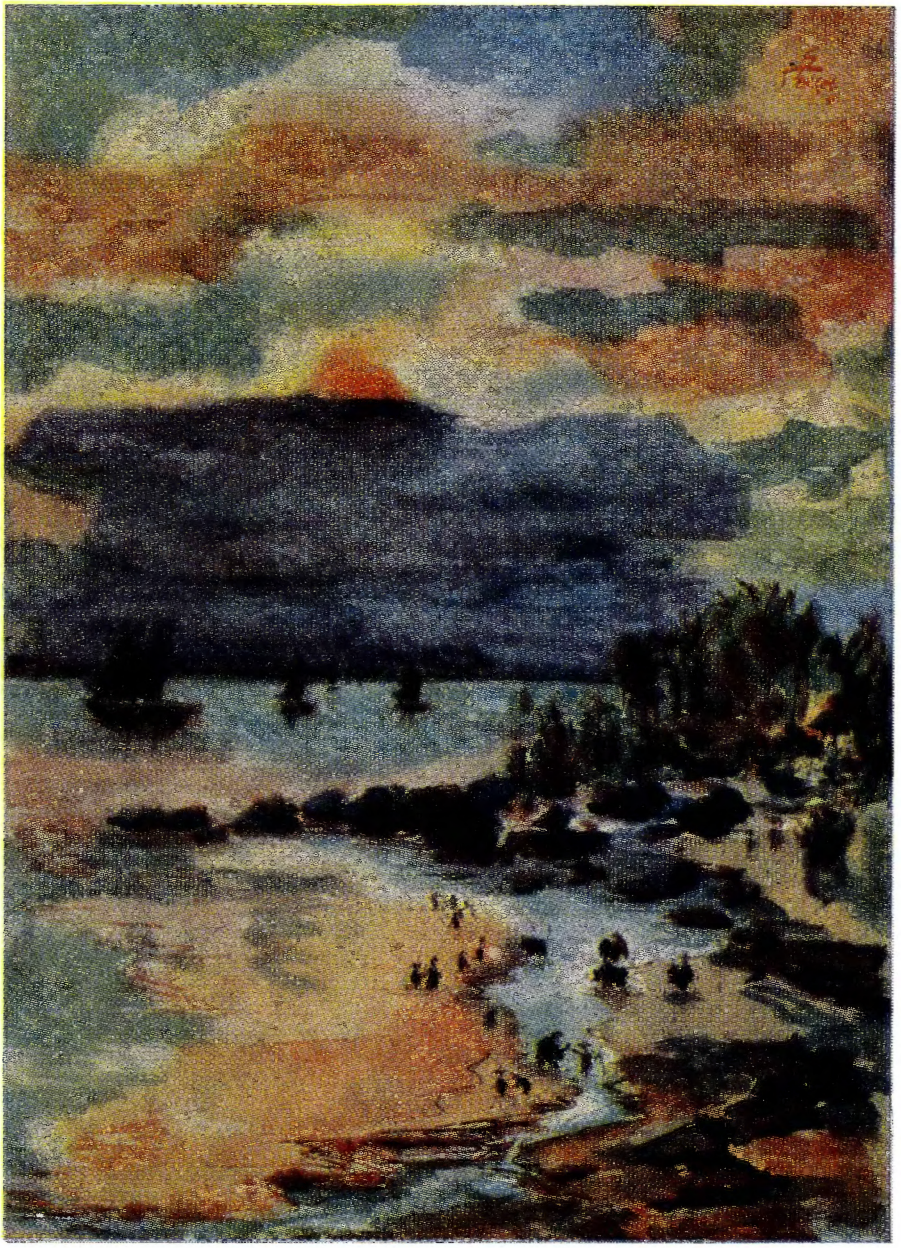
Сдано в набор 5/II 1979 г. А03128 Подписано в печать 15/III 1979 г.
Бумага 70×108 1/16 = 9 бум. л = 18 п. л. (25,2) усл. печ. л. Уч.-изд. л. 28,32.

Тираж 688.000 экз. (1-й завод: 1 — 348.000 экз.). Зак. 502.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.



Гавань в старой части Гаванны

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394